THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG2980
.V4
1916

NOV 13 1974

APR 19 1975

OCT 14 1976

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00020212388

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
	OCT 6 '84		
APR 08 1992			
	APR 13 '92		
MAY 13 1992			
JUN 14 1992	JUN 15 '92		
JAN 10 2002			
	JAN 25 '02		

Form No. 513, Rev. 1/84

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/elegas00prop

891.7
13.381

АЛЕКСѢЙ ВЕСЕЛОВСКІЙ

ЗАПАДНОЕ ВЛІЯНІЕ ВЪ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ПЯТОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

Москва—1916

PG2980
.V4
1916

АЛЕКСѢЙ ВЕСЕЛОВСКІЙ

ЗАПАДНОЕ ВЛІЯНІЕ ВЪ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ПЯТОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНІЕ

БИБЛИОТЕКА
№ 48830
55978
МОСК. ИНСТИТУТА НОВ. ЯЗЫКОВ
Проверка 1937 г.

Москва. 1916.

Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К⁰. Пименовская ул., с. д.
Москва—1916.

Памяти

Александра Николаевича

Пыпина.

6848-129

Когда настоящіе очерки явились въ свѣтъ въ первоначальномъ своемъ видѣ, какъ рядъ статей „Вѣстника Европы“ 1881—82 гг., литература и общество переживали болѣзненный пароксизмъ племенной исключительности, нетерпимо относящейся къ общечеловѣческой цивилизаціи, отрицающей свои связи съ нею и самодовольно надѣющейся все извлечь изъ собственныхъ нѣдръ,—одинъ изъ рецидивовъ застарѣлаго недуга, которые проявлялись не разъ и прежде и занесены въ литературную исторію. Желаніе возстановить истину, напомнить о великихъ результатахъ западнаго вліянія, неизбѣжнаго въ періодъ ученичества литературы, живительнаго по нравственной поддержкѣ и творческимъ возбужденіямъ въ пору ея зрѣлости, — показать, что оно не отдаляло отъ своего, народнаго дѣла, а научало выполнять общественное призваніе литературы,—наконецъ ввести развитіе русской мысли и творчества въ кругъ европейскаго умственнаго движенія, обусловленнаго единствомъ цѣлей, и разъяснить, что при самомъ широкомъ развитіи племенныхъ элементовъ намъ никогда уже не отрѣшиться отъ участія въ поступательномъ движеніи человѣчества, — вотъ намѣренія, побудившія автора взяться за перо.

На журнальныхъ статьяхъ, — первой редакціи настоящей книги, — конечно, лежала печать переживавшейся эпохи, — нуждъ и запросовъ борьбы. Пріемы противниковъ, воскрешавшіе тактику блаженной памяти Шишкова и его Бесѣды, голословныя нападки, произвольное измѣненіе фактовъ и научныхъ данныхъ, отвага, съ которой навязывалась автору очерковъ нелѣпая проповѣдь вѣчнаго ученичества и рабской зависимости отъ Европы, тогда какъ въ сотнѣ мѣстъ своего обзора онъ привѣтствовалъ, какъ желанный исходъ „западной“ школы, самостоятельность нашихъ великихъ писателей, — все это возбуждало къ горячей полемикѣ.

Обременять изложеніе ученымъ аппаратомъ, выдержками и большими отступленіями значило бы лишить его общедоступности, которая одна лишь могла открыть подобнымъ „летучимъ листкамъ“ свободный входъ въ большую публику. Примѣчанія и цитаты оставлены были

лишь въ безусловно необходимыхъ размѣрахъ. Сжатое, быстро двигающееся впередъ обозрѣніе могло осуществиться только при такихъ условіяхъ.

Когда въ 1883 году для этихъ статей, изданныхъ въ формѣ книги, настала вторая редакція, многія частности были развиты подробнѣе, введены были новые отдѣлы, и, какъ оправдательные документы, умножились библіографическія ссылки. Полемическое возбужденіе не остыло, да и условія борьбы оставались тѣ же; общедоступности все еще принесены были нѣкоторыя жертвы. Историко-литературный обзоръ выигралъ однако въ полнотѣ, и замыселъ обрисовался опредѣленнѣе прежняго.

Съ тѣхъ поръ прошло немало времени. Въ пятнадцать лѣтъ (съ появленія статей) многое измѣнилось. Борьба утратила острый характеръ; многихъ бойцовъ нѣтъ уже въ живыхъ; убѣжденное, принципіальное противодѣйствіе ихъ досталось по большей части въ удѣлъ лицамъ, чье рвеніе не имѣетъ ничего общаго съ литературой. Уваженіе или хоть приличное отношеніе къ европейской культурѣ понемногу возстановилось. Къ тому же и жизнь научила новѣйшихъ шишковистовъ коечему. Не такъ давно можно было не безъ любопытства созерцать, какъ они братались съ „великой дружественной республикой“ и ратовали за франко-русскій союзъ. Когда же настала пора для русскаго вліянія не только на политику, но и на словесность Запада, и Европа, а за нею Америка поддались обаянію русскаго художественнаго творчества, это возвратное вліяніе, это отдариваніе нашихъ прежнихъ учителей, представлявшееся рано ли, поздно ли неизбѣжнымъ, естественнымъ для тѣхъ, кто стоялъ на почвѣ общечеловѣческаго обмѣна идей, наполнило удовольствіемъ и непримиримыхъ противниковъ западничества.

Но за тѣ же годы многое измѣнилось и для его сторонниковъ. Необыкновенно разросся научный матеріалъ, облегчившій оцѣнку западнаго вліянія; не только для новой литературы или для изученія дѣятельности выдающихся ея представителей, но и для до-петровскаго періода словесности въ ея частыхъ сближеніяхъ съ мыслью и творчествомъ Европы сдѣлано, намѣчено, открыто много важнаго и цѣннаго. Тамъ, гдѣ были лишь одиночные работники, начинается дружный коллективный трудъ.

Вторая, книжная, редакція очерковъ не могла уже удержаться на уровнѣ этого движенія. Жизнь опередила ее, требуя обновленія и коренной переработки, основанной на послѣднихъ итогахъ науки. Для „летучихъ листковъ“ восьмидесятыхъ годовъ настала третья редакція; почти удвоенная размѣромъ, по большей части вновь написанная, съ обширнымъ вступленіемъ о древней литературѣ, замѣнившимъ прежнее бѣглое введеніе, книга ратуетъ за ту же неизмѣнную идею, но, свобод-

ная отъ обязанностей полемики, добыла себѣ больше простора для выполненія своей задачи. Изучая по существу одинъ изъ любопытнѣйшихъ сравнительно-историческихъ вопросовъ, она имѣетъ цѣлью изложить сущность его не только спеціалисту, но и среднему читателю, потому что возмужалъ тѣмъ временемъ этотъ читатель, что не легко успокоить его старыми росказнями, полными лести и самообольщенія, что точный разсказъ о томъ, какъ предки его продвигались изъ мрака къ свѣту и изъ учениковъ сами становились мастерами, можетъ только возбудить въ немъ энергію къ дальнѣйшему труду для народнаго блага.

1896.

Снова переработанная сообразно съ научными разысканіями за послѣднее десятилѣтіе, расширенная и въ обзорѣ литературныхъ явленій и въ объясненіи ихъ, настоящая книга появляется въ третьемъ изданіи среди великаго подъема общественной мысли и освободительнаго движенія. Пусть же послужитъ она подспорьемъ для изученія и оцѣнки той важной подготовительной роли, которую выполняла въ теченіе вѣковъ передовая литература, опираясь на культурное вліяніе европейскаго Запада!

1906.

Въ четвертомъ изданіи, которое приспѣло всего четыре года спустя послѣ предшествующаго, отразились новѣйшіе итоги историко-литературной науки, отдѣльные моменты и частные вопросы (особенно въ заключительномъ періодѣ) подверглись большему развитію и какъ будто болѣе ясному освѣщенію. Старая и многоиспытанная рамка первоначальныхъ „сравнительно-историческихъ очерковъ“ еще расширилась. Ихъ замѣнитъ, быть можетъ, со временемъ обширное изслѣдованіе, съ инымъ планомъ. Они же достигли предѣла своей жизни. Пусть настоящее ихъ изданіе будетъ послѣднимъ, édition définitive.

1910.

Еще разъ, должно быть, суждено было настоящей книгѣ явиться въ свѣтъ. Жизнь показала, несмотря на глубокій и острый кризисъ, переживаемый традиціями нашего европеизма въ настоящую трагическую пору, что все еще есть потребность въ подобномъ обзорѣ и изслѣдованіи былыхъ завѣтовъ и вліяній западной культуры. Откликаясь на эту потребность, нарушаю свое рѣшеніе и зову къ новому выступленію книгу, считающую за собой уже внушительное прошлое, обновивъ и значительно дополнивъ ее для этой цѣли.

1916.

Обмѣнъ идей, образовъ, фабулъ, художественныхъ формъ между племенами и народностями цивилизованнаго міра—одно изъ важнѣйшихъ наблюденій сравнительно молодой еще историко-литературной науки. Постоянно подкрѣпляемое новыми сближеніями и параллелями изъ классической старины и новыхъ вѣковъ, изъ литературной жизни Востока и Запада, Европы и Азіи, славянства и романо-германскаго міра, оно становится однимъ изъ законовъ развитія художественнаго творчества. Самобытная сила извѣстнаго племени, встрѣчая на своемъ пути странствующіе по свѣту сказанія и миѳы, идеи и грезы, фабулы и бытовые мотивы, художественныя, творческія возбужденія и живые слѣды философскихъ, религіозныхъ, соціальныхъ исканій и ученій, усвоиваетъ ихъ, сливаетъ съ своимъ собственнымъ достояніемъ, иногда развивая ихъ пышнѣе прежняго и измѣняя до неузнаваемости. Заимствованіе могло произойти и непосредственно, отъ народа къ народу, и на разстояніи, когда явились посредники и передатчики, наконецъ, при отдаленіи не только въ пространствѣ, но и во времени, когда давно минувшее сильно подѣйствовало на умы еще не затронутаго имъ народа. Онъ, быть можетъ, поддался вліянію болѣе культурнаго племени, но въ свою очередь, когда настанетъ его время, онъ можетъ отвѣтить такимъ же вліяніемъ, такою же поддержкой. Этотъ круговоротъ идей и художественныхъ мотивовъ сближалъ народы искони и тѣмъ болѣе долженъ былъ усилиться въ послѣдніе два вѣка, когда надъ національною рознью все могущественнѣе поднималось общечеловѣческое культурное сліяніе и когда то, что создано и добыто было для общаго блага однимъ народомъ, все быстрѣе разносилось во всѣ концы міра. Историкъ отдѣльныхъ литературныхъ родовъ, повѣсти, драмы, лирики, изслѣдователь исторіи сюжетовъ (Stoffgeschichte), лѣтописецъ главнѣйшихъ школъ и направленій, энциклопедизма, романтизма, народничества, бытового реализма, литературныхъ отраженій соціализма, изслѣдователь „психологіи народовъ“, старающійся опредѣлить и характеризовать вклады каждаго племени въ общее движеніе человѣчества, неминуемо встрѣтятся съ вѣковѣчнымъ принципомъ обмѣна идей.

Европейская наука уже освоилась съ нимъ, смиряя часто ради него прежнія патріотически-одностороннія симпатіи, какъ сдѣлала это, наприм., французская наука о старинѣ, примирившаяся съ открытіями двухъ чужеземцевъ, итальянца Райны и датчанина Ниропа, которые доказали,

что французскій героическій эпосъ—германскаго происхожденія, и одинъ изъ выдающихся спеціалистовъ въ этой области, Гастонъ Парисъ, не затруднился заявить, какъ основное свое убѣжденіе, „что, восходя въ глубь древнѣйшей поры французской литературы, мы всегда найдемъ вмѣсто обособленнаго развитія необыкновенное множество чужеземныхъ зародышей самаго разнообразнаго происхожденія, заимствованныхъ, усвоенныхъ, превращенныхъ", и что именно „благодаря этому притоку элементовъ въ ея внутреннюю жизнь, во французской литературѣ развилась сила, настолько могущественная и величавая, что она могла сгруппировать вокругъ себя всю Европу"... [1]). Въ самомъ фактѣ заимствованія пріучились видѣть не позоръ, не рабство, не безличность, а свободное пользованіе правомъ культурнаго дѣятеля, получившее психологическое оправданіе въ такихъ трудахъ, какъ книга Тарда о „Законахъ подражанія", прослѣженнаго авторомъ во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности, общественной, политической, научной, художественной [2]). Если у народа есть жизненная сила, вліянія и заимствованія не только не убьютъ въ немъ самостоятельности, но вызовутъ эту силу на свободное состязаніе, а для народа неопытнаго, отставшаго, послужатъ школой, въ которой окрѣпнетъ его самодѣятельность. Gaston Paris мѣтко прилагаетъ къ умственной жизни народовъ принципы свободной торговли, гдѣ „чѣмъ больше ввозишь, тѣмъ болѣе имѣешь шансовъ вывезти", совсѣмъ въ духѣ старой поговорки Панурга у Рабле: „Empruntez pour qu'on vous emprunte".

И результатомъ признанія закономѣрности литературнаго обмѣна явилась широко разрастающаяся литература всевозможныхъ изслѣдованій о взаимномъ вліяніи однѣхъ европейскихъ литературъ на другія. Общеевропейское вліяніе на англійскую литературу [3]),—вліяніе нѣмецкой словесности на литературы всѣхъ народовъ Европы, въ частности на французскую [4]),—итальянской на нѣмецкую, англійскую, испанскую, французскую [5]),—испанской на французскую, англійскую и

---

1) La poésie au moyen âge, leçons et lectures; deuxième série. 1895. X.

2) Les lois de l'imitation; въ русскомъ переводѣ изд. г. Павленковымъ. Спб., 1892.

3) Tucker. The foreign debt of english literature. London, 1907.

4) Weddigen. Geschichte der Einwirkungen der deutschen Liter. auf die Lit. der übrigen europ. Kulturvölker der Neuzeit. Leipz. 1882.—Süpfle. Gesch. des deutsch. Kultureinflusses auf Frankreich.—Ch. Joret. Des rapports intellectuels entre la France et l'Allemagne avant 1789.—Fritz Meissner. Der Einfl. deutschen Geistes auf die franz. Literat. des 19. Jahrhund. Leipz., 1893.—Herford. Studies in the literary relations of England and Germany in the 16. cent. 1886.—О вліяніи на новѣйшую англійскую словесность статья Thomas Sergeant Perry, Atlantic Monthly, 1877.—О вліяніи нѣмецкой и французской литературъ одной на другую—Virgile Rossel. Histoire des relations littéraires entre la France et l'Allemagne, 1897.

5) Alfred v. Reumont. Delle relazioni della letteratura italiana con quella di Germania. Firenze, 1853.—Ross Murray. The influence of italian upon engl. liter. during the 16 and 17 cent. Cambridge, 1886.—Henri Hauvette. Les relations littér. de la France et de l'Italie, Annales de l'université de Grenoble, 1895.—Rathéry. Influence de l'Italie sur les lettres fr., 1855.—Sanvisenti. I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla letter. spagnuola. Milano, 1902.—Lewis Einstein. The italian renaissance in England. New-York, 1902.—Carlo Del Balzo, L'Italia nella letteratura francese, 1905—7.

нѣмецкую [1]),—англійской на французскую, итальянскую и нѣмецкую [2]),—французской на нѣмецкую [3]) и англійскую [4]),—скандинавской на англійскую и итальянскую [5]),—нѣмецкой на чешскую [6]) и т. д.—изслѣдовано иногда съ необыкновенною обстоятельностью [7]); изучается исторія вліянія отдѣльныхъ школъ, направленій, выдающихся писателей [8]), тогда какъ множество статей, посвященныхъ или новѣйшему вліянію русской беллетристики на европейскую или увлеченію запада скандинавской литературой, получившему прозвище septentrionalisme'a, является подготовительной работой для будущихъ научныхъ изслѣдованій объ этомъ предметѣ, которыя обогатятъ лѣтопись обмѣна двумя любопытными главами.

Такая постановка вопроса не кажется оскорбительною для чьего бы то ни было патріотизма, унижающею самобытность и независимость національнаго начала. Самое начало это наука привыкла разлагать на части и изучать ихъ взаимодѣйствіе. Новѣйшій историкъ англійской

---

[1]) Morel-Fatio. Etudes sur l'Espagne, 1-re série, 1888.—Puibusque. Histoire comparée des lit. française et espagnole, 1841.—Farinelli. Deutschlands und Spaniens Beziehungen. Zeitschr. f. vergl. Liter. 1895. VIII.—Bertrand. Cervantes et le romantisme allemand, 1914.—Lanson. Etudes sur les rapports de la littér. franç. et de la litt esp. au XVIII s. Revue de l'hist. litt. de la France, 1897.—Underhill. Spanish litter. in the England of the Tudors, 1900.

[2]) Max Koch. Ueber die Beziehungen der engl. Liter. auf die deutsche des 18 Jahr.—Joseph Texte. J. J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme litteraire, 1895.—Cru. Diderot as a disciple of english thought, 1913.—Arturo Graf. Anglomania e influsso inglese in Italia nel secolo XVIII 1911.

[3]) Georg Steinhausen. Die Anfänge des französ. Literat.-und Kultureinfl. in Deutschland. Zeitschr. f. vergleich. Literaturgesch., 1894, 5—6 Heft.—Honegger. Kritische Gesch. des französ. Kultureinfl. in den letzten Jahrhunderten. B. 1875.—Louis Reynaud. Les origines de l'influence française en Allemagne. 1913.—Вопросъ о французскомъ вліяніи широко поставленъ и послѣдовательно изученъ былъ Ж. Текстомъ въ различныхъ отдѣлахъ Histoire de la litér. et de la langue française Пти де-Жюльвиля. По его слѣдамъ прошелъ впослѣдствіи Emile Haumant, выдѣлившій французское вліяніе на русскую культуру (La culture française en Russie, 1910), собравъ въ пестрой картинѣ многочисленные, иногда малоцѣнные факты, призванные показать французскія отраженія не только въ литературѣ, наукѣ, политикѣ, но и въ общественныхъ нравахъ, модахъ и т. п.

[4]) Upham. French influence in english literature. New-York, 1908.—Charlanne. L'influence française en Angleterre au XVII siècle. La vie sociale et littéraire. 1906.—Sidney Lee. The french Renaissance in England, 1910.

[5]) Frank Edgar Farley. Scandinavian influences in the english romantic movement. Boston, 1904.—Paul Hazard. Les premiers contacts des littératures du Nord avec l'esprit latin en Italie. Studien f. vergleich. Literaturgesch. 1909.

[6]) Murko. Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik. Graz, 1897.

[7]) Въ Германіи издана была съ *учебною цѣлью* графическая литературная таблица, показывающая вліяніе иноземныхъ литературъ на нѣмецкую. C. Flaischlein. Graphische Liter. Tafel, Die deut. Literat. und d. Einfluss fremder Literaturen auf ihren Verlauf v. Beginn einer schriftl. Ueberlieferung an bis heute. Stuttgart, Goschen, 1893.

[8]) Для вліянія Мольера—Gillet, Molière en Angleterre, 1913.—Toldo, L'oeuvre de Mol. et sa fortune en Italie. Turin, 1910. Для байроническаго вліянія—Maryan Zdziechowski. Byron i jego wiek. Kraków, 1894—97.—Алексѣй Веселовскій. Этюды о байронизмѣ (Этюды и характеристики, 4-е изд., 1912)—Estève, Byron et le romantisme français, 1907.—Simhart, L. Byrons Einfluss auf die italienische Literatur, 1909.—Guido Muoni. La fama del Byron e il byronismo in Italia, 1903. Для гетевскаго вліянія—Baldensperger, Goethe en France, 1904. Для вліянія Леопарди—N. Serban, Leopardi et la France, 1914.

литературы [1]) послѣдовательно разсматриваетъ три главные элемента: кельтскій, германскій, норманскій, составившіе собою англійскую національность, языкъ и литературу. Слишкомъ два столѣтія долженъ онъ отвести господству французской рѣчи и словесности, вызванному завоеваніемъ Англіи норманнами, анализировать и объяснять произведенія, писавшіяся туземцами на чужомъ языкѣ; онъ знаетъ, что отъ скрещиванія нѣсколькихъ даровитыхъ расъ, взаимно дополнявшихъ и поддерживавшихъ одна другую, сложилась послѣ долгаго творческаго процесса типическая, стойкая національность и сильная, яркая литература.

Въ такой странѣ, какъ Россія, гдѣ съ первыхъ дней исторіи уже обозначаются несравненно большая, чѣмъ въ Англіи, пестрота племенного состава, непрерывныя сношенія съ народностями азіатскаго востока, финскаго и скандинавскаго сѣвера, съ греческой культурой Византіи и нѣмецкой жизнью, съ бытомъ и творчествомъ славянства,—гдѣ три послѣднихъ столѣтія ушли на развитіе разнообразныхъ сношеній съ европейскимъ западомъ,—гдѣ, наконецъ, среди живущихъ совмѣстно племенъ постоянно приходятъ въ соприкосновеніе различные оттѣнки культуры и уровни литературнаго творчества,—вопросъ объ обмѣнѣ долженъ былъ бы, казалось, считаться безспорнымъ, естественнымъ, обезпечившимъ себѣ мѣсто въ наукѣ. На дѣлѣ этого не было до новѣйшаго времени многія частныя наблюденія и замѣчанія, неизбѣжныя при сколько-нибудь толковомъ изученіи литературной исторіи, не сводились воедино, не обобщались съ научною цѣлью.

Въ самомъ началѣ 19 столѣтія, съ каѳедры только что открытаго дерптскаго университета слышится рѣчь одного изъ мѣстныхъ ученыхъ [2]),—первое категорически сдѣланное заявленіе о важности западнаго вліянія на русскую литературу. Но это—только актовая рѣчь, сказанная по случаю открытія университета, и притомъ не спеціалистомъ по литературѣ, а историкомъ. Въ ней замѣтно искреннее уваженіе пріѣзжаго изъ Германіи эрудита къ русскому народу, побѣдившему предразсудокъ и предубѣжденіе иностранца своею способностью къ развитію (Bildsamkeit) и самостоятельною разработкой заимствованнаго, но фактовъ и указаній немного. Потомъ проходятъ десятилѣтіе за десятилѣтіемъ, разгорается споръ западниковъ съ славянофилами, но ни одного своднаго труда, обобщающаго то, что въ отдѣльности заявлялось въ критическихъ статьяхъ и среди возбужденія полемики, не было предпринято. 1857 годъ, когда появился юношескій, но поразительный по глубокой эрудиціи и до сихъ поръ сохранившій авторитетное значеніе трудъ А. Н. Пыпина „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ повѣстей и сказокъ русскихъ“, сталъ эрой, съ которой идетъ лѣтоисчисленіе въ научной разработкѣ вопроса объ обмѣнѣ, получившаго въ названномъ

---

[1]) Jusserand. Histoire littéraire du peuple anglais, 1895.

[2]) G. E. Pöschmann, Ueber den Einfluss der abendländischen Kultur auf Russland. Dorpat, 1802. Не лишено интереса то обстоятельство, что одно изъ новѣйшихъ заявленій по данному вопросу исходило изъ того же университета (Е. Шмурло. Востокъ и западъ въ русской исторіи. Ученыя записки Юрьевскаго универс. 1895, III).

трудѣ сразу широкое примѣненіе: западное, восточное, славянское вліяніе одинаково стали предметомъ изученія молодого ученаго. Такой блестящій починъ послужилъ стимуломъ къ изысканіямъ; со временемъ русская наука дожила и до школы, специально посвятившей себя изслѣдованію восточнаго вліянія на русской эпосъ (Стасовъ, Всев. Миллеръ, Потанинъ, Колмачевскій), и до группы ученыхъ, раскрывавшей литературное, книжное (преимущественно западно-европейское) вліяніе на былину, сказку, духовный стихъ, легенду (Александръ Веселовскій, Ягичъ, Ждановъ, Кирпичниковъ), до изслѣдователей финскаго вліянія на русскую народную поэзію, наконецъ до усердныхъ византинистовъ. Съ изысканіями такого рода большинство какъ будто уже свыклось, быть можетъ, не отдавая себѣ вполнѣ отчета въ томъ, что объединенные результаты этихъ работъ произведутъ немалое опустошеніе въ мирныхъ садахъ древней нашей словесности, гдѣ царствовала еще недавно такая тишь и благодать, и что со многими красивыми преданіями и quasi-учеными миѳами придется навсегда разстаться. Но, когда рѣчь заходитъ объ изслѣдованіи чужеземнаго вліянія на *новую* русскую словесность, и когда принимается въ расчетъ именно вліяніе *западно-европейское*, все еще слышатся ропотъ и протесты,—точно это понятіе тождественно съ вредоноснымъ, губительнымъ началомъ, которому слѣдуетъ приписать многія изъ нашихъ золъ и пороковъ. И въ то время, какъ въ здравой и безпристрастной наукѣ, да постепенно и въ обществѣ, укореняется убѣжденіе, что безъ сравнительно-историческаго изученія европейскихъ литературъ и русской словесности нельзя ни объяснить явленій ея, ни опредѣлить границъ самостоятельнаго творчества[1]), держится охранительное предубѣжденіе, враждебное и нетерпимое.

Если въ принципѣ междуплеменный обмѣнъ признанъ несомнѣннымъ, должно казаться необъяснимымъ нежеланіе узнать такую же правду о западномъ вліяніи, какъ и о восточномъ, славянскомъ, византійскомъ.

Не географическій же терминъ страшитъ и возмущаетъ,—вѣдь если бы за западнымъ нашимъ рубежомъ разстилались необозримыя степи, и оттуда неслась къ намъ унылая пѣсня кочевника или аскетическая буддійская притча, противъ перехода ихъ въ русское народное достояніе никто бы не высказался. Но историческая судьба народа нашего такъ сложилась, что въ главныхъ, существенныхъ своихъ чертахъ понятіе о *западномъ* вліяніи слилось съ болѣе опаснымъ синонимомъ *просвѣтительнаго* и *освобождающаго* вліянія. Всему свое мѣсто и оправданіе, и „свѣту съ востока“ и „свѣту съ сѣвера“, засіявшему будто бы для Европы восьмнадцатаго вѣка изъ екатерининскаго Петербурга; „свѣтъ съ запада“, искрящійся и сверкающій во множествѣ подлинныхъ фактовъ нашей литературной исторіи, слишкомъ замѣтенъ, чтобъ его можно было игнорировать. Но этотъ яркій свѣтъ невыносимъ, неудобенъ—и

[1]) „Изолированное изученіе той или другой литературы въ отдѣльности, нѣмецкой, французской или русской, стало рѣшительно немыслимо“, говорилъ еще въ 1874 г. Ѳ. И. Буслаевъ во вступленіи къ статьѣ „Перехожія повѣсти“ (Мои досуги, II, 1886, 262).

для тѣхъ, чьи глаза привыкли къ полутьмѣ, и для ревнителей безусловной самобытности, и для враговъ свободной мысли, охраняющихъ „вѣковые устои“, и для рьяныхъ соперниковъ европейскаго просвѣщенія, которымъ хотѣлось бы самимъ поднять надъ человѣчествомъ свѣточъ и услышать чудную, ласкающую слухъ музыку стараго комплимента: „c'est du nord que nous vient la lumière“.

На томъ, кто, несмотря на всѣ эти предубѣжденія, говоритъ о западномъ вліяніи, исторически обозрѣвая его изъ вѣка въ вѣкъ, лежитъ прежде всего обязанность сосчитаться съ встрѣчнымъ мнѣніемъ и разъ навсегда объясниться, хотя бы пришлось разъяснять элементарныя истины.

Указывать съ помощью фактовъ, которыхъ ничѣмъ нельзя изгладить изъ исторіи, на важность западнаго вліянія *не значитъ* отрицать самодѣятельность народную; жалокъ, ничтоженъ былъ бы тотъ народъ, который, не умѣя найти ни *своихъ* словъ, ни *своихъ* мыслей, вѣчно слѣдилъ бы за чужою указкой. Это *значитъ* изучать постепенное развитіе, подъ воздѣйствіемъ опытныхъ чужеземныхъ силъ, самодѣятельной національной работы. Это *значитъ* также подвести ей точные итоги, отдѣлить свое отъ чужого, творческое отъ подражательнаго, скорѣе сузить кругъ своего національнаго богатства, чѣмъ съ хвастливой гордостью видѣть его всюду, гдѣ только живая русская рѣчь облеклась въ художественныя формы, и бороться противъ того самовосхваленія, того идолопоклонства, которымъ попрекнулъ нашу литературу еще Бѣлинскій. Это *не значитъ* пытаться парализовать энергію и стремленіе впередъ, къ полноправности и равенству съ другими культурными народами, но, наоборотъ, *значитъ* вести къ этой цѣли, внушать бодрость, духъ неутомимой работы, сознаніе, что свѣтлое будущее вовсе еще не близко, привѣтствовать каждый нашъ вкладъ въ общечеловѣческую литературу, каждый фактъ начинающагося вліянія нашего творчества на нее, но вмѣстѣ съ тѣмъ напоминать, что первенствующее, руководящее и „самодовлѣющее“ значеніе нельзя себѣ приписать, но что его нужно заслужить...

А теперь—за дѣло! Profession de foi, вызванное случайнымъ или умышленнымъ непониманіемъ, высказано; этимъ добыта свобода научнаго разсмотрѣнія вопроса по существу,—sine ira можно приступить къ самому повѣствованію. Въ немъ хотѣлось бы исчерпать вопросъ, охватить всѣ, и положительные, и бѣглые, поверхностные, и подчасъ даже отрицательные слѣды сближенія съ литературой и жизнью Европы, чтобы затѣмъ на этомъ фонѣ отчетливо опредѣлилось то, что въ точномъ смыслѣ слова заслуживаетъ имени западнаго *вліянія*. Думается, что это—поучительная страница изъ русской литературной и общественной исторіи и изъ лѣтописи общечеловѣческаго литературнаго обмѣна, въ которомъ, быть можетъ, теперь очередь за русскимъ народомъ.

I.

Вглядываясь пристальнѣе въ ходъ развитія нашихъ литературныхъ связей съ Европой, мы не можемъ не замѣтить двухъ характеристическихъ явленій, повторявшихся съ систематической правильностью. Съ одной стороны мы видимъ какъ бы волнообразное распространеніе идей, ученій и школъ, шедшее изъ умственныхъ центровъ запада, раньше и сильнѣе отражавшееся на болѣе близкихъ къ нимъ мѣстностяхъ и разбивавшееся въ мелкіе брызги у нашего берега. Такъ морская волна, надвигающаяся издали цѣлою водяной горой, обрушивается далеко отъ твердой земли и потомъ долго, мелкими змѣйками, все еще катится къ ногамъ человѣка. Быть можетъ, эффектнѣе было бы иной разъ встрѣтиться прямо лицомъ къ лицу съ могучимъ валомъ, но это подъ стать однѣмъ скаламъ, чья сила можетъ помѣриться съ приближающимся исполиномъ; чего же ожидать отъ равнинъ, отъ зыбучихъ песковъ!..

Зародившись подъ покровомъ живого движенія французской или англійской общественной мысли, то или другое ученіе находило, бывало, благопріятный пріемъ въ нѣмецкой, голландской, польской средѣ; когда еще дойдетъ оно до насъ, сохранитъ ли оно всю первоначальную силу, переданное изъ вторыхъ рукъ! Могутъ, конечно, сложиться благопріятныя обстоятельства, которыя какъ будто ослабятъ географическую отдаленность и перенесутъ сразу мысль, точно легкое сѣмя, черезъ огромное пространство. Но для этого необходимо всегда чье-нибудь особенно сильное, личное вмѣшательство, напримѣръ, увлеченіе энциклопедизмомъ у Екатерины II, въ раннюю пору; пересадка имѣла поэтому иногда характеръ тепличной культуры и замирала съ той минуты, когда лично заинтересованнаго двигателя не было болѣе въ живыхъ или онъ измѣнялъ завѣтному своему дѣлу, и возстановлялся обычный ходъ передачи идей.

Такъ это было у насъ до ближайшей къ намъ поры; и если теперь, съ каждымъ годомъ становится замѣтнѣе быстрота передачи литературныхъ, научныхъ и въ особенности общественныхъ движеній, то этому порядку вещей, строго говоря, никакъ не болѣе нѣсколькихъ десятилѣтій. Запоздалость окончательнаго упроченія нашей образованности при Петрѣ не могла бы одна объяснить этого явленія; можно бы ожидать, что на свѣжей русской почвѣ будетъ воспринято сразу *послѣднее* слово

мыслящей Европы и что затѣмъ русскій культурный человѣкъ будетъ стараться итти въ ногу съ своими учителями, хотя и сознавая, что иногда это ему не подъ силу. А между тѣмъ при Петрѣ у насъ увлекались Пуффендорфомъ, отжившимъ уже свой вѣкъ на родинѣ, переводили старомодныя, до-мольеровскія пьесы, читали Эразма и Юста Липсія; такъ это продолжалось потомъ до безконечности. Ложный классицизмъ явился у насъ тогда, когда на западѣ онъ былъ почти совершенно расшатанъ; сатирическая журналистика опоздала на полвѣка, Шиллера и Гете стали у насъ цѣнить, когда прошла добрая половина ихъ дѣятельности; Байрона мы узнали лишь за нѣсколько лѣтъ до его смерти. И вмѣстѣ съ тѣмъ каждый разъ степень интенсивности движенія ослаблялась по мѣрѣ передачи. Такъ просвѣтительное направленіе привело во Франціи къ политическому перевороту, въ Германіи оставило слѣдъ на идеалистическомъ поклоненіи свободѣ и братству, въ Россіи восьмнадцатаго вѣка дало всего больше пищу для либеральныхъ разговоровъ и гуманныхъ пожеланій. Сентиментальное англійское направленіе умѣло, несмотря на всю болѣзненность своего сочувствія къ людскимъ страданіямъ, дать сильный толчокъ развитію общественнаго романа: по слѣдамъ Ричардсона прошли и Руссо съ Новою Элоизой, и гетевскій Вертеръ, а въ нашей романической литературѣ сентиментальность прежде всего отразилась въ блѣдныхъ, чахлыхъ повѣстяхъ Карамзина. Эта медленность передачи, усиливаемая еще разновременными стараніями отдѣлить насъ китайской стѣною отъ запада, должна быть неизбѣжно принята въ расчетъ. Насколько очевидною становится необходимость сравнительнаго изученія нашей литературы, настолько же ясно, что это сравненіе должно въ большинствѣ случаевъ сближать эпохи разновременныя.

Второе наблюденіе коренится отчасти въ этомъ же законѣ. Вступая на ту часть пути, которая оставлена была нашими предшественниками, мы переживали затѣмъ тѣ же стадіи, черезъ которыя они сами проходили, и это совершалось не вслѣдствіе рабской подражательности, но въ силу нормальнаго хода народнаго развитія, повторяющагося при одинаковыхъ условіяхъ. За примѣрами не далеко ходить. Нѣмецкая литература въ концѣ семнадцатаго и началѣ восьмнадцатаго вѣка и состояніе самаго общества проникнуты были безличностью, слѣпымъ поклоненіемъ Франціи, модною манерностью и изломанностью пріемовъ; мало-по-малу пробивается что-то похожее на національное самосознаніе, крайняя галломанія поднимается на смѣхъ сатирой, комедіей, журналами, начинается проповѣдь обновленія, реформъ, поэзія стремится къ самостоятельности, зарождается критическое и философское движеніе, складывается новая нѣмецкая наука; и, руководясь всѣмъ, что было дѣйствительно живого и освобождающаго въ современной французской и англійской культурѣ, нѣмецкое умственное движеніе доходитъ наконецъ до полнаго расцвѣта въ классическій періодъ, блистающій именами Шиллеровъ, Гете и Кантовъ. Подставьте вмѣсто этихъ фактовъ общеизвѣстныя русскія данныя, начиная съ петровскаго времени до пушкинскаго періода, замѣните соотвѣтствующія имена нѣмецкихъ литератур-

ныхъ дѣятелей Кантемиромъ, Фонвизинымъ, Новиковымъ, Радищевымъ, Карамзинымъ, Державинымъ и т. д., и тотъ же процессъ постепеннаго исканія самостоятельныхъ путей окажется приложимымъ и къ намъ; онъ такъ же привелъ насъ отъ птиметровъ, осмѣянныхъ уже Кантемиромъ, и отъ бурсаковъ-виршеписцевъ къ проявленіямъ независимости и художественной силы; онъ такъ же останавливается у порога пушкинской эпохи, какъ въ Германіи онъ вводитъ въ преддверіе *Фауста* и *Донъ-Карлоса.* Вездѣ заимствованіе уступаетъ мѣсто усвоенію, ассимилированію, переработкѣ,—и, проникнутое народнымъ творческимъ духомъ, это сочетаніе туземнаго и пришлаго элементовъ становится цѣльнымъ и законченнымъ національнымъ достояніемъ.

Такъ развивалось наше общеніе съ западомъ, не остановившееся, несмотря на цѣлый рядъ препятствій. Мѣшалъ ему и слабый уровень образованности, долго не дававшій намъ усвоивать во всей полнотѣ умственныя движенія и размѣнивавшій ихъ на мелочь,—мѣшало и охранительное рвеніе многихъ представителей власти, Екатерины (во второй періодъ ея правленія), Павла, Николая,—повременное усиленіе въ обществѣ національной нетерпимости, отличавшее, напримѣръ, время войнъ съ Наполеономъ. Характеръ и размѣры сближенія порою колеблются и мѣняются; въ болѣе отдаленную пору оно опиралось на усилія отдѣльныхъ личностей; съ поры Петра оно входитъ въ правительственную программу; когда же въ концѣ 18-го вѣка слишкомъ рѣзко сказалась противоположность между словомъ и дѣломъ, между показнымъ, оффиціальнымъ либерализмомъ во французскомъ вкусѣ и дѣйствительностью, полною обузданій и закрѣпощеній всякаго рода,—руководство движеніемъ снова переходитъ къ частной иниціативѣ, чтобъ никогда болѣе не разставаться съ нею.

Непрерывное движеніе это, очевидно, одарено было большою жизненною силой, помогавшей одолѣвать препятствія и, усиливаясь и расширяясь, переходить изъ одного вѣка въ другой. Его корни все глубже проникали въ народную жизнь, потому что оно удовлетворяло не только личнымъ культурнымъ запросамъ, но и стремленію русской мысли къ умственному обмѣну съ другими народами, которое раскрывается теперь все яснѣе и въ нашей старинѣ. Если приходится признать, что уже въ древности наша народная мысль, по-мольеровски, prenait son bien où elle le trouvait, искала духовныхъ возбужденій всюду, гдѣ только могла встрѣтить силу и красоту творчества, воображенія, нравственной идеи, на азіатскомъ востокѣ, въ Византіи, у славянъ, на европейскомъ западѣ, то значительное накопленіе данныхъ позволяетъ отвести западному вліянію одно изъ видныхъ мѣстъ въ этомъ международномъ общеніи нашихъ предковъ [1]).

[1]) Первою спеціальной работой по этому предмету былъ рядъ статей проф. Н. Петрова „Вліяніе западно-европейск. литерат. на древне-русскую", Труды Кіевской духов. акад., 1872, апрѣль—августъ. Прекрасныя обобщенія многовѣковой исторіи вліянія Европы даны были въ статьѣ А. Н. Пыпина „Вопросъ о западномъ вліяніи въ русской литературѣ" [Вѣстн. Евр., 1896, окт.], вызванной вторымъ изданіемъ настоящей моей книги. Еще позже вопросъ объ иноземномъ вліяніи разсмотрѣнъ былъ П. Н. Милюковымъ въ „Очеркахъ по исторіи

Такимъ образомъ къ высказаннымъ уже общимъ наблюденіямъ надъ ходомъ нашего европеизма присоединяется и то, которое приводитъ къ признанію внушительной его давности, далеко отступающей вглубь отъ обычныхъ датъ петровскаго переворота и обязывающей прослѣдить эволюцію западничества до гласнаго его признанія на Руси.

Сжатый очеркъ его раннихъ судебъ долженъ явиться прологомъ къ исторіи западнаго вліянія въ новой литературѣ.

Надъ творчествомъ, мыслью и совѣстью русскаго человѣка еще господствовала культура Византіи и соперника ея, Востока, который передавалъ ему нѣсколькими путями (черезъ половцевъ, татаръ, кавказскихъ горцевъ) богатство своей фантазіи, а уже стали замѣтны одновременные отголоски далекой европейской жизни. На ряду съ народными любимцами, участниками всѣхъ замѣтныхъ событій въ народномъ быту, исполнителями былинной и обрядной поэзіи, скоморохами-туземцами, выходцами изъ Византіи или половецкими гудцами, являются представители нѣмецкихъ Fahrende Leute или Spielleute съ своими инструментами, пѣснями, играми и плясками. Разнообразные памятники рано отмѣтили этотъ приходъ къ намъ „шпильмановъ“ [1]), которые и „глумы творили“ („шпильманить“, по Кормчей 13 вѣка, значитъ „глумы дѣять“), и „играли“, и показывали маріонетокъ, являясь въ этомъ послѣднемъ случаѣ иниціаторами народныхъ сценическихъ представленій. Но если составъ исполнителей пѣсенъ былъ разноплеменнымъ, то и весь нашъ эпосъ, по мѣткому выраженію одного изъ его знатоковъ, „какъ всякій эпосъ культурнаго народа, былъ международнымъ“. Персоналъ нашего богатырства, въ который проникли, измѣнивъ свою внѣшность, иранцы Ростомъ, Кейкаусъ, монголъ Гэсеръ-ханъ, и выходцы изъ „Индіи богатыя“, разомкнулъ свои ряды для того, чтобъ принять въ свою среду щегольски одѣтаго, богатаго и красиваго Чурилу, въ которомъ находятъ оригинальныя черты иноземца, изъ тѣхъ захожихъ торговыхъ людей, которые заводили факторіи въ Кіевской Руси и Новгородѣ еще съ 11—12 вѣковъ, или, какъ генуэзцы южнаго берега Крыма, являлись къ намъ изъ „Сурожа“,—Соловья Будиміровича, обрусѣлаго героя переведенной съ польскаго западной повѣсти о королевичѣ Васильѣ Златовласомъ, когда-то (въ XV—XVI в.) популярной въ Новгородѣ [2]),—Полкана, одно изъ дѣйствующихъ лицъ (Pulicane) въ сказкѣ о Бовѣ, взятой изъ итальянскаго эпическаго сборника „Reali di Francia“, въ польскомъ пересказѣ.

русской культуры“, III, в. I, 1904; статья В. О. Ключевскаго „Западное вліяніе въ Россіи XVII вѣка“ (Вопросы Философіи и Психологіи, 1897, кн. 36, 38, 39; она вошла въ Курсъ рус. исторіи, III) спеціально останавливается на развитіи раскола, какъ отпора усиленію западныхъ религіозныхъ идей на Руси.

[1]) См. статью проф. Грота «О словѣ шпильманъ», Рус. Филол. Вѣстн. 1879,—ст. Бѣляева о скоморохахъ, Времен. Общ. Ист. и Древн., 1854; отдѣлъ о святочн. играхъ въ «Разысканіяхъ въ области рус. дух. стиха», Александра Веселовскаго, 1883, VI—X.

[2]) Всев. Миллеръ, „Къ былинамъ о Соловьѣ Будиміровичѣ“, Очерки русской народной словесности, М., 1897, I; повѣсть о Васильѣ издана И. А. Шляпкинымъ.

Онъ далъ проникнуть въ разсказы о буйствѣ и отвагѣ Васьки Буслаева чертамъ изъ странствующаго сказанія, типически развившагося въ легендахъ о Робертѣ-Дьяволѣ [1]), а въ пѣсни объ Алешѣ Поповичѣ отголоскамъ разсказа, легшаго въ основу новеллы Боккачьо о генуэзцѣ Бернабо и шекспировскаго „Цимбелина" [2]). Духовные стихи и легенды приняли въ свою среду рядъ темъ, разработанныхъ сказаніями и церковными гимнами латинскаго запада (стихи о женѣ милостивой, о распятіи и воскресеніи Христовѣ, „евангелистая пѣснь", стихъ о страшномъ судѣ, переложенный изъ гимна „dies irae, dies illa" и др.) [3]); въ привитую и нашей словесности группу сказаній о странствіяхъ по загробному міру, „видѣній", откровеній и хожденій по мукамъ на ряду съ восточными и греческими мотивами вносятся отголоски легендъ, получившихъ нѣкогда художественное примѣненіе въ Божественной Комедіи Данта,— а сродныя съ ними по темѣ „Прѣніе живота со смертью" и „Двоесловіе", при ближайшемъ изученіи, оказываются переводами нѣмецкихъ нравоучительныхъ діалоговъ, даже народной масляничной игры (Fastnachtspiel Nic. Mercatoris) [4]).

Въ разноплеменномъ составѣ народной сказки со всѣми обособленными наукой ея развѣтвленіями, наприм., тѣми порожденіями юмора, свободно освѣщающими даже церковныя преданія, поступки и рѣчи святыхъ, проходящихъ по землѣ среди житейской порочности и суетности, и т. д., которыя Аѳанасьевъ назвалъ „народными легендами", скрыто много мотивовъ западно-европейскаго происхожденія, зашедшихъ въ позднѣйшее время, но слитыхъ съ туземными сказками и переработанныхъ. Это—не варіаціи странствующихъ сказаній, а прямые отголоски чего-то прочитаннаго, полюбившагося и усвоеннаго. Тутъ и отзвуки новеллы Боккачіева Декамерона, превратившейся въ малорусскій „народный анекдотъ" (ловкость жены, увѣрившей мужа, что окно, въ которое онъ видѣлъ ея поцѣлуй съ москалемъ, заколдовано) [5]),—и мотивъ изъ „Римскихъ дѣяній", взятый потомъ изъ народной сказки въ первую редакцію гоголевскаго „Ревизора" [6]),—и сказка о „гордомъ богачѣ", основанная на новеллѣ изъ того же сборника, ставшей впослѣдствіи фономъ разсказа Гаршина, и волынское преданіе о „мелюзинахъ", полу-рыбахъ, полуженщинахъ [7]), и сходство сказки о Маркѣ Богатомъ съ западнымъ ска-

---

1) Ждановъ, „Русскій былевой эпосъ", Спб., 1895, стр. 355 и слѣд.

2) Александръ Веселовскій. Южно-русскія былины, 1884, глава XV.

3) А. И. Кирпичниковъ, Русск. духов. стихи (Истор. р. слов. Галахова, втор. изд., I т.); Веселовскій, Разыскан. въ области дух. стиха; А. Д. Карнѣевъ, Мелкія замѣтки о рус. дух. стихахъ. Журналъ Мин. Нар. Пр., 1892, VI.

4) Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи, И. Жданова. Кіевъ. 1881.

5) Аѳанасьевъ. Русскія народныя сказки. М., 1857, III, 98—9.

6) Неискусно навязанный Хлестакову разсказъ о происшествіи на постояломъ дворѣ, гдѣ онъ вкусно поужиналъ, увѣривъ на другой день своихъ спутниковъ, что видѣлъ, какъ ихъ увлекли въ загробное царство, и потому съѣлъ ихъ припасы и оставилъ ихъ безъ ѣды, находился въ «первой законченной редакціи Ревизора», напечатанной Н. С. Тихонравовымъ въ X изд. сочин. Гоголя.

7) Чубинскій. Труды этногр. экспедиціи, т. I, 209.

заніемъ, обработаннымъ впослѣдствіи Шиллеромъ въ его балладѣ „Der Gang nach dem Eisenhammer" [1]),—и дальнее эхо бойкаго фабльо, сказка о гостѣ Терентьищѣ съ ея скоромными прибаутками о женскомъ легкомысліи и притворствѣ [2]),—и блещущій юморомъ разсказъ о бражникѣ, спорящемъ зубъ за зубъ съ обитателями и привратникомъ рая, апостоломъ Петромъ, и подъ конецъ попадающемъ туда, разсказъ, родственный нѣмецкой сказкѣ „Der Schneider im Himmel" [3]),—тверская сказка о скоморохѣ и Тараскѣ, шуточная передѣлка распространеннаго въ Европѣ спора о вѣрахъ [4]),—русское сказочное переложеніе темы о „Корделіи-Замарашкѣ" [5]) и мн. друг. Въ этихъ бытовыхъ сказкахъ скрывается немало повѣствовательныхъ сюжетовъ, усвоенныхъ въ русской обстановкѣ иногда даже раньше того поворота въ исторіи нашей переводной повѣсти, который окончательно сблизилъ ее съ европейскимъ романомъ.

Новгородская окраина была однимъ изъ главныхъ проводниковъ европейскаго (нѣмецкаго и скандинавскаго) вліянія въ древнѣйшій періодъ. Она слишкомъ давно соприкасалась съ иноземцами, дала развиться нѣмецкой колоніи въ Новгородѣ, возникнуть наперекоръ рѣзкой оппозиціи стараго поколѣнія (выразившейся въ повѣсти „О построеніи варяжской божницы", съ небесной карой въ развязкѣ) нѣмецкой церкви среди Новгорода и русской на „готскомъ берегу", украшала храмы изящными образами и рѣзными вратами западной работы („Корсунскія" врата Софійскаго собора) и открыла возможность обмѣна мыслей между племенами. Здѣсь неудивительно встрѣтить слѣды живого общенія съ Западомъ. У грамотеевъ, или, по раннему новгородскому выраженію, „философовъ", устраивавшихъ публичныя состязанія и пренія о вѣрѣ, у стригольниковъ, въ ученіи которыхъ еще Тихонравовъ раскрылъ отраженія исповѣданія современныхъ имъ нѣмецкихъ „крестовыхъ братьевъ" („гейслеровъ") [6]), у позднѣйшихъ новгородскихъ и московскихъ сектантовъ („жидовствующихъ") замѣтно вліяніе западнаго раціонализма. Томимые вопросами и сомнѣніями, религіозные искатели нерѣдко уходили за рубежъ, въ Ливонію, и оттуда заносили послѣднія слова нѣмецкихъ ученій. Въ Ливоніи же получилъ образованіе будущій ревностный переводчикъ нѣмецкихъ и латинскихъ религіозно-полемическихъ сочиненій, сотрудникъ Геннадія и затѣмъ Максима Грека, посолъ въ Римѣ, пособникъ такихъ людей, какъ Павелъ Іовій или Герберштейнъ въ ихъ сочиненіяхъ о Россіи, Димитрій Герасимовъ. Но и въ центрѣ русской самобытности рано сказывается тяготѣніе къ новой культурѣ. Съ той поры, какъ старыя сношенія съ Ви-

---

[1]) Сумцовъ. Сказки и легенды о Маркѣ богатомъ. Этнографич. Обозрѣніе, 1887, I.

[2]) Пѣсни о гостѣ Терентьищѣ и родственныя имъ сказки, ст. Н. Сумцова. Этногр. Обозрѣніе, 1892, I.

[3]) Аѳанасьевъ. Народн. легенды, стр. 97. Памятники старинной русской литературы, изд. Костомарова и Пыпина, II, ст. 477—80.

[4]) Опыты по исторіи христіанской легенды, Александра Веселовскаго, глава VI.

[5]) «Корделія-Замарашка», литературно-критич. отрывокъ К. В. (Драгоманова), Вѣстн. Европы, 1884, XI. См. также статью «Два малорусскихъ фабло и ихъ источники», Вѣстн. Евр., 1887, VII.

[6]) Сочинен., I, 1898 (Отреченн. книги древн. Россіи).

зантіей, ставшей рабою мусульманъ, стали немыслимы, рано или поздно долженъ былъ обозначиться новый путь для культурныхъ заимствованій. Пусть вначалѣ они будутъ прикрыты старымъ византійскимъ флагомъ, и Москва увидитъ въ своей средѣ итальянскихъ зодчихъ въ свитѣ греческой царевны, все же флорентинскія башни и campanili возносятъ вскорѣ свои главы надъ безпорядочнымъ скопищемъ избушекъ столичнаго града. Свѣтъ и красота, земная яркая красота, проникаютъ въ заботливо охраняемое церковное искусство, пробуждая самостоятельную фантазію въ иконописцѣ, привыкшемъ къ безстрастной изможденности древнихъ ликовъ, или ставя передъ нимъ прекрасные итальянскіе образцы вмѣсто рутины старыхъ „подлинниковъ"; со временемъ Стоглаву придется строго запрещать это пагубное отступленіе отъ правовѣрія. Но все же Сильвестръ *заказывалъ* псковскимъ живописцамъ — Останѣ и Якушкѣ—копіи съ картинъ Чимабуэ и Перуджино...

Тотъ же свѣтъ проникъ и въ переводную повѣсть, единственную представительницу „изящной словесности". На смѣну византійско-восточной повѣсти съ ея притчами, аскетическими героями, баснословіемъ и богатырствомъ, начиная съ XVI вѣка къ намъ проникаетъ, сначала окольными и дальними путями (черезъ южныхъ славянъ,—Далмацію, Сербію), потомъ при посредничествѣ ревностной передатчицы всего западнаго, Польши, переводная повѣсть новой Европы во всѣхъ оттѣнкахъ и развѣтвленіяхъ. „Сербская Александрія" (обработка западной вѣтви сказаній объ Александрѣ Македонскомъ) и „Повѣсть объ индійскомъ царствѣ", варіація на любимую на западѣ тему о баснословной, благочестивой, сіяющей довольствомъ и счастьемъ странѣ пресвитера Іоанна, скрытой въ глубинѣ Азіи, являются во главѣ этого движенія. Затѣмъ идетъ рядъ юго-славянскихъ переводовъ или, какъ ихъ предлагали назвать, „славяно-романскихъ повѣстей" [1]),—„Троянскія дѣянія", „Тристанъ и Изольда", „Бова", „Аттила". Героизмъ и боевая отвага отступаютъ передъ любовью, страстью, культомъ красоты; тамъ, гдѣ сложился отталкивающій образъ „злой жены", какъ сосуда дьявольскаго, и заслонилъ собой все идеальное въ женскомъ характерѣ, начинается возрожденіе, реабилитація женщины. „Елена прекрасная" очаровываетъ боговъ и героевъ, и изъ-за нея гибнутъ народы и славные мужи; Тристанъ (или Трыщанъ по правописанію переводчика-бѣлорусса) и Изольда, вкусивъ волшебнаго любовнаго напитка, „почали гледѣти одинъ на другого и не мыслили ни о комъ, только о себе"; „я тебе милую изъ сердца", говоритъ Трыщанъ и слышитъ въ отвѣтъ: „я не милую ни одное рѣчи на свѣте якъ тебе, а ни даи Богъ поки буду жива". Съ этой минуты ихъ любовь неразрывна до самой смерти. „Нѣтъ того рыцэра, который бы поднялъ только муки для милости (любви), колко Трыщанъ",—но Бова достойный его сверстникъ по несчастьямъ, и опасностямъ, по силѣ и вѣрности любви. Повѣсть прививала новыя понятія о рыцарствѣ и служеніи дамѣ; мелькаютъ

[1]) Къ исторіи романа и повѣсти, Александра Веселовскаго. Сборникъ Отд. рус. яз. и слов. Акад. Наукъ, 1888, вып. II.

обветшавшіе на западѣ, но новые для насъ образы рыцарей Круглаго стола, обычаи турнировъ („турнаевъ"), понятіе объ утонченной courtoisie, далеко оставившей за собой „вѣжество" Добрыни Никитича и неумѣло передаваемой словомъ „дворность". Несмотря на трудно стирающійся французскій, бретонскій или даже итальянскій колоритъ сказанія, оно главными своими чертами глубоко входитъ въ народъ; мечъ Бовы „clarenzia" становится мечомъ-*кладенцомъ* нашихъ сказокъ и пѣсенъ; Pulicane, рожденный „отъ пса и жены", превращается въ Полкана; презрительное прозвище Блондои, — meretrix, стало собственнымъ именемъ (Милитриса),—и старая итальянская повѣсть (до сихъ поръ еще ходячая въ Италии народная книжка) становится со временемъ одною изъ любимѣйшихъ русскихъ сказокъ.

Первыя путешествія русскихъ людей на западъ, относящіяся къ тому же времени, полны удивленія при видѣ далеко подвинувшейся впередъ культуры. Спутниковъ митрополита Исидора, Авраамія и Симеона суздальскихъ, въ путешествіи на флорентинскій соборъ не возмутили свободнымъ отношеніемъ къ святынѣ, а сильно заинтересовали драма Feo Belcari о Благовѣщеніи, исполненная въ монастырѣ св. Марка во Флоренціи, и мистерія о Вознесеніи; въ ихъ разсказахъ,—первомъ отчетѣ русскаго человѣка о европейскомъ театрѣ,—чувствуется уже въ раннюю эпоху (1438) симпатія къ важному и полезному дѣлу. „Елико можахомъ своимъ малоуміемъ вмѣстити, написахомъ противу тому видѣнію,—говорилъ восхищенный очевидецъ,—иного-же не мощно и списати, зане пречюдно есть и отнюдь несказанно" [1]). Италія временъ Возрожденія, въ особенности Феррара, Венеція, Флоренція, охватила пріѣзжихъ сѣверянъ своей красотой, свѣтомъ и умственнымъ возбужденіемъ, оставивъ далеко позади первыя ихъ впечатлѣнія, нѣмецкую зажиточность и домовитость, величавость готическаго зодчества, чудеса Альпъ и снѣговыхъ вершинъ. Но полвѣка спустя Италія уже выслала къ намъ вслѣдъ за полу-итальянкой, родственницей герцога Феррарскаго, Софьей Палеологъ, цѣлую группу своихъ художниковъ и техниковъ, Аристотеля Фіоравенти (вывезеннаго изъ Венеціи спеціальнымъ посломъ Ивана, Толбузинымъ), Алевиза, Марка „Фрязина" съ его товарищами, Антономъ, Иваномъ и Петромъ, украсившихъ Москву и окрестность зданіями и храмами въ національномъ своемъ стилѣ [2]). Еще нѣсколько десятилѣтій, и Италія дала намъ одного изъ пропагандистовъ своего Возрожденія.

Пусть суровая проповѣдь Савонаролы отрезвила его отъ пылкихъ юныхъ грезъ объ античномъ мірѣ, Максимъ Грекъ навсегда сохранилъ любовь къ знанію, стремленія просвѣтителя и реформатора, способнаго пробуждать массы. Таково именно его значеніе, несмотря на спеціально греческія симпатіи, политико-религіозные планы и на своеобразныя вспышки консерватизма. Съ свѣтлыми воспоминаніями объ Италіи и ея

---

[1]) Андрей Поповъ. Обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочин. противъ латинянъ, 1875, 400—406. Alexand. Wesselofsky. Italienische Mysterien in einem russischen Reisebericht des XV Jahrhunderts. Russische Revue, 1876.

[2]) Объ ихъ художественной дѣятельности: И. Забѣлинъ. Исторія города Москвы, 1907.

культурѣ (особенно о „Флоренціи градѣ, прекраснѣйшемъ и предобрѣйшемъ сущихъ въ Италіи градовъ“), которой онъ обязанъ своимъ развитіемъ, объ изученіи Виргилія, Аристофана, Тацита и мірскихъ („внѣшнихъ“) мудрецовъ современности, но и о своихъ личныхъ связяхъ съ такими новыми людьми, какъ поэтъ Анджело Полиціано или первопечатникъ Альдо Мануччи (образцы его изящныхъ изданій онъ привезъ съ собой въ Москву), съ вкусами и привычками гуманистовъ, съ необыкновеннымъ сочувствіемъ свободѣ и общедоступности высшаго образованія во Франціи, гдѣ (въ основанномъ Францискомъ I Collège royal) „отъ философскихъ и богословскихъ догматѣхъ наказаніе и тщаніе туне подаема *всѣмъ вкупѣ рачителемъ сицевыхъ изрядныхъ ученій*“ (Курбскій, близкій къ Максиму, утверждаетъ, что онъ самъ воспользовался этими благами), съ ликованіемъ по поводу великихъ географическихъ открытій и другихъ научныхъ побѣдъ новаго времени, приходитъ онъ къ намъ. Его пропаганда, слѣдившая въ сотняхъ произведеній за злобой дня, будила умы горячностью просвѣтительнаго увлеченія. То она подвинетъ на созывъ собора, то пристыдитъ невѣжествомъ и покажетъ преимущества образованія на западѣ, то упрочитъ такое великое дѣло, какъ введеніе типографскаго искусства—одинъ изъ важнѣйшихъ результатовъ западнаго вліянія на Русь XVI вѣка, осуществленный, благодаря техническому мастерству учителей датчанъ (Миссенгейма), итальянцевъ или поляковъ и идеальному рвенію учениковъ-первопечатниковъ—прежде всего свѣтлой личности діакона Ивана Ѳедорова. Къ Максиму сходится кружокъ послѣдователей и единомышленниковъ, и онъ передаетъ имъ свои взгляды. Нечего бояться обновленія; „нельзя только мѣнять заповѣдей, обычаи же царскіе и земскіе перемѣнять слѣдуетъ, какъ лучше государству“. Онъ совѣтовалъ поощрять иностранцевъ, ссылался на „общій обычай всѣмъ человѣкомъ тщатися поити, идѣ-же слышитъ кождо живущее въ немъ художество словесно, или хитрость житейску въ чести мнозѣ быти“. Среди полемическихъ схватокъ и набѣговъ, направленныхъ то на сектантовъ, то на несмѣтно богатѣющее монашество, выдвигаются его смѣлыя обличенія соціальныхъ пороковъ, подкрѣпленныя сравненіемъ съ бытомъ польскимъ и нѣмецкимъ, подчиненнымъ не произволу, а твердой законности. Руководителямъ монастырской наживы онъ говорилъ о своемъ незабвенномъ Савонаролѣ (чей образъ, въ моментъ горячей рѣчи съ каѳедры, въ вдохновенной импровизаціи, „правильно изливавшей струю учительную“, имъ мастерски очерченъ), невѣждъ корилъ примѣромъ всенародной высшей школы во Франціи, „державѣ великой и преславной, богатой всякими благами, изъ коихъ первое и высшее благоученіе богословское и философское, ради котораго стекаются въ Паризію всѣ желающіе словесныхъ художествъ“. Отвѣтомъ были доносы и клеветы, попытка избавиться отъ вольнодумца въ угарной монастырской келіи и троекратная ссылка. Но зароненныя мысли не пропали. Все шире развертывался во всемъ своемъ возбужденіи и разнообразіи шестнадцатый вѣкъ, пора перелома и для русской жизни и для запада Европы, пора Домостроя и первой типографіи,

Грознаго и Курбскаго, митрополита Макарія и рьяныхъ сектантовъ, національной исключительности и льготъ англичанамъ и нѣмцамъ.

Среди исканія новыхъ путей и постановки вопросовъ, выдвинутыхъ самою жизнью, слѣды вліянія Европы то и дѣло сказываются; такъ слышится оно, напр., въ оригинальной публицистикѣ сверстника Максима Грека, литовца Ивана Пересвѣтова, съ его теоріей деспотизма просвѣщеннаго, вводящаго широкія реформы, уничтожающаго рабство, стоящаго за справедливость и законность, и поучительными указаніями на польскую, чешскую, венгерскую культуру, съ ихъ европейскими основами. Въ наивномъ увлеченіи астрологической литературой, альманахами и магически-гадательными книгами, увлеченіи, которымъ такъ легко попрекать нашъ XVI вѣкъ, проявляется ищущій себѣ исхода интересъ къ природѣ. Одинъ изъ главныхъ признаковъ тревоги, возбужденной вторженіемъ новыхъ идей, Домострой, тщетно попытавшійся разукрасить наперекоръ имъ незыблемую дѣдовскую старину, выставленъ былъ старымъ поколѣніемъ охранителей, какъ противоядіе и панацея, но и самъ онъ не сталъ ли вполнѣ понятенъ и объяснимъ лишь съ тѣхъ поръ, какъ его сличили съ многочисленными западными Домостроями (Reggimento delle donne, Dottrina dello schiavo di Bari, Menagier de Paris и т. д.), которые хотя и отражали въ себѣ разнородные культурные элементы, но всегда выдвигались противниками улучшеній и свободы въ пору перелома?.. Жить „по Домострою", задыхаясь въ спертомъ воздухѣ кельи, не могли ни вся народная масса, ни высшіе ея слои; онъ остался тоскливымъ призывомъ назадъ, въ потемки прошлаго, способнымъ подѣйствовать на читателя-аскета, но уже не властнымъ надъ умами, почуявшими пробужденіе. Откуда набрался своего „вольнодумства" дьякъ Грознаго Висковатовъ, гдѣ научились любить стройность природы псковскій намѣстникъ Мисюрь Мунехинъ и бояринъ Ѳедоръ Карповъ, споривщій даже съ Максимомъ Грекомъ, обороняя отъ него звѣздную мудрость и естествознаніе, въ то же время независимый политическій мыслитель и „изнемогавшій умомъ" искатель истины; кто внушилъ царскому живописцу Семену Ушакову и его другу „изографу" Іосифу благоговѣніе къ западной живописи; кто побѣдилъ недовѣрчивость Курбскаго къ европеизму и засадилъ строптиваго эмигранта за книги, „науки грамматическія, діалектическія и прочія", за латинскій языкъ, Аристотеля и т. д., для того, чтобъ онъ могъ не отстать отъ своихъ противниковъ-латинянъ въ учености; кто указалъ путь за рубежъ товарищу Курбскаго, Оболенскому, образовавшемуся въ краковской академіи и затѣмъ для усовершенствованія въ наукахъ съѣздившему въ Италію,—или родственнику Мих. Лыкова, „юношѣ зѣло прекрасному", который „былъ посланъ за море въ Ерманію, и тамъ навыкъ добрѣ алеманскому языку и писанію, ибо тамъ пребывалъ не мало лѣтъ, объѣздилъ всю нѣмецкую землю" и впослѣдствіи былъ казненъ Грознымъ [1]), — или сектантамъ Ѳеодосію Косому и Игнатію, перешедшимъ даже въ протестантизмъ,—безполезно было бы спрашивать.

[1]) Сказанія князя Курбскаго, изд. III, 1868 г., 93—4.

Иванъ Грозный требуетъ себѣ не послѣдняго мѣста въ ряду этихъ сторонниковъ сближенія съ западомъ. Его англоманство—одна изъ оригинальнѣйшихъ особенностей этой сложной натуры. Съ той поры, когда, посланный еще королемъ Эдуардомъ VI, явился въ Бѣломъ морѣ съ своими кораблями Ченслеръ и положилъ основаніе торговымъ связямъ обѣихъ странъ, руководимымъ англійской „московской компаніей“, и до послѣднихъ дней жизни царя, когда его съ болѣзненной неотвязчивостью занимала мысль о женитьбѣ на Мэри Хэстингсъ, „удѣльнаго князя дочери дѣвкѣ Марьѣ“, о свиданіи съ королевой Елизаветой, о политическомъ союзѣ съ нею, а въ приливы тяжкой мнительности и о бѣгствѣ въ Англію, идетъ рядъ оживленныхъ сношеній съ этою страной. Грознаго непріятно поразила политическая правоспособность англійскихъ гражданъ, ограничившая власть королевы („мы чаяли того,—писалъ онъ ей,—что ты сама на своемъ государствѣ и сама владѣешь,—ажно у тебя мимо тебѣ люди владѣютъ, и не токмо люди, а мужики торговые“) [1]), но онъ видимо цѣнилъ добрыя отношенія именно съ этой страной. Донесенія Ѳедора Писемскаго [2]) не только излагали ему ходъ дѣла о сватовствѣ, но описывали Англію, ея города, нравы, обычаи, государственный порядокъ,—Лундъ (Лондонъ), Ричмондъ, Виндзоръ, Грэвзендъ, придворныя кавалькады, катанья по Темзѣ, смотры флота, танцы „дворянъ королевниныхъ“ съ боярынями и дѣвицами, охоты на оленей, переговоры съ англійскими дипломатами, аудіенціи у королевы, „сестры любительной“ царя. Дѣловыя посольства въ ту же страну, въ родѣ самой ранней при Грозномъ поѣздки въ Лондонъ купца Непѣи, кончались вызовомъ въ Москву художниковъ, медиковъ и другихъ свѣдущихъ людей. Съ папскимъ Римомъ, съ Антропомъ (Антверпеномъ), куда посылались агенты къ мѣстнымъ „бурмистрамъ и ратманамъ“, съ Германіею, откуда еще въ дни молодости царя посланецъ его, саксонецъ Шлитте, вывезъ было цѣлый отрядъ разнообразныхъ спеціалистовъ (123 человѣка), не допущенный въ русскіе предѣлы стачкой нѣмецкихъ правительствъ, предпочитавшихъ эксплоатировать наше невѣжество, поддерживались постоянныя сношенія, въ эту раннюю пору уже предвѣщавшія петровскую политику европеизма. Сила назрѣвавшей культурной и политической необходимости влекла Ивана впередъ по этому пути, въ ливонскихъ войнахъ раскрывала ему возможность обезпечить себѣ выходъ къ морю и прорубить окно въ Европу, послѣ бѣшеныхъ оргій жестокости и произвола отрезвляла его для заботъ о внѣшней политикѣ, бесѣдъ съ послами, и передъ смертью его все еще манила мечтой о европейской роли его царства. Въ турнирѣ двухъ крутыхъ и непокорныхъ натуръ,—перепискѣ съ Курбскимъ,—сквозь ихъ старые, чисто-русскіе счеты вы-

[1]) Ю. Толстой, „Россія и Англія, 1553—1593“. 1875. Въ новѣйшее время исторія англійскихъ сношеній временъ Грознаго обогатилась благодаря работамъ г-жи Любименко по архивнымъ матеріаламъ Москвы, Лондона и Оксфорда, „Англійская торговая компанія въ Россіи въ XVI вѣкѣ“, Историч. Обозрѣніе, 1911.—The correspondance of queen Elizabeth with the russian czars. American Historical Review, 1914, IV.

[2]) Напеч. въ Сборн. Рус. Истор. Общ., томъ 38, 1883.

ИБЛИОТЕКА

ступаютъ черты западничества, у царя еще смутныя, въ догадкахъ и предчувствіяхъ, у эмигранта сознательныя, подкрѣпленныя усиленными занятіями подъ руководствомъ молодого ученаго „Амброжіа" и зрѣлищемъ окружающей его культуры, „идѣже нѣкоторые человѣцы обрѣтаются не токмо въ грамматическихъ и риторскихъ, но и въ діалектическихъ и философскихъ ученіяхъ искусные".

Тѣмъ временемъ на польско-русской окраинѣ все шире развивалась новая образованность, хоть и не чуждая схоластики, но полагавшая основы для живой литературной дѣятельности. Создавшіяся среди междуплеменнаго культурнаго состязанія, вызванныя къ жизни энергіею и выдержкой низшихъ слоевъ, мѣщанства, козачества, являясь рѣдкимъ примѣромъ русской общественной самопомощи, но для своей борьбы все же руководясь западными образцами, возникаютъ образовательные центры юго-западной Россіи, братства [1]), школы, коллегіи, типографіи. Въ школьной тиши Кіева задолго до Ломоносова зарождается искусственное, ложноклассическое стихотворство, складывается блѣдное подобіе драмы, формируется персоналъ писателей и педагоговъ для юга и для московской Руси на цѣлыхъ два вѣка, прививается наука, свѣтская и духовная, вносящая въ кругъ понятій народа и въ его языкъ множество новыхъ знаній, фактовъ, словъ. Ближайшій прототипъ ея—польская образованность, но позади виднѣется ея настоящая вдохновительница, европейская цивилизація и вѣковая педагогическая практика [2]). И подъ кровомъ этой школьной учености въ русскую литературу вскорѣ входитъ оживляющая стихія. Сценическія представленія кіевскихъ бурсаковъ, разносящихъ по Украйнѣ свои пьесы, надѣляютъ насъ впервые театромъ, и послѣ сдержанности и правовѣрія первоначальнаго репертуара настаетъ пора непринужденныхъ комическихъ вставокъ мѣстнаго производства въ серьезныя пьесы, бытовыхъ шуточныхъ сценъ, предшественницъ русской комедіи. Широко развивается литература переводовъ не только ученыхъ богословскихъ трактатовъ или популярно-научныхъ книгъ, въ родѣ знаменитаго Луцидарія, настоящей энциклопедіи естественныхъ наукъ и тайныхъ знаній, но и свѣтскихъ повѣстей всевозможныхъ оттѣнковъ и направленій. Починъ, сдѣланный „славяно-романскими повѣстями" предшествовавшаго вѣка, принесъ богатые плоды, и переводная повѣсть XVII-го столѣтія окончательно производитъ переворотъ во вкусахъ и взглядахъ русскаго читателя, высвобождая наконецъ мірское начало, страсть, любовь, смѣхъ, мечты, все, что было придавлено аскетизмомъ и чопорностью, все, что Домострой считалъ болѣзнями души. Въ польско-украинскомъ нарядѣ показались къ намъ граціозная фея Мелюзина съ

---

[1]) Г-жа А. Ефименко въ интересной работѣ о южно-русскихъ братствахъ (*Слово*, 1880 г.) указала весьма раннія и чисто національныя проявленія въ Малороссіи подобной организаціи союзовъ, все же признавая, что развитіемъ своимъ они обязаны западному вліянію.—Объ уцѣлѣвшихъ до нашего времени братствахъ ср. статью проф. Сумцова „Культурныя переживанія", Кіевская Старина, 1890, VI.

[2]) Статья проф. Н. Петрова „О словесныхъ наукахъ и литерат. занят. въ Кіевск. Акад.". Труды Кіевск. Д. Ак., 1866.

ея таинственнымъ превращеніемъ въ змѣйку, графъ Петръ Прованскій съ его вѣрной Магелоной („Петръ—Златые ключи"), королевичъ Брунцвигъ, всюду сопровождаемый его львомъ; влюбленныя пары, храбрые рыцари, трогательныя или потрясающія сцены. За ними появились разнообразныя, поучительныя и насмѣшливыя, полуисторическія и бытовыя сцены *Римскихъ Дѣяній* (до сорока повѣстей), пересказанныя по польской выборкѣ изъ этого всесвѣтно-знаменитаго сборника, способнаго и въ отдаленномъ потомствѣ вдохновлять Шекспира въ его *Лирѣ*, Лессинга въ *Натанѣ Мудромъ*, Вольтера въ *Задигѣ* [1]); горячія пререканія въ обветшавшей уже на западѣ, но для насъ все еще новой, *Повѣсти о семи мудрецахъ* между обоими полами, обогатившія вѣковѣчный споръ новыми, иногда истинно натуралистическими, подробностями; развеселый смѣхъ или карикатурныя тѣни *Фацецій*, которыми тѣшили себя когда-то на западѣ и профессіональные остроумцы типа Эйленшпигеля, и ученые въ родѣ Поджьо Брачьолини [2]),—французскіе *fabliaux*, басни, передѣланныя изъ Эзопа, и, наконецъ, отрывки изъ Боккачіева *Декамерона* [3]). Вся эта разнообразная беллетристика усвоивалась южно-русской читающей публикой, передавшей со временемъ свои новые вкусы, поддержанные внушительнымъ запасомъ переводныхъ рукописей, московскому міру. Съ запада черезъ Польшу и Кіевъ шли къ нему и наука, и повѣсть, и стихи, и гармоническое церковное пѣніе въ итальянскомъ вкусѣ съ нотной линейной системой Гвитонэ д'Ареццо, замѣнившей уродливыя полчища старинныхъ *крюковъ*,—и возраставшая терпимость къ земному, мірскому началу, признаніе законности болѣе свободныхъ формъ жизни и гуманныхъ нравственныхъ воззрѣній. Смутное время съ многолѣтними соприкосновеніями русскаго и польскаго народа, боевыми и мирными, съ продолжительной польской оккупаціей, съ европейскими симпатіями Годунова и полонофильствомъ перваго самозванца, съ появленіемъ на неприкосновенной еще недавно русской почвѣ всевозможныхъ выходцевъ,—шведовъ арміи Делагарди, французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, шотландцевъ (напр., предка Лермонтова) на царской службѣ,

---

1) Одинъ изъ источниковъ *Лира*, кромѣ кельтскаго народнаго сказанія, можно видѣть въ повѣсти объ императорѣ Ѳеодосіи, включенной и въ русскій переводъ *Римскихъ Дѣяній*. Основная идея *Натана* дана въ притчѣ о трехъ кольцахъ, развитой затѣмъ въ Декамеронѣ, *Задига*—въ „Прикладѣ о хитрости діаволстей и яко суды Божіи неиспытаны и скрыты суть".

2) Сборникъ Фацецій изданъ въ Памятн. Общ. Любит. Древн. Письменности, 1897 г.

3) Изъ Декамерона было переведено шесть новеллъ; наиболѣе выдающіяся изъ нихъ—„Повѣсть утѣшная о купцѣ, который заложился съ другомъ о добродѣтели жены своея" (у Боккачьо новелла девятая 2-го дня, о генуэзскомъ купцѣ Бернабо, одинъ изъ источниковъ шекспировскаго *Цимбелина*). Сказка, записанная въ наше время въ Бѣлозерскомъ краю, показала распространеніе этой новеллы въ народѣ,—„Сказки и пѣсни Бѣлоз. края", зап. Б. и Ю. Соколовы, Петроградъ, 1915) и новелла о Гисмондѣ и пажѣ ея отца, Гвискардѣ, вѣрныхъ любви до гроба, переработанная чуть не въ десяти итальянскихъ трагедіяхъ; затѣмъ идутъ непритязательныя и бойкія вещицы въ родѣ повѣсти „О женѣ, обольстившей мужа, якобы ввержеся въ кладезь" (которую Мольеръ обработалъ въ своей юношеской комедіи „La jalousie du barbouillé" и затѣмъ въ послѣднемъ актѣ „Жоржа Дандена"), о Маркѣ и Шпинелетѣ (Spineloccio), о Петрѣ, женѣ его Касандрѣ и слугѣ Николаѣ (передѣлка 7-й нов. VII дня), и о женѣ, посадившей гостя въ „полбочку".

должно было въ конецъ подорвать прежнюю исключительность, пріучить къ сравненіямъ съ чужою жизнью и культурой и повести къ новымъ заимствованіямъ, со временемъ уже обходившимся безъ промежуточной украинской или польской передаточной ступени.

Традиціи европейской политики Грознаго развились при Годуновѣ. Связи съ Англіей стали болѣе оживленными. Наблюдательный и смѣтливый посолъ Микулинъ еще полнѣе прежнихъ донесеній описалъ нравы, бытъ и политическій строй временъ Елизаветы, занося въ свой разсказъ, на ряду съ лондонскими уличными и придворными сценами, турниромъ, торжественной литургіей, выѣздомъ „лордъ-мэра и алдрамановъ", яркое изображеніе „великой смуты въ людяхъ, когда городъ заперли и улицы чепми замкнули, и люди учали ходити въ сбруѣ, въ доспѣхахъ и съ пищалями",—народнаго броженія, вызваннаго раскрытіемъ заговора Эссекса, его арестомъ и казнью [1]),—и въ его разсказѣ о гибели популярнаго вельможи, „который въ англійской землѣ и въ иныхъ государствахъ славенъ былъ и любимъ", прежняго баловня королевы и покровителя Шекспира, сквозитъ невольное сочувствіе. Дорога въ Англію такимъ образомъ была совсѣмъ проторена, и вскорѣ туда отправилась первая партія русскихъ молодыхъ людей (Микофорко Григорьевъ, Ѳѳонко Кожуховъ, Казаринко Давыдовъ, Ѳедька Костомаровъ) для изученія наукъ. Въ Любекъ поѣхала другая партія изъ пяти человѣкъ, во Францію шесть человѣкъ. Съ англійскимъ математикомъ Джономъ Ди (соединявшимъ—чего, конечно, не знали въ Москвѣ—съ своею спеціальностью великія познанія въ магіи, алхиміи и спиритизмѣ) [2]) завязаны были сношенія съ цѣлью выписать его для высшей школы, задуманной царемъ, для которой, по словамъ Бэра, вербовали ученыхъ и изъ другихъ странъ [3]). Венеціанцу Якову Алоизію Корнелію поручено было вызывать къ царю, гдѣ найдутся, „doctores sive eruditi variis scientiis et experientiis [4]).

Смѣнившая эти сборы къ просвѣтительной дѣятельности фантастическая интермедія, разыгравшаяся при самозванцѣ подъ звуки мазурки, бряцаніе шпоръ, любезныя рѣчи, театральныя игры, и нарядный церемоніалъ европейскаго дворика, остались также въ памяти у людей, скучавшихъ среди родного застоя и неподвижности и оцѣнившихъ въ переворотѣ главнымъ образомъ освобожденіе общественнаго быта. Такимъ поклонникамъ польской культуры, какъ князь Хворостининъ, авторъ

---

[1]) Донесеніе Микулина въ Сборн. Рус. Истор. Общ., т. 38; объ Эссексѣ стр. 337—340.

[2]) Carl Kiesewetter. John Dee, ein Spiritist des 16 Jahrhunderts, kulturgesch. Studie.

[3]) Соловьевъ указываетъ, напр., на хранящееся въ Моск. Г. Архивѣ Иностр. Дѣлъ письмо Тобіи Лонціуса къ Годунову, сообщающее о предложеніи, сдѣланномъ Лонціусу какимъ-то Крамеромъ, вступить на царскую службу въ виду открытія „школъ и университета". Истор. Рос., т. VIII, 505.—О посылкахъ молодыхъ людей: Арсеньевъ, Исторія посылки первыхъ русск. студентовъ за границу при Б. Годуновѣ, 1887; Пекарскій, Извѣстіе о молод. людяхъ, посланныхъ Годуновымъ въ Англію. Сборн. отдѣл. рус. яз. и слов. Академіи наукъ, I, 1867; кн. Н. Голицынъ, Научно-образовательныя сношенія Россіи съ Западомъ въ началѣ XVII вѣка (Чтенія Общ. Ист. и Древ., 1898).

[4]) В. Макушевъ. Monuments historiques des slaves méridionaux.—Ciampi, Bibliogr. critica delle antiche reciproche corrispondenze dell' Italia colla Russia ecc.

любопытныхъ воспоминаній о смутной порѣ, приходили вольнодумныя, даже пренебрежительныя ко всему родному, мысли; земляки кажутся ему „народомъ глупымъ“; ему „жить не съ кѣмъ“; онъ въ легкомысліи и горячности сближался съ Лжедмитріемъ, стремясь занять выдающуюся роль, при Василіи Шуйскомъ и затѣмъ послѣ воцаренія Михаила терпитъ ссылку, опалу, обыски, порывается бѣжать въ Литву или въ Римъ (что ему *совѣтуютъ* близкіе) и при новомъ режимѣ остается прежнимъ вольнодумцемъ: въ „книжкахъ своего сочиненія“ (какъ доносили царю) пишетъ „многія укоризны всякимъ людямъ московскаго государства“, часто излагая ихъ „на виршь“, т.-е. стихами, „держитъ у себя много книгъ латинскихъ „еретическихъ и много образовъ латинскаго письма“, царя называетъ „деспотомъ“, объясняя, что это—греческое названіе властителя [1]); въ память прежнихъ, особенно военныхъ, заслугъ онъ получаетъ прощеніе и, собирая воспоминанія и наблюденія за всю свою треволненную жизнь, совѣтуетъ [2]) современникамъ обратить серьезное вниманіе на поднятіе образованности и на воспитаніе новыхъ поколѣній. Взгляды Хворостинина („отдаленнаго духовнаго предка Чаадаева“) [3]) и другого такого же искателя культуры, боярина Головина, запиравшагося по цѣлымъ днямъ съ нѣмцемъ и полякомъ, которые приходили къ нему тайно, переодѣтые въ русское платье, и читавшаго съ ними ученыя латинскія и нѣмецкія книги [4]), служили выраженіемъ серьезной потребности, захватывавшей русское общество. Къ началу Смутнаго Времени въ немъ замѣтно лихорадочное безпокойство и нетерпѣніе,—когда же падетъ наконецъ стѣна, ограждающая русскихъ людей, какъ неразумныхъ малолѣтковъ, отъ цивилизованной жизни! Несмотря на суровыя мѣры противъ „отъѣздовъ“, особенно при Грозномъ, десятки недовольныхъ бѣгутъ въ Польшу, чья жизнь кажется не въ примѣръ свободнѣе. Если въ свое время, въ кружкѣ Максима Грека, Берсень Беклемишевъ предпочиталъ порядки султанской Турціи благочестивому строю московскому, то, спустя двадцать, тридцать лѣтъ, австрійскій посолъ Даніилъ Принцъ слышалъ уже *отъ многихъ* сѣтованія на то, что они ни сами съѣздить въ чужіе края, ни дѣтей туда послать не смѣютъ [5]). Еще сорокъ лѣтъ спустя, новгородцы выдвигаютъ кандидатуру въ русскіе цари сына шведскаго короля Карла IX, Карла Филиппа, и Пожарскій поддерживаетъ его [6]), а во время переговоровъ съ Жолкевскимъ объ устройствѣ избирательной монархіи, съ Владиславомъ на московскомъ престолѣ, однимъ изъ главныхъ условій является предоставленіе права русскимъ

[1]) Соловьевъ, Ист. Россіи, IX, 462—4. Платоновъ, Древне-русск. сказанія и повѣсти о смутномъ времени. Спб., 1888.—Повѣсть Хворостинина изд. въ Русск. Истор. Библіотекѣ, томъ XIII, 1891.

[2]) Изъ исторіи русск. литературы XVII вѣка. Сочиненіе о царствіи небесномъ и воспитаніи чадъ. 1893. (Памятники древней письменности.) Издатель памятника, Е. В. Пѣтуховъ, убѣдительно доказываетъ принадлежность его кн. Хворостинину.

[3]) Ключевскій, Курсъ рус. исторіи, III, 312.

[4]) Устряловъ, Сказанія современниковъ о Дм. Самозванцѣ, II, 55.

[5]) Путешествія Принца въ Чтен. Общ. Истор. и Древ., 1876.

[6]) Латкинъ, Земскіе соборы. 1885, стр. 120.

людямъ свободно ѣздить за границу для образовательныхъ цѣлей: „для науки вольно каждому изъ народа московскаго ѣздить въ другія государства христіанскія, кромѣ бусурманскихъ поганскихъ, и господарь отчинъ, имѣній и дворовъ у нихъ за то отнимать не будетъ“ [1]).

Въ категорически выраженномъ требованіи просвѣтительной свободы слышится наконецъ протестъ истомленнаго вѣковою опекой и охраной общественнаго мнѣнія. Съ этой поры ничто уже не остановитъ успѣховъ изученія запада. Сношенія не прерываются даже и при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, несмотря на охранительный и сдержанный тонъ его внутренней политики; снова снуютъ во всѣ концы Европы посольства, возникаютъ планы браковъ царя и великихъ княженъ съ членами иностранныхъ владѣтельныхъ семей; завязываются новыя торговыя связи [2]), выписываются свѣдущіе люди. Шотландецъ Менезесъ, посланный Алексѣемъ въ Римъ для переговоровъ о коалиціи противъ турокъ, выставляетъ съ очевиднымъ умысломъ „необычайные таланты, добродѣтели царя, его любознательность и *желаніе образовать и развить свой народъ*“ [3]). Послы привозятъ иногда странныя и грозныя вѣсти: въ Англіи король сдался парламенту; посла царя Алексѣя, Дохтурова, принимали въ одной палатѣ „бояре королевства“, въ другой „отъ всякихъ чиновъ выборные люди“, и бесѣдовалъ онъ не съ государемъ, а съ „рѣчникомъ“ (speaker'омъ). Эти свѣдѣнія возбудили сначала гнѣвъ царя, перерывъ сношеній, но затѣмъ, еще при Кромвелѣ, они возобновились. Оффиціально заказываемые переводы европейскихъ газетъ (курантовъ) слѣдили за злобой дня; размножившаяся литература „Космографій“ сообщала (правда, на ряду съ свѣдѣніями о землѣ дѣвической, т.-е. царствѣ амазонокъ, о Макарійскомъ островѣ или о „стеклянныхъ горахъ“) описаніе всѣхъ странъ и государствъ Европы, составленное по Гергарду Меркатору, Герберштейну и другимъ источникамъ [4]). Въ новую редакцію Хронографа вводится исторія главныхъ западныхъ странъ. За границей дѣлаются закупки всевозможныхъ книгъ, и Алексѣй Михайловичъ снабжаетъ напр. князя Рѣпнина, ѣдущаго въ Польшу, цѣлымъ спискомъ справочныхъ пособій, историческихъ и географическихъ книгъ, а дома содѣйствуетъ переводу сочиненій по военному дѣлу, математикѣ, географіи, исторіи [5]). Царь *заказываетъ* переводъ большого собранія повѣстей, на

---

[1]) Соловьевъ, Истор. Р., VIII, 297.

[2]) На побережьѣ Бѣлаго моря, наприм., съ Нидерландами; образованіе большой голландской торговой компаніи для русскаго экспорта—очень замѣтное явленіе въ экономической жизни того времени. Оно вмѣстѣ съ тѣмъ положило начало голландско-русскимъ отношеніямъ, столь важнымъ въ первую пору петровскаго царствованія. О нидерландской кліентурѣ правительства Мих. Ѳедоровича—М. Н. Покровскій, Русск. Исторія, III, кн. 5, 83—90, и статья В. Кордта, Сборн. Рус. Историч. Общества, т. 116.

[3]) Изъ письма друга Менезеса, аббата Скарлати (въ Record-office). Pierling, „Saxe et Moscou. Un médecin diplomate. Laurent Rinhuber“. 1893.

[4]) Сборникъ славянск. и русск. сочиненій и статей, внесенныхъ въ хронографы рус. редакціи. Андрея Попова, 1896.

[5]) Дѣятельность московскихъ переводчиковъ 17 вѣка библіографически описана А. И. Соболевскимъ, „Переводная литература московской Руси XIV—XVII вѣковъ“, Спб. 1903

западѣ устарѣвшаго, для нас тогда еще новаго,—*Великаго зерцала* [1]), оригинальной смѣси монашескихъ легендъ, аскетическихъ притчъ съ занимательными, романтическими сказаніями, совпадающими иногда съ повѣствованіями Боккачьо. Наконецъ онъ беретъ на себя почин въ устройствѣ свѣтскаго театра,—и это, конечно, одна изъ любопытнѣйшихъ страницъ въ исторіи допетровскаго западничества. „Статейные списки" русскихъ пословъ, начиная съ тридцатыхъ годовъ XVII-го вѣка, уже знакомили съ прелестями новаго европейскаго театра. Ѳедоръ Шереметевъ и Львовъ въ Польшѣ (видѣвшіе въ 1634 году потѣху, какъ приходилъ къ Іерусалиму ассирійскаго царя воевода Алафернъ и какъ Юдиѳь спасла Іерусалимъ), Лихачевъ во Флоренціи, Потемкинъ, въ 1668 году въ Парижѣ видѣвшій самого Мольера въ „Амфитріонѣ", накопили значительный запасъ свѣдѣній о театрѣ, содержаніи и постановкѣ пьесъ (въ особенности Лихачевъ, восхищенный спектаклями при дворѣ Фердинанда Медичи). Наконецъ въ Москвѣ, въ посольскомъ англійскомъ домѣ, на Покровкѣ, былъ устроенъ первый спектакль иностранцевъ-любителей у посла, графа Карлейля [2]). Подъ впечатлѣніемъ заманчивыхъ слуховъ у Алексѣя Михайловича является страстное желаніе испытать театральную иллюзію. Онъ хочетъ имѣть свою сцену въ Москвѣ, отправляетъ въ Курляндію, Пруссію и Швецію спеціальнаго посла, полковника Николая фанъ-Стадена, за свѣдущими въ устройствѣ театральнаго дѣла людьми; Стаденъ заводитъ, кромѣ того,—имѣя, вѣроятно, и на это полномочіе царя,—переговоры о вызовѣ въ Москву цѣлой труппы. Когда посольству не удается благодаря боязни знаменитаго въ то время въ Германіи сценическаго дѣятеля и реформатора театра Фельтена выполнить принятое имъ послѣ переговоровъ въ Ригѣ [3]) обязательство и пріѣхать въ Москву, театръ устраивается изъ мѣстныхъ элементовъ. Воспріемниками нашей свѣтской драмы являются нѣсколько иностранцевъ: нѣмецкій пасторъ Іоганнъ Готфридъ Грегори, главный двигатель дѣла,

(глава „Западное вліяніе на литературу моск. Руси XV—XVII в."). Составъ и выборъ переводовъ былъ очень разнообразенъ; мы встрѣчаемъ тутъ космографію Герг. Меркатора, Путешествіе Олеарія, отрывокъ изъ энциклопедіи Vincent de Beauvais „Speculum historiale", разсказъ о жизни и казни короля англійскаго Карла I, музыкальный учебникъ или „грамматику", Аргениду Барклая, аллегорическій латинскій романъ, полный сатирическихъ оцѣнокъ европейской жизни XVII вѣка.

[1]) Speculum Magnum, передѣланнаго іезуитомъ Іоанномъ Майеромъ въ первыхъ годахъ вѣка изъ первоначальной редакціи, конца XV столѣтія. О Велик. зерцалѣ—изслѣдованіе проф. Владимірова „Великое зерцало. Изъ исторіи русск. переводной литературы XVII вѣка", Чтенія въ Общ. Истор. н Др. 1883, и др.

[2]) La relation de trois ambassades de msgr. le comte de Carlisle, nouv. éd. revue et annot. par le prince Aug. Galitzin, p. 76.

[3]) Переговоры эти велись, кромѣ Фельтена, съ какимъ-то „Чарлусомъ", при чемъ оба они обязывались привезти 12 человѣкъ актеровъ. Joh. Bolte, Das Danziger Theater im 16 und 17 Jarh. Hamburg, 1895, с. 97, доказываетъ, что этотъ Чарлусъ былъ данцигскій и затѣмъ копенгагенскій антрепренеръ Карлъ Паульсенъ. Найденное недавно и напечатанное въ книгѣ С. Богоявленскаго письмо родственницы Паульсена, очень извѣстной тогда актрисы Анны Паульсенъ, изъ Копенгагена, къ фанъ-Стадену подтвердило фактъ этихъ сношеній. Датскій король не позволилъ Паульсенъ выѣхать.

запасшійся въ Германіи книгами по театру, по всей вѣроятности, какъ недавній студентъ, участвовавшій прежде въ любительскихъ спектакляхъ, и въ Москвѣ при лютеранскомъ училищѣ устроившій первую русскую театральную школу, гдѣ вмѣстѣ съ учителемъ Юріемъ Михайловымъ (Гювнеромъ?) онъ обучилъ шестьдесятъ четырехъ подростковъ-актеровъ, затѣмъ медикъ-дипломатъ Лаврентій Рингуберъ [1]), полковникъ фанъ-Стаденъ, выполнившій неожиданную для боевого служаки миссію театральнаго развѣдчика, молодой докторъ Блументростъ. И съ перваго спектакля (17 октября 1672 г., когда въ Преображенскомъ исполнено было „Артаксерксово дѣйство“ или „Есфирь“) устанавливается на цѣлое столѣтіе характеристическое вліяніе нѣмецкаго и, при его посредствѣ, общеевропейскаго театра на русскую сцену [2]). Оно помогло намъ рано освободиться отъ преобладанія мертворожденной школьной драмы и познакомило съ занимательнымъ для своего времени репертуаромъ странствовавшихъ по центральной Европѣ „англійскихъ комедіантовъ“ [3]); въ свободномъ переложеніи трагедіи Христофора Марло „Тамерланъ“ [4]) оно дало образецъ героической драмы шекспировскаго пошиба, а въ пьесѣ о Юдиѳи провело передъ зрителемъ сложный рядъ драматическихъ настроеній, отъ паѳоса Юдиѳи до разудалыхъ лагерныхъ нравовъ во вкусѣ „Wallensteins Lager“ и шутовства бойко очерченнаго „хвастливаго воина“ Сусакима съ его забавными рѣчами къ партеру. Первый свободно раздавшійся на московской сценѣ смѣхъ исходилъ отъ комическихъ дѣйствующихъ лицъ иноземнаго (голландскаго, нѣмецкаго) происхожденія,

---

[1]) О немъ—Relation du voyage en Russie fait en 1684 par Laurent Rinhuber. Berlin, 1883, и также книгу Пирлинга, Saxe et Moscou. Un médecin diplomate. Laurent Rinhuber. 1893.

[2]) Очеркъ этого вліянія сдѣланъ въ моей книгѣ „Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater“, Prag, 1876. Подробности о раннемъ періодѣ исторіи нашего театра—въ книгѣ „Die evangelische Ecclesia militans in Moskau vor zwei Jahrhunderten“, Berlin, 1865, въ статьѣ Н. С. Тихонравова „Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра“, въ „Исторіи рус. театра“ П. Морозова, въ „Geschichte der evangel. Gemeinde in Moskau“, пастора Фехнера, ч. I,—въ кн. Д. В. Цвѣтаева „Первыя нѣмецкія школы въ Москвѣ и основаніе придворн. нѣмецко-русскаго театра“, 1889, и „Протестантство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованія“, 1890,—въ матеріалахъ, собранныхъ С. К. Богоявленскимъ, „Московскій театръ при царяхъ Алексѣѣ и Петрѣ“, Чтен. въ Общ. Истор. и Древн. 1914, II,—въ „Исторіи рус. театра“ подъ ред. Каллаша и Эфроса, 1914, I.

[3]) Разысканія о дѣятельности этихъ популяризаторовъ англійской драмы на континентѣ показали, что они не разъ приближались къ предѣламъ русскаго міра; въ Польшѣ они бывали даже на королевской службѣ, напр., въ 1617 году. Англійскія имена двухъ изъ выписанныхъ актеровъ первой петровской труппы очевидно принадлежатъ отсталымъ членамъ какого-нибудь изъ кочевыхъ товариществъ. Кстати будетъ указать любопытную подробность. Покровитель англійскихъ актеровъ въ Германіи 17 вѣка ландграфъ Морицъ Гессенскій устроилъ однажды въ Шмалькальденѣ спектакль на шести языкахъ, въ томъ числѣ на славянскомъ (slavonisch). Deutsche Rundschau, 1886, VIII.

[4]) Между русскимъ „Темиръ-Аксаковымъ дѣйствомъ“ и пьесой Марло (точнѣе, первою ея частью) есть сходство лишь въ главныхъ чертахъ; нѣмецкій переводчикъ безцеремонно сократилъ оригиналъ. Подлинникъ этой нѣмецкой передѣлки утраченъ и неизвѣстенъ даже въ Германіи, такъ какъ, по мнѣнію спеціалистовъ, источникомъ пьесъ о Тамерланѣ, нерѣдкихъ въ Германіи 18-го вѣка, была гамбургская опера начала столѣтія. W. Kreizenach, Die Lustspiele der engl. Komödianten, стр. XXXIII.

удерживавшихъ часто у насъ свои домашнія клички (ихъ звали Пикельгерингомъ, Тэлпелемъ, т.-е. олухомъ, и т.-п.); затѣмъ стали возможны цѣлыя пьесы непринужденно шутовского характера („комедія о Бахусѣ и Венусѣ"); первыя *аріи*, вставленныя въ пьесы и пріучившія зрителя къ восхваленію любви и земныхъ радостей, были взяты изъ нѣмецкихъ Singspiele [1]); подобіе балета, видѣнное на придворной сценѣ Рейтенфельсомъ и шедшее въ разрѣзъ съ старымъ взглядомъ на пляску, какъ на потѣху бѣсовскую, было заимствовано изъ саксонской придворной пьесы объ Орфеѣ, передѣланной въ свою очередь изъ *Orfeo* итальянца Ринуччини [2]); его смѣнило устройство настоящихъ балетныхъ представленій, организованныхъ инженеромъ Николаемъ Лимомъ. Наивный восторгъ Алексѣя Михайловича во время перваго спектакля, щедрыя награды исполнителямъ, — даже пьесѣ, которую приказано было роскошно переплести,—почти четыре года развитія театральныхъ зрѣлищъ, вплоть до смерти ихъ покровителя, все это—характеристическіе признаки новаго времени.

За драмою и театромъ стали прививаться къ московскому быту XVII вѣка свѣтская поэзія и наука, сначала тѣсно соединенныя одною педагогическою системой. Если въ серединѣ XVI вѣка, по словамъ Коллинса, духовенству удалось добиться закрытія единственнаго учебнаго заведенія въ Москвѣ, гдѣ изучался между прочимъ латинскій языкъ, то столѣтіе спустя пришлось не только стерпѣть, что въ той же Москвѣ, на польско-кіевскій образецъ, основалась академія, но дѣлать видъ, что этотъ разсадникъ европейской учености приходится по сердцу, и выносить горячую пропаганду Симеона Полоцкаго, внушавшаго царю образовательную программу, совѣтуя „назидать" училища греческія, славянскія *и иныя*, умножать число „спудеовъ" (учениковъ), отыскивать „благоискусныхъ учителей". И ближайшій результатъ пропаганды Симеона,—дѣятельность его лучшаго ученика, широко начитаннаго латиниста Сильвестра Медвѣдева, соединившаго съ интересами къ западной наукѣ уваженіе къ отечественной словесности,—этотъ результатъ былъ примѣчателенъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ поколѣнія южно-русскихъ ученыхъ, приходившія на сѣверъ просвѣщать и терпѣть гоненія отъ туземныхъ обскурантовъ за свое просвѣтительство, перенесли въ московскую среду весь запасъ научныхъ знаній, краснорѣчія, ложноклассическаго стихотворства, драматургическихъ упражненій, которымъ они располагали, всю свою начитанность въ западной поэзіи, прорывающуюся внезапно какою-нибудь цитатой изъ Торквато Тассо и другихъ поэтовъ. Тамъ, гдѣ еще недавно на мнѣнія, сколько-нибудь независимыя и потому ка-

---

[1]) За столѣтіе передъ тѣмъ въ Азбуковникахъ слово *мусикія* объяснялось такимъ образомъ: „книжка, въ ней пишетъ пѣсни и кощуны бѣсовскія, ихъ же латины припѣваютъ къ мусикійскимъ органомъ согласію".

[2]) Съ легендой объ Орфеѣ русскій читатель могъ раньше познакомиться въ переводномъ хронографѣ, „писанномъ отъ римскіе кроники философомъ римскимъ Кондратомъ Ликостеномъ итальянцемъ" (Wolfhart'омъ), гдѣ одна изъ главъ говорила объ „Арфеусѣ игрецѣ".

завшіяся еретическими, умѣли отвѣчать только запрещеніями и проклятіями, гдѣ какъ огня боялись излишняго чтенія, потому что слабый человѣкъ можетъ легко зачитаться и лишиться разума [1]), нарождается полемика, опирающаяся на книжные авторитеты; тамъ, гдѣ пріобрѣтенный уже культурный лоскъ все еще исключалъ такую праздную работу, какъ пользованіе ритмическими свойствами языка, Симеонъ Полоцкій своими „метрами", элегіями, одами, далъ право гражданства поэзіи, ставъ на тотъ путь, который отъ него, черезъ Прокоповича, ведетъ къ Кантемиру и Ломоносову, и черезъ лириковъ екатерининской поры къ Пушкину и Лермонтову. А возлѣ не только оживлялась переводная повѣсть [2]), но создалось правдивое изображеніе русской дѣйствительности въ повѣстяхъ туземныхъ, къ сожалѣнію анонимныхъ, мастеровъ. Если старыя литературныя традиціи могли выставить печальный образъ удалого, высвобождающагося изъ дѣдовской жизни молодца, преслѣдуемаго Горемъ-Злосчастіемъ вплоть до монастырскихъ воротъ, то, сравнительно, была уже шагомъ впередъ мысль лишить бѣса-искусителя его традиціоннаго наряда, съ рогами и копытами, заставить его облечься въ одежду купеческаго сына и, подобно Мефистофелю, слѣдовать всюду за страстнымъ и скучающимъ Саввою Грудцынымъ, помогая ему и въ безумствахъ любви, и въ безконечныхъ похожденіяхъ по русскимъ городамъ и весямъ, и въ обученіи ратному дѣлу у нѣмца-инструктора, выставленнаго человѣкомъ гуманнымъ, и въ смѣлыхъ военныхъ подвигахъ во время смоленской осады. Но послѣ этой доморощенной варіаціи на всесвѣтную, странствующую тему о договорѣ человѣка съ дьяволомъ [3]), обезвреженной поучительной развязкой,—монашествомъ замоленнаго и раскаявшагося Фауста, — новая повѣсть, второй половины вѣка, уже рисовала живой типъ сутяги и ловкаго проходимца Фрола Скобѣева, никогда не унывающаго, одареннаго юморомъ, неистощимой изобрѣтательностью, талантомъ настоящаго лицедѣя-комика и пронырливаго притворщика, благодаря этимъ свойствамъ прокладывающаго себѣ путь къ богатству и почету въ благочинной средѣ дряхлаго барства [4]). Въ реализмѣ этихъ изображеній, въ бойкости сатиры, слышится вліяніе непринужденности, привитой

---

[1]) Въ дни Курбскаго по монастырямъ предостерегали отъ чтенія „книгъ многихъ", указывая на то, что „кто ума изступилъ, а онсица въ книгахъ зашелся, а онсица въ ересь впалъ". „И аще кому прилучится недугъ, отъ него же человѣкъ естественнаго смысла испадетъ, тоже прельщающе, глаголютъ: зашелся есть въ книгахъ" (посланіе старца Артемія).

[2]) Любопытнымъ показаніемъ развивавшагося изученія языковъ является открытый въ одной изъ городскихъ библіотекъ Вѣны академ. Ягичемъ рукописный нѣмецко-русскій словарь, составленный въ Москвѣ 17 вѣка, съ переводомъ не только словъ, но даже стихотворныхъ отрывковъ, при чемъ послѣдніе параллельно изложены по-англійски и по-голландски. Извѣс. Отд. рус. яз. Акад. Н. 1897, II.

[3]) Соприкасающаяся съ нею тема совѣщаній служителей сатаны о лучшихъ способахъ губить людей также обработана была въ переведенномъ очевидно съ нѣмецкаго въ концѣ 17 вѣка „Сужденіи дьявола противъ рода человѣческаго", издан. проф. Кирпичниковымъ въ „Памятн. древн. письм.", 1894 г.

[4]) Повѣсть о Скобѣевѣ, напеч. въ Москвитянинѣ 1853, и вмѣстѣ съ подборомъ другихъ образцовъ русской беллетристики ея періода воспроизведена въ сборникѣ В. Сиповскаго „Русскія повѣсти XVII—XVIII в." Спб., 1905.

ченіемъ шутливыхъ западныхъ повѣстей, создавшихъ въ Германіи особый оттѣнокъ такъ называемыхъ *Schelmen-Romane* [1]). Торжествующій плутъ, одураченная и покоренная имъ добродѣтель,—сколько смѣлости, грустной ироніи и „натурализма“ въ такомъ изображеніи настоящей, неподкрашенной жизни, за два вѣка предвѣщающемъ Чичикова!

Но добытыхъ успѣховъ было уже недостаточно. Вмѣстѣ съ оживленіемъ литературы и науки поднималась необходимость оживленія и преобразованія общественности. Не чувствуя себя въ силахъ терпѣливо выжидать постепеннаго хода улучшеній, молодежь рѣшалась покидать навсегда отечество, ища лучшаго строя жизни. Ее старались задерживать; по выраженію Котошихина, „для науки и обычая въ иныя государства дѣтей своихъ не посылали, страшась того, что, узнавъ тамошнихъ государствъ вѣры и обычаи, *и вольность благую*, начали-бъ свою вѣру отмѣтать и приставать къ инымъ и о возвращеніи къ домамъ своимъ никакого бы попеченія не имѣли“. Правительство Михаила Ѳеодоровича тщетно вызывало „русскихъ студентовъ“, посланныхъ Борисомъ Годуновымъ въ Англію, вернуться на родину; изъ доставленныхъ свѣдѣній видно, что они обжились въ англійскомъ обществѣ: одинъ сталъ пасторомъ, другой уѣхалъ служить въ Остъ-Индію и т. д. За ними слѣдуютъ новые эмигранты. Воспитанный поляками въ Псковѣ, владѣвшій нѣмецкимъ и латинскимъ языкомъ и математикой, бѣжитъ въ Германію, потомъ во Францію, гдѣ поселяется, молодой Воинъ Ординъ-Нащокинъ; Алексѣй Михайловичъ, находя возможнымъ утѣшать опечаленнаго отца и напоминая ему о правахъ молодости, отдающейся увлеченіямъ и исканію счастья („человѣку молодому захотѣлось посмотрѣть на міръ Божій и Его дѣла; онъ припомнитъ свое гнѣздо и скоро возвратится“), все же желалъ бы поймать и вернуть бѣглеца; въ случаѣ же упорства можно „извести его“... [2]). Въ припадкѣ меланхоліи и боязни царскаго гнѣва кончаетъ съ собой спутникъ Олеарія, Романчиковъ, совсѣмъ имъ плѣненный, перенимавшій его дивныя знанія и неспособный послѣ этого подглядывать за нимъ и доносить, какъ этого требовали отъ него. На западъ, въ Польшу, Германію, затѣмъ въ Швецію уходитъ отъ несправедливости, произвола и тьмы Котошихинъ, и въ шведскомъ его убѣжищѣ не только крѣпнутъ и опредѣленно формулируются, внушенныя опытомъ, мысли о необходимости преобразованій въ отечествѣ, и окончательно складывается (повидимому раньше того уже задуманная имъ) обширная обличительная картина русскихъ порядковъ, но изъ московскаго дьяка, которому судьба, казалось, опредѣлила „посѣдѣть въ приказахъ“, онъ становится искреннимъ приверженцемъ европеизма, „науки“ и „вольности благой“; эмигрантъ Котошихинъ (или Селицкій, какъ онъ называлъ себя въ Швеціи), выказавъ во время шведской своей дѣятель-

---

[1]) Въ одной изъ самыхъ бойкихъ сценъ „Скобѣева“,—сценѣ притворной болѣзни его жены,—есть отголоски странствующаго сказанія, легшаго, между прочимъ, въ основу старо-французскаго фарса о Пателенѣ, такомъ же пронырѣ и сутягѣ, какъ Скобѣевъ.

[2]) Эйнгорнъ, „Страница изъ біографіи Воина Ордина-Нащокина“, Вѣстн. Европы, 1897, II.

ности свойства рѣдкаго ума и яркія способности, перейдя въ Стокгольмѣ въ протестантство, изумилъ въ предсмертной бесѣдѣ пастора своей духовной силой.

Встрѣчное движеніе съ запада на Русь тѣмъ временемъ все усиливалось. Оно привело къ намъ такого чуткаго къ народности наблюдателя, какъ баккалавръ Оксфордскаго университета Ричардъ Джемсъ, записавшій изъ устъ пѣвцовъ только что возникшія пѣсни о Смутномъ Времени, и такого многосторонне образованнаго путешественника и тонкаго наблюдателя, какъ голштинецъ Эленшлегеръ, во вкусѣ вѣка передѣлавшій свое имя въ Олеарія, дважды внимательно изучавшій страну, дѣлясь своими замѣчаніями, догадками и планами съ мѣстными вліятельными людьми, обставляя свое странствіе всѣмъ аппаратомъ измѣреній, рисунковъ, коллекцій, какого требуютъ современные намъ путешественники. Онъ растолковывалъ туземцамъ выгоды и важность ихъ естественныхъ богатствъ, торговыхъ и политическихъ связей. Задержать такого человѣка надолго въ Москвѣ, пользоваться его знаніями и чудесными инструментами (въ особенности астролябіей, плѣнившей царя) показалось необыкновенно желательнымъ и привело къ переговорамъ и зазываніямъ: „вѣдомо намъ учинилось, что ты гораздо наученъ и навыченъ астрономіи и географусъ, небеснаго бѣгу и землемѣрію, и инымъ многимъ подобнымъ мастерствамъ и мудростямъ". Въ лицѣ Олеарія и его спутника, Павла Флеминга, европейская наука и литература новаго типа выслали къ намъ впервые своихъ представителей. Вернувшись на родину, Олеарій сталъ однимъ изъ дѣятельныхъ членовъ просвѣтительнаго „Плодоноснаго Общества", Fruchtbringende Gesellschaft, и, какъ образцовый стилистъ, до сихъ поръ цѣнится историками нѣмецкой литературы. Еще важнѣе литературное значеніе одного изъ даровитѣйшихъ нѣмецкихъ стихотворцевъ XVII вѣка, Флеминга, но къ русской жизни онъ отнесся какъ поэтъ, писалъ сонеты къ Москвѣ, увѣряя, что „видъ ея напоминаетъ ему красавицу, полную совершенствъ", или находилъ, что „счастливая простота и любезная невинность, оставивъ Германію, переселились въ землю русскую", пріютъ „добродѣтелей Астреи на вѣка" [1]). Но, уступая имъ, быть можетъ, въ изяществѣ развитія, ближе подошелъ къ миссіи просвѣтителя и проповѣдника реформы Юрій Крижаничъ,— это новое, улучшенное изданіе Максима Грека, безъ его эллинскихъ симпатій и охранительныхъ оговорокъ, но съ широкими политическими планами и связной программой преобразованій.

При всѣхъ его панславистскихъ увлеченіяхъ и постоянномъ ропотѣ на могущество „нѣмцевъ" Крижаничъ былъ слишкомъ западнымъ человѣкомъ, воспитанникомъ болонскихъ и римскихъ ученыхъ, чтобы мириться съ русской дѣйствительностью и не совѣтовать разумныхъ и толковыхъ заимствованій. Сначала посланный конгрегаціею съ миссіо-

---

[1]) Сочиненія Флеминга изд. Лаппенбергомъ, Stuttgart, 1866.—На восторженныя восхваленія имъ Россіи впервые обратилъ вниманіе еще Карамзинъ, напечатавшій переводъ одного его стихотворенія (Вѣст. Европы, 1803, ноябрь, стр. 94—6).

нерскою цѣлью въ Бѣлоруссію и лишь на два мѣсяца, въ свитѣ польскаго посла, заглянувъ въ Москву, онъ выше религіозной пропаганды ставилъ „увѣщаніе къ добродѣтелямъ, наукамъ и искусствамъ“ [1]), считая себя недостойнымъ истиннаго миссіонерства; то было вступленіе къ просвѣтительной славянской его дѣятельности, рано грезившейся ему и только прикрытой католическимъ покровомъ. Еще въ 1646 году, когда онъ обратился въ Варшавѣ къ послу Дохтурову съ прошеніемъ о принятіи въ царскую службу, онъ вызывался преподавать, переводить книги, писать современную московскую исторію, обучать государевыхъ дѣтей словесности и т. д. [2]). Мысль о просвѣтительствѣ вмѣстѣ съ славянской миссіей постоянно развивалась, и онъ съ годами становится сознательнымъ общественнымъ дѣятелемъ на пользу единственнаго независимаго славянскаго государства, на которое возлагаетъ освобожденіе всего славянскаго міра,—но тѣмъ требовательнѣе онъ по отношенію къ Москвѣ; вѣдь прежде освобожденія другихъ племенъ ей нужно самой освободиться отъ невѣжества, застоя и беззаконія. Даже съ заботами о церковномъ сліяніи связывались для него интересы культурные,—онъ убѣжденъ былъ въ томъ, что если бы тѣсная близость съ Польшей и Литвой могла осуществиться въ раннюю пору, она привила бы русскому народу широкое просвѣщеніе, „и русскій народъ былъ бы давно въ племенитыхъ и политичныхъ, и благороднымъ особамъ потребнихъ наукахъ избиренъ и убистренъ, а не тако грубъ и не утомителенъ, ни отъ европейскихъ народовъ за свою грубость тако згордьенъ, ни осмѣенъ, ни ненавидѣнъ“ (Толков. пророчествъ, стр. 54—55).

Когда-то въ Венеціи, среди веселаго карнавала, въ гостинницѣ, гдѣ толпы масокъ безцеремонно потѣшались надъ неуклюжими ужимками членовъ русскаго посольства, онъ съ особенною силой почувствовалъ симпатію и жалость къ далекимъ соплеменникамъ и раздраженіе на итальянцевъ, издѣвавшихся надъ такимъ поправимымъ недостаткомъ, какъ отсутствіе образованія. Когда же онъ услышалъ, будто въ Москвѣ открываются „философскія школы“, онъ вторично поѣхалъ въ Россію, но только не какъ церковникъ, и даже вопреки формальному запрету конгрегаціи, но какъ пропагандистъ общественнаго обновленія и славянской идеи. Поднявъ знамя панславизми въ своемъ „Владательствѣ“ и „Промыслѣ“, онъ не хотѣлъ, однако, ставить во враждебномъ контрастѣ западную и славянскую культуру, но желалъ заступиться за право славянъ на одинаковое участіе въ дѣлахъ просвѣщенія, въ экономической дѣятельности и европейской политикѣ. Онъ краснѣлъ за русскую дѣйствительность, указывалъ Москвѣ на быстрый ростъ энергической, предпріимчивой венеціанской республики, созданной трудами смышленыхъ и самодѣятельныхъ горожанъ, и находилъ вредными монополіи и приви-

[1]) Così penso che l'andare a conversare con loro non sia andare a predicare la fede, ma solamente di esortarli alle virtu, alle scienze e arti liberali.—Записка Крижанича, отысканная въ архивѣ конгрегаціи De Propaganda Fide о. Пирлингомъ; Приложенія къ кн. С. Бѣлокурова „Изъ духовной жизни московскаго общества XVII вѣка“. М. 1903 г., с. 97.

[2]) Ср. у Бѣлокурова, 150—152.

легіи иностранцамъ. Онъ стыдилъ русскихъ людей необразованностью („нашего народа люди суть коснаго разума и неудобно сами что выдумаютъ, аще имъ ся ни покажетъ... Наше людство есть лѣно и немысльно и сами себѣ не хотятъ добра учинити, аще не будутъ нѣкако силою принужены"). Онъ хотѣлъ привить русскимъ людямъ не только общее, но и политическое образованіе, и вызывался передъ царемъ переводить „книги политическія или о земленачальническихъ дѣлехъ *зело полезна и утѣшна*, яко суть Марниксъ, Ботер, Хокер [1]), и инніи", но вмѣсто этого и другихъ просвѣтительныхъ трудовъ ему дано было лишь порученіе составить славянскую грамматику и словарь...

Онъ училъ, что безъ „слободинъ", т.-е. вольностей, жить нельзя, набросалъ фантастическую картину народнаго собранія, въ духѣ земскихъ соборовъ, вмѣстѣ съ которымъ Алексѣй Михайловичъ будетъ обсуждать основы новаго законодательства. Онъ какъ будто уже слышитъ изъ устъ царя торжественное заявленіе намѣренія „пересмотрѣть и разсудить" законодательства другихъ королевствъ, французскаго, испанскаго, нѣмецкаго, самъ ставя выше всего „добрые законы" франскаго королевства; „коя уставы добры и краловству нашему годны, вамъ хочемъ щедро подаровати", говоритъ будто бы Алексѣй Михайловичъ, въ дѣйствительности для своего Уложенія воспользовавшійся только греческимъ „городскимъ" законодательствомъ. Въ этихъ мечтахъ о возрожденіи русскаго народа и выступленіи его затѣмъ на міровую арену для освобожденія другихъ племенъ такъ много было горячаго и искренняго, производящаго и теперь впечатлѣніе, несмотря на варварскій слогъ, въ который онѣ закутаны, что даже иные изъ стариковъ слушали въ Москвѣ Крижанича со слезами, жалѣя, что молодость ихъ прошла и нельзя уже всѣ силы отдать на великое дѣло. Такимъ его поклонникомъ былъ Морозовъ, судя по нѣкоторымъ указаніямъ [2]), и Ртищевъ; но эти идеи опережали вѣкъ, некстати безпокоили умы. Откровенная бесѣда, въ которой особенно ярко открылись онѣ („глупое слово нѣкоему господину о нѣкоемъ дѣлѣ", какъ впослѣдствіи онъ осторожно выразился въ челобитной), погубила Крижанича; доносъ подѣйствовалъ, и пятнадцать лѣтъ, проведенныхъ мечтателемъ въ Сибири [3]), за непрестаннымъ писательскимъ трудомъ, но въ тяжкомъ сознаніи, что онъ „всему міру бездѣленъ, некорыстенъ и непотребенъ, ибо никто не спрашиваетъ никакого рукодѣлія, ни услуги, ни совѣта", эта до сихъ поръ не вполнѣ объяс-

---

[1]) Очевидно — свободомыслящій нидерландскій политическій дѣятель и публицистъ 16 вѣка Marnix de St. Aldegonde,—Джьованни Ботеро, экономистъ 16—17 в., авторъ „La ragione di stato", „Delle cause della grandezza delle citta" и т. д.; въ „Хокерѣ", быть можетъ, нужно видѣть Ричарда Hooker'а, публициста и проповѣдника конца 16 вѣка, написавшаго „Lawes of ecclesiastical polity".

[2]) „Толкованіе историческихъ пророчествъ", напечат. по рукописи Публичн. библ. проф. М. И. Соколовымъ въ Чтен. О. Ист. и Др. 1891, II, затѣмъ челобитная Крижанича отъ 1676 г., наконецъ упоминанія въ кн. „О владательству".

[3]) Возвращенный изъ ссылки Ѳедоромъ Алексѣевичемъ, онъ умеръ на пути на родину въ Вѣнѣ.

ненная ссылка служила и отвѣтомъ на грезы и предостереженіемъ противъ свободнаго заявленія мнѣній.

Но если для московскаго западничества не настала пора постановки и рѣшенія столь широкихъ вопросовъ, внѣшніе успѣхи его росли годъ отъ году. На окраинѣ Москвы, точно выселокъ Европы, съ красивыми зданіями, прудами, садами, правильными улицами, развивалась и богатѣла Нѣмецкая Слобода, и все шумнѣе жужжала и волновалась въ ней постоянно разраставшаяся толпа работящихъ и способныхъ выходцевъ, высматривавшихъ, гдѣ бы приложить имъ къ дѣлу свои свѣдѣнія и энергію [1]), даровитыхъ служилыхъ или вольныхъ людей въ родѣ Лефорта, Брюса, Гордона, Виніуса и др. Въ образѣ жизни и вкусахъ правившаго класса замѣтно было желаніе не отставать отъ европейскаго строя, видѣннаго или въ Слободѣ или въ странствіяхъ по Европѣ. Проницательный Ординъ-Нащокинъ, въ дипломатической своей дѣятельности и во время своего воеводства въ Псковѣ, на рубежѣ нѣмецкаго міра, выработавшій ясное пониманіе преимуществъ западной культуры, цѣнимый Алексѣемъ Михайловичемъ за знаніе „нѣмецкаго дѣла и нѣмецкихъ нравовъ“, прозванный недругами иноземцемъ, открыто заявлявшій, что „доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужихъ, даже у враговъ“, но тонко различавшій, что можно заимствовать [2]),—основатель перваго московскаго училища съ свѣтской просвѣтительной программой (при Андреевскомъ монастырѣ) Ртищевъ, Никита Романовъ, Артемонъ Матвѣевъ, открытый и убѣжденный сторонникъ сближенія съ Европой, долго жившій во Франціи, сильно содѣйствовавшій основанію театра, воспитавшій сына въ европейскихъ понятіяхъ, всему своему домашнему строю сумѣвшій придать культурный тонъ, покровитель голландцевъ Хитрово, наконецъ Василій Васильевичъ Голицынъ, съ удивлявшимъ даже иностранцевъ европейскимъ лоскомъ, знаніемъ языковъ, любовью къ книгамъ (въ большой библіотекѣ, конфискованной послѣ его опалы, были напр., „четыре книги о строеніи комедіи“, переводы романовъ о Магелонѣ, объ Олундѣ и т. д.), съ заявленными имъ при Софьѣ, но не вышедшими изъ области мечтаній и сборовъ, преобразовательными стремленіями, проектами освобожденія крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ, введенія свободы совѣсти, предоставленія русскому юношеству права получать образованіе на западѣ, организаціи народнаго просвѣщенія, экономическихъ реформъ и т. д. [3]), горячность которыхъ привела въ восторгъ француза де-ла-Невилля, предсказавшаго великую просвѣтительную дѣятельность въ Россіи при такихъ правителяхъ [4]),—рядъ новыхъ типовъ, предвѣщающихъ петровское время. За

---

[1]) Характеристика этого иноземнаго элемента въ Москвѣ сдѣлана А. Брикнеромъ „Die Europäisierung Russlands“, Gotha, 1888.

[2]) Афанас. Лавр. Ординъ-Нащокинъ, стат. В. Иконникова, Рус. Старина, 1883, октябрь.—А. Л. Ординъ-Нащокинъ, московскій государственный человѣкъ XVII вѣка, В. О. Ключевскаго, Научное Слово, 1904, III, и Курсъ рус. исторіи, III.

[3]) Голицыну извѣстны были преобразовательные планы Крижанича, книга котораго „О владательству“ была у него въ спискѣ.

[4]) De la Neuville. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. Paris, 1698.

этими старшими и вліятельными друзьями западной культуры стояло молодое поколѣніе, нерѣдко получавшее даже воспитаніе у иноземцевъ [1]),—такъ какъ въ концѣ столѣтія Петръ уже могъ поставить на видъ патріарху Адріану, что въ Москвѣ распространенъ обычай поручать имъ воспитаніе дѣтей [2]). Лучшая характеристика вкусовъ этой молодежи—сцена на женской половинѣ дворца, у одной изъ княженъ (всего вѣроятнѣе, не Софіи, какъ долго думали, а Натальи), гдѣ разыгранъ былъ любителями обоего пола мольеровскій „Médecin malgré lui", переработанный великимъ комикомъ старо-французскій фабльо о деревенскомъ знахарѣ (du vilain mire), который зашелъ къ намъ раньше пьесы Мольера и разсказанъ былъ Олеарію, какъ подлинный, бытовой московскій анекдотъ временъ Годунова [3]).

При такихъ условіяхъ неудивительно, что интересъ къ западу смогъ продержаться вопреки внѣшнимъ неблагопріятнымъ условіямъ: паденію Матвѣева, повороту въ оффиціальныхъ отношеніяхъ къ иноземцамъ, нелюбви къ нимъ Ѳеодора, наступательнымъ дѣйствіямъ духовенства. Едва миновала промежуточная, краткая пора реакціи,—и съ водвореніемъ власти Софіи и Вас. Голицына не только возобновляются всѣ преданія политики и интересовъ Алексѣя Михайловича, но проявляется заискивающее отношеніе къ Европѣ, отъ чьихъ публицистовъ ждутъ поддержки властолюбивымъ планамъ царевны, чьимъ художникамъ заказываютъ портреты ея съ надписями, подготовляющими къ перевороту въ пользу единовластія. Тщетнымъ призывомъ къ покаянію и отреченію прозвучалъ въ концѣ столѣтія замогильный совѣтъ патріарха Іоакима царямъ-братьямъ изгнать изъ Россіи всѣхъ иностранцевъ [4]). Вездѣ, и въ обществѣ, и въ правительствѣ, подготовлялись элементы для рѣшительнаго преобразованія,—и, когда многое уже было готово, явился Петръ.

---

[1]) Не только у себя дома, но и на западѣ. Въ этомъ отношеніи любопытна судьба суздальца Петра Артемьева, который съ однимъ изъ братьевъ Лихудовъ выѣхалъ въ 1688 г. въ Венецію, нѣсколько лѣтъ обучался въ высшихъ школахъ Италіи и по возвращеніи, вступивъ въ ряды священства, навлекъ на себя, за открытое сочувствіе католичеству, судъ и ссылку въ Соловки.—М. Никольскій, „Русскіе выходцы изъ загранични. школъ въ XVII стол.", Православ. Обозрѣніе, 1863, III.

[2]) Пекарскій. Наука и литература при Петрѣ I, 124. Устряловъ, Ш, 511—12.

[3]) Vermehrte neue Beschreibung der Muscowitischen und Persischen Reyse, 1656, p. 187. Обзоръ странствій этого сказанія см. въ предисловіи Мэнара къ пьесѣ Мольера (Grands écriv. de la France, VI, 1881) и у Bédier, Les fabliaux. 1893.

[4]) Духовное завѣщаніе патріарха Іоакима напечатано въ Истор. Петра Вел., Устрялова, II, 1858, приложеніе IX.

II.

Въ старинныхъ сказаніяхъ нашего народа (особенно сѣверянъ), даже въ мѣстныхъ житіяхъ, часто повторяется мотивъ таинственнаго пришествія невѣдомыхъ людей изъ туманной дали, подплывающихъ къ русской землѣ или по морскимъ волнамъ, или по какой-нибудь изъ широкихъ русскихъ рѣкъ. Фантазія, настроенная на чудесный ладъ, привыкшая облекать въ таинственные образы всю окружающую суровую природу, создавшая свою демонологію подъ завыванья бури, стукъ дождя и давящій мракъ, не могла не облечь въ загадочность и столкновеній своихъ съ далекими чужаками. Съ тревогой и замираніемъ сердца обращалъ русскій человѣкъ свои взоры въ ту даль, которая могла вдругъ выслать къ нему своихъ диковинныхъ представителей. И дѣйствительно, по временамъ показывались они; но вѣкъ отъ вѣка ихъ обличье мѣнялось, и изъ сумрака вырѣзывались уже опредѣленныя, осязательныя человѣческія черты. Въ далекую старину оттуда приплывалъ богатырь, чудовищно-сильный, съ ратью нездѣшнею; оттуда же показался потомъ передъ Новгородомъ на своей скалѣ Антоній Римлянинъ, занесенный морскимъ теченіемъ въ благочестивую русскую землю; оттуда стали приходить къ новгородцамъ ихъ иностранные гости, занося съ собой стремленія къ религіозному свободомыслію, оставляя зародыши раннихъ русскихъ сектъ; оттуда прикочевали съ своимъ станкомъ первые учители печатнаго дѣла, и оттуда-же занесли свой энтузіазмъ, свою страстную, энергическую пропаганду такія необычныя личности, какъ Максимъ Грекъ и Крижаничъ. Туманъ мало-по-малу расходился, даль перестала казаться зловѣщею; она начинала дѣйствовать заманчиво, привлекательно; не даромъ, видѣли мы, въ нее уже уходило безвозвратно столько молодыхъ и способныхъ людей.

Въ такомъ переходномъ состояніи застали русскую жизнь петровскія преобразованія. Сразу то, что еще могло казаться страшнымъ и таинственнымъ, было осмотрѣно лицомъ къ лицу; дневной свѣтъ озарилъ и международныя отношенія и разницу культуры, съ дѣловымъ, практическимъ реализмомъ намѣтились цѣли дальнѣйшей, ускоренной работы. Она не могла не повести за собой крупныхъ неудобствъ, неровностей; переходъ отъ медленнаго движенія къ форсированному маршу не могъ обойтись безъ того; усиленная подражательность во всемъ также

Библиотека 55978

являлась неизбѣжнымъ послѣдствіемъ переворота. Но если не изучать даннаго явленія исключительно въ его русской обстановкѣ, а поискать аналогіи въ жизни болѣе культурныхъ западныхъ народовъ, то самый фактъ утратитъ въ значительной степени тотъ безотрадный характеръ, который такъ часто ему приписываютъ. Не одинъ только русскій народъ испыталъ на своемъ вѣку пору повальной подражательности, даже порабощенія своего вкуса и образа мыслей чужимъ образцамъ; не въ одной лишь Россіи приходилось сѣтовать на разверзшуюся пропасть, отдѣлившую образованныя сословія отъ народа, и не на одного Петра падаетъ грѣхъ, которымъ его готовы бывали при каждомъ случаѣ попрекнуть наши литературные старовѣры. Все это испытали раньше насъ другія страны, съ тою разницей, что далеко не всюду двигательной силой было глубокое увлеченіе знаніемъ. Англія въ концѣ семнадцатаго вѣка пережила такой же кризисъ, тѣмъ болѣе поразительный, что позади были не слабые зачатки словесности, но величавый періодъ Шекспира и Мильтона. Реставрація Стюартовъ принесла съ собой усиленную галломанію, которая внѣдрялась по приказу свыше. Карлъ II, вынесшій обаятельныя воспоминанія изъ своего невольнаго житья во Франціи, при дворѣ Людовика XIV, навязывалъ странѣ французскій вкусъ во всемъ; въ обществѣ рѣдко слышалась тогда англійская рѣчь [1]), вскорѣ лирики уже списывали Буало, трагики Корнеля, комедія жила мольеровскими мыслями, романъ затѣями г-жи Скюдери. И этотъ новый классицизмъ оказался необыкновенно живучимъ, перешелъ въ середину восьмнадцатаго вѣка,— но съ теченіемъ времени всѣ скрывавшіяся въ немъ здоровыя силы сумѣли перейти отъ рабской подражательности къ сознательному усвоенію и наконецъ къ самостоятельной работѣ; тотъ же Аддисонъ, который въ своемъ *Катонѣ* является ученикомъ французскихъ трагиковъ, создалъ чисто-англійскій типъ журналистики, Де-Фо, Свифтъ, Стернъ заложили общественный романъ, и ихъ пору назвали золотымъ вѣкомъ новой англійской литературы...

Еще разительнѣе подобный же кризисъ, который пережила раньше насъ сосѣдняя и во многихъ отношеніяхъ близкая къ намъ въ старину Германія. Здѣсь повторился весьма рельефно тотъ законъ послѣдовательной передачи, который мы попытались только что характеризовать.

Тридцатилѣтняя война оставила Германію въ полномъ изнеможеніи; національное сознаніе ослабѣвало, представленіе объ общемъ отечествѣ утрачивалось, разобщенность между населеніемъ различныхъ областей усиливалась; а въ ту же пору рядомъ разгоралось во всемъ блескѣ величіе французской образованности, государственности, изящества,— и слабая, безличная нѣмецкая умственная жизнь пошла *добровольно*, не по чьему-либо мощному внушенію, въ долгій плѣнъ къ французамъ.

---

[1]) Драйденъ выводитъ комическую свѣтскую болтовню своего времени, основанную на „смѣшеніи языковъ“, въ комедіи Marriage à la mode. По словамъ Уичерли, говорить на хорошемъ англійскомъ языкѣ было тогда признакомъ дурного воспитанія. См. разные примѣры у Beljame, La société et les hommes de lettres au XVIII siècle, 1881.

И какой же это былъ плѣнъ! Вслушайтесь въ тѣ жалобы, которыми разражаются рѣдкіе тогда самоотверженные патріоты, и безотрадность положенія окажется поразительною. Въ глазахъ умнаго сатирика Логау (въ его Sinngedichte) Германія являлась лакеемъ, носящимъ ливрею своего французскаго господина. Постоянныя поѣздки знати во Францію, господство моды во всемъ, пренебреженіе къ низкому и народному, изысканный слогъ чопорной литературы, преимущественно предназначенной процвѣтать или въ гостиныхъ, или въ душной атмосферѣ педантически-настроенной аудиторіи,—все это черты, какъ будто списанныя съ русской дѣйствительности восьмнадцатаго вѣка, но съ еще болѣе сгущенными красками. И какъ долго идетъ борьба противъ этого жалкаго, ограниченнаго чужебѣсія, какъ часты указанія на оторванность литературы отъ народа! Объ этомъ горевалъ Лейбницъ, высказывавшійся въ то же время за сознательное и разборчивое подражаніе, а чуть не столѣтіе спустя (1778) Гердеръ могъ снова повторить о своемъ времени почти тѣ же мысли: онъ не видитъ вокругъ себя настоящей читающей публики въ широкомъ смыслѣ слова, горюетъ о безучастности поэзіи къ народной жизни, о ея замкнутости въ тѣсномъ кругу. По мнѣнію его, все это неизбѣжно: „мы проснулись,—говорилъ онъ,—въ ту пору, когда солнце стояло вездѣ на полуднѣ, а у нѣкоторыхъ народовъ склонялось уже къ закату. Придя слишкомъ поздно, мы стали подражателями, потому что нашли множество предметовъ, достойныхъ подражанія". Это откровенно высказывалъ потомъ и одинъ изъ творцовъ самостоятельной нѣмецкой поэзіи, Гете, прямо признавая, что литература нѣмецкая образовалась въ чужеземной школѣ. И несмотря на долгій періодъ порабощенія, смѣнившагося потомъ болѣе сознательнымъ, но все же необыкновенно тѣснымъ сближеніемъ съ французскими образцами, нѣмецкая литература вышла на свѣтъ и просторъ, заявивъ свою самостоятельность, но не поступившись общечеловѣческими симпатіями.

Оскорбительно подѣйствовало на многихъ искреннихъ любителей нѣмецкаго слова разсужденіе одного изъ почитаемыхъ въ старину французскихъ борзописцевъ, отца Бугура (Bouhours), на тему „Si un Allemand pouvait être un bel esprit", отвѣчавшее отрицательно на этотъ вопросъ, кстати расширяя отвѣтъ и на русскую національность, потому что „мыслитель нѣмецкій или московитскій былъ бы уже черезчуръ страннымъ явленіемъ" (c'est une chose singulière qu'un bel esprit allemand ou moscovite). Хорошій урокъ подѣйствовалъ отрезвляющимъ образомъ; самые ревностные галломаны, въ родѣ Готтшеда, захотѣли доказать хвастливому французу несправедливость его мнѣнія. Мало-по-малу возникаетъ дѣятельность въ различныхъ мелкихъ умственныхъ центрахъ Германіи; литература начинаетъ находить опору въ нарождавшемся образованномъ среднемъ сословіи; движеніе крѣпнетъ и объединяется; мѣсто такихъ благонамѣренныхъ, но мало даровитыхъ людей, какъ Готтшедъ, занимаютъ Лессинги и Гердеры, и торжество обезпечено. Кризисъ былъ пережитъ, никто не думалъ ограничиваться сидѣніемъ на берегахъ вавилонскихъ и плачемъ объ утраченной „почвѣ", но всякій

дѣятельно участвовалъ въ борьбѣ школъ и направленій, которая должна была рано или поздно привести къ желанной цѣли,—и одинъ изъ новѣйшихъ историковъ французскаго вліянія въ Германіи долженъ былъ признать, что, не побывавъ во французской школѣ, „грубоватый, привыкшій вилять хвостомъ, напыщенный, педантически ученый, мелочной и церемонный нѣмецъ XVII вѣка не могъ бы превратиться въ просвѣтителя, раціоналиста или національнаго поэта XVIII столѣтія“ [1]).

Мы, русскіе, окончательно *проснулись* еще позже той минуты, о которой говоритъ Гердеръ, точно такъ же „нашли много предметовъ, достойныхъ подражанія“, осуждены были на долгую разобщенность литературы съ народомъ, пока не наступили лучшія времена, пока русская дѣйствительность не получила права гражданства въ словесности, пока у лирической поэзіи, комедіи, романа, не нашлось *своихъ словъ*. Сравненіе того же процесса у двухъ народностей показываетъ, что въ замедленіи его развязки виновата была у насъ не только порывистая воля Петра и не роковая „оторванность отъ почвы“, а бóльшая слабость личной инициативы, узость и скудость общественнаго образованія, пробавлявшагося семинарской риторикой и затхлыми университетскими учебниками въ ту пору, когда въ Германіи дѣйствовали Кантъ или Фихте, и, наконецъ, вся сумма давящихъ вліяній внутреннихъ политическихъ обстоятельствъ, долго не выпускавшихъ литературу изъ-подъ заботливой опеки. Неутомимое, энергическое вмѣшательство Петра въ образовательное движеніе, эта сила воли, способная шатать горами, были высоко полезны въ раннемъ періодѣ, когда все еще складывалось; когда же жизнь въ полномъ ходу и самостоятельныя стремленія къ дѣятельности сказываются повсюду, необходимъ иной образъ дѣйствій. „Самое лучшее, что я сдѣлалъ для нѣмецкой литературы,—говорилъ другой умный человѣкъ, Фридрихъ Великій (въ брошюрѣ De la littérature allemande),—было именно то, что я предоставилъ ее самой себѣ“; время Фридриха считается, какъ извѣстно, началомъ наиболѣе блестящей эпохи въ нѣмецкой литературѣ.

Попытавшись сдѣлать „примѣрное времяисчислительное положеніе, во сколько бы лѣтъ, при благополучнѣйшихъ обстоятельствахъ, могла Россія сама собою, безъ самовластія Петра Великаго, дойти до того состоянія, въ какомъ она нынѣ есть“, историкъ Щербатовъ приходилъ къ убѣжденію, что для этого потребовалось бы семь поколѣній (два, чтобъ познать пользу науки, три, чтобъ преодолѣть ненависть къ чужеземцамъ, и т. д.), двѣсти десять лѣтъ (вплоть до 1892 г.), и то при стеченіи благопріятныхъ обстоятельствъ. Нетерпѣніе и страстная энергія одного человѣка захотѣли придвинуть чуть не на цѣлое столѣтіе результаты естественнаго, медленнаго процесса, и на эту попытку его легла печать ускореннаго, спѣшнаго самообученія, которое шло тогда объ руку съ многоразличными государственными заботами. Невозможно по-

---

[1]) Steinhausen. Die Anfänge des französischen Literatur-und Kultureinfl. in Deutschland Zeitschr. für vergleich. Literaturgeschichte, 1894, 381.

этому прилагать къ итогамъ тогдашней образовательной дѣятельности, складывавшейся подъ западнымъ вліяніемъ, требованія стройной системы, вполнѣ *современной* во всѣхъ частностяхъ. Донельзя скудное первоначальное образованіе реформатора, рано перешедшее изъ рукъ умнаго, культурнаго, но не угоднаго Софьѣ шотландца Менезеса къ допотопному Зотову, случайный подборъ совѣтниковъ, вліяніе смышленаго, но совершенно неподготовленнаго къ роли вдохновителя реформъ женевца Лефорта, умѣвшаго присовѣтовать заграничныя путешествія, но безсильнаго направить ихъ по тщательно выработанной программѣ, масса возбуждающихъ, волнующихъ впечатлѣній, вдругъ нахлынувшихъ при первомъ соприкосновеніи съ европейской культурой, — пріѣздѣ въ Голландію [1]), Англію, Германію, Австрію,— поддержанныхъ и развитыхъ пятью позднѣйшими, продолжительными заграничными путешествіями, личныя пристрастія къ той или другой отрасли науки или литературы, сложившія у Петра извѣстный запасъ знаній и вкусовъ,—все это должно было отозваться и на его дѣлѣ [2]). Оттого произошелъ смѣшанный, на первый же взглядъ, составъ литературы петровскаго времени, переводной науки и задуманныхъ тогда реформъ. Лейбницъ встрѣчается тутъ съ Эразмомъ Роттердамскимъ; планы перваго объ учрежденіи университетовъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Кіевѣ, Астрахани, объ основаніи академіи, новомъ судоустройствѣ и законодательствѣ или проектъ англійскаго ученаго Фрэнсиса Ли о заведеніи семи коллегій для поощренія наукъ, художествъ, улучшенія законовъ и нравовъ, сходятся съ заботами о переводѣ „Дружескихъ разговоровъ Дезидеріа Ерасма“ (1716) [3]), „Исторіи разоренія Трои“, Овидіевыхъ Метаморфозъ („Метаморфосеосъ, то есть премѣненіе“), за исправленіемъ текста которыхъ долженъ былъ наблюдать синодъ; ходячій на западѣ энциклопедическій словарь Морери, сгруппировавшій добытыя къ тому времени исторіею и географіею точныя данныя, встрѣчался съ переводами старыхъ романическихъ жизнеописаній Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, героевъ лично симпатичныхъ Петру, обличительная біографія Кромвеля—съ демонстративно-выражавшимся сочувствіемъ царя къ англійскому королю Вильгельму, водворявшему въ своей странѣ законность и свободу, или къ самоуправленію развитой, трудолюбивой Голландіи. Наконецъ, въ области театра, снова ожившаго благодаря посылкѣ за актерами въ Германію (экспедиціи Яна

---

[1]) О немъ—М. А. Веневитиновъ, „Русскіе въ Голландіи. Великое посольство 1697—1698“. 1897.

[2]) Въ найденномъ недавно среди бумагъ Дидро въ Петроградѣ наброскѣ рѣчи „генія Франціи“, обращенной къ Петру въ моментъ обратнаго переѣзда его черезъ французскую границу, въ необыкновенно яркой и оригинальной формѣ сопоставлены бросившіяся царю въ глаза и плѣнившія его внѣшнія преимущества французской тогдашней культуры и незамѣченное имъ бѣдственное положеніе народа. Maurice Tourneux, „Diderot et Catherine II“, 1899, 263—5.

[3]) Ихъ переводу (неполному) предпослано предисловіе, объясняющее передачу неправовѣрныхъ и вольнодумныхъ мыслей автора тѣмъ, что „не можетъ правда безъ ея противности познатися“. Переводъ разговоровъ долженъ былъ служить вмѣстѣ съ тѣмъ пособіемъ при изученіи голландскаго языка.

Сплавскаго, въ 1702 году вывезшаго изъ Данцига труппу Кунста) [1], московской госпитальной сценѣ [2]), любительскому театру Натальи Алексѣевны [3]) и царицы Прасковьи въ Преображенскомъ, Измайловѣ, наконецъ въ Петербургѣ, и первымъ попыткамъ народныхъ русскихъ спектаклей,—пьеса соперника Мольера по обработкѣ легенды о Донъ-Жуанѣ, Девилье („Донъ Янъ") [4]), съ великой вольностью ея сюжета и фантастической развязкой, комедія Томаса Корнеля „Le geôlier de soi même", передѣлка трагедіи Чиконьини „Jl tradimento per l'honore" мольеровскіе „Амфитріонъ" и „Дохторъ принужденный", сценическія обработки любимыхъ романовъ и новеллъ (Петръ-Златые Ключи, Мелюзина, Гризельда), процвѣтавшія на театрѣ царевны Натальи, наконецъ духовныя драмы—сливались въ пеструю смѣсь.

Эти неровности не имѣютъ, однако, особаго значенія и не могутъ повліять на оцѣнку эпохи. Въ ошибкахъ и неудачахъ, которыхъ, разумѣется, было не мало, также чувствуется общеполезная мысль, руководившая преобразователемъ. Устройство русскаго издательскаго бюро и типографіи въ Амстердамѣ, гдѣ предполагалось изъ первыхъ рукъ добывать пригодныя книги и въ переводѣ печатать ихъ на мѣстѣ, было довольно смѣлымъ замысломъ, но порученное человѣку мало развитому и недостаточно владѣвшему русскимъ языкомъ, поляку или чеху Копіевичу, и слишкомъ отдаленное отъ Россіи, оно ни къ чему не привело. Точно такъ же было ошибкой звать къ себѣ такого спекулянта, какъ Джонъ Ло, заказывать кн. И. Щербатову переводъ его сочиненія „Considérations sur le numéraire et le commerce" [5]) и надѣяться при его помощи поправить русскіе финансы, но въ данномъ случаѣ Петръ слѣдовалъ за европейской молвой, восхищавшейся одно время этимъ искуснымъ дѣльцомъ, тогда какъ въ амстердамской печатнѣ ему чудилось что-то въ родѣ русскаго форпоста въ Европѣ.

Важнѣе всего тотъ духъ, который внесенъ былъ тогда въ нашу образованность, то нравственное перевоспитаніе, которое подѣйствовало

---

[1]) Въ этой труппѣ, состоявшей изъ девяти человѣкъ, несомнѣнно двое принадлежали прежде къ какой-либо компаніи „англійскихъ комедіантовъ", кочевавшихъ тогда по средней Европѣ,—Мортонъ Бэдларъ (Pedlar?) и Старкэй. Въ Москвѣ Кунстъ, подобно Грегори, организовалъ театральную школу, въ которую поступили „подьячіе и купецкіе дѣти". Роль директора театра, послѣ смерти Кунста, перешла къ Артемію Фирштy.

[2]) Образцомъ репертуара этой бойко дѣйствовавшей сцены, гдѣ исполнителями были хирургическіе и аптекарскіе помощники подъ управленіемъ доктора Бидло, можетъ служить напечат. М. И. Соколовымъ пьеса „Слава Россійская". М. 1892.

[3]) О немъ см. книгу проф. Шляпкина „Царевна Натал. Алексѣевна и театръ ея времени", 1898.

[4]) Она, повидимому, переведена была съ польскаго съ сокращеніями, вѣроятно, принадлежащими польскому переводчику. Единственно уцѣлѣвшій пятый актъ напечат. въ „Русск. драмат. произв. XVII и XVIII вѣковъ", 1864, Н. С. Тихонравовымъ, II томъ.—Пьеса Мольера была переведена лишь въ началѣ шестидесятыхъ годовъ 18-го вѣка. Отрывокъ изъ перваго (рукописнаго) перевода 1762 г., напеч. въ ст. В. Перетца „Къ исторіи польскаго и русск. народн. театра". Извѣст. отд. русск. языка и сл. Акад. Н., 1905, II.

[5]) Джону Ло, или Ивану Ляусу, какъ его у насъ называли, предлагали княжескій титулъ, двѣ тысячи крестьянскихъ дворовъ, высшій чинъ и т. д.

вскорѣ на наиболѣе податливые умы и подготовило для слѣдующей эпохи убѣжденныхъ и честныхъ дѣятелей.

Лейбницъ сумѣлъ внушить Петру, что „провидѣніе, рѣшивъ, что наука должна обойти кругомъ весь земной шаръ, теперь перешла въ Скиѳію, и что оно избрало Петра своимъ орудіемъ, такъ какъ онъ можетъ съ одной стороны изъ Европы, съ другой изъ Азіи взять лучшее и усовершенствовать то, что сдѣлано въ обѣихъ частяхъ свѣта, избѣгая ошибокъ, вкравшихся въ Европѣ (постепенно и незамѣтно“ [1]),—и эта просвѣтительная миссія все яснѣе раскрывалась передъ Петромъ къ концу его жизни, когда съ европейскими интересами у него связываются такія новыя заботы, какъ сближеніе съ славянами, восточные политическіе планы и походы, или снаряженіе ученыхъ экспедицій, положившее начало столь типичной для всего послѣдующаго вѣка школѣ научныхъ путешествій и развѣдокъ, въ которой, на примѣрѣ такихъ мастеровъ дѣла, какъ иноземцы Герг. Миллеръ, Гмелинъ, Мессершмитъ, при Екатеринѣ Палласъ, воспитались русскіе эксплораторы, этнографы, землевѣды, Крашенинниковъ, Лепехинъ, Никита Соколовъ. Для своей страны и для всѣхъ племенъ, на которыя она можетъ оказывать культурное вліяніе, нужно было неутомимо и энергично добывать, усваивать и перерабатывать лучшее, что давала старшая, европейская цивилизація. Задуманная Лейбницомъ для Россіи сѣть научныхъ учрежденій,—нѣсколько университетовъ и вѣнецъ ихъ, Академія, должны были служить этой цѣли; утверждая (лишь за годъ до своей смерти) уставъ Академіи („подобной той, которая есть въ Парижѣ“), Петръ соединилъ съ французскимъ опытомъ просвѣтительныя задачи въ лейбницовскомъ духѣ.

Новые начала и взгляды поражаютъ, какъ только прикоснешься къ ветхимъ листамъ книгъ петровскаго времени. Чувствуешь, что чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ, свободнымъ, пахнуло въ заповѣдной тиши. Старое начало не разъ беретъ верхъ, преданія самоуправства, временъ Василія и Іоанна Грознаго, всплываютъ у неопытнаго правителя, который сбирался быть преобразователемъ и освободителемъ,—и среди крутыхъ, жестокихъ расправъ съ противниками (особенно съ стрѣльцами, въ чьихъ бунтахъ избіеніе иностранцевъ было одною изъ главныхъ цѣлей, и съ Алексѣемъ Петровичемъ, врагомъ европеизма) какъ будто совсѣмъ замираютъ гуманныя намѣренія. Но они не только не замрутъ, а съ годами пріобрѣтутъ перевѣсъ, смягчая и нравы подданныхъ, и порывистый, крутой, деспотическій нравъ самого царя. Сличая идеалы съ дѣйствительностью, встрѣтимъ несоотвѣтствіе и разногласіе, но важно установить, каковы же были, однако, эти взгляды и требованія, считаемые обязательными и въ массѣ случаевъ дѣйствительно осуществлявшіеся.

Переводы изъ нѣмецкихъ и голландскихъ юристовъ ставятъ неслыханные въ офиціальномъ русскомъ мірѣ принципы широкой гуманности; Пуффендорфъ разъясняетъ обязанности и права личности, имѣя

[1]) Отношенія Лейбница къ Россіи и Петру Великому по неизданнымъ бумагамъ Лейбница въ Ганноверской библіотекѣ, В. И. Герье. Спб. 1871 г., стр. 134.

въ виду „человѣка и гражданина“, которому свойственны на всѣхъ общественныхъ ступеняхъ неотъемлемыя „естественныя“ вольности; его „Ѳеатронъ“, переведенный Гавріиломъ Бужинскимъ, учитъ религіозной вѣротерпимости, свободѣ совѣсти. Полемика съ иностранными памфлетистами, въ родѣ Нейгебауэра, составленіе извѣстнаго шафировскаго разсужденія о причинахъ войны со Швеціею только для отповѣди какому-то шведскому публицисту, наконецъ, созданіе русской журналистики [1]), какъ бы наивна она ни была въ первое время, пріучаютъ народное мнѣніе къ гласности. Петръ окружалъ свои „Вѣдомости“ необыкновенной заботой и, какъ свидѣтельствуетъ первый трудолюбивый ихъ редакторъ, переводчикъ Борисъ Волковъ, придававшій иностранному отдѣлу большую полноту, съ любовью собиралъ газету погодно, „яко всекуріозный въ литературѣ монархъ“, какъ мѣтко называетъ его Волковъ [2]). Духъ политической сатиры, подкапывавшейся подъ власть многихъ западныхъ правителей, вызывалъ сочувствіе въ Петрѣ (сначала, по недоразумѣнію, онъ хотѣлъ было осудить самое намѣреніе переводить у насъ Ювенала, какъ писателя вреднаго, но перемѣнилъ взглядъ, когда ему объяснили великое значеніе такихъ стражей народной совѣсти); онъ съ удовольствіемъ читалъ приносимые западными журналами образцы брошюръ и памфлетовъ и писалъ на поляхъ юмористически-одобрительныя отмѣтки [3]). Постепенно вырабатывалось высокое понятіе о значеніи дѣятелей мысли и просвѣщенія; русскій человѣкъ за границей съ удивленіемъ останавливался передъ памятниками великихъ писателей [4]). Петръ велъ сношенія съ Лейбницомъ, какъ съ равной ему царственной величиной, склонялся съ почтеніемъ передъ Рэйшемъ, Бургавомъ и другими голландскими и англійскими знаменитостями. Знаніе, точная наука впервые получаютъ у насъ почетное значеніе [5]). По свидѣтельству Вебера, любимой темой бесѣдъ въ кружкѣ Петра, много разъ ставившеюся имъ на очередь, было величіе науки. Едва не установилась такая трезво-реалистическая точка зрѣнія, которая могла бы надолго отдать положительной наукѣ предпочтеніе передъ всякимъ умозрѣніемъ или художественнымъ творчествомъ.

---

[1]) Въ 1713 г. Петръ замышлялъ даже издавать русскую газету за границей. Пекарскій, Наука и лит. при Петрѣ, II, 313.

[2]) Матеріалы и оригиналы „Вѣдомостей“ 1702—1727 гг., опис. Вал. Погорѣловъ. М., 1903, с. 61.

[3]) Такъ привлекли его вниманіе, напр., статьи: Возвращеніе Бріоша (Brioché, знаменитаго маріонетчика) съ куклами изъ ада для угнетенія Франціи,—Гибралтаръ и Портъ Магонъ, на торгъ вынесенные для продажи („кто больше дастъ“, иронически замѣчаетъ на поляхъ Петръ),—секретная конференція полномочныхъ министровъ на камбрейскомъ конгрессѣ о рѣшеніи важнаго дѣла, о преимуществѣ бургонскаго, рентвейну, шампанскаго и итальянскаго,—отрывокъ изъ Mércure galant (книги, называемой Меркуръ галанъ).

[4]) Князь Куракинъ, увидѣвъ въ Роттердамѣ статую Эразма, записалъ такъ свое впечатлѣніе: „при площади той сдѣланъ мужикъ, вылитый, мѣдный, съ книгой, на знакъ тому, который былъ человѣкъ гораздо ученый, и часто людей училъ“. Архивъ кн. Куракина, I, 140.

[5]) Въ своемъ отвѣтѣ Парижской академіи, избравшей его почетнымъ членомъ, Петръ говорилъ: „Мы ничего больше не желаемъ, какъ чтобъ чрезъ прилежность, которую мы прилагать будемъ, науки въ лучшій цвѣтъ привесть“ и т. д.

Обширная, печатная или же сохранившаяся въ рукописяхъ, переводная литература петровскаго времени, посвященная распространенію полезныхъ и развивающихъ знаній,—живой памятникъ этого просвѣтительнаго движенія. Твердая воля главнаго вдохновителя сумѣла превратить нѣсколько десятковъ посланныхъ въ Европу за наукой россіянъ, будущихъ флотскихъ, горныхъ, военныхъ, техническихъ и другихъ спеціалистовъ въ трудолюбивыхъ переводчиковъ, пословъ въ редакторовъ и справщиковъ, и при помощи этого импровизованнаго отряда научныхъ работниковъ организовать дѣло въ широкихъ размѣрахъ. Литература и театръ стояли на второмъ планѣ, но, подобно Генриху IV, забывавшему свои простые солдатскіе вкусы, любовь къ старонародному комизму площадныхъ буффоновъ и т. д., для того, чтобъ меценатствомъ литературѣ и правильному театру привить одичавшему въ раздорахъ и войнахъ французскому обществу больше мягкости и облагороженности въ понятіяхъ и пріемахъ общественной жизни, Петръ удѣлялъ время отъ своихъ заботъ о насущныхъ, по его мнѣнію, нуждахъ для такого чуждаго лично ему дѣла, какъ развитіе театра; постройку первой комедіальной хоромины въ Москвѣ (по начальному плану въ Кремлѣ, потомъ въ Лефортовѣ, наконецъ, на Красной площади) онъ провелъ, несмотря на глухое противодѣйствіе боярства, какъ одно изъ насущныхъ новшествъ ранняго преобразовательнаго періода; наравнѣ съ ассамблеями театръ входилъ въ его планы гуманизированія нравовъ. Самъ онъ смѣялся до упаду въ Дрезденѣ на представленіи незатѣйливой арлекинады, съ потасовками и первобытно-комическими эффектами, способными удовлетворить матроса, солдата, и скучалъ въ торжественно поставленной оперѣ, но рѣшилъ прочно привить театръ къ русской жизни, и въ послѣдніе свои годы надѣялся сдѣлать это всего скорѣе при помощи актеровъ-славянъ, выписанныхъ изъ Австріи [1]).

Глубокое влеченіе его къ простотѣ жизни наложило спасительный отпечатокъ и на такой важный элементъ литературы, какъ ея слогъ. Сличая легкій, непринужденный стиль европейскихъ произведеній съ напыщеннымъ, витіеватымъ, темнымъ слогомъ русскихъ книжниковъ, онъ бился изъ всѣхъ силъ, чтобы пріучить ихъ писать проще и „внятнѣе“. Корректурныя поправки его всегда предлагаютъ живое и мѣткое народное слово вмѣсто насильственно обрусѣлаго и ненужнаго чужого [2]),

---

[1]) Данныя, сообщаемыя въ государственныхъ росписяхъ начала вѣка, напечатанныхъ П. Н. Милюковымъ въ его книгѣ „Государственное хозяйство въ Россіи въ первой четверти XVIII столѣтія и реформы П. Великаго“, 1892, показываютъ частыя выдачи на театръ: тутъ есть вознагражденіе „русскимъ комедіантамъ“, „Арт. Фиршту за прилежное въ комедійныхъ дѣйствахъ радѣніе“, выдача „на строеніе комеди въ Грановитой палатѣ“ и т. д. Много подобныхъ же фактовъ дали „матеріалы“ собранные въ книгѣ С. К. Богоявленскаго.

[2]) Рукописный „Лексиконъ вокабуламъ новымъ по алфавиту“ (въ библіотекѣ Академіи Наукъ) съ поправками, сдѣланными самимъ Петромъ, сохранилъ итогъ всѣхъ признанныхъ имъ дѣйствительно нужными слоговыхъ заимствованій изъ иностранныхъ языковъ, голландскаго, англійскаго, нѣмецкаго. Словарь этотъ изданъ въ приложеніи къ труду Н. А. Смирнова „Западное вліяніе на русскій языкъ въ петровскую эпоху“. Сборникъ отд. р. яз. и слов. Акад. Н., томъ 88, 1910 г., образующему сводный словарь всѣхъ варваризмовъ въ петровской литературѣ.

и эта любовь къ народной рѣчи, сказавшаяся еще въ дѣтскихъ и юношескихъ его письмахъ и ученическихъ работахъ [1]), столь же замѣтно проходитъ по всей его жизни, не потерпѣвъ ущерба отъ европеизма, какъ и интересъ къ старинѣ, казалось, столь суровой къ нему въ лицѣ ея послѣднихъ приверженцовъ,—интересъ, поддержанный въ немъ любознательнымъ Брюсомъ, нетолько спеціалистомъ по математическимъ наукамъ, но историкомъ, археологомъ, собирателемъ русскихъ лѣтописей, вдохновителемъ Татищева.

Но пріучить писателей своего времени къ простотѣ было для Петра такъ же трудно, какъ отучить ихъ отъ привычки къ лжи и лести. Ему хочется имѣть исторію своего времени, чтобы сохранить воспоминанія о постепенномъ ростѣ преобразовательнаго дѣла (или, какъ выражались нѣкогда его неумѣренные восхвалители, о переходѣ Россіи изъ небытія въ бытіе), но нѣсколько разъ уничтожаетъ онъ написанное и передаетъ порученіе другимъ лицамъ, потому что ему нестерпимы и лакейскій духъ, и наглое искаженіе истины. Зная, что многіе изъ его помощниковъ только придаютъ себѣ изъ угодливости видъ усердныхъ ревнителей просвѣщенія, на дѣлѣ же готовы были бы вредить ему изъ всѣхъ силъ, онъ заказываетъ Ѳеофану Прокоповичу сатиру на лицемѣровъ [2]) и этимъ обнаруживаетъ небывалое у насъ уваженіе къ силѣ литературнаго слова, ожидающее дѣйствія на умы отъ него, а не отъ категорическаго приказанія, къ которому прибѣгнулъ бы правитель добраго стараго времени.

Такимъ образомъ, не только въ количественномъ отношеніи выигрываетъ образованность отъ совершившагося переворота, но съ усилившимся общеніемъ съ Европой [3]) живительныя струи новыхъ *идей* проникаютъ въ русскую общественность, пытаясь перевоспитать ее, подобно тому, какъ перевоспитывали онѣ богатую натуру ея передового представителя, приведя его, сначала послушнаго и всему удивляющагося подражателя, къ мечтамъ о той порѣ, когда настанетъ слава русскаго просвѣщенія.

Если отъ его центральной личности мы перенесемъ нашъ взглядъ на выдвигавшихся уже постепенно новыхъ людей, живые слѣды этого духовнаго вліянія современной поры на нихъ не замедлятъ сказаться. Для людей безвѣстныхъ, затерянныхъ въ массѣ, въ родѣ аптекарскаго помощника Тверитинова (Димитрія Дерюжкина) или подмосковнаго крестьянина Посошкова, открывалась новая жизнь. Первоначальныя от-

---

[1]) Письма и бумаги имп. Петра Великаго, томъ I, 1887.

[2]) Чистовичъ, „Ѳеофанъ Прокоповичъ и его время“, стр. 125—6.

[3]) Образовалась цѣлая литература описаній европейскаго быта и нравовъ изъ записокъ петровскихъ подневольныхъ туристовъ; нѣкоторыя изъ нихъ, напр., дневникъ Петра Толстого изъ путешествія въ Италію, черезъ Вѣну, отъ Венеціи до Неаполя и Мальты, полны разнообразнѣйшихъ наблюденій и замѣчаній, вызванныхъ искусствомъ, памятниками классической древности, сценическими представленіями (впервые, какъ новое слово, вводится обозначеніе „*театъумъ*“, какъ „итальяне зовутъ палаты великія, округлыя, гдѣ играютъ комедіи и оперы“), общественнымъ строемъ, свободой нравовъ, венеціанской вольностью. Рус. Арх. 1888.

ношенія Петра къ расколу, его убѣжденіе, что „въ совѣсти воленъ Богъ“, принесли свои плоды. Тверитиновъ, увлекаясь своей религіозной, наполовину протестантской [1]) пропагандой, ставитъ свое вольнодумство подъ охрану новаго духа времени: „нынѣ у насъ въ Москвѣ, слава Богу, повольно всякому, кто какую вѣру изберетъ, такую и вѣруетъ“, говорилъ онъ, и, окруженный довольно значительной группой единомышленниковъ (тутъ есть и фискалъ, и хлѣботорговецъ, и цирюльникъ, и купецъ изъ овощнаго ряда), онъ „до розыскнаго дѣла имѣлъ свой голосъ такъ смѣло, яко бы заграничный иноземецъ“ [2]). Своимъ благороднымъ отношеніемъ къ вѣротерпимости, казалось, полагавшей конецъ старой суровости къ еретикамъ, онъ требуетъ себѣ мѣста въ ряду приверженцевъ реформы; гоненіе, яростно веденное противъ него Стефаномъ Яворскимъ и едва не доведшее его до гибели, показало, что онъ слишкомъ горячо повѣрилъ наступленію золотого вѣка.

Тѣмъ же бодрымъ сознаніемъ всеобщаго пробужденія силъ вѣетъ отъ сочиненій Посошкова. Самоучка, начетчикъ, еще недавно ревностный участникъ раскольничьихъ споровъ изъ-за буквы, чуть не пострадавшій въ когтяхъ Преображенскаго приказа за порицаніе первоначальныхъ петровскихъ мѣръ, онъ не только призналъ себя побѣжденнымъ величіемъ и пользой нововведеній, возрождающихъ жизнь, самодѣятельность, дающихъ всѣмъ смѣтливымъ и даровитымъ людямъ въ родѣ него возможность заявить свои мысли и способности на общее благо, но изъ строгаго критика сталъ страстнымъ поклонникомъ преобразователя. Онъ можетъ повторить иногда отсталую мысль; боясь иновѣрнаго вліянія, онъ мелочно и смѣшновато споритъ съ Лютеромъ, не оставляя его въ покоѣ („зри Лютore!“ восклицаетъ онъ вдругъ послѣ указанія на какія-нибудь русскія доблести), съ негодованіемъ относится къ экономической зависимости русскаго народа отъ иноземцевъ, — но что за увлеченіе новымъ временемъ, что за уваженіе къ знанію, и какіе планы уже роятся въ головѣ этого человѣка, скромно повторявшаго, что онъ „самый простецъ и мизирный рабичищъ“. По его словамъ, „вся Россія яко отъ сна пробудилась“. Ему кажется недостаточнымъ образованіе, получаемое даже заурядными людьми; для деревенскаго люда онъ желалъ бы всеобщаго и обязательнаго обученія [3]), сыну своему приказываетъ въ Завѣщаніи „паче всѣхъ наукъ прилежать книжному наученію, не токмо славянскому одному, но и греческому, или латинскому, или хотя польскому, понеже и на польскомъ языцѣ много таковыхъ книгъ есть, кото-

[1]) Полагаютъ, что онъ познакомился впервые съ протестантскимъ вѣроученіемъ изъ лютеранскаго катехизиса, изданнаго на русскомъ языкѣ въ Стокгольмѣ (Катихисис си есть греческое слово, а по-русски именуется крестьянское ученіе и т. д.) Петромъ Фанселавомъ.

[2]) Ср. Записку Леонтія Магницкаго по дѣлу Тверитинова, изд. Общ. Древней письменности, LXXX, и (недоконченный) трудъ Тихонравова „Московск. вольнодумцы начала XVIII вѣка“. Сочин., II, 1898.

[3]) Я чаю, писалъ онъ, не худо было бы учинить, чтобы не было и въ малой деревнѣ безъ грамотнаго человѣка, и положить имъ крѣпкое опредѣленіе чтобы безотложно отдавали учить дѣтей своихъ грамоты и положить имъ срокъ года на три или четыре.

рыя у насъ на славянскомъ языцѣ не обрѣтаются". За народной обязательной школой ему грезилось среднее образованіе, дающее молодежи возможно болѣе практическихъ свѣдѣній (новые языки, математика, техническія знанія, черченіе и т. д.), а во главѣ всего народнаго просвѣщенія „академія великая всѣхъ наукъ" въ одной столицѣ и „великая патріаршая академія" въ Москвѣ, съ учителями на первое время изъ Греціи и другихъ православныхъ странъ, а если тамъ „самыхъ высокоученыхъ людей не обрящется, то изъ люторской вѣры".

Но одна образованность не удовлетворяла Посошкова. Новѣйшая наука уже оцѣнила своеобразные взгляды на народное благосостояніе и экономическія реформы автора „Книги о скудости и богатствѣ" (старческаго, но тщательно продуманнаго и стройно выраженнаго труда), этого проницательнаго самоучки, наведеннаго новымъ культурнымъ движеніемъ на замыслы и догадки, въ эту раннюю пору предвѣщавшіе теоріи Адама Смита [1]). Необходимо, по его мнѣнію, разумное переустройство всей жизни, прежде всего выработка новаго гуманнаго [2]) уложенія при участіи „разумныхъ правдолюбныхъ и смысленныхъ людей", избранныхъ повсемѣстно отъ всѣхъ сословій, даже отъ крестьянъ,—ибо „безъ многосовѣтія и безъ вольнаго голоса сдѣлать этого никоими дѣлы невозможно",—и затѣмъ передающихъ свою работу, „сочиненные ими пункты, на *освидѣтельствованіе всѣмъ народомъ самымъ вольнымъ голосомъ*". Чудилась ему въ будущемъ слава родной страны,—слава культурная. Мы должны „украшатися книжнымъ ученіемъ грамматическимъ, и риторскимъ, и философскимъ разумомъ, *и аще сія вся въ насъ будутъ, то на весь свѣтъ будемъ мы славны*, а и на ономъ свѣтѣ не безъ похвалы будемъ". Но дѣйствительность, на каждомъ шагу разбивая эти грезы, возмущала его грубостью, беззаконіемъ и жестокостью. Послѣднее изъ изданныхъ, уже въ наше время [3]), его сочиненій, „Доношеніе о исправленіи всѣхъ неисправъ", обобщая положеніе современной Руси, не знаетъ у насъ „такаго дѣла или вещи какой, еже бъ пороку въ ней не было. Нѣсть въ насъ цѣлости отъ главы даже и до ногу, и живемъ мы всѣмъ окрестнымъ государствамъ въ смѣхъ и поношеніе". Арестъ и смерть Посошкова въ крѣпости,—одно изъ первыхъ проявленій торжества реакціи послѣ Петра,—были отвѣтомъ стараго начала обличителю.

Научная требовательность еще сложнѣе и опредѣленнѣе у другого, несравненно болѣе образованнаго „птенца Петрова", Татищева. Изъ

---

[1]) Оцѣнка его экономическихъ воззрѣній сдѣлана была впервые А. Брикнеромъ. „Мнѣнія Посошкова". М. 1879.

[2]) Стоитъ перечесть главу его „Завѣщанія отеческаго къ сыну" (изд. Е. Прилежаева, Спб., 1893), надписанную о „судейскомъ житіи", чтобъ увидать, какъ болѣлъ онъ сердцемъ о жестокостяхъ и несправедливостяхъ стараго суда, какъ высоко ставилъ обязанности судьи и какъ подходилъ уже къ требованію гарантіи праваго судопроизводства,—гласности. Эти отъ сердца написанныя страницы вполнѣ подъ стать борьбѣ Петра съ тѣми, кто „зѣло тщился всякія мины чинити подъ фортецію правды".

[3]) Павловъ-Сильванскій, „Новыя извѣстія о Посошковѣ". Извѣс. отдѣл. рус. яз. и словес. Акад. Наукъ, 1904, III.—Ср. того же автора „Проекты реформъ въ запискахъ современниковъ Петра Великаго", 1897.

ранних культурных впечатлѣній, вынесенных во время двух поѣздокъ въ Германію и въ особенности изъ житья въ Швеціи, гдѣ развилось знакомство его съ западной политической и философской литературой, Локкомъ, Гоббзомъ, Маккіавелли, Бэйлемъ, чей скептицизмъ и свободомысліе на него сильно подѣйствовали, и гдѣ подъ вліяніемъ изученія важныхъ русскихъ документовъ, сберегающихся въ мѣстныхъ архивахъ, у него окрѣпла мысль посвятить себя созданію русской исторіи, унесъ онъ въ свою неутомимо дѣловую жизнь запросы и стремленія, достойныя мыслителя-европейца. Организуетъ ли онъ заводское хозяйство на Уралѣ, онъ возстановляетъ противъ себя зажиточный классъ своими заботами о малолѣтнихъ рабочихъ, объ ихъ грамотности и здоровьѣ; въ Оренбургѣ и Астрахани старается внести свѣтъ и порядокъ въ бытъ кочевниковъ; разнообразіе быта и природы русскихъ владѣній, извѣданное имъ на опытѣ, привело его къ смѣлой мысли объ описаніи Россіи (въ видѣ географическаго словаря) по такому широкому плану, который вполнѣ осуществить можно было бы лишь въ наше время; многолѣтній его трудъ созданія исторіи своего отечества, достойной русской народной чести, объединенъ введеніемъ и поясненіями, устанавливающими основы и назначеніе историческаго повѣствованія съ философскимъ глубокомысліемъ, большою независимостью въ вопросахъ религіи, искренними національными сочувствіями. Въ педагогическую программу, набросанную имъ въ своей Духовной для сына и въ лицѣ его для всего молодого поколѣнія, вошли историческая наука, математика, знаніе законовъ, наука военная, нѣмецкій языкъ; цѣлая классификація наукъ и искусствъ, вплоть до „наукъ щегольскихъ", допущена и признана имъ.

Татищевъ искренно негодовалъ на то, что въ его время не только невѣжды, но и „весьма преславные мужи *дерзали* осуждать науку", и въ своемъ „Разговорѣ о пользѣ книгъ и училищъ", обстоятельно доказывая высокое значеніе знанія и требуя его распространенія не только для шляхетства, но для всѣхъ русскихъ людей безразлично, онъ впервые у насъ [1]) восхвалялъ тѣхъ „мучениковъ науки", которые способны были жизнью жертвовать за нее, терпѣли преслѣдованія и гоненія; Сократъ, Платонъ, Коперникъ, Декартъ, Пуффендорфъ, многочисленныя жертвы инквизиціи, образуютъ собой внушительный списокъ „высокаго ума и науки людей, невинно оклеветанныхъ" [2]). Для русской исторической науки было, конечно, большою честью, что родоначальникъ ея усвоилъ себѣ такіе взгляды.

Татищевъ соединялъ въ себѣ типическія черты непосредственнаго ученика Петра Великаго и его послѣдователя и продолжателя, изъ числа тѣхъ, которые, дѣйствуя въ позднѣйшую эпоху, все же примыкаютъ къ „петровской школѣ". Понятая въ такомъ расширенномъ смыслѣ, вклю-

---

[1]) Извѣстно, впрочемъ, латинское стихотвореніе Ѳеофана Прокоповича во славу Галилея и въ обличеніе его гонителей.

[2]) В. Н. Татищевъ. Разговоръ о пользѣ книгъ и училищъ, изд. съ предисловіемъ Нила Попова, М. 1887. Историческіе примѣры для первыхъ 55 вопросовъ, какъ доказалъ Н. Поповъ, Татищевъ бралъ изъ книги Johann Georg Walch, „Philosophisches Lexicon", 1726.

чающая въ себя и современниковъ, и ближайшихъ потомковъ, эта школа становится гораздо внушительнѣе по своему объему и составу. Тутъ есть крестьяне, ремесленники, знатные люди, духовныя лица, даже развитыя женщины, первыя представительницы призваннаго наконецъ къ разумной жизни русскаго женскаго міра: „ученію школьному не искусный“ Посошковъ, важный баринъ Татищевъ, кіевскій меценатъ кн. Дмитрій Голицынъ съ группировавшимся около него академическимъ кружкомъ, красноглаголивый Ѳеофанъ Прокоповичъ съ великой его дѣловой проницательностью, дипломатическимъ искусствомъ, великимъ властолюбіемъ, но и съ богатой ученой подготовкой, пріобрѣтенной въ Италіи, съ сочувствіемъ Бэконовой философіи и точной наукѣ, европейскими научными связями, значительнымъ литературнымъ талантомъ, педагогическимъ мастерствомъ, широко проявленнымъ имъ въ Кіевѣ, ревностью къ всеобщему народному просвѣщенію [1]), и рядомъ съ нимъ другъ его, малороссъ Марковичъ, дилеттантъ, увлекавшійся чтеніемъ философскихъ книгъ, Бэкона, Декарта, и обмѣнивавшійся съ Ѳеофаномъ на письмѣ впечатлѣніями,—подготовленный къ своему поприщу всѣмъ духомъ петровскаго времени, особенно вліяніемъ Ѳеофана, Антіохъ Кантемиръ и любимая его сестра, княжна Марія, равная ему по вкусамъ и развитію, своимъ энтузіазмомъ увлекавшая его все впередъ, къ разностороннему европейскому образованію [2]),—сынъ стариннаго западника Матвѣева, Андрей, удивлявшій даже Лейбница своими свѣдѣніями; знакомый Антіоха Кантемира, малороссъ Петръ Апостолъ, сынъ миргородскаго полковника (будущаго гетмана), въ своемъ дневникѣ 1725—7 г. оставившій слѣды разнообразнаго чтенія на трехъ языкахъ, организованнаго такъ, что у него были „всѣ французскія новости“, знакомый и съ французской литературой, и съ старыми итальянцами, и съ классической словесностью [3]).

Къ этимъ поборникамъ просвѣщенія примыкаетъ малоизвѣстная у насъ личность, настолько увлекшаяся образовательной пропагандой,

---

[1]) Помимо заботъ его объ основаніи начальной школы, составленіи первой книги для школьнаго чтенія, взглядъ Прокоповича ясно формулированъ въ его любопытномъ „Разговорѣ гражданина съ селяниномъ“ и т. д., гдѣ на вопросъ, неужели всѣмъ надо быть грамотнымъ, гражданинъ даетъ утвердительный отвѣтъ, не понимая, что можетъ „возбранить всѣмъ грамотѣ учиться или всѣмъ писанія вѣдать“. Морозовъ, „Ѳеоф. Прокоповичъ“. 152—7.

[2]) Новые матеріалы для біографіи Антіоха Кантемира, статьи В. Шимко, Журн. мин. народ. просв., 1891—92 г. Разнообразіе чтенія и знаній брата и сестры, раскрываемое перепиской, дѣйствительно замѣчательное. Изучивъ, напр., итальянскій языкъ, они прочли не только Аріоста, Боккачьо, Боккалини, но даже Леонъ-Батиста Альберти и т. п. Антіохъ отправляетъ съ англійскимъ посломъ лордомъ Форбсомъ въ Петербургъ сестрѣ нѣсколько итальянскихъ книгъ и получаетъ въ отвѣтъ тонкій разборъ поэмъ Боккачьо.—О сестрѣ сатирика см. также ст. Л. Н. Майкова, „Княжна Марія Кантемирова“, Рус. Старина, 1897, кн. 1, 3, 6, 8.

[3]) Дневникъ, написанный *по-французски*, помѣщенъ въ переводѣ съ рукописи библіотеки Кіевскаго университета въ Кіев. Старинѣ, 1895, VII; французскія пьесы—Les filles errantes, La coquette, Deux arlequins, Esope; итальян. книги: Pastor fido Гварини, Cortegiano Кастильоне и т. д.

чтобы повторить петровское дѣло въ болѣе скромной и тѣсной обстановкѣ за предѣлами Россіи, у славянъ. Это—сынъ козловскаго помѣщика, Максимъ Суворовъ; проведя сначала пять лѣтъ въ Австріи, гдѣ подъ руководствомъ ученаго іезуита Яна Либертина и посла Авраама Веселовскаго переводилъ Генеральный лексиконъ Гюбнера, курсъ философіи и другія книги, онъ отправился въ Сербію въ 1724 году, гдѣ выступилъ энергическимъ распространителемъ народнаго образованія и литературы, организаторомъ школъ, составителемъ и издателемъ руководствъ, исправителемъ слога и правописанія, оставивъ по себѣ почетную память въ лѣтописяхъ сербскаго возрожденія [1]).

Подъ стать этимъ подлиннымъ личностямъ—фиктивные, вымышленные герои русской повѣсти петровскаго времени. Она лишь недавно стала предметомъ изслѣдованія, состоитъ пока изъ небольшого числа памятниковъ, заимствуетъ и планъ, и нѣкоторыя частности изъ иностранныхъ источниковъ, но стремится быть вѣрнымъ отраженіемъ современнаго ей быта. Въ основу „Исторіи о россійскомъ матросѣ Василіи Коріотскомъ и о прекрасной королевнѣ Иракліи Флоренской земли“ [2]) положена фабула переводной повѣсти о „Гишпанскомъ шляхтичѣ Долторнѣ“, но она переработана въ духѣ времени и надѣлена русскими бытовыми чертами. Автора видимо тѣшитъ мысль сопоставить героя, смышленаго недоросля изъ бѣдныхъ дворянъ, попавшаго матросомъ въ Голландію „для изученія наукъ ариѳметическихъ и разныхъ языковъ“, съ императорами, герцогами, адмиралами, вельможами и всѣмъ бытомъ дальнихъ государствъ. Изъ разбойничьяго плѣна освобождаетъ онъ флорентинскую принцессу, послѣ многихъ приключеній женится на ней, живетъ въ великой славѣ и, похоронивъ тестя, становится самъ „королемъ Флоренскимъ“. Сознавая вмѣстѣ съ своимъ героемъ, что онъ родился „въ Россійскихъ Европіяхъ“ и что поэтому ничто для него не можетъ быть ни чуждо, ни запретно, авторъ свободно проводитъ его по всѣмъ странамъ запада, Цесаріи (Австріи), Италіи, Голландіи, Франціи, заставляетъ его бойко отвѣчать императору на вопросъ, кто онъ: „матросъ, а фамилія моя небольшая,—Василей Ивановъ сынъ Коріотскій“, и помнить, что съ новымъ порядкомъ вещей для смышленаго человѣка, кто бы онъ ни былъ, всѣ пути открыты. Изъ путаницы любовныхъ приключеній въ другой повѣсти той же поры выглядываетъ красивая фигура „славнаго, храбраго Александра, кавалера Россійскаго“, приведеннаго на западъ тою же образовательной программой царской, но плѣненнаго свободой жизни и развернувшагося во всю ширь натуры настоящаго Донъ-Жуана,—также совсѣмъ подъ стать нѣкоторымъ изъ первыхъ нашихъ невольныхъ туристовъ по западу, героямъ романиче-

---

[1]) П. Кулаковскій. Начало русской школы у сербовъ въ XVIII вѣкѣ. Очеркъ изъ исторіи русск. вліянія на юго-славян. литературы. Извѣстія отд. русск. яз. Акад. Н., 1903, III.

[2]) Текстъ ея напечатанъ въ приложеніи къ статьѣ Л. Н. Майкова „Русская повѣсть петровскаго времени“ (Очерки изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII стол., Спб., 1889), и въ сборникѣ В. В. Сиповскаго „Русск. повѣсти XVII и XVIII в.“, 1895 г.

скихъ похожденій [1]). Если народныя пѣсни о Петрѣ и его времени не въ силахъ были отмѣтить и оцѣнить преобразовательный трудъ царя и сознательныя его паломничества на западъ превращали порой въ наѣздъ на вражескую землю, откуда (какъ изъ города Стекольнова—Стокгольма, гдѣ онъ никогда не былъ) онъ спасается лишь съ трудомъ, то повѣсть, хоть и сочувственно относясь къ европеизму, затруднилась или не сумѣла взять въ герои свои одного изъ убѣжденныхъ приверженцевъ новыхъ идей. Но въ лицѣ неунывающаго матроса или „кавалера"-волокиты сквозятъ уже положительныя черты молодого поколѣнія. Онѣ еще замѣтнѣе въ обрисовкѣ вычитаннаго изъ романа, но своеобразно переработаннаго характера героя драмы петровскихъ временъ, Петра—Златые ключи, чьимъ романическимъ приключеніямъ предпослано страстное его домогательство свободы выѣзда въ иноземные края, „о чемъ ни днемъ, ни ночью онъ не зналъ покою, чтобы удоволитца чуждою страною" [2]).

Традиціи петровскаго западничества составили духовное содержаніе послѣдующей переходной поры, раскинувшейся со всѣми ея неровностями, тревогами, колебаніями и запрещеніями въ области науки и словесности до екатерининскаго времени. Рѣшимость всѣ силы затратить, чтобъ овладѣть знаніемъ, развитіе личной энергіи, не отступающей передъ лишеніями, странствіями, бѣдностью, своего рода фанатизмъ къ наукѣ и образованности, ненасытная любознательность (Ѳ. Прокоповичъ говорилъ, что „прямо просвѣщенный человѣкъ никогда сытости не имѣетъ въ познаніи своемъ, хотя бы Маѳусаиловъ вѣкъ прожилъ"), все это наслѣдіе, оставленное Петромъ и его *школой* въ тѣсномъ смыслѣ слова, было усвоено и развито ея преемниками. Всѣ они обращаютъ взоры свои на западъ, но не изъ простой переимчивости, а съ скрытыми помыслами о будущей самостоятельности, подсказанными народною гордостью. Ради этого они идутъ въ ученье къ иностранцамъ, ищутъ источника знанія. Кантемиру тѣсно въ Петербургѣ, гдѣ послѣ Петра наука уже не въ почетѣ, „ходитъ ободрана, въ лоскутахъ зашита", гдѣ его могутъ понять только два, три человѣка. Онъ оживаетъ лишь въ Лондонѣ и въ Парижѣ, въ обществѣ Монтескье [3]), аббатовъ Гуаско и Венути, Мопертюи, въ перепискѣ съ Вольтеромъ. Юное остроуміе его первыхъ сатиръ становится тѣмъ серьезнымъ „смѣхомъ сквозь слезы", который онъ занесъ къ намъ подъ вліяніемъ Буало, перелагая его признаніе „que le mot, pour avoir réjoui le lecteur, a coûté bien souvent de larmes à l'auteur"

[1]) Вотъ какъ записалъ, напр., въ дневникъ одно изъ своихъ увлеченій въ Венеціи, въ 1708 году, кн. Куракинъ: „въ ту свою бытность былъ инаморатъ въ славную хорошествомъ одною читадинку, называлася Signora Francesca Rota,—и такъ былъ *inamorato*, что не могъ ни часу безъ нея быти,—и разстался съ великою плачью и печалью, ажъ до сихъ поръ изъ сердца моего тотъ *amor* не можетъ выдти, и чаю не выдетъ, и взялъ на меморію ея персону (портретъ) и обѣщалъ къ ней опять возвратиться"; Архивъ кн. Курак., I, 278.

[2]) Пьеса о Петрѣ—Златыхъ ключахъ напечат. Г. Георгіевскимъ въ Извѣст. отд. рус. яз. Ак. Наукъ, 1905, I. Объ этой пьесѣ въ томъ же издан. 1906, IV, ст. В. Рязанова „Изъ исторіи русск. драмы", съ сравненіями между повѣствованіемъ романа и виршами автора драмы.

[3]) Онъ перевелъ его „Персидскія письма"; тонъ подобнаго обличенія общественныхъ золъ сатирикомъ-философомъ близко подходилъ къ вкусамъ Кантемира. Переводъ утраченъ.

въ характеристическихъ, прочувствованныхъ изліяніяхъ („стихи, что чтецамъ смѣхъ на губы сажаютъ, часто слезъ издателю причиною бываютъ“... „смѣюсь въ стихахъ, а въ сердцѣ о злонравныхъ плачу“ и т. д.), опередившихъ на цѣлый вѣкъ гоголевскій „видимый міру смѣхъ“. Его политическое воспитаніе, начавшееся съ рѣзкихъ, иногда трагикомическихъ столкновеній слишкомъ молодого и неопытнаго дипломата, занесшаго на западъ привычки отечественной расправы, съ англійскою вольностью [1]), и перешедшее въ уваженіе къ ней, расширило кругозоръ его и какъ государственнаго человѣка. Ломоносовъ разгадываетъ свое настоящее призваніе лишь въ Германіи, куда завело его еще болѣе неодолимое влеченіе. Баснословно чудесными путями, часто пѣшкомъ, перекочевываетъ въ Голландію и потомъ въ Парижъ другой основатель новаго стиха,—Тредьяковскій; къ вы̀ѣзжимъ французамъ идетъ въ науку Сумароковъ, къ нѣмцамъ—Ѳеодоръ Волковъ, къ шведамъ—Татищевъ. И когда они приходятъ къ сознанію, что пора ученія и скитанія, Lehr- und Wanderjahre, для нихъ прошла, они закладываютъ фундаментъ обновленной образованности, внося каждый по мѣрѣ способностей свой вкладъ: Кантемиръ—свои сатиры, Ломоносовъ—научную пропаганду и торжественную лирику, Тредьяковскій—стихосложеніе, Сумароковъ—трагедію, Волковъ—національную сцену, Татищевъ—историческую науку.

Ихъ ученическая работа шла открыто и честно. Если бы спросить у Кантемира объясненія, откуда онъ взялъ форму своихъ сатиръ, поэмъ, одъ, анакреонтическихъ произведеній, онъ простодушно указалъ бы, что тамъ онъ подражалъ Ѳеофрасту и Лабрюйеру, тутъ „Горацію и Буалу французу“ [2]), Ювеналу, Матюрену Ренье (въ сатирѣ VI-й) или Вольтеру, и т. п. [3]); детальныя примѣчанія къ сатирамъ раскрываютъ мельчайшія подробности его писательскаго труда; вмѣстѣ съ тѣмъ изъ

---

[1]) Получивъ отъ своего правительства порученіе во что бы то ни стало разузнать, кто авторъ оскорбительныхъ для Россіи „Lettres moscovites“, и воспротивиться изданію ихъ въ англійскомъ переводѣ, онъ сначала требуетъ карательныхъ мѣръ противъ памфлетиста (нѣкоего Локателли), но въ первой же бесѣдѣ съ лордомъ Гарингтономъ получаетъ урокъ на тему о „свободномъ печатаніи, какъ фундаментѣ англійской вольности“, которая такъ далеко простирается, что „противъ своего собственнаго государя безъ всякой опасности повседневно печатаютъ“. Соч. Кантемира, изд. Ефремова, II, 99—100. Новичокъ-дипломатъ предлагалъ своему начальству напечатать опроверженіе,—или же „черезъ тайно посланныхъ гораздо побить“ пасквилянта.

[2]) Весьма вѣроятно, что Кантемиру принадлежатъ переводы нѣсколькихъ сатиръ Буало (въ томъ числѣ сатиры, обращенной къ Мольеру), сдѣланные еще въ концѣ 30-хъ годовъ столѣтія въ Москвѣ (напечатаны г. Глаголевой въ Изв. отд. русск. яз. и слов. Акад. Наукъ, 1906, II). Во всякомъ случаѣ это—первые переводы изъ Буало, такъ долго господствовавшаго надъ нашей эстетикой.—Г-жой Глаголевой выполнены по отношенію къ сатирамъ Кантемира внимательныя сличенія ихъ текста въ первой, русской, и второй, переработанной на западѣ, редакціи съ главными источниками, сатирами Буало, „Характерами“ Лабрюйера и Ѳеофрастомъ, выясняющія ростъ самостоятельности сатирика и богатство вносимаго имъ въ указанныя рамки русскаго обличительно бытового содержанія. Изв. Отд. р. яз., 1914, II.

[3]) Въ стихѣ IV сатиры: „не дѣлаютъ чернца однѣ рясы“, кажется, слѣдуетъ видѣть отголосокъ старой пословицы „l'habit ne fait pas le moine“, встрѣчаемой у Рабле и друг. франц. писателей 16—17 в.

нихъ, какъ и изъ примѣчаній къ переводу книги Фонтенелля, образуется первый сводъ свѣдѣній о всеобщей литературѣ и главныхъ писателяхъ для непосвященнаго русскаго читателя, который тутъ узнавалъ, кто былъ Мольеръ, Декартъ и др. Кантемиръ признается охотно, что любитъ Францію; еще юношей переводилъ онъ „утѣшное критическое описаніе Парижа", гдѣ описывались, между прочимъ, веселыя гулянья въ „славномъ огородѣ *детуллеріи*". Интимныя бесѣды съ умными людьми, въ родѣ той, которую Батюшковъ изобразилъ въ своемъ „Вечерѣ у Кантемира", доставляли ему высокое наслажденіе; съ Мопертюи онъ занимался естествознаніемъ, переписывался объ исторіи съ Вольтеромъ. Тредьяковскій находилъ, что нужно имѣть „духъ звѣрски", чтобъ не любить „красное мѣсто, драгой берегъ сенски"; замашки галломана не разстаются съ нимъ никогда, и ему даже удается усвоить себѣ живой и легкій слогъ во французскихъ стихотвореніяхъ, несравненно болѣе удачныхъ, чѣмъ его дебелыя русскія оды. Въ первыхъ же опытахъ Ломоносова чувствуется близость къ тому или другому мѣсту въ его нѣмецкихъ и французскихъ образцахъ. Откровенное подражаніе Сумарокова пріемамъ Вольтера, Расина, Мольера (въ комедіяхъ) слишкомъ извѣстно. Онъ усвоивалъ ихъ съ любовью и уваженіемъ, и въ своей пятой *эпистолѣ* присоединилъ къ числу этихъ любимѣйшихъ авторовъ цѣлый циклъ великихъ писателей, достойныхъ стать нашими образцами [1]).

Къ созданію сколько-нибудь самостоятельной русской трагедіи и основанію театра подъ эгидою Кадетскаго корпуса онъ пришелъ постепенно, переходя отъ руководства французскими корпусными спектаклями къ переводамъ пьесъ и, наконецъ, къ подражаніямъ и переложеніямъ на русскіе нравы и историческіе сюжеты [2]). Наконецъ, Волковъ свѣ-

---

[1]) Тутъ перечислены, послѣ древнихъ классиковъ, изъ новыхъ писателей:

Мальгербъ, Русо, Кино, французовъ хоръ реченный,
Мильтонъ и Шакеспиръ, хотя непросвѣщенный,
Тамъ Тассъ и Аріостъ, тамъ Камоэнсъ и Лопъ,
Тамъ Ѳондель, Гинтеръ тамъ, тамъ остроумный Попъ.
Послѣдуемъ такимъ писателямъ великимъ.

Надъ выдающимися французскими писателями дѣйствительно возносился у него тріумвиратъ Расина, Вольтера и Мольера:

Каковъ въ трагедіи Расинъ былъ и Вольтеръ,
Таковъ въ комедіяхъ искусный Моліеръ.
Какъ славятъ, напримѣръ, тѣхъ Федра и Меропа,
Не меньше и творецъ прославленъ Мизантропа.
Мольеровъ лицемѣръ, я чаю, не падетъ
Въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ, доколь пребудетъ свѣтъ.

Въ стихотворной литературѣ 18-го вѣка не разъ можно встрѣтить подобные перечни любимыхъ иностранныхъ писателей. Такъ, Николевъ въ посланіи къ Дашковой говоритъ о Расинѣ, Мольерѣ, Аріостѣ, Мильтонѣ, Корнелѣ; Херасковъ во вступленіи къ Россіадѣ („Взглядъ на эпическія поэмы") характеризуетъ дѣятельность Тасса, Камоэнса, Мильтона, Вольтера и т. д.

[2]) Тотъ же процессъ перехода отъ переводовъ и подражаній къ изображенію русской жизни въ сценическихъ произведеніяхъ можно прослѣдить и въ постепенно обрисовываю-

дѣніями своими объ организаціи театральнаго дѣла, главнымъ ободреніемъ къ замыслу устройства ярославскаго театра былъ обязанъ тѣсной дружбѣ и указаніямъ выдающагося нѣмецкаго актера Аккермана, въ ту пору, вмѣстѣ съ г-жой Шредеръ, стоявшаго во главѣ прекрасной нѣмецкой частной труппы, пробывшей въ Россіи, преимущественно въ Петербургѣ, цѣлыхъ пять лѣтъ [1]), впослѣдствіи же одного изъ членовъ знаменитаго гамбургскаго театра, руководимаго Лессингомъ, который въ своей „Гамбургской Драматургіи“ сочувственно оцѣнилъ дѣятельность Аккермана. Когда же съ рѣдкою энергіею Волковъ создалъ постоянныя сцены сначала въ Петербургѣ (гдѣ подспорьемъ были силы его ярославскихъ товарищей), а затѣмъ въ Москвѣ, гдѣ никакихъ силъ не было наготовѣ и приходилось вызывать ихъ изъ общества,—репертуаръ новаго русскаго театра, искусно составленный изъ произведеній Мольера, Лессинга, Дидро и др. [2]), воспитывалъ публику и исполнителей для болѣе самостоятельнаго періода нашей сцены.

Но эти обязательства и зависимость не сдѣлали двигателей нашей образованности въ переходную пору рабами чужой указки. У каждаго изъ представителей ранней нашей литературной школы мы видимъ опредѣленное желаніе самостоятельной дѣятельности, каждому хочется занять въ родной средѣ такое же положеніе, какое занимаютъ передовые писатели запада, каждый стремится внести русское содержаніе въ свои произведенія. Первый русскій салонъ въ Парижѣ, открытый Кантемиромъ (въ Лондонѣ онъ слишкомъ занятъ былъ дѣлами политическими и непосильнымъ состязаніемъ съ такими искусными дипломатами, какъ Ро-

---

щемся теперь комическомъ репертуарѣ, продержавшемся до Сумарокова и правильнаго театра. Напечатанная въ сборникѣ проф. Перетца „Памятники русской драмы эпохи Петра Великаго“, Спб. 1903, „Шутовская комедія“, 20—30-хъ годовъ столѣтія, представляетъ собою любопытное соединеніе итальянской арлекинады съ „докторомъ“, Панталономъ и т. д., русскаго бытового юмора и—мольеровской комедіи (сцена 13 несомнѣнно внушена эпилогомъ „Мнимаго больного“ съ посвященіемъ его въ доктора).

[1]) Она пріѣзжала въ Москву (въ 1749 г.), гдѣ обзавелась собственнымъ театромъ у Красныхъ Воротъ, и тутъ, вѣроятно, еще болѣе поддерживалась дружба Аккермана съ Волковымъ. Въ Москвѣ впервые дебютировалъ тогда въ присутствіи императрицы, крошечнымъ мальчикомъ трехъ лѣтъ (онъ произнесъ лишь нѣсколько словъ: o nein, ich sprech'dich frei!), одинъ изъ знаменитѣйшихъ нѣмецкихъ актеровъ новѣйшаго времени, Шредеръ („F. L. Schröder“, von F. L. W. Meyer, 1819, S. 49) Предшественницей Аккермана въ Петербургѣ была извѣстная союзница Готшеда въ дѣлѣ реформы нѣмецкаго театра, энергическая, умная, непризнанная и въ своемъ отечествѣ Каролина Нейберъ, грубо выгнанная потомъ безъ всякой вины изъ Россіи послѣ смерти Анны и паденія Бирона. Какъ въ Германіи, такъ и у насъ она старалась распространять здравый взглядъ на театръ; несомнѣнно подъ ея вліяніемъ написана помѣщенная въ Прибавл. къ Спб. Вѣдом. 1739, 25 окт., статья „О пользѣ театральныхъ представленій для обузданія страстей“. О Нейберъ см. книгу Rheden-Esbeck, „Carol. Neuber und ihre Zeitgenossen“, 1881.

[2]) О немъ см. брошюру М. Лонгинова „Русскій театръ въ Петербургѣ и Москвѣ (1749—1774)“, Спб. 1873 г. Мольеръ сразу занялъ первостепенное мѣсто. Въ одномъ 1757 году поставлены были „Тартюфъ“, „Скупой“, „Школа мужей“ и „Продѣлки Скапена“. Первымъ усерднымъ переводчикомъ Мольера былъ Иванъ Кропотовъ.—О дальнѣйшей судьбѣ мольеровской комедіи на русской сценѣ того же столѣтія—В. Филипповъ, „Мольеръ въ Россіи XVIII вѣка“, Бесѣды. Сборникъ Общ. Исторіи Литературы въ Москвѣ, 1915.

бертъ и Горацій Вольполи, чтобъ сближаться съ литературой) [1], знакомилъ Францію съ Россіею, и первый русскій сатирикъ занялъ видное мѣсто въ современной европейской словесности [2]). Въ какой степени удастся это заявленіе своей самобытности, будетъ зависѣть отъ таланта или самостоятельности той или другой личности; опытъ старшихъ литературъ показываетъ, что пора подражательности не скоро уступаетъ мѣсто своеобразному творчеству. Но духъ соревнованія, задора къ работѣ, любви къ родному слову, поддержанный сравненіемъ нашего дѣтскаго лепета съ европейскими литературными успѣхами, къ чести родоначальниковъ нашей новой словесности, высказывается вполнѣ опредѣленно. Кантемиръ и Ломоносовъ ставятъ себя подъ покровъ петровской идеи и какъ бы хотятъ показать міру, что русская земля можетъ „рождать *своихъ* Невтоновъ". Первыя культурныя возбужденія дали Ломоносову благопріятныя условія сѣвернаго приморскаго быта, давняго жилья иностранцевъ, края ссыльныхъ, заносившихъ отголоски культуры, гдѣ многое могло манить къ свѣту и знанію [3]). Испытавъ затѣмъ недоступную тогда ни для кого изъ русскихъ просвѣтителей научную подготовку на западѣ,—пять лѣтъ, проведенныхъ въ нѣмецкой университетской средѣ, съ такими руководителями, какъ Христіанъ Вольфъ,—онъ выходитъ на свою культурную работу. Его *разсужденія* обнаруживаютъ трезвую жизнедѣятельную точку зрѣнія *русскаго* просвѣтителя; народолюбіе публициста, выступающаго на защиту темной и совершенно безпризорной массы, проявляется необыкновенно ярко, но гуманность, призывы къ справедливости поддержаны сличеніями съ Германіей и другими образованными странами, желаніе реформъ мотивируется стремленіемъ не отстать отъ Европы; исторія развитія западной научной мысли вызываетъ желаніе видѣть и въ Россіи зарожденіе *вольнаго философствованія*, подобно тому, какъ въ развитіи русскаго стиха мы видимъ у него свободное состязаніе съ иностранцами, а въ физико-химическихъ и иныхъ научныхъ работахъ желаніе пересадить, развивать далѣе русскими силами и приложить къ нуждамъ русскаго народа цѣнные результаты западной науки, приведшее къ важнымъ наблюденіямъ и открытіямъ, вполнѣ оцѣненнымъ лишь въ наше время исторіею точной науки, признавшею въ немъ „отца физической химіи". Кантемиръ, съ виду совсѣмъ принявшій внѣшность и привычки европейца, интересующійся такими предметами, которые въ ту пору могли быть доступны у насъ лишь немногимъ (таковы, напримѣръ, его „Письма о природѣ и человѣкѣ", хранящіяся въ Публичной библіо-

---

[1]) Ср. Реляціи князя Антіоха Кантемира изъ Лондона, т. I, изд. подъ ред. проф. В. Александренко, 1892.

[2]) Переводъ сатиръ Кантемира на франц. языкъ сдѣланъ былъ аббатомъ Гуаско и изданъ въ Лондонѣ, 1749; первая біографія принадлежитъ аббату Венути; нѣмецкій переводъ барона Шпилькера, Берлинъ, 1752.

[3]) На значеніе этого края въ русскомъ просвѣщеніи XVII и начала XVIII в.—указалъ впервые В. И. Ламанскій („М. В. Ломоносовъ", Отеч. Записки, 1863 г.); срав. затѣмъ стат. Ѳ. Витберга „Сѣверный культурный центръ", Изв. Отд. р. яз. и сл., 1912, III, и различныя данныя, собранныя въ статьяхъ „Ломоносовскаго сборника", 1911, изд. Академіей Наукъ.

текѣ, первая на Руси популярная статья по естествознанію [1]), мысли о воспитаніи, введенныя въ VII сатиру подъ вліяніемъ Локка, старанія о переводѣ „Entretiens sur la pluralité des mondes" Фонтенелля, возбудившемъ яростное сопротивленіе русскихъ обскурантовъ-церковниковъ,—первое серьезное нападеніе цензурно-запретительнаго характера на популяризацію западнаго научнаго еретичества), и какъ будто ушедшій въ обособленную жизнь кабинетнаго ученаго, близко принимаетъ къ сердцу успѣхи русскаго слова, не только съ радостнымъ сознаніемъ участвуетъ въ заложеніи русской литературной своеобразности, но, несмотря на философскую умѣренность, готовъ вынести всю тягость положенія писателя въ темной общественной средѣ. Даже такая блѣдная, пассивная личность, какъ Тредьяковскій, не чужда стремленію возвести съ помощью пріобрѣтенныхъ вчужѣ знаній нѣчто свое, національное!

Эти люди, какъ бы они ни расходились, ни враждовали между собой, дѣйствовали въ одномъ направленіи и внесли въ литературную область немало новыхъ облагораживающихъ понятій. Достоинство человѣческой личности ставится высоко уже у Кантемира; требованія обновленія и простора народной жизни, отличавшія еще Посошкова, развиваются у Ломоносова [2]) въ цѣломъ рядѣ проектовъ реформъ, проникнутыхъ духомъ гуманности, озабоченныхъ „сохраненіемъ, размноженіемъ" и просвѣщеніемъ народа, и въ замыслѣ основать первый русскій университетъ, осуществлявшемъ наконецъ предположенія Годунова, Полоцкаго, Посошкова и Петра съ Лейбницомъ; отвѣтственность защитниковъ застоя передъ обличительнымъ словомъ устанавливается прочно въ кантемировыхъ сатирахъ, сумароковскихъ притчахъ, комедіяхъ, журнальныхъ очеркахъ, рѣзкихъ нападкахъ ломоносовскихъ разсужденій на суевѣрія и предразсудки [3]); даже тяжелая ложно-классическая трагедія, идя по слѣдамъ своей западной предшественницы, украсила себя торжественными и благонамѣренными монологами, которые звучали среди современной публики проповѣдью человѣчности и героическаго самопожертвованія. Недалеко еще ушла эта пора отъ первыхъ

---

[1]) Въ ней встрѣчаются также любопытныя наблюденія надъ процессомъ творчества, конечно, самыя раннія въ нашей литературѣ: „я въ себѣ собраніе многихъ видовъ нахожу, никогда не думаю сбирать, вкоренять и учреждать ихъ въ порядокъ. Къ тому же всѣ сіи виды представляются и уходятъ, какъ мнѣ угодно. Призову—придутъ, отошлю—скроются, куды, не знаю; завсегда безъ помѣшательства ихъ порядокъ; не знаю, гдѣ они пребываютъ, ни что они суть; но всегда нахожу готовыя движенія разныхъ воображеній и многихъ старыхъ, новыхъ" и т. д. Собр. соч. Кантемира изд. Ефремова II, 62.—Несохранившійся переводъ Кантемира изъ соч. искуснаго популяризатора „ньютоніанизма", итальянца Альгаротти, также указываетъ, на ряду съ „Письмами", на дѣятельность мысли, устремленной къ новой философіи и наукамъ о природѣ.

[2]) Ему извѣстны были нѣкоторые изъ посошковскихъ проектовъ, въ особенности проектъ о школахъ; Ломоносовъ представилъ его въ концѣ 1752 г. въ Академію Наукъ.

[3]) Для противодѣйствія обскурантизму имѣетъ значеніе и фактъ рукописнаго перевода въ ту же пору „Похвалы глупости" Эразма Роттердамскаго, снабженнаго (въ предисловіи) ссылкой на сатиру Кантемира и распространявшагося, очевидно, во многихъ спискахъ. Описаніе ихъ—у А. Н. Пыпина, „Для любителей книжной старины". М., 1888, стр. 54—55.

шаговъ петровской реформы, а уже народившаяся литература пріобрѣла довольно опредѣленное обличье и внутреннее содержаніе.

Но положеніе ея еще шатко; поддержки сверху мало, подростъ силъ незначительный, настоящей школьной образованности еще нѣтъ, никто серьезно не брался за критическое руководство дѣятельностью писателей, хотя по образцу заграничныхъ журналовъ и возникаютъ уже повременныя изданія,—первенецъ русской журналистики, „Ежемѣсячныя сочиненія, къ пользѣ и увеселенію служащія" Гергарда Фридриха Миллера, (1755—58), въ энциклопедическомъ своемъ составѣ отводившія мѣсто литературѣ, переводамъ изъ Вольтера (Микромегасъ), изъ Spectator'а Аддисона и т. д., и первый чисто-литературный журналъ „Трудолюбивая Пчела" Сумарокова. Въ направленіи литературныхъ силъ еще много случайнаго: Ломоносовъ взялъ у одного изъ своихъ образцовъ, Гюнтера, торжественность тона его одъ, особенно ему приглянувшихся, тогда какъ въ несправедливо забытыхъ теперь произведеніяхъ этого поэта главными достоинствами являются задушевность и простота его мелкихъ лирическихъ пьесъ, которымъ удивлялся даже Гете. Для московскаго университета думали привлечь на каѳедру эстетики Лессинга (подобно тому, какъ впослѣдствіи приглашали въ харьковскій университетъ Фихте), и если бъ это предложеніе было принято, вліяніе такого сильнаго ума, обновляющій реформаторскій духъ, ниспровергавшій классическую искусственность, живительно отразились бы на мѣстной литературной жизни. Изъ числа слушателей выдвинулась бы, конечно, не одна даровитая личность, на которую Лессингъ могъ бы оказать такое же вліяніе, какое бывшій геттингенецъ Буле имѣлъ потомъ на Грибоѣдова. Но Лессингъ не принялъ приглашенія; вмѣсто него въ числѣ первыхъ профессоровъ-иностранцевъ явился Рейхель, приверженецъ Готтшеда, который самъ указалъ на него академику Миллеру, и первымъ дѣломъ его было введеніе, въ качествѣ учебниковъ, риторики и поэтики Готтшеда [1]), представителя той школы, которую уничтожилъ въ конецъ Лессингъ. Этотъ Рейхель былъ профессоромъ Фонвизина, оцѣнилъ его высокую даровитость и давалъ ему переводить нравоучительныя книжки... Точно такъ же Сумароковъ всѣ свои силы, все свое безграничное самолюбіе влагалъ въ отстаиванье спасительности классической теоріи. Сходясь въ рьяности и самомнѣніи съ Готтшедомъ, такъ же порывавшимся захватить диктатуру въ нѣмецкой словесности и указывавшимъ современнымъ писателямъ драмъ, въ качествѣ образцовъ, на Софокла и себя (совсѣмъ какъ Сумароковъ, съ комическою напыщенностью дѣлившій власть надъ европейскимъ театромъ лишь съ Вольтеромъ), отецъ нашей трагедіи защищалъ псевдо-классическіе пріемы въ ту самую пору, когда родина Буало и Расина уже измѣняла ихъ традиціямъ для *мѣщанской* драмы.

Но въ отсутствіи строгой системы, выработанной, *своей* теоріи, въ этихъ невольныхъ анахронизмахъ была значительная доля выгоды. Новымъ направленіямъ, которыя тѣмъ временемъ развивались на западѣ,

---

[1]) Шевыревъ, Біографическ. словарь профессоровъ моск. университ. М. 1855, II, 134.

не пришлось выдерживать у насъ сильной борьбы съ стройнымъ и убѣжденнымъ полчищемъ защитниковъ старой теоріи. За неимѣніемъ лучшаго смотрѣлись высокопарныя трагедіи, слушались похвальныя оды, тяжеловатыя сумароковскія комедіи. Зато, какъ только стало устанавливаться нѣкоторое литературное равновѣсіе между нами и западомъ, и къ намъ проникла болѣе правдивая, сильно демократизованная форма драмы, чувствительная и субъективная лирика, соціальная комедія Бомарше,—всѣ здоровыя влеченія молодой еще русской публики направили ее навстрѣчу болѣе свѣжаго и свободнаго творчества. Оттого одна волна такъ скоро смѣнила у насъ другую, и торжество классицизма было такъ непродолжительно (хотя онъ съ виду и дожилъ съ Озеровымъ до александровскихъ временъ и разжигалъ *русскій* патріотизмъ трагедіями, построенными на французскій ладъ) [1]). Онъ скоро вызвалъ противъ себя насмѣшливыя нападки, принужденный иногда очистить мѣсто совсѣмъ безъ боя. Разливъ похвальной лирики въ Германіи былъ прерванъ сатирами Нейкирха и другихъ поэтовъ, осмѣявшими фабричное производство одъ,—и у насъ остроумный „Чужой толкъ" Дмитріева, попытавшійся пристыдить отечественныхъ виршеписцевъ указаніемъ на истинныхъ поэтовъ древности и новой Европы, нанесъ рѣзкій ударъ классической одѣ всего черезъ какихъ-нибудь два десятилѣтія послѣ смерти Ломоносова. Тѣмъ временемъ московская театральная публика, увлеченная большею жизненностью новой *драмы*, проповѣдуемой и на словахъ и на дѣлѣ Дидро, Лессингомъ и Бомарше, скоро покинула для нея своего недавняго любимца Сумарокова.

Въ этихъ счастливыхъ случайностяхъ сказывались здоровые инстинкты тѣхъ, затронутыхъ наконецъ просвѣщеніемъ, общественныхъ слоевъ, которые должны были, съ теченіемъ времени, получить значительное вліяніе на ходъ литературы. Какъ во Франціи или Германіи, такъ и у насъ въ 18-мъ вѣкѣ постепенное усиленіе того, что можно было бы назвать среднимъ сословіемъ, что собирало въ своихъ рядахъ лучшія силы различныхъ классовъ общества, отразилось на освобожденіи литературы отъ условной церемонности, утомительнаго однообразія героическихъ подвиговъ и на водвореніи въ ней мѣщанской, бытовой реальности. Но какъ бы ни казалось естественнымъ и въ области слова, и въ искусствѣ водвореніе простоты и правдивости, эта желанная цѣль достигалась всегда и вездѣ послѣ многихъ колебаній, поисковъ за идеалами, блужданій ощупью и ошибокъ; обыкновенно рядъ школъ и ученій восходитъ и исчезаетъ, прежде чѣмъ найдена будетъ искомая близость къ жизни и свобода творчества. И мы можемъ съ увѣренностью сказать, что русская литература восьмнадцатаго вѣка долго искала бы выхода, оставаясь съ своими Ярбами, Хоревами, Россіадой, философскими одами, дидактическими поэмами, если бы пробудившіеся инстинкты

---

[1]) Дмитрій Донской декламируетъ патріотическія тирады, прямо взятыя изъ Расина и Дюси, совсѣмъ подъ стать галломану Ростопчину, прекрасному *французскому* стилисту, закидывавшему въ то же время французовъ шапками въ своихъ псевдо-народныхъ брошюрахъ и афишахъ.

не получили могущественной поддержки извнѣ. Далекіе отголоски освободительнаго движенія, волновавшаго уже всю Европу, ставившаго себѣ цѣлью внести и въ политическую жизнь народовъ, и въ ихъ духовную дѣятельность, и въ воспитаніе критическій анализъ, объявляя войну полчищамъ застарѣлыхъ предразсудковъ,—эти отголоски будили у насъ умы раньше того времени, которое принято считать оффиціальнымъ началомъ русскаго просвѣтительнаго вѣка [1]). Смѣлыя выходки англійской сатирической журналистики противъ всего ложнаго и темнаго въ жизни и литературѣ, обойдя уже остальныя страны, читались у насъ съ сочувствіемъ; начиная съ журнала Миллера, во всѣхъ раннихъ нашихъ журналахъ и вѣдомостяхъ мы встрѣчаемъ частые переводы изъ „англійскаго Спектатора", или „Смотрителя", кое-какіе отрывки обличительныхъ повѣстей, взятыхъ въ однородныхъ съ нимъ французскихъ и нѣмецкихъ изданіяхъ, и уже предчувствуемъ близкое нарожденіе русской сатирической журналистики семидесятыхъ годовъ. Вкусъ къ чтенію переводныхъ романовъ въ старомъ духѣ, полныхъ фантастическаго вымысла и ничѣмъ не связанныхъ съ дѣйствительной жизнью, падаетъ передъ мягкой и человѣчной проповѣдью новаго англійскаго романа, ставившаго своей гордостью умѣнье изображать жизнь будничную съ ея страданіями и тревогами [2]), или реалистической силой бытовой французской повѣсти въ томъ живомъ, свободномъ и правдивомъ ея направленіи, которое развилось подъ вліяніемъ Мариво съ его „Маріанной", аббата Прево съ его удивительной „Манонъ Леско", „Приключеніями маркиза Г. или жизнью благороднаго человѣка, оставившаго свѣтъ" (Mémoires d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde),—первымъ романомъ этого типа, переведеннымъ по-русски (1756), „Жизнью Клевеланда" и т. д. [3]),—и будущая русская повѣсть уже обрисовывается въ неясныхъ пока чертахъ. Комедія Детуша, Реньяра, Пирона, Гольберга борется противъ ложной образованности, свѣтской пустоты, трескучаго стихотворства, указывая первымъ же русскимъ комикамъ, Лукину, Фонвизину, темы для ихъ обличительной дѣятельности; даже скромная басня, едва поспѣвая за своими остальными собратьями, принимаетъ ту же воинствующую складку. Словомъ, пройдя впередъ, вытерпѣвъ уже въ значительной степени страду дня, литература запада, дѣйствовавшая съ той поры съ возрастающимъ единодушіемъ и стройностью, приходила на помощь русскимъ образованнымъ

---

[1]) Баронъ Бретейль, бывшій французскимъ посланникомъ въ Россіи, свидѣтельствуетъ въ своемъ мемуарѣ отъ 1 сент. 1763 г., что еще при Елизаветѣ многіе молодые русскіе дворяне получали образованіе свое въ Женевѣ и возвращались, „наполнивъ умъ и сердце республиканскимъ духомъ". По мнѣнію Бретейля, „не нужно было особенно близкаго знанія Россіи, чтобъ замѣтить, до какой степени всѣ умы увлекаются свободой". Приведено изъ документовъ архива франц. министерства иностр. дѣлъ у Larivière, Catherine II et la révolution française, 1895, стр. 11.

[2]) Первымъ изъ выдающихся англійскихъ романовъ былъ переведенъ „Tom Jones" Фильдинга (Повѣсть о Томасѣ Іонесѣ или найденышѣ, 1770); перев. сдѣланъ съ французскаго.

[3]) О переводныхъ повѣстяхъ—Н. А. Бѣлозерская, „Вліяніе переводнаго романа и западн. цивилизаціи на рус. общество XVIII в.", Русск. Старина. 1896, I.—В. В. Сиповскій. Очерки изъ исторіи русск. романа. I. XVIII-й вѣкъ, 1909.

людямъ, стоявшимъ на рубежѣ отжившей школы и признаковъ времени. Эта поддержка является крупнымъ фактомъ въ исторіи развитія нашей литературы 18 вѣка. Классической школѣ привелось быть ея воспріемницей, водворить извѣстное количество новыхъ для насъ формъ, а движеніе, связанное съ просвѣтительнымъ періодомъ, дало во-время противоядіе противъ искаженій и ошибокъ, которыя могли возникнуть отъ преобладанія ложно-классической искусственности.

Этотъ положительный результатъ не могъ быть единственнымъ,— освѣженіе творчества бытовыми мотивами, возрастаніе реализма, близость къ жизни, все это составляло важныя пріобрѣтенія для литературной области въ тѣсномъ ея смыслѣ. Но изъ-за новыхъ явленій въ западной словесности высились, осѣняя и оживляя ихъ, завоеванія философской и научной мысли, призванныя внести идеи гуманности и свободы въ общечеловѣческую умственную работу, подчинявшія своему авторитету и плебеевъ, и всесильныхъ правителей, и деспотовъ, и мечтательныхъ филантроповъ. Въ то время какъ у насъ слабый еще кружокъ интеллигентныхъ личностей едва влачилъ свое существованіе, когда порою простое чтеніе книги политическаго или общественнаго содержанія могло считаться тяжкимъ преступленіемъ [1]), когда преторіанскія волненія возводили и низводили правителей, мѣняя съ тѣмъ вмѣстѣ при дворѣ нѣмецкіе вкусы на французскіе, и вся эта сутолока считалась дѣломъ первостепеннымъ, какъ будто поглощала всѣ общественные интересы,—западная жизнь переживала блестящую пору расцвѣта умственныхъ силъ, ставя освобожденіе мысли и торжество человѣчности выше всякихъ внѣшнихъ преимуществъ. Насилія бироновщины сходились въ оскорбительномъ контрастѣ съ проповѣдью новой французской философіи, предвѣстницы энциклопедистовъ, высоко державшей знамя гуманности. Въ своемъ побѣдномъ шествіи по Европѣ, постепенно подчинявшемъ себѣ одну страну за другою, она придвинулась уже къ нашему рубежу и задумала превратить пропитанную, казалось, насквозь казарменнымъ духомъ Пруссію въ пріютъ свободной мысли и равноправности, сдѣлать закоснѣлую въ абсолютизмѣ Австрію даже при Маріи-Терезіи (благодаря охваченному идеями вѣка ея сыну) однимъ изъ очаговъ просвѣтительной философіи и гуманности. Надолго устраниться отъ

---

[1]) Такъ въ 1737 году во время процесса князя Д. М. Голицына, обвинявшагося въ разныхъ тяжкихъ преступленіяхъ и едва не подвергнутаго смертной казни, однимъ изъ важныхъ прегрѣшеній выставлялось чтеніе „книгъ *Макіавелевой и Бокалиновой*“ (вѣроятно, тутъ разумѣлась политическая сатира Боккалини „Вѣсти съ Парнаса“, „Ragguagli di Parnaso“, Venezia, 1612—13, подъ покровомъ античной аллегоріи и съ рѣзкимъ обличительнымъ задоромъ обнажавшая много зла въ политической, церковной, общественной жизни своего времени). Вся библіотека Голицына, состоявшая, отмѣтимъ кстати, изъ шести тысячъ книгъ, даже на голландскомъ, испанскомъ, англійскомъ, шведскомъ языкахъ, была захвачена, и въ ней въ особенности доискивались названныхъ сочиненій, которыя и были потребованы въ высшій судъ.—См. переписку по этому дѣлу, напеч. въ Библіогр. Запискахъ 1861, № 11.— Волынскаго также допрашивали на судѣ, читалъ ли онъ Маккіавелли и дѣлалъ ли изъ Юста Липсія оскорбительныя сближенія съ русскими дѣлами. „Записка объ Артеміи Волынскомъ“, М., 1858, с. 15—19.

всеобщаго увлеченія было немыслимо, невозможно. Когда самая черная пора миновала и новое ученіе могло свободнѣе проникать въ Россію,—складывалось уже на удивленіе всему свѣту величественное зданіе Энциклопедіи, съ ея обобщеніями добытыхъ наукою результатовъ и программою философскаго, соціальнаго и политическаго прогресса. Стройная армія убѣжденныхъ и даровитыхъ борцовъ, какъ выразился Морлей, „вышла изъ этой крѣпости на борьбу съ старымъ началомъ",—и зрѣлище этой борьбы, понятной всюду, гдѣ были тьма, гнетъ и предразсудки, должно было встрѣтить и у насъ во всѣхъ мало-мальски здоровыхъ умахъ глубокое сочувствіе. Возвратилось радостное сознаніе наступленія свѣтлой поры, которое мы видѣли при Петрѣ. Оно замѣтно уже съ воцаренія Елизаветы, когда образованнымъ людямъ ломоносовскаго типа отраднѣе всего было сознавать, что послѣ безстыднаго и всевластнаго невѣжества и застоя опять возрождаются петровскія просвѣтительныя традиціи и что снова можно, даже тѣснѣе прежняго, завязать связи съ мыслящей Европой. Изъ различныхъ общественныхъ слоевъ начинаютъ выдвигаться теперь эти люди, словно проходя подготовительную работу для культурной дѣятельности и литературнаго движенія, которыя сполна настанутъ для нихъ въ екатерининскую пору. Большинство ихъ—западнаго образованія; иные воспитали себя сами дома усиленнымъ чтеніемъ послѣднихъ новостей европейской науки и литературы, проходя черезъ стажъ вольтерьянства на величественный просторъ энциклопедизма, англійской точной науки, философіи, боевой словесности. Однихъ баловала судьба, поставивъ на западѣ въ близкія отношенія съ вождями и главарями энциклопедистскаго похода. Пятнадцать лѣтъ житья Бецкаго за границей въ постоянномъ общеніи съ вершинами мысли были хорошей школой для будущаго его просвѣтительства; Ив. Ив. Шуваловъ съ своимъ культомъ Вольтера [1]), частыми путешествіями въ Европу за различными культурными возбужденіями, научавшими фаворита ограниченной и достаточно невѣжественной правительницы уму-разуму и полезнымъ реформамъ; Григорій Тепловъ, смѣнившій полу-церковное образованіе въ одной изъ школъ, основанныхъ Ѳеофаномъ Прокоповичемъ, на нѣмецкій университетъ, потомъ на вторичное путешествіе по западу, съ живымъ интересомъ къ философіи [2]) и просвѣтительной работѣ (въ Малороссіи при Разумовскомъ въ елизаветинскую пору, въ Петербургѣ по вопросамъ народнаго образованія—въ началѣ екатерининской эпохи); малороссы Козицкій, уже въ пятидесятыхъ годахъ дѣятельный литераторъ-

---

[1]) Впослѣдствіи онъ отдалъ преимущество англійской культурѣ, испугавшись рѣзкихъ послѣдствій энциклопедистскаго вліянія въ вопросахъ вѣры и нравственности. Любопытно, напр., осужденіе (въ письмѣ къ графу М. Воронцову изъ Парижа, 1766 г.) извѣстнаго происшествія въ Аббевиллѣ съ шевалье де-ла-Барромъ и его товарищами, „признавшимися, что были возбуждены чтеніемъ Волтеровыхъ сочиненій и Анциклопедіей". Эти „сочиненія несказанный вредъ причиняютъ. Англійскіе писатели, даже въ самое время перемѣны ихъ закона, старались опровергать суевѣрія, а догматы свято и въ почтеніи сохраняли". Архивъ кн. Воронцова, IV, 305.

[2]) Въ 1759 г. вышла книга его, „Знанія, вообще до философіи касающіяся".

переводчикъ, потомъ вмѣстѣ съ Екатериной основатель сатирической журналистики, и его другъ и сотрудникъ Мотонисъ, учившіеся въ Бреславлѣ и Лейпцигѣ; вестфалецъ Гергардъ Миллеръ, бывшій студентъ Академической гимназіи, развившій еще со временъ Анны широкую и разнообразную дѣятельность русскаго историка, археолога, этнографа, натуралиста-собирателя, ученаго путешественника, наконецъ журналиста; Иванъ Елагинъ съ великой пестротой его культурныхъ влеченій, отъ французскаго вольнодумства до масонства, отъ страстнаго театральства къ историческимъ работамъ или ревностной пересадкѣ на русскую почву новой западной художественной литературы, особенно романа; Дашкова, подобно Екатеринѣ прошедшая черезъ настойчивый процессъ келейнаго самообразованія на великихъ явленіяхъ западной мысли (дополненный и углубленный впослѣдствіи долгой жизнью на западѣ),—готовые просвѣтители *до* эпохи просвѣщенія, приступающіе уже къ дѣлу или ожидающіе примѣненія въ немъ своихъ силъ. Особыхъ причинъ радоваться достигнутымъ во время этого пролога къ русскому siècle des lumières собственнымъ успѣхамъ было не особенно много. Основаніе университета, постояннаго театра и академіи художествъ, начало журналистики, проблески меценатства по отношенію къ литературѣ, начало сношеній съ важнѣйшими европейскими писателями (предложеніе Вольтеру взять на себя составленіе „Исторіи Петра Великаго“) [1]) — главные итоги этой поры [2]). Но она казалась радостной зарей, вслѣдъ за которой при Екатеринѣ, проходившей тѣмъ временемъ въ своемъ духовномъ одиночествѣ такую же, но еще болѣе интенсивную, школу подготовки и воспитанія въ идеяхъ вѣка, наступилъ свѣтлый день.

Тогда все заликовало. Какъ нѣкогда Тверитиновъ или Посошковъ, такъ теперь не только талантливые и интеллигентные люди, но и фонвизинскіе герои, благонамѣренные говоруны современныхъ салоновъ, стихотворцы и т. д. предаются при каждомъ случаѣ восхваленію блаженства настоящей минуты; оно развиваетъ въ нихъ непомѣрный, недальновидный оптимизмъ, съ той поры не разъ проявлявшійся при малѣйшемъ просвѣтѣ въ русскомъ обществѣ. Становится моднымъ щеголять, драпироваться имъ, и въ рѣчахъ оффиціальныхъ резонеровъ, въ родѣ Бец-

---

[1]) Переписка Вольтера съ Шуваловымъ и французскими корреспондентами, посвященными въ развитіе этого необдуманно принятаго на себя труда, сохранила живые слѣды заботъ, недоумѣній и недовольства, вызывавшагося неумѣлымъ, но еще болѣе предумышленнымъ подборомъ матеріала для „Исторіи“, который присылался изъ Россіи подтасованнымъ, неполнымъ, одностороннимъ.

[2]) Сколько же двусмысленнаго и ложнаго прокралось къ намъ въ ту неопытную пору подъ флагомъ европеизма! Придворныя шашни Лестока и де-ла-Шетарди, безцеремонное вмѣшательство въ русскія дѣла бездарнаго Людовика XV, миссія въ Петербургъ извѣстнаго авантюриста Шевалье д'Эона, носившаго поочередно личину то мужчины, то женщины, эксцентрическая карьера эльзасца Чуди, принявшаго въ Россіи имя chevalier de Lussy,—бывшаго и секретаремъ у Строганова, и актеромъ французскаго театра, и редакторомъ перваго французскаго журнала въ Россіи, le Caméleon littéraire, и, кажется, фаворитомъ императрицы,—наиболѣе выдающіеся примѣры. О Люсси—Pingaud, Les français en Russie et les russes en France, 1886, p. 22—24.

каго, столько же благонамѣренныхъ общихъ мѣстъ, сколько въ разсужденіяхъ театральнаго резонера Правдина. Въ этомъ оптимизмѣ далеко не все должно быть отнесено къ стремленію подладиться подъ господствующій тонъ; это скорѣе проявленіе наивной довѣрчивости и способности къ преждевременнымъ ликованіямъ. Становилось легче жить, личное существованіе какъ будто осмысливалось и пріобрѣтало цѣль; недовольство собой, гложущее чувство нравственной неудовлетворенности, неспокойной совѣсти улегалось,—и человѣка тѣшила мысль, что онъ тоже участвуетъ въ общемъ возрожденіи.

Не обошлось, конечно, безъ крайностей, или смѣшныхъ, или просто пошлыхъ. Свободный полетъ мысли умалялся иногда у людей далеко не бездарныхъ до грошоваго вольнодумства, безпечно касавшагося одной лишь поверхности вещей, до циническихъ прибаутокъ, празднаго кощунства и грозно радикальныхъ, но въ сущности совершенно несерьезныхъ заявленій, придававшихъ человѣку безъ большого труда съ его стороны ореолъ свободомыслія въ полуграмотномъ обществѣ. Или же, наконецъ, ходячій запасъ либерально звучащихъ фразъ и безсознательное томленіе по французской цивилизаціи затверживалось наизустъ людьми, совершенно неспособными понять настоящій смыслъ современнаго движенія. Таковъ (при всѣхъ карикатурныхъ и безподобно смѣшныхъ преувеличеніяхъ, введенныхъ въ него авторомъ) Иванушка въ „Бригадирѣ", побывавшій даже лично въ Парижѣ; таковъ одинъ изъ тогдашнихъ провинціальныхъ епископовъ, говорившій о себѣ при каждомъ удобномъ случаѣ: „я французъ, я французъ!" Въ этомъ явленіи опять же нѣтъ спеціально русской уродливости; при однородныхъ обстоятельствахъ оно повторялось вездѣ; каждое движеніе имѣетъ своихъ хористовъ, послушно тянущихъ одну и ту же ноту, своихъ карикатурныхъ исказителей. Если и въ двадцатыхъ годахъ девятнадцатаго вѣка Грибоѣдовъ счелъ необходимымъ разграничить положительное отъ мелкаго и пошлаго въ современномъ ему лагерѣ европейцевъ и рядомъ съ Чацкимъ поставилъ секретныя совѣщанія Репетилова съ князь-Григоріемъ и его клубною братіей, то изъ западной жизни можно привести рядъ такихъ же разновременныхъ примѣровъ. Въ Германіи успѣхи просвѣтительнаго направленія не разъ портились, благодаря не въ мѣру ревностнымъ дѣятелямъ его; впослѣдствіи пора знаменитаго „Sturm und Drang'a" выродилась въ смѣшную растрепанность чувствъ и ухарство „геніальности", покончившее со всякими законами въ поэзіи; до забавности заразительно дѣйствовали на подражателей-лилипутовъ вертеризмъ и байронизмъ. Въ Англіи 17-го вѣка галломанія порождала такія же уродливыя явленія, какъ у насъ, и если мы можемъ выставить типическій портретъ Иванушки, то комедія Уичерли The dancing master или Monsieur de Paris и различныя статьи сатирическихъ журналовъ рисуютъ совсѣмъ однородный характеръ, а Гольбергъ борется съ тѣмъ же зломъ въ датской обстановкѣ. Такъ это было и съ нашей галломаніей и такъ называемымъ волтерьянствомъ въ 18-мъ вѣкѣ. Образецъ былъ совершенно неповиненъ въ томъ, что его портило и дѣлало смѣшнымъ грубое обезьянство. Насмѣшка русской

сатиры и комедіи была въ этомъ отношеніи вполнѣ законной, но замѣчательно, что и при этомъ не обходилось безъ посторонныхъ указаній.

Для успѣшнаго вліянія общественныхъ, литературныхъ и научныхъ теорій недоставало еще многаго, и самаго существеннаго. Прежде и главнѣе всего, не было того прочнаго, основательнаго образованія, на которое съ пользою могли бы упасть сѣмена оживляющаго движенія. Составляя различные проекты „созданія новой породы людей", не позаботились о томъ, чтобъ для нея было гдѣ учиться [1]). Университетъ долго не выходилъ изъ-подъ ферулы соннаго педантизма, лишь по временамъ оживляясь благодаря случайно забредшей туда талантливой личности; собранныя теперь свѣдѣнія и воспоминанія о томъ, что дѣлалось въ гимназіяхъ, говорятъ о порядкахъ почти допотопныхъ. Школы, созданныя въ Петербургѣ чудодѣйственной энергіей Новикова на общественныя средства и подъ общественнымъ контролемъ, были проникуты инымъ духомъ, но зато вызвали въ Екатеринѣ ревность и неудовольствіе. Наконецъ и о народномъ образованіи стали серьезно заботиться только тогда, когда Іосифъ II поставилъ его на первый планъ, и чтобъ дать русскому крестьянину или мѣщанину школы, выписали казеннымъ способомъ изъ *Венгріи* серба Янковича [2]). Надежды на домашнее образованіе, какъ всегда, оказались шаткими; благодаря комедіямъ и журналамъ, мы слишкомъ хорошо знаемъ, въ чьихъ рукахъ находилось оно тогда по большей части. Поэтому-то многое изъ того, что воспринималось въ ту пору съ запада, усваивалось дилеттантически, очаровывало, но не могло перейти въ плоть и кровь, не дало тѣхъ результатовъ, которое могло дать. Не *слишкомъ много* заимствовали и учились мы въ ту пору у нашихъ западныхъ сосѣдей (какъ это кажется инымъ), но слишкомъ мало и не такъ, какъ слѣдовало. Многаго и понять не могли, мимо многаго важнаго прошли безъ вниманія. Неудивительно, что у перваго поколѣнія екатерининскихъ дѣятелей убѣжденія оказывались иногда необыкновенно шаткими. Фонвизинъ начинаетъ съ увлеченія новыми идеями, готовъ удариться въ крайность кощунства, но среди учащающихся приступовъ неврастеническаго упадка силъ встрѣча съ суровымъ мистикомъ, прежнимъ вольнодумцемъ, Тепловымъ, и призывы къ покаянію и религіозному смиренію пробуждаютъ въ немъ угрызенія совѣсти, которыя удержатся, правда, лишь до слѣдующаго „свѣтлаго промежутка", когда съ прежнимъ блескомъ вырвется на волю его выдающееся боевое дарованіе. Недовольство Екатерины мни-

---

[1]) Въ началѣ екатерининскаго царствованія посылали молодыхъ людей въ Геттингенъ, Лейпцигъ, Кенигсбергъ, Упсалу, Лейденъ. Альфьери учился съ нѣсколькими молодыми русскими въ Туринской академіи; студентомъ въ Падуѣ былъ Александръ Вакунинъ, отецъ извѣстнаго „дилеттанта-философіи" и революціонера. Дашкова воспитывала потомъ своего сына въ Эдинбургскомъ университетѣ.

[2]) Въ статьѣ С. Рождественскаго „Проекты учебныхъ реформъ при Екатеринѣ", Жур. мин. нар. просвѣщ., 1907, XII, сообщены свѣдѣнія о раннемъ (въ началѣ царствованія) проектѣ организаціи школъ (низшая — обязательная), составленномъ, какъ полагаетъ авторъ, Тепловымъ.

мой вольностью его „Вопросовъ“ вызываетъ въ отважномъ сатирикѣ великую тревогу; когда же въ послѣдніе годы, разбитый параличемъ, онъ публично, въ церкви, указываетъ студентамъ на свое полумертвое тѣло, какъ на знакъ гнѣва небеснаго, покаравшаго его за грѣхи, онъ вызываетъ жалость и состраданіе. Да и не у него одного поблекъ потомъ слишкомъ легко пріобрѣтенный налетъ мнимо-усовершенствованнаго свободомыслія.

При такомъ дилеттантическомъ отношеніи къ дѣлу понятно, почему многія стороны движенія, передаваясь черезъ посредствующія звенья, такъ блѣднѣли и мельчали. Въ борьбѣ своей противъ предразсудковъ, въ проповѣди сближенія съ естественнымъ строемъ жизни, Руссо отвелъ важное мѣсто заступничеству за вѣротерпимость и свободу совѣсти, и въ Савойскомъ священникѣ (Vicaire Savoyard) своего „Эмиля“ набросалъ симпатичный образъ честнаго и христіански-гуманнаго пастыря душъ, не знающаго различія людей по религіямъ; идя тѣмъ же путемъ, Лессингъ глубокими, художественными чертами осуществилъ принципъ свободы вѣры въ своемъ „Натанѣ“, поставивъ среди враждующихъ исповѣданій представителя гонимой и презираемой еврейской расы, отвѣчающаго на преслѣдованія и насмѣшки величественнымъ въ своей простотѣ призывомъ людей къ братству и равенству всѣхъ религіозныхъ убѣжденій. Какимъ жалкимъ, въ сравненіи съ этимъ, является отзвукъ возбужденнаго интереса къ вопросамъ религіи въ карикатурной фонвизинской проповѣди на Духовъ день сельскаго попа, едва грамотнаго духовнаго вождя полупьяныхъ крестьянъ! Личность бѣднаго попа взята изъ того же комическаго альбома, гдѣ красуются Кутейкинъ съ Цыфиркинымъ, и бригадирша Акулина Тимоѳеевна, и самое большее, если авторъ имѣлъ въ виду напомнить кому слѣдуетъ, что необходимо было бы нѣсколько пообучить и пастырей и паству.

Съ теченіемъ времени подобное отношеніе къ дѣлу начало мѣняться; дилеттанты-начетчики (для иныхъ и это не совсѣмъ подходящій терминъ; orecchianti, такъ зовутъ въ Италіи безграмотныхъ пѣвцовъ, которые, не зная нотъ, поютъ цѣлыя оперы по слуху, — у насъ такого слова еще нѣтъ) начинаютъ смѣняться людьми образованными, убѣжденными, подготовленными къ просвѣтительной дѣятельности. Немногимъ удается воспитать себя для этой цѣли мѣстными, домашними средствами. За отсутствіемъ серьезнаго образованія въ Россіи, молодежь старается получить его за границей, особенно въ Германіи, и эти выходцы возвращаются дѣйствительно новыми людьми, съ жаждой полезнаго труда. Интересныя, типическія лица — эти „новые люди“! Таковъ въ особенности лейпцигскій кружокъ Радищева; таковы безвѣстные поклонники энциклопедистовъ на юго-восточныхъ русскихъ окраинахъ, даже въ Заволжьѣ и оренбургскихъ степяхъ, — для которыхъ умный Винскій, увидавшій въ изученіи и распространеніи новой философіи поправку своей безпорядочной жизни, дѣлалъ рукописные переводы классическихъ произведеній французскихъ мыслителей, — таковъ и самъ Винскій, фанатическій ихъ

поклонникъ [1]), и другой провинціальный любитель философіи, Добрынинъ, выходецъ изъ круговъ церковничества, авторъ „Записокъ"; такова группа изъ девятнадцати лицъ, образовавшаяся въ Москвѣ для изданія въ 1767 году „Переводовъ изъ Энциклопедіи" подъ редакціею Хераскова, и на ряду съ нею ревностный и убѣжденный издатель и переводчикъ Вольтера, Рахманиновъ, съ умомъ и настойчивостью пропагандировавшій любимаго писателя, въ которомъ онъ видѣлъ не остроумца, а искателя истины [2]); таковы нерѣдкіе у насъ въ свое время искренніе поклонники американской борьбы за независимость, почитатели Вашингтоновъ и Франклиновъ, наконецъ, молодой Карамзинъ, съ грезами о швейцарской свободѣ, поклоненіемъ Канту, серьезнымъ взглядомъ на общественное призваніе литературы. Въ то время, когда подобныя личности могли бы предъявлять право на непосредственное участіе въ просвѣщеніи и общественныхъ реформахъ, другія являлись на западѣ посредниками между русскимъ обществомъ и главными дѣятелями европейскаго движенія. Таково значеніе воспитавшагося во Франціи и долго жившаго частнымъ лицомъ въ Парижѣ до дипломатической своей дѣятельности, кн. Д. А. Голицына, посла въ Парижѣ и Голландіи, друга Дидро, главнаго устроителя его поѣздки въ Россію, съ великимъ рвеніемъ осуществившаго (въ Гагѣ, 1772) изданіе посмертнаго труда Гельвеція „De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation [3]), посвятивъ его Екатеринѣ, со временемъ значительно ослабѣвшаго въ своей культурной отзывчивости (въ особенности по вопросу о крестьянскомъ освобожденіи), но передавшаго ее дѣтямъ, особенно Д. Д. Голицыну, отрекшемуся отъ почета и блеска, чтобъ въ Америкѣ начать опытъ новой общинной жизни и въ качествѣ миссіонера-католика устраивать школы, основывать города, цивилизовать край [4]). Таково посредничество Дашковой во время ея долгихъ стоянокъ

---

[1]) „Сколько бы старообрядцы, новообрядцы и всѣ ихъ отголоски ни вопіяли: распинайте французовъ! но Вольтеры не Мараты, Ж. Ж. Руссо не Кутоны, Бюффоны не Робеспьеры. Ежели когда-нибудь настанутъ времена правды, тогда великіе умы 18 столѣтія, истинные благодѣтели рода человѣческаго, получатъ всю, имъ принадлежащую, честь и признательность", говорилъ Винскій послѣ революціи (Записки, стр. 87).

[2]) Въ предисловіи къ книгѣ Дюбуа „Извѣстіе о болѣзни и исповѣди г. Вольтера" онъ беретъ подъ свою защиту смѣлый полетъ Вольтеровской мысли. Умствованія г. Вольтера,— говоритъ онъ,—стремились далѣе тѣхъ границъ, гдѣ всѣ изслѣдованія человѣка остаются недѣйствительными", но дѣлаетъ различіе между развязностью „мнимыхъ философовъ", не умѣющихъ обосновать своихъ сомнѣній, и пріемами человѣка, имѣющаго „обширное понятіе о многихъ предметахъ и заслуживающаго не порицанія, а исправленія здравою критикой".

[3]) Переписка, вызванная настойчивымъ выполненіемъ этого плана, заключающая въ себѣ отвѣты Екатерины, которую Голицынъ во-что бы то ни стало рѣшилъ заинтересовать изданіемъ книги Гельвеція и склонить къ матеріальной поддержкѣ, и письмо Вольтера къ Голицыну, послѣ появленія трактата, которое онъ считаетъ очень цѣннымъ въ интересахъ разума, оспаривая основныя положенія, напечат. въ Рус. Вѣстникѣ, 1876, V А. Рачинскимъ (Русскіе цѣнители Гельвеція въ 18 вѣкѣ по документамъ Московск. Главн. Архива Мин. Иностр. Дѣлъ).

[4]) Онъ докончилъ воспитаніе свое въ Балтиморской семинаріи и затѣмъ сошелся съ высланными изъ Франціи монахами ордена св. Сульпиція; клерикализмъ, повидимому, не игралъ большой роли въ его умственныхъ интересахъ. Память о немъ, какъ о филан-

на западѣ или гр. Андрея Шувалова съ его близкими связями со всѣмъ міромъ энциклопедистовъ, и искуснымъ французскимъ писательствомъ [1]).

Но, именно въ ту пору, когда для дѣла подготовлено было уже извѣстное количество ревностныхъ и способныхъ работниковъ, въ нихъ не находили уже нужды и, оставляя въ сторонѣ туземныя силы, призывали или допускали по ихъ просьбамъ, иногда совсѣмъ некстати и безполезно, къ административной дѣятельности, экономическимъ реформамъ, неумѣлыхъ иностранныхъ спеціалистовъ, въ родѣ Мерсье де ла Ривьера (котораго Вольтеръ пародировалъ въ повѣсти „L'homme aux quarante écus", или Сенака де-Мейльяна [2]). Самое движеніе и горячій порывъ даровитой русской молодежи къ дѣятельности становятся предметомъ сильнѣйшей подозрительности со стороны власти; на юношески-страстное обращеніе къ Екатеринѣ Гердера, тогда еще рижскаго педагога и проповѣдника, отдававшаго всего себя въ ея распоряженіе ради возможности участвовать въ реформахъ, не было обращено ни малѣйшаго вниманія [3]). Само общество, еще недавно выслушивавшее рѣчи новыхъ людей съ благоговѣйнымъ удивленіемъ, отворачивается отъ нихъ, издѣвается надъ ними; общеніе съ западомъ подавлено въ ту пору, когда становилось наиболѣе полезнымъ.

Въ неясномъ отношеніи правительственныхъ сферъ къ движенію заключается вторая существенная причина недостаточнаго его успѣха. Не говоря уже о томъ слишкомъ явномъ фактѣ, что покровительственный образъ дѣйствій прилагался въ сущности лишь въ теченіе самаго ранняго и непродолжительнаго періода, постепенно смѣняясь недовѣріемъ, ревностью къ поднимающимся общественнымъ силамъ, попытками сдержать, осадить неумѣренные будто бы порывы (жертвою этой двуличной политики былъ прежде всего екатерининскій парламентъ, законодательная комиссія 1767 г., черезъ годъ послѣ открытія ставшій въ тягость и умиравшій медленной смертью) необходимо уяснить себѣ, до какой степени двойственна была сама эта политика. Съ одной стороны она величаво рисовалась передъ всемірно-исторической ареной зрителей [4]) съ своимъ

тропѣ, сохраняется въ Америкѣ до сихъ поръ. По его фамильному имени названъ городъ въ Аллеганахъ (Galitzin), возникшій, какъ колонія, вокругъ построенной имъ Лоретской церкви. Его жизнь, похожая на романъ, пересказана была въ наше время Сарой Броунсонъ въ книгѣ „Князь-Священникъ" (Голицынъ, отбросивъ родовое имя, превратился въ Америкѣ въ патера Смита).

1) Его „Epitre à Ninon" приписывалось самому Вольтеру.

2) Въ числѣ проектовъ и плановъ, которые онъ самонадѣянно брался выполнить, находилось даже составленіе историческаго очерка Россіи въ 18 вѣкѣ, разумѣется, направленнаго къ прославленію правленія Екатерины, въ которомъ этотъ завѣдомый роялистъ и недругъ революціоннаго духа, конечно выдвинулъ бы всѣ охранительныя доблести. Пріѣздъ его въ Россію, гдѣ онъ особенно восторгался Москвой, окончился неудачей. Переписка Екатерины съ нимъ напечатана Пыпинымъ въ приложеніи къ XI тому соч. Екатерины. Тамъ-же помѣщена лестная параллель императрицы—съ соборомъ святого Петра въ Римѣ...

3) Гердеръ задумывалъ тогда большое сочиненіе о Россіи и насущныхъ для нея реформахъ („Ueber die Kultur eines Volkes und insonderheit Russlands"). Haym, „Herder", I, 335.

4) Многіе изъ нихъ наивно увѣровали въ то, что въ Россіи настал̆ъ золотой вѣкъ и открылся просторъ для всякихъ попытокъ перестроить и обновить жизнь. Молодой Бернар-

культомъ просвѣщенія, свободы мнѣній, смягченія нравовъ и понятій при помощи мудраго законодательства, съ другой — она безмѣрно черствѣе, самоуправнѣе, бюрократичнѣе выполняла свои задачи дома.

Безспорно, весьма интереснымъ эпизодомъ въ международной литературной исторіи являются разнообразныя сношенія Екатерины съ Вольтеромъ, Дидро, Даламберомъ и многими другими представителями современной мысли, предложенія гонимымъ на западѣ писателямъ ставить въ Петербургѣ свои пьесы и перепечатывать сожженныя свои книги, наконецъ, періодически возобновлявшіеся и все же (какъ это скоро понялъ Дидро) совсѣмъ не серьезные переговоры о перенесеніи въ Россію (именно въ Ригу) изданія Энциклопедіи; но эти сношенія, особенно когда они выражаются въ перепискѣ, гдѣ съ обѣихъ сторонъ непринужденно сверкаютъ искры ума, тонкой веселости или остроумія, входятъ во всякомъ случаѣ въ составъ чисто *личной* исторіи развитія. Это болѣе или менѣе откровенныя признанія или тонкая causerie человѣка, которому, несмотря на окружающій его блескъ, тягостно имѣть постоянно дѣло съ людьми ниже его уровня, и который съ увлеченіемъ отдаетъ часть дня своего на письменныя бесѣды съ умнѣйшими людьми Европы, тѣмъ болѣе, что онъ убѣжденъ, что каждое сколько-нибудь оригинальное и вѣское слово его, благодаря имъ, станетъ всеобщимъ достояніемъ и поддержитъ его міровую репутацію.

У Екатерины есть между ними свои кумиры въ родѣ Вольтера, съ которымъ она поспѣшила завязать сношенія (сначала при посредствѣ своего секретаря, женевца Пикте) вскорѣ по вступленіи на престолъ,— или Даламбера, намѣченнаго въ воспитатели Павла Петровича, но не простившаго ей никогда смерти Петра III и сразу охладившаго пылъ своей поклонницы рѣшительнымъ нежеланіемъ принять ея блестящія предложенія [1])—или Дидро. Она спрашиваетъ ихъ совѣта въ разныхъ сложныхъ дѣлахъ, забывая, до какой степени они имъ незнакомы, и какъ она сама часто излагаетъ свои вопросы и затрудненія, придавая имъ произвольную окраску. Но отъ блестящей корреспонденціи до осуществленія затрогиваемыхъ ею вопросовъ было весьма далеко. Едва въ отвѣтахъ дѣло слишкомъ близко коснется внутренней политики—и уже въ тонѣ отвѣтовъ *ученицы*, какъ она любила называть себя, слышится скрытое неудовольствіе на вторженіе непризванныхъ судей въ заповѣдную область. Неудивительно поэтому, если Вольтеръ, нарушившій ради при-

денъ де-Сенъ-Пьеръ полетѣлъ къ намъ въ надеждѣ основать *на берегахъ Аральскаго моря* что-то въ родѣ свободныхъ американскихъ общинъ 19 вѣка, но его даже не поняли; одинъ изъ его покровителей, Вильбуа, подумавъ, что имѣетъ дѣло съ карьеристомъ, предложилъ ему, взамѣнъ филантропическихъ опытовъ, вступить на службу въ инженерное вѣдомство, а Орловъ, выслушавъ доводы его, счелъ его не вполнѣ нормальнымъ.—Arvède Barine, «Bernardin de St. Pierre», p. 21—25.

[1]) Переписка Даламбера съ Екатериной найдена и издана Шарлемъ Henry, а въ русскомъ переводѣ редакціею Историч. Вѣстника въ 1884 г.—Вольтеръ отнесся сначала вполнѣ сочувственно къ отказу Даламбера отъ почестей, которыя ожидали его на Сѣверѣ... «Какимъ бы онъ ни былъ замѣчательнымъ геометромъ, ему не легко было бы рѣшить ту проблему, которая только что разыгралась на берегахъ Балтики» (письмо къ Дамилавиллю, сент. 1764).

влекательныхъ сношеній съ Екатериной твердое рѣшеніе чуждаться дружбы правителей, оцѣненной имъ по достоинству послѣ разрыва съ Фридрихомъ, не разъ прибѣгалъ къ своему старинному хитроумію, помогавшему ему прежде ладить даже съ „философомъ изъ Санъ-Суси", — если онъ съ виду соглашался съ нѣкоторыми доводами и остановился, напримѣръ, въ нерѣшительности передъ вопросомъ о немедленномъ освобожденіи крестьянъ, особенно когда толки о немъ сопровождались тревожными слухами объ успѣхахъ пугачевскаго возстанія. Болѣе же откровенные люди, въ родѣ Дидро, пытавшіеся прямо въ глаза высказывать свои мысли и давать совѣты (быть можетъ, не всегда практическіе въ русскомъ смыслѣ, но все же осуществимые съ измѣненіями) видѣли скоро, что весь интересъ сосредоточивался только въ обмѣнѣ мыслей [1]). Исторія поѣздки Дидро въ Петербургъ, состоявшейся послѣ долгихъ приглашеній, заискиваній, домогательствъ, вмѣшательства Дашковой, Дм. Голицына, и подробности пребыванія его при русскомъ дворѣ, гдѣ онъ былъ осыпанъ ласками, служилъ предметомъ любопытства и удивленія, могъ откровенно и отвергая всякій этикетъ высказывать свои убѣжденія, и все-таки возвратился въ Парижъ безъ всякаго успѣха, встрѣтивъ по многимъ вопросамъ вѣжливый отпоръ, — печальная судьба высокодаровитаго Фальконета, чьему таланту предпочли чиновничье усердіе Бецкаго, и могли допустить творца Памятника Петру въ отчаяніи выѣхать изъ неблагодарной Россіи, тогда какъ его лавры пожиналъ благонамѣренный и завистливый чиновникъ, — непримиримо суровый взглядъ Екатерины на Руссо, въ которомъ она разгадала слишкомъ большую независимость, и всегда отзывалась о немъ пренебрежительно, не признавая его заслугъ даже въ реформѣ воспитанія, которой не могла, казалось, не сочувствовать, — эти эпизоды необыкновенно живо характеризуютъ всю систему дѣйствій.

Очевидно, для роли посредника между сѣверной Семирамидой и Европой всего удобнѣе были люди въ родѣ Гримма, этого ловкаго commis-voyageur'а философіи, пролѣзшаго въ храмъ славы, цѣпляясь за полы кафтановъ своихъ великихъ друзей, готоваго на всевозможныя услуги, способнаго изъ лести сочинить новый символъ вѣры въ честь Екатерины (je crois en Cathérine, unique, quoique seconde... et en sa bonté consubstantielle et incarnée avec elle... je crois aussi en son saint esprit etc. [2])), мастера собирать и передавать сплетни и слухи о литературѣ и большомъ свѣтѣ и держать своихъ корреспондентовъ на уровнѣ „послѣднихъ словъ" Парижа. Его обширная переписка съ Екатериной, не прекратившаяся до самой ея смерти [3]), его пріѣзды въ Россію, наконецъ его вступленіе

[1]) Екатерина писала одобрительныя письма и къ вождю корсиканскаго возстанія, Паоли, зная, что онъ модный герой, что имъ интересуются всѣ порядочные люди въ Европѣ. Паоли былъ, конечно, изъ числа Пугачевыхъ, хотя и болѣе благоприличныхъ, зато онъ былъ далеко, и платонизмъ былъ безопасенъ.

[2]) Сборникъ Русс. Историч. Общества, томъ 45, стр. 3 — 4.

[3]) Анализъ богатаго и любопытнаго матеріала, заключающагося въ ней, сдѣланъ въ книгѣ Я. К. Грота «Екатерина въ перепискѣ съ Гриммомъ», 1884.

въ русскую дипломатическую службу, показываютъ, до какой степени онъ былъ въ екатерининскомъ Петербургѣ persona grata...

Въ самомъ дѣлѣ, какая разница съ Дидро! Требовать отъ преобразовательницы, пріостановившей навсегда свои реформы, послѣдовательности и выдержки въ гласно заявленномъ ею намѣреніи улучшить и просвѣтить свой народъ, требовать объясненія, хочетъ ли она оставить за своимъ Наказомъ только значеніе благонамѣреннаго философско-юридическаго упражненія или же выполнить свои обѣщанія!... Бесѣдовать запросто съ такимъ увлекательнымъ и краснорѣчивымъ ораторомъ, забывавшимъ въ пылу своихъ рѣчей все на свѣтѣ, поражая блескомъ и оригинальностью импровизацій, было необыкновенно интересно, — но что за докучныя напоминанія, что за непрошенное вмѣшательство въ домашнія русскія дѣла?

Екатерина врядъ ли представляла себѣ, что настойчивая горячность Дидро внушена была не только гуманностью философа-космополита, но и живымъ интересомъ къ новой для него странѣ, возраставшимъ по мѣрѣ изученія ея. Если, еще живя въ Парижѣ, онъ считалъ наиболѣе неотложною русскою реформою освобожденіе крестьянъ и былъ непріятно пораженъ, услыхавъ отъ Дашковой возраженія и опроверженія этого взгляда, то, увидавъ вблизи положеніе крѣпостного народа, онъ еще глубже проникся прежнимъ своимъ убѣжденіемъ. Ему хотѣлось ближе узнать Россію, провинцію, Москву, но ему такъ и не пришлось ихъ видѣть; ихъ заслонилъ Петербургъ, т.-е., по его словамъ, „дворъ, безсвязная смѣсь дворцовъ и избъ, большихъ баръ, окруженныхъ *мужиками* и подрядчиками". Онъ всюду собиралъ свѣдѣнія о русской жизни (сохранилась серія обстоятельныхъ вопросовъ, предъявленныхъ имъ президенту коммерцъ-коллегіи) и составилъ себѣ точное понятіе о нашихъ нуждахъ. Въ его „русскихъ" проектахъ, составленныхъ или по собственному побужденію, или по предложенію Екатерины, на каждомъ шагу видно желаніе содѣйствовать развитію національныхъ силъ Россіи. Въ „Планѣ университета", т.-е. общей системѣ народнаго просвѣщенія, онъ стоялъ за развитіе народной школы и гимназій; тщательно разработавъ программы всѣхъ факультетовъ (не исключая богословскаго) и указавъ лучшіе методы и пособія, онъ съ особымъ вниманіемъ остановился въ университетскомъ курсѣ на предметахъ, наиболѣе способныхъ развить привязанность русскихъ къ отечеству; исторія, правдивая, чуждая всякихъ прикрасъ, должна вызвать въ потомкахъ уваженіе къ великимъ гражданамъ родной земли; увѣковѣченіе ихъ памяти—лучшая цѣль молодого русскаго искусства, свободнаго отъ изнѣженности и лести. То же высокое значеніе признавалъ онъ и за разработкой родного языка, которая должна опираться на знаніе церковно-славянскаго и привести къ свободному выраженію всѣхъ понятій, выработанныхъ новою культурой, къ созданію самостоятельной педагогической литературы, столь необходимой въ странѣ, лишенной школъ, и поэзіи, воспитывающей народъ въ духѣ свободы и нравственнаго достоинства. Призваніе иностранцевъ въ академію и университеты считалъ онъ временною и неизбѣжной мѣрой и въ недалекомъ будущемъ видѣлъ,

совсѣмъ по-ломоносовски, нашихъ собственныхъ „Платоновъ и Невтоновъ“. Это, конечно, мечты, которымъ могъ бы позавидовать искренній русскій народолюбецъ, но Дидро шелъ дальше ихъ; не было насушнаго для насъ вопроса, котораго онъ не принялъ бы подъ свою защиту. Онъ ратовалъ за полную вѣротерпимость, совѣтуя богословамъ-профессорамъ каждый курсъ свой заканчивать нѣсколькими лекціями о свободѣ совѣсти,— за политику мира, возставая противъ безцѣльныхъ изнурительныхъ войнъ, доказывая Екатеринѣ, что „кровь тысячи враговъ не возвратитъ ей потери ни одной капли русской крови“, совѣтуя всю энергію, шедшую на воинственныя начинанія, направить на реформы,—за развитіе общественнаго самоуправленія, привѣтствуя введенное Екатериной городовое положеніе, — высказываясь за право народа на участіе въ законодательствѣ, сочувствуя англійскому государственному устройству, — за широкое и свободное развитіе женскаго, и, въ частности медицинскаго образованія въ Россіи [1]). Но вмѣсто того, чтобъ воспользоваться живымъ интересомъ къ русскимъ дѣламъ и готовностью къ работѣ на пользу нашего народа, высказанными мыслителемъ и дѣятелемъ такой силы, за его мечтами и планами оставляли въ лучшемъ случаѣ значеніе красивыхъ бредней, чаще же попрекали ихъ непрактичностью; проекты клались „подъ сукно“ и потому они могли быть открыты въ Петербургѣ и изданы лишь въ наше время (преимущественно Морисомъ Турнэ), — наиболѣе же настойчивыя напоминанія о реформахъ (какъ, наприм. мемуаръ, озаглавленный *De la commission*, подробно развивающій мысль о необходимости обращенія къ странѣ и организаціи представительства по англійскому образцу [2]), вызывали просто раздраженіе.

Совѣты Дидро о широкомъ развитіи просвѣщенія и соціальныхъ реформъ имѣли ту же участь, которая постигла дружный откликъ западно-европейской науки и экономической практики на вызовъ помочь рѣшенію такого насущнаго для Россіи вопроса, какъ освобожденіе крестьянъ. Когда Вольное Экономическое общество, основанное по образцу французскихъ обществъ того же рода, и въ духѣ послѣдняго слова экономической науки, „Физіократіи“ Кенэ, объявило (по указанію Екатерины и на ея иждивеніе) конкурсъ на изысканіе лучшаго способа уничтоженія крѣпостного права (или какъ звучала осторожная формула темы, — рѣшенія вопроса: „«что полезнѣе для государства, чтобы крестьянинъ

---

[1]) Когда Екатерина предложила ему составить для Смольнаго монастыря педагогическіе планы, Дидро поставилъ въ нихъ на видномъ мѣстѣ преподаваніе анатоміи, для чего указалъ на замѣчательную специалистку въ этой наукѣ, m-lle Biheron, изъявившую готовность безвозмездно пріѣхать въ Россію, устроить преподаваніе анатоміи и подарить Смольному свои коллекціи. Предложеніе это осталось безъ результата. О „русскихъ проектахъ“ Дидро подробности въ моей книгѣ „Этюды и характеристики“, М. 1912, у Бильбасова „Дидро въ Петербургѣ“, и Maurice Tourneux, Diderot et Catherine II, 1899.

[2]) Далекій отъ прославленія „просвѣщеннаго абсолютизма“, Дидро въ самомъ началѣ своего мемуара заявлялъ передъ Екатериной, что „однимъ изъ величайшихъ несчастій для свободнаго народа было бы два или три послѣдовательныхъ царствованія въ духѣ справедливаго и просвѣщеннаго деспотизма. Три правительницы въ родѣ Елизаветы, и англичане были бы приведены незамѣтно къ непроглядному рабству“.

имѣлъ въ собственности землю, или только движимое имѣніе“ и т. д.), на вызовъ отозвалось 164 человѣка, изъ которыхъ только семь было русскихъ. Во многихъ изъ представленныхъ мнѣній и проектовъ были видны незнаніе русскихъ народныхъ условій, осторожность, склонность къ постепенности освобожденія, предоставленіе его иниціативѣ помѣщиковъ, предпочтеніе личнаго, безземельнаго освобожденія, но изъ массы этихъ отвѣтовъ, во всякомъ случаѣ сочувствовавшихъ эманципаціи (въ то время, какъ русскіе люди такого значенія, какъ Сумароковъ, неистово возставали противъ нея), выдѣлялось увѣнчанное преміею сочиненіе ахенскаго юриста Беардэ де-Лабэ, затѣмъ превосходившее его по смѣлости мнѣніе нантскаго ученаго Graslin'а, стоявшаго за земельный надѣлъ, и примѣчательная работа недавняго страсбургскаго и геттингенскаго студента, Полѣнова, написанная подъ сильнымъ вліяніемъ западнаго научно-гуманитарнаго движенія. Но книга Беардэ де-Лабэ и мнѣніе Граслена были напечатаны лишь по настоянію нѣсколькихъ либерально настроенныхъ членовъ общества; трудъ Полѣнова, два, три раза пересматривавшійся и сокращавшійся, найденъ былъ неудобнымъ къ печати и увидѣлъ свѣтъ лишь въ наше время; грандіозно задуманный опросъ Европы по крестьянскому дѣлу остался эффектнымъ, рѣдкимъ въ то время культурнымъ пріемомъ, совершенно не перешедшимъ въ жизнь. Пробывъ нѣсколько времени на очереди въ московской комиссіи по составленію уложенія, вызвавъ въ ней пренія, по большей части крѣпостническаго характера, вопросъ объ освобожденіи замеръ до начала XIX вѣка [1]).

Наиболѣе свѣтлая пора екатерининскаго царствованія была по крайней мѣрѣ полна открытыхъ заявленій гуманныхъ принциповъ, неслыханныхъ дотолѣ въ офиціальныхъ русскихъ сферахъ. За ними послѣдовалъ разливъ чиновничьей говорливости, развивавшей эти принципы на разные лады; заговорили Бецкіе, Домашневы, Мелиссино и т. д.; какъ будто предпринимались приготовленія къ чему-то хорошему и важному. Но наступили иныя заботы: дальніе раскаты французской революціи и тревоги пугачевщины поставили поверхъ всего инстинктъ самосохраненія, прежніе сборы къ просвѣтительной и преобразовательной дѣятельности остались ***словами***, факты пошли съ ними вразрѣзъ, защитница законной свободы и правъ личности ввела рабство въ Украйнѣ и дарила своимъ фаворитамъ десятки тысячъ „душъ“, покровительница французскихъ идей предалаеь заботамъ о томъ, чтобы не дать проникнуть въ страну „французскимъ принципамъ“ [2]), старые боги были покинуты и преданы

---

[1]) Обстоятельная характеристика этого опроса и разборъ отдѣльныхъ мнѣній—у В. И. Семевскаго, „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинѣ XIX вѣка“, 1888, I, 45—94. Проектъ Беардэ былъ напечатанъ въ Петербургѣ, 1768, — „Dissertation qui a remporté le prix sur la question proposée en 1766 etc.“.

[2]) На эти заботы, бросавшіяся въ глаза даже случайнымъ, стороннимъ наблюдателямъ, указывалъ, напримѣръ, въ своихъ донесеніяхъ венеціанской синьоріи посолъ ея въ Петербургѣ, Гримани.—Ср. интересныя выдержки изъ его донесеній въ статьѣ М. М. Ковалевскаго „Послѣднія десять лѣтъ царствованія Екатерины въ донесеніяхъ венеціанскихъ пословъ“, Русск. Вѣд., 1895, №№ 210—213.

порицанію“ [1]); указъ сенату, изданный послѣ казни Людовика XVI, запретилъ „ввозить въ Россію вѣдомости, журналы и прочія періодическія сочиненія, во Франціи издаваемыя“, и, высылая изъ имперіи всѣхъ французовъ, поставилъ желающимъ остаться требованіе „отрещись присягою отъ правилъ безбожныхъ и возмутительныхъ, въ землѣ ихъ нынѣ исповѣдуемыхъ [2]). Бюстъ Вольтера былъ сосланъ изъ кабинета царицы въ подвалъ. Мыслящіе люди, заликовавшіе было при наступленіи золотого вѣка, доживали его втихомолку, съ постояннымъ трепетомъ за свою цѣлость, мучимые призракомъ Шешковскаго и видѣніями его пытокъ.

Какъ умѣстенъ былъ бы въ эти годы въ Петербургѣ тотъ памятникъ Вольтеру, который подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ смерти великаго человѣка Екатерина сбиралась воздвигнуть, но, къ счастью, никогда не воздвигла [3])!

Нечего, кажется, вникать въ вопросъ, представлялась ли дѣйствительно какая-нибудь опасность со стороны оживавшей образованности. Мнѣнія, заявляемыя тѣмъ или другимъ лицомъ, могли быть иногда довольно смѣлыми, но оставались далеко позади того, что говорилось тогда на западѣ писателями вовсе не революціонными; да и при томъ самой же Екатеринѣ хотѣлось отучить окружающее общество отъ старой привычки къ безгласности. Какая государственная опасность могла проистечь (какъ замѣтила это еще Дашкова) оттого, что нѣсколько сотъ человѣкъ въ многомилліонной и еще неграмотной странѣ прочли бы княжнинскаго *Вадима* съ его диѳирамбами свободѣ; что за бѣда была въ томъ, что новиковскіе сатирическіе журналы не вторили умѣренной и осторожной сатирѣ изданій, покровительствуемыхъ императрицей, и предпочитали называть вещи по именамъ,—въ томъ, что Фонвизинъ отважился сдѣлать нѣсколько скромныхъ вопросовъ, касавшихся аристократіи, судебной гласности, общественныхъ нравовъ,—что даже Радищевъ, какъ находили тогда современники, опоздалъ на какихъ-нибудь десять лѣтъ съ своей книгой, гдѣ касался вопросовъ, излюбленныхъ и давно намѣченныхъ самой Екатериной? Сфера дѣятельности всѣхъ подобныхъ заявленій была еще ограничена, въ рукахъ власти всегда нашлось бы достаточно силъ, чтобы бороться съ послѣдствіями ихъ, если бы они дѣйствительно стали слишкомъ сильны и безпокойны. Но ничего подобнаго на дѣлѣ не было,—и новые ростки, только было взошедшіе подъ вліяніемъ западнаго развитія, опять захирѣли и едва дожили до лучшихъ дней.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что, когда заходитъ у насъ рѣчь о воздѣйствіи европейскихъ идей на русскую среду восьмнадцатаго столѣтія, не принимаются во вниманіе тѣ обстоятельства, которыя не давали ему развиться въ ширь,—и что часто, основываясь лишь на одно-

---

[1]) Всюду, даже въ дальней провинціи, напр. въ Тамбовѣ, по приказу императрицы конфисковали собраніе сочиненій Вольтера, какъ вредныхъ и наполненныхъ развращеніемъ.— Д. Языковъ, „Вольтеръ въ русской литературѣ“.

[2]) Указъ 8 февраля 1793 годт.

[3]) Объ этомъ планѣ см. письма Гримма къ императрицѣ отъ 1778 (Сборн. Русск. Истор. Общества, т. XLV, ст. 21—22).

сторонних или слишкомъ скудныхъ, или невѣрно направленныхъ результатахъ этого воздѣйствія, произносится огульное осужденіе всей просвѣтительной поры. Еслибъ новая эпоха принесла вмѣстѣ съ тѣмъ съ собой и дѣйствительный просторъ знанію, еслибъ просвѣтительный вѣкъ въ Россіи былъ такимъ на дѣлѣ, а не на бумагѣ, и покрылъ всю страну и высшими, и средними, и народными училищами, еслибъ принятъ былъ руководящимъ извѣстный уже намъ взглядъ Фридриха на литературу, или, по крайней мѣрѣ, покровительство удержалось на томъ же уровнѣ, не колеблемое несостоятельными политическими опасеніями,— не такихъ плодовъ могли бы потомки ждать отъ екатерининскаго вѣка и не повторили бы они о многихъ показныхъ заявленіяхъ того времени горькаго гамлетовскаго приговора: Words! Words! Words!

Но, даже поневолѣ замкнувшись въ болѣе узкія рамки, западное вліяніе сумѣло принести великую пользу, и сколько ни усердствовали потомъ его же непостоянные приверженцы, издѣваясь надъ нимъ, сколько разные семинарскіе мудрецы ни писали и ни переводили обличеній „Заблужденій Волтеровыхъ", „Обнаженнаго Волтера", и т. п., какъ старое поколѣніе ни старалось сдѣлать „волтерьянство" пугаломъ въ глазахъ порядочныхъ людей, какъ ни запрещали главныхъ сочиненій Руссо (*Эмиль* былъ запрещенъ 6 сентября 1673 г.), на которыя послѣ того всегда былъ еще болѣе усиленный спросъ, — какъ ни отрекалась императрица отъ солидарности съ новыми экономическими ученіями, съ гуманной внутренней политикой Неккера, Тюрго (не говоря уже о Мирабо, который, по ея мнѣнію, былъ достоинъ нѣсколькихъ висѣлицъ),— живые отголоски воспринятыхъ идей не погибли [1]), пережили трудныя времена и выразились во многихъ начинаніяхъ новаго времени. Не про-

[1]) Даже творенія самого зачинщика зла, Вольтера, продолжали и потомъ читаться и переводиться. Полторацкій (Матеріалы для словаря русск. писателей, 1858, стр. 18) насчитывалъ до 140 переводовъ Вольтера на русскій языкъ, вышедшихъ въ восьмнадцатомъ и девятнадцатомъ вѣкахъ. Вольтера издавали тогда даже въ провинціи (въ Козловѣ, или, вѣрнѣе, въ одной деревнѣ козловскаго уѣзда, гдѣ Рахманиновъ напечаталъ второе изданіе „Полнаго собранія всѣхъ до нынѣ перевед. на росс. языкъ соч. Вольтера", 1791). По словамъ митрополита Евгенія „письменный Вольтеръ былъ тогда столько же извѣстенъ, какъ и печатный".—Что же касается печатныхъ изданій, офиціальныя цензурныя свѣдѣнія за 1797 годъ показываютъ, что „сочиненія Вольтера ввозились тогда въ великомъ множествѣ и находились во всѣхъ книжн. лавкахъ". Рус. Стар., XIV, 467.—Библіографія переводовъ изъ Вольтера дана въ статьѣ Д. Д. Языкова, „Вольтеръ въ русской литературѣ", сборн. „Подъ знаменемъ науки", 1902. Дополненія къ ней въ ст. В. Сиповскаго „Философскія настроенія и идеи въ рус. романѣ 18 вѣка", Журн. мин. нар. просв., 1905, V. О вольтеровскомъ вліяніи И. Наумовъ, „Вольтерьянство русск. писателей екатерин. времени", 1876, и ст. Сиповскаго „Изъ исторіи русской мысли XVIII—XIX в.", Голосъ Минувшаго, 1914, янв. Точно также запрещеніе главныхъ произведеній Руссо и послѣдовательное, неизмѣнное нерасположеніе императрицы къ женевскому философу не помѣшало усерднымъ его русскимъ почитателямъ поддерживать съ нимъ сношенія и звать его, бездомнаго, гонимаго и болѣзненно-мнительнаго, въ Россію. Такъ гр. Орловъ приглашалъ Руссо поселиться на его мызѣ, въ Петербургской губерніи, а гр. Кириллъ Разумовскій—въ его малороссійскомъ имѣніи; въ это же время польскій магнатъ Тизенгаузъ радушно, но довольно эксцентрично предлагалъ ему для тихаго и безопаснаго житья... Бѣловѣжскую пущу. Ср. статью Д. Кобеко „Екатерина II и Ж. Ж. Руссо", Истор. Вѣстн. 1883, іюнь.

никнуты ли добрыя намѣренія первыхъ лѣтъ александровскаго царствованія принципами либерализма предшествовавшаго столѣтія; не подаютъ ли, въ лицѣ Радищева (при Александрѣ) съ его проектомъ введенія суда присяжныхъ и мечтами о крестьянскомъ освобожденіи съ землею, другъ другу руку гуманная молодежь восьмнадцатаго вѣка и лучшіе люди двадцатыхъ годовъ, и не остался ли вплоть до пушкинскаго періода опорою и освященіемъ дѣятельности многихъ передовыхъ представителей образованности нашей тотъ запасъ идеализма, прямо ли усвоеннаго изъ французскихъ источниковъ, или мечтательно-гуманнаго, широко-филантропическаго, перенятаго у нѣмцевъ, который давалъ этимъ людямъ возможность освѣжаться послѣ соприкосновенія съ дѣйствительностью и не падать духомъ? Исторія лучшихъ годовъ жизни Карамзина, Жуковскаго, Муравьева, Батюшкова, многихъ декабристовъ даетъ тому немало примѣровъ.

Результаты даннаго движенія можно изучать въ двоякомъ направленіи. Съ одной стороны это результаты *общіе*, — итогъ новыхъ взглядовъ и принциповъ, которые были въ ту пору привиты нашей литературѣ и проведены въ общество; съ другой стороны видимъ слѣды вліянія, оказаннаго на отдѣльныя личности, на направленіе и выработку таланта тѣхъ или другихъ нашихъ писателей.

Чтобы вполнѣ оцѣнить значеніе *общаго* мыслительнаго подъема, произведеннаго въ ту пору просвѣтительнымъ движеніемъ, стоитъ сличить темы, которыя завѣщала екатерининской литературѣ пора Ломоносовыхъ и Сумароковыхъ, съ позднѣйшей программой ея дѣйствій. Велика была служба, сослуженная родоначальниками новой словесности, но узка была еще сфера, въ которой они вращались. Философское изученіе и восхваленіе знанія, науки; радость при мысли о различныхъ успѣхахъ русской власти; порицаніе невѣжества и пошлости противниковъ просвѣщенія; частныя вылазки противъ сословій, борьба Кантемира противъ духовенства, Ломоносова противъ нѣмецкой касты, Сумарокова противъ „крапивнаго“ приказнаго сѣмени; небольшой рядъ трезво обсужденныхъ русскихъ практическихъ вопросовъ въ ломоновскихъ разсужденіяхъ,—вотъ и весь наличный составъ темъ, перелагаемый на разные лады, въ стихахъ и прозѣ. Коснемся ли немедленно затѣмъ какого-нибудь изъ произведеній просвѣтительной поры, будетъ ли это екатерининскій „Наказъ“, статья сатирическаго журнала, рѣчь резонера въ комедіи, глава радищевскаго Путешествія, мы тотчасъ же почуемъ иныя, болѣе глубокія ноты. Дѣло идетъ уже о высшихъ правахъ личности и народа, взвѣшиваются и опредѣляются обязанности правителей, устанавливаются человѣчныя отношенія къ низшей братіи, преступнику, рабу, дѣтямъ; запретная, гонимая, проповѣдь Руссо будитъ стремленія къ братству, равенству. народной державности; настойчиво и страстно ставится вопросъ объ освобожденіи крестьянъ; высшее дворянство и дворъ гнутся подъ ударами насмѣшекъ Державина и Фонвизина, темное и жестокое помѣщичество, вороватый судъ обличаются журналами; развивается широкая филантропическая и образовательная дѣятельность пер-

воначальнаго масонства, которое видитъ передъ собой однихъ братьевъ, людей, тамъ, гдѣ прежде были лишь господа и холопы; сильно затронуты вопросы о свободѣ печати, гласности суда; литература пытается усвоить себѣ самостоятельность, даже оппозиціонность сужденій, живительно дѣйствовавшую тамъ, гдѣ все дышало однообразіемъ мнѣній; пробужденъ интересъ къ жизни народа, и бытовая стихія внесена на сцену; Фонвизинъ пишетъ разсужденіе о необходимости образовать среднее сословіе изъ здоровыхъ и просвѣщенныхъ междусословныхъ элементовъ, и проектъ организаціи представительства; близость къ жизни, серьезность призванія литературы раскрываются начинающеюся литературною полемикой, и, наконецъ, необходимость на дѣлѣ стать въ уровень съ современнымъ движеніемъ общечеловѣческой мысли выражается огромною массой переводовъ научныхъ и беллетристическихъ произведеній со всѣхъ языковъ, которая предпринимается уже не по приказу свыше, а по энергическому частному почину.

Таковы стали любимыя темы и задачи преображенной литературы; ей не удается вполнѣ осуществить ихъ, но важно то, что она все же твердо поставила ихъ себѣ идеаломъ. Если намъ покажутъ, что ихъ могла выдвинуть и выработать одна лишь русская дѣйствительность, съ своимъ слабымъ еще культурнымъ слоемъ, съ старой бурсой и университетомъ, гдѣ твердили Квинтиліана и Бургія, съ глубокими пластами невѣжества и жестокости нравовъ, и что пришлая стихія дала намъ только Иванушекъ, совѣтницъ, шевалье де-Мансонжей и Вральмановъ, то смертный приговоръ просвѣтительному времени будетъ произнесенъ. Пока же этого серьезно сдѣлать нельзя, заслуги просвѣтительнаго времени въ цивилизующемъ отношеніи, какъ бы онѣ ни были неполны и неглубоки, останутся всегда высоко цѣнными.

Но намъ необходимо взглянуть и на частные результаты его вліянія, на слѣды его въ личной дѣятельности главныхъ писателей и на его отраженія въ литературныхъ направленіяхъ эпохи.

III.

Въ жизни и дѣятельности каждаго выдающагося писателя екатерининской поры отразилось въ частности то же освѣжающее вліяніе современнаго умственнаго движенія остальной Европы, слѣды котораго можно наблюдать на общемъ оживленіи литературы. Всѣ эти писатели, какъ бы ни разошлись они потомъ между собою, пытаясь спеціализировать свое направленіе, одинаково исходили отъ могущественной поддержки западнаго образованія. Въ ряды его поклонниковъ приходится зачислить и такихъ открытыхъ приверженцевъ европеизма, какъ молодой Карамзинъ или Радищевъ, и родоначальниковъ славянофильства, Болтина и кн. Щербатова, и будущаго піэтиста Лабзина, и масона Лопухина. У многихъ изъ нихъ, своротившихъ потомъ съ избраннаго пути, пора горячихъ увлеченій новыми идеями такъ и осталась навсегда украшеніемъ ихъ біографіи, свѣтлой и примиряющей полосой. Видя, какъ тотъ же Лабзинъ, который при Александрѣ I могъ издавать мистическій „Сіонскій Вѣстникъ" и брататься съ двигателями реакціи, въ дни молодости переводилъ жгучія соціальныя комедіи Бомарше [1]) и въ предисловіи къ переводу пьесы Мерсье „Судья" утверждалъ, что „писатели обязаны содѣйствовать перевоспитанію общественному",—мы не можемъ не отмѣтить печальнаго примѣра гнетущаго вліянія, которое оказалъ на человѣка способнаго складъ жизни. Да и въ судьбѣ самого Карамзина, вспоеннаго и вскормленнаго философіей и поэзіей запада, отдавшаго всѣ свои молодые годы на грезы о свободѣ, истинномъ просвѣщеніи и гуманности, не являются ли диссонансомъ его старческія нападки на „либералистовъ", оставшихся вѣрными идеямъ его молодости, и старанія во что бы то ни стало охранять и поддерживать исключительно національныя задачи!..

Велики и разнообразны обязательства западу у того писателя, который въ первые же годы стремится быть руководителемъ движенія и закрѣпляетъ свое имя за всѣмъ періодомъ,—у Екатерины. Несмотря на возраставшее сближеніе ея съ русской дѣйствительностью, факты которой ей приходилось подбирать мимоходомъ, во время поѣздокъ по Россіи, между церемоніалами и смотрами, на настойчивыя старанія усвоить себѣ духъ

---

[1]) „Фигарова женитьба", изд. Типографич. Компаніи, 1787.

живой народной рѣчи,—Екатерина навсегда осталась западной писательницей, и французскій слогъ (къ которому она прибѣгаетъ и для интимныхъ признаній своихъ Мемуаровъ), конечно, ей ближе и дороже мудренаго языка ея второго отечества. Мыслители запада, на изученіе которыхъ указалъ ей изъ состраданія къ ея безцвѣтной жизни при Елизаветѣ заѣзжій культурный европеецъ (шведскій графъ Гилленборгъ) возродили ее, надолго опредѣлили ея вкусы и стремленія. „Восьмнадцать лѣтъ скуки и одиночества побудили ее прочесть много книгъ", говорила она впослѣдствіи (1771) въ той сжатой, но примѣчательной (французской) своей „Эпитафіи", въ которой она, признавая за собой душу республиканки (âme republicaine) и доброе сердце, заявляла, въ непосредственной связи съ фактомъ широкаго самообразованія, что она „стремилась доставить своимъ подданнымъ счастье, свободу собственность" (bonheur, liberté, proprieté)... [1]).

Усиленный приливъ любознательности, опредѣлившійся у нея въ серединѣ пятидесятыхъ годовъ, привелъ ее къ внимательнѣйшему изученію „Духа Законовъ [2]) и „Considérations" Монтескье, „Essai sur les moeurs" Вольтера и другихъ классическихъ сочиненій [3]). Съ той поры она совсѣмъ вошла въ теченіе европейской мысли. Необъятная переписка ея съ западными дѣятелями литературы и науки, мелочная подробность тѣхъ литературныхъ сообщеній и сплетенъ, которыя доставляли ей въ своихъ письмахъ Гриммъ и madamc Geoffrin, собиравшая ихъ изъ первыхъ рукъ въ своемъ салонѣ, бойкость и быстрота литературнаго репортерства „Correspondance littéraire", считавшей Екатерину одною изъ главныхъ подписчицъ,—все это давало ей возможность изъ Петербурга участвовать во всѣхъ начинаніяхъ парижскихъ писательскихъ кружковъ и жить съ ними одной жизнью (благодаря Дашковой, завязавшей во время своихъ путешествій по Западу и долгихъ стоянокъ въ Англіи и Шотландіи связи съ Адамомъ Смитомъ, Фергюсономъ, Робертсономъ, Блэромъ, столь же свѣжія свѣдѣнія приходили и изъ англійскихъ культурныхъ слоевъ).

---

1) Соч. Екатер., изд. Академ., XII, 797.

2) Любопытные слѣды его, изъ времени до вступленія Екатерины на престолъ, представляютъ найденные А. Н. Пыпинымъ французскіе ея комментаріи въ книгѣ Струбе де-Пирмонта „Lettres russiennes", въ которой этотъ не въ мѣру усердный русскій чиновникъ изъ выписныхъ нѣмцевъ нападалъ на Монтескье за невѣрное и суровое изображеніе русскаго государственнаго строя, какъ царства произвола и беззаконія. Екатерина шагъ за шагомъ отстаиваетъ философа.—Замѣчанія Екатерины „Въ защиту Монтескье".—Соч. Екат. II, т. XII, 1907.

3) Бильбасовъ. Исторія Екатерины второй. Спб. 1890, I, 296—301.—„Записки" Екатерины даютъ точныя хронологнческія указанія на время и послѣдовательный порядокъ изученія авторитетныхъ писателей запада въ эту подготовительную пору. Первое прочтенное (1744) произведеніе—Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence Монтескье; затѣмъ настала очередь Вольтера, отъ котораго она „уже не могла оторваться"; два года длилось изученіе Критическаго Словаря Бэйля; чтеніе „Духа Законовъ" (1754) встрѣтилось съ сильнымъ впечатлѣніемъ отъ Анналъ Тацита. Къ Энциклопедіи она обратилась лишь съ 1759 года.

Стародавніе пѣвцы былинъ часто брали для своихъ пѣсенъ „наигрышъ“ изъ Константинополя и только „съигрышъ“ изъ Кіева, — подобный же примѣръ видимъ повтореннымъ и въ дѣятельности Екатерины. Наигрышъ давала современная Фрація; Вольтеръ, экциклопедисты, Фридрихъ II, раньше насъ провозглашали освободительные принципы или слагали хвалебные гимны новому времени, которые затѣмъ отдавались въ Эрмитажѣ и немногихъ петербургскихъ цивилизованныхъ гостиныхъ; для русскаго же содержанія или съигрыша служили недуги современнаго русскаго законодательства, бытовыя черты, просившіяся въ сатиру. Откровенныя признанія, неразъ вырывающіяся у самой императрицы,—по поводу „Наказа“ она доходитъ до сравненія себя съ „вороной въ павлиныхъ перьяхъ“ [1]),—подтверждаютъ взглядъ на ея дѣятельность, какъ на постоянную популяризацію чужеземныхъ соціально-литературныхъ движеній, и на собраніе ея сочиненій, какъ на богатую хрестоматію разнообразныхъ отголосковъ запада. Дѣйствительно, внимательный анализъ ея произведеній на каждомъ шагу побуждаетъ искать внѣшняго возбужденія. Наказъ законодательной комиссіи 1767 года естественно долженъ быть поставленъ здѣсь во главѣ, въ особенности, если принять въ расчетъ его первоначальную редакцію, показавшуюся ближайшимъ совѣтникамъ Екатерины настолько радикальною и опасною, что они, запугавъ составительницу страшной книги чуть не крушеніемъ всего государства, убѣдили Екатерину сократить, смягчить, сдѣлать ее возможно безвреднѣе.

Завѣдомо для всѣхъ, даже въ ту пору, Наказъ представлялъ собой искусное сочетаніе гуманныхъ принциповъ, выставленныхъ великими учителями всего тогдашняго поколѣнія, Монтескье [2]), Вольтеромъ, Локкомъ, Беккаріей; точныя вычисленія спеціалистовъ, изучавшихъ „Наказъ“ [3]), показали, что до *ста* статей взято въ него изъ книги Беккаріи о „Преступленіяхъ и наказаніяхъ“ и болѣе *двухсотъ пятидесяти* изъ „Духа Законовъ“ [4]). Европейское значеніе пріобрѣла эта книга по необычайности оффиціальнаго заявленія этихъ идей именно въ русской средѣ. Запрещеніе „Наказа“ во Франціи также придало ему не мало притягательной силы. Изреченія любимыхъ философовъ и юристовъ были сгруппированы талантливо, съ проблесками еще молодого энтузіазма, который они возбуждали въ составительницѣ сборника. Она провозгла-

---

[1]) Le corbeau de la fable qui se fit un habit des plumes du paon,—изъ письма Екатерины къ Фридриху.

[2]) Его „Esprit des lois“ Екатерина называла своимъ молитвенникомъ и прочитывала по утрамъ—въ видѣ напутствія—нѣсколько страницъ Монтескье.

[3]) А. Ѳ. Кистяковскій, „Изложеніе началъ уголовн. права по Наказу“, Кіев. университ. извѣст. 1864 г.

[4]) Обаяніе Монтескье было у насъ настолько велико, что объясненіе „Духа законовъ“, напр., даже въ восьмидесятыхъ годахъ могло быть предметомъ цѣлаго университетскаго курса. Въ 1782 году были изданы „Разсужденія на Монтескіеву книгу Духъ Законовъ“ профессора московскаго университета Якова Шнейдера, составившіяся изъ лекцій, которыя онъ читалъ „для студентовъ на латинскомъ, а для дворянъ на французскомъ языкѣ безъ платы“.

шаетъ, что „Россія есть страна европейская“, и что поэтому ничто живительное и полезное въ Европѣ не должно быть чуждо ей. Идя по слѣдамъ Вольтера, она борется съ клерикализмомъ; объ руку съ нимъ же, защитникомъ гонимыхъ „еретиковъ“, она готова широко понять вѣротерпимость; безпощадная суровость уголовныхъ наказаній, пытокъ, смертной казни, возбуждаетъ въ ученицѣ Беккаріи филантропическое негодованіе; она желала бы исправлять и спасать преступниковъ, а не мучить и казнить ихъ; крѣпостнымъ она какъ будто возвѣщаетъ близкое освобожденіе, а созданіе *третьяго сословія* (въ то время казавшагося необходимымъ противовѣсомъ привилегій высшихъ классовъ, чуть не оплотомъ свободы) озабочиваетъ ее на ряду съ французскими политиками. Съ горячностью заявляетъ она свое уваженіе къ человѣческимъ правамъ своихъ подданныхъ и обѣщаніе служить имъ („мы сотворены для нашего народа, а не народъ для насъ“), разъясняетъ, что „вольность есть право все то дѣлати, что законы дозволяютъ“ (глава V, ст. 38), а „равенство всѣхъ гражданъ состоитъ въ томъ, чтобы всѣ подвержены были тѣмъ же законамъ“ (та же глава, ст. 34). Это категорическое изложеніе принциповъ можетъ быть сопоставлено лишь съ такимъ же заявленіемъ Фридриха Великаго, сдѣланнымъ задолго до „Наказа“, при вступленіи короля на престолъ, въ двухъ знаменитыхъ въ свое время книгахъ: „Anti-Machiavel, и Considérations sur l'état actuel du corps politique de l'Europe“.

Разладъ между словомъ и дѣломъ, Наказомъ и ближайшею къ нему по времени внутренней политикой, всегда останется характеристической чертой оффиціальной благонамѣренности той поры; его сознавали не одни только свободомыслящіе сторонніе наблюдатели въ родѣ Дидро. Но, даже въ искаженномъ видѣ, съ недомолвками и пропусками, Наказъ сослужилъ большую службу освободительному движенію; всюду, въ дальніе закоулки, онъ занесъ опредѣленно изложенный, скрѣпленный внушительной санкціей, сводъ такихъ основныхъ положеній разумной гражданской жизни, за сочувствіе которымъ еще недавно вырывали ноздри или сѣкли кнутомъ. Практика разошлась съ теоріей, но идеи были заронены, и въ повсемѣстномъ ихъ распространеніи Наказу принадлежитъ значительная роль.

Если въ государственныхъ и личныхъ, семейныхъ заботахъ Екатерины немалое значеніе имѣлъ вопросъ о водвореніи здравыхъ педагогическихъ воззрѣній и о созданіи при помощи подрастающихъ поколѣній, еще не зараженныхъ пороками и предразсудками старшей генераціи, *новой породы людей*, то взгляды императрицы на воспитаніе—это взгляды Монтэня, Локка [1]), Дидро, новыхъ нѣмецкихъ педагоговъ. Они развиваются у нея въ разнообразныхъ формахъ, въ воспитательныхъ инструкціяхъ, нравоучительныхъ сказкахъ, составленіи записокъ по русской исторіи, обличеніи ложнаго воспитанія, и, какъ эхо, отдаются въ рѣчахъ

---

[1]) Трактатъ Локка „О воспитаніи дѣтей“ былъ изданъ въ переводѣ Поповскаго еще въ 1760 году.

и проектахъ Бецкаго [1]). Дидро поручается составленіе системы народнаго образованія; заводятся сношенія съ увлекавшимъ тогда всѣ чувствительныя души въ Германіи Базедовомъ, и успѣхъ его знаменитаго *Филантропина*, который долженъ былъ произвести въ широкихъ размѣрахъ опытъ разумнаго воспитанія, живо интересуетъ императрицу; она содѣйствуетъ своимъ взносомъ осуществленію этого опыта, какъ будто собирается даже призвать къ себѣ Базедова и получаетъ отъ него обѣщаніе открыть со временемъ въ честь ея новую школу, Catharineum, откуда бы могли выходить образованныя и нравственныя женщины, стоящія на уровнѣ своего вѣка [2]). Даже въ вопросѣ о народной школѣ, стоявшемъ на второмъ планѣ въ ряду нововведеній, она не могла, какъ мы уже говорили, обойтись безъ помощи опытныхъ австро-славянскихъ педагоговъ, и усердный, но мало знавшій русскую жизнь. Янковичъ де-Миріево не только открывалъ школы, но и надѣлялъ ихъ самодѣльными учебниками [3]).

Когда же Екатеринѣ приходилось въ обличительныхъ статьяхъ, комедіяхъ и очеркахъ бичевать невѣжество или варварски-дикое воспитаніе, выводя безграмотныхъ птиметровъ, съ господиномъ Фирлюфюшковымъ во главѣ, или тупоумныхъ недорослей, процвѣтающихъ подъ заботливымъ покровомъ госпожъ Чудихиныхъ или Ханжахиныхъ,—то и въ этомъ случаѣ, идя по слѣдамъ англійской и нѣмецкой сатирической журналистики, она служила распространенію положительныхъ воспитательныхъ идеаловъ такую же службу, какую Аддисоны, Стили, Рабенеры и Геллерты сослужили идеямъ Локка, Базедова или Кампе, очищая Авгіевы конюшни невѣжества.

Скрывъ свое живое участіе (открытое Пекарскимъ) въ первомъ же вліятельномъ сатирическомъ журналѣ 18-го вѣка, во „Всякой Всячинѣ", и приблизивъ къ себѣ его редактора, Козицкаго, Екатерина признала себя вполнѣ солидарною съ направленіемъ этого обличительнаго органа. Программа его была заимствована изъ Аддисонова „Spectator'a", и самъ Козицкій, много путешествовавшій по Европѣ и близко знакомый съ литературными движеніями [4]), считалъ особою гордостью ука-

---

[1]) Педагогическая дѣятельность Бецкаго всего полнѣе характеризована П. Майковымъ, „Ив. И. Бецкій. Опытъ его біографіи". Спб. 1904.

[2]) Я. К. Гротъ, „Заботы Екатерины II о народномъ образованіи", Записки Академ. Наукъ, томъ 36-й, кн. I.

[3]) А. С. Вороновъ, „Матеріалы для исторіи просвѣщ. въ Россіи въ XVIII вѣкѣ, Ф. И. Янковичъ де-Миріево", 1858.

[4]) Еще въ „Трудолюбивой Пчелѣ" Сумарокова, 1759 года, онъ помѣщалъ свои переводы изъ Свифта, напр., „О естествѣ, пользѣ и необходимой потребности войны и ссоры". Быть можетъ, имъ же переведены были въ Миллеровыхъ Сочиненіяхъ и перевод. къ пользѣ и увесел. служащихъ, 1758, знаменитыя „Письма съ предсказательствами" Бикерстаффа (Свифта). Переводы изъ Свифта были безсмѣннымъ украшеніемъ русской журналистики восьмнадцатаго вѣка. Такъ мы встрѣчаемъ ихъ даже въ позднѣйшихъ новиковскихъ журналахъ, напр., въ Московскомъ Изданіи „Разговоръ Бикерштафа съ своимъ духомъ-хранителемъ". „Гулливеръ" же былъ переведенъ въ 1772—3 год. Ероѳеемъ Каржавинымъ („Путешествія Гулливеровы въ Лилипутъ, Бродинягу, Лапуту" и т. д.). За три года до переложе-

зывать время отъ времени въ различныхъ статьяхъ своего журнала на единомысліе его съ западными образцами. И на сатирическихъ статьяхъ, принадлежащихъ Екатеринѣ, какъ въ этомъ журналѣ, такъ и въ позднѣйшемъ „Собесѣдникѣ“, лежитъ отпечатокъ тѣхъ пріемовъ, которые въ тотъ вѣкъ успѣли стать рутинными у журнальныхъ сатириковъ запада. Различіе лишь въ томъ, что тонъ насмѣшки гораздо мягче, и сама она имѣетъ менѣе опредѣленный характеръ, бичуетъ слабости общечеловѣческія; недаромъ „Всякая Всячина“ подверглась ожесточеннымъ нападкамъ со стороны болѣе радикальной новиковской группы сатириковъ-журналистовъ (Екатерина не разъ сѣтовала поэтому на излишнее размноженіе „сатирическихъ листковъ“). Но вѣдь мы видѣли уже не мало примѣровъ, какъ полное жизненныхъ силъ умственное движеніе могло ослабѣть, даже обезличиться въ русской общественной средѣ.

Англійскіе литературные образцы руководили Екатериной не на одномъ только сатирическомъ поприщѣ; ихъ вліяніе замѣтно въ наиболѣе типичныхъ ея драматическихъ произведеніяхъ, — въ ея историческихъ и былинныхъ драмахъ. Она признается въ подражаніи Шекспиру, хотя попытки ея кажутся ей слишкомъ слабыми („вольное, но слабое переложеніе изъ Шакеспира“, читаемъ мы въ заглавіи передѣланныхъ ею „Виндзорскихъ Кумушекъ“); вольнымъ же переложеніемъ изъ Шекспира является впервые напечатанная лишь въ 1901 г. пьеса „Расточитель“, передѣланная изъ „Тимона Аѳинскаго“ [1]). Она учится у него умѣнью превращать историческое прошлое въ живые художественные организмы, высвобождается изъ-подъ классической ферулы, вступая въ борьбу съ „обыкновенными театральными правилами“,—и русская сцена, какъ бы повинуясь указанію Шекспира, населяется отечественными Олегами, Игорями, Рюриками, даже новгородскими богатырями (Василій Буслаевъ); русская старина оживаетъ на ней, но не затянутая въ сумароковскомъ жеманномъ убранствѣ, а расцвѣченная народными пѣснями, обрядовыми играми, плясками, сказочными мотивами (Иванъ-Царевичъ). Чужой примѣръ научалъ пользоваться національнымъ элементомъ; весь серьезный отдѣлъ драматическихъ произведеній Екатерины сложился подъ этимъ вліяніемъ, тогда какъ для реальности бытовыхъ картинъ и характеристикъ (иногда мастерскихъ) въ комедіяхъ ея могъ служить возбуждающимъ примѣромъ неподдѣльный комизмъ „Виндзорскихъ Кумушекъ“ (передѣланныхъ ею для русской сцены подъ названіемъ „Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье“), этой важнѣйшей истинно *англійской* бытовой пьесы, выдѣляющейся изъ комическихъ произведеній Шек-

---

нія Свифтова романа явился переводъ (не полный) другого классическаго произведенія европейскаго юмора,—„Исторія о славномъ Ламанхскомъ рыцарѣ Донъ-Кихотѣ“. Спб. 1769 г.

[1]) Сочиненія им. Екатерины II, на основаніи подлин. рукописей изд. А. Н. Пыпинымъ, томъ III. Такими же переложеніями, обогатившими теперь переводно-драматическую дѣятельность Екатерины, являются напечатанные впервые тамъ же отрывки изъ передѣлокъ „Школы злословія“ Шеридана и изъ комедіи Кальдерона „El Escondido y la Tapada“, конечно, съ французскаго.

спира. Мы не станемъ останавливаться на обычныхъ указаніяхъ важности этой ранней оцѣнки шекспировскаго генія. О необходимости сближенія съ шекспировскимъ театромъ (которое облегчили переводы, французскіе — Де-ла-Пласа, 1745, и г-жи Дасье, и нѣмецкій — Каспара Борка) давно (въ тридцатыхъ годахъ восьмнадцатаго вѣка) уже говорили французскіе англоманы, аббатъ Прево въ своемъ журналѣ „Pour et Contre", Вольтеръ въ своихъ „Философскихъ Письмахъ" и различные цѣнители-дилеттанты [1]),—говорила новая нѣмецкая критика, талантливый предшественникъ Лессинга, Іоганнъ-Эліасъ Шлегель (въ 1741, въ параллели между Андреемъ Грифіусомъ, — который въ своей комедіи „Peter Squenz" еще въ серединѣ 17 вѣка переработалъ эпизоды изъ „Сна въ лѣтнюю ночь",—и Шекспиромъ—Vergleichung von Andreas Gryphius mit Shakspeare), Николаи, вожди швейцарской школы (Бодмеръ), въ довершеніе всего Лессингъ, проповѣдывавшій шекспироманію почти за двадцать пять лѣтъ до появленія первыхъ екатерининскихъ пьесъ, внушенныхъ Шекспиромъ [2]). Наконецъ (не говоря уже о томъ, что „Гамлетъ", хотя совершенно переиначенный Сумароковымъ, написанъ былъ еще въ 1747 г.) въ Россіи первый переводъ изъ Шекспира (именно отрывокъ изъ „Ромео и Юліи") появился за четырнадцать лѣтъ до этихъ пьесъ (въ новиковскихъ „Вечерахъ" 1772 года), и сами онѣ почти одновременны съ карамзинскимъ „Юліемъ Цезаремъ" [3]). Въ данномъ случаѣ не столько важна возможность признать за Екатериной честь открытія цѣлаго невѣдомаго міра, сколько важенъ фактъ оживленія ея драматургической дѣятельности подъ вліяніемъ западной словесности.

Такимъ образомъ и въ публицистическихъ работахъ, и въ педагогическихъ своихъ взглядахъ, какъ обличительная писательница и какъ авторъ историческихъ драмъ и бытовыхъ комедій, Екатерина оставалась вѣрною указаніямъ европейскихъ образцовъ, и если ей выпадала, по мнѣнію ближайшаго потомства, не только роль плодовитаго и благонамѣреннаго литератора, но будто бы даже значеніе руководящаго вождя (хотя въ дѣйствительности то былъ полководецъ безъ арміи, и все выдающееся и знаменательное, что совершилось въ литературѣ ея времени, создано было вопреки ему), то этимъ она обязана сильной поддержкѣ со стороны западной литературы. Чѣмъ раньше застаемъ мы ее съ перомъ въ рукахъ, когда живы ея связи съ этой литературой, тѣмъ содержательнѣе ея произведенія, тѣмъ полнѣе отражаются въ нихъ важнѣйшіе вопросы, волнующіе современность, тѣмъ живѣе сказывается реформаторскій порывъ; въ ту пору ей настойчиво хотѣлось какъ можно болѣе переса-

[1]) Jusserand. Shakespeare en France sous l'ancien régime. P., 1898.

[2]) О начальномъ періодѣ нѣмецкаго шекспиризма—Richter, Beiträge zum Bekanntwerden Shakespeares in Deutschland, Breslau, 1909.

[3]) Напеч. въ Москвѣ, 1786; переводъ „Ричарда III" изданъ былъ въ 1783 въ Нижнемъ-Новгородѣ; монологъ „Быть или не быть" впервые переведенъ былъ, какъ говоритъ Новиковъ, И. И. Шуваловымъ; въ 1775 г. онъ напечатанъ былъ („Иль жить, или не жить" и т. д.) въ перев. А. А. въ Опытѣ трудовъ Вольнаго русскаго собранія при Московскомъ Университетѣ.

дить къ намъ полезныхъ сочиненій,—и, не довольствуясь своей ролью популяризатора западной мысли, она создала было цѣлое Собраніе переводчиковъ, въ рядахъ котораго видимъ даже Радищева. За честь Россіи, обновляющейся въ духѣ истиннаго просвѣщенія, за великіе ея культурные задатки и способность совершенствованія, она заступилась выдержаннымъ въ раздраженномъ тонѣ, обширнымъ своимъ „Антидотомъ" противъ изображенія современной (точнѣе—недавней, елизаветинской) Россіи въ Описаніи научнаго путешествія въ Сибирь аббата Шаппа, и въ страстной ея полемикѣ чувствовалась неостывшая еще ревность реформатора. Возьмемъ ли мы вслѣдъ затѣмъ работы ея послѣдней поры, когда даже воспоминаніе о прежнемъ энтузіазмѣ постепенно задергивалось густою пеленой, она довольствуется безсодержательными бездѣлками, повтореніемъ старыхъ обличительныхъ темъ, мелкими выходками противъ придворныхъ чудаковъ (наприм., Нарышкина), пародіями на Густава III [1]), превращавшагося нѣсколько разъ въ ея сочиненіяхъ и письмахъ изъ друга въ балаганнаго шута, потомъ въ усерднаго союзника. Наконецъ, она почти совсѣмъ отрекается отъ служенія литературѣ, и ея двигатели, богобоязненный филантропъ Новиковъ, умѣренный, хотя и бойкій на языкъ Фонвизинъ, идеалистъ Карамзинъ, кажутся ей опаснѣйшими вольнодумцами.

Автора „Бригадира" и „Недоросля", мы привыкли считать оригинальнымъ сатирикомъ. Человѣкъ, сумѣвшій живьемъ перенести на сцену помѣщичью и городскую среду своего времени, коснуться самыхъ больныхъ мѣстъ общества и привить комедіи непринужденную реальность,—проникавшійся съ годами нетерпимою національною гордостью и осыпавшій незаслуженною бранью лучшихъ людей и наиболѣе свѣтлыя стороны современной Европы [2]), дѣйствительно долженъ бы, казалось, обладать большою самостоятельностью. Но, чтобъ провѣрить степень оригинальности его пріемовъ, стоитъ собрать различныя разоблаченія сдѣланныхъ имъ заимствованій; рядъ указаній на нихъ, начинающійся еще съ двадцатыхъ годовъ [3]) прошлаго вѣка, особенно обогащенъ былъ изслѣдованіемъ кн. Вяземскаго [4]) и библіографическими разысканіями Тихонравова, и, какъ увидитъ читатель, не перестаетъ разрастаться и до сихъ поръ. Цѣлыми періодами черпалъ Фонвизинъ свои „наблюденія" надъ соціальнымъ положеніемъ современной Франціи изъ книги Дюкло

[1]) Густавъ III не остался въ долгу: въ числѣ его произведеній есть полная юмора комедія изъ русской жизни „Alexis Mikhailowitch". Levertin, Gustaf III som dramatisk foerfattere (Les oeuvres dramatiques de Gustave III), P. 1895.

[2]) Онъ сдѣлалъ исключеніе изъ общаго приговора только для Руссо, котораго считалъ „чуть ли не всѣхъ почтеннѣе и честнѣе изъ господъ философовъ нынѣшняго вѣка". Должно было даже состояться свиданіе съ нимъ русскаго писателя („Руссо обѣщалъ мнѣ показать себя, и уже назначенъ былъ день нашего свиданія", писалъ Фонвизинъ сестрѣ изъ Парижа въ августѣ 1778 г.), но неожиданный отъѣздъ и затѣмъ смерть Руссо разстроили надежды „видѣть славнаго Руссо".

[3]) Вѣстн. Европы, 1820, № 15.

[4]) 1847; вновь напечат. въ пятомъ томѣ Собранія сочиненій кн. Вяземскаго, изд. гр. Шереметева, 1880.

„Considérations sur les moeurs de ce siècle“, 1752 года, изъ посредственной статейки нѣмецкаго журнала „Literatur-und Völkerkunde“, отчасти изъ „Философскихъ мыслей“ Дидро; Лабрюйеръ, Дюкло, Дюфрени, Вольтеръ, Ларошфуко, даже невинный словарь синонимовъ Жирара подверглись такому же опустошительному набѣгу для „Недоросля“, и сшивная работа вставлена именно тамъ, гдѣ читатель всего скорѣе ожидаетъ оригинальныхъ комическихъ штриховъ, наприм., въ экзаменѣ Митрофанушки изъ географіи, гдѣ извѣстный отвѣтъ Простаковой взятъ изъ вольтеровской повѣсти (Jeannot et Colin). Въ „Выборѣ гувернера“ одна изъ остроумнѣйшихъ выходокъ заимствована изъ размышленій Ла-Бомелля; „Коріонъ“ переложенъ на русскіе нравы изъ комедіи Грессе „Sidney“. Къ этому длинному списку мы прибавимъ съ своей стороны фактъ вліянія на „Бригадира“ (и въ особенности на обрисовку характера Иванушки) комедіи Гольберга, Jean de France [1]), и затѣмъ

[1]) Въ содержаніи и нѣкоторыхъ подробностяхъ обѣихъ пьесъ много точекъ соприкосновенія. У Гольберга (см. напр., современный ему нѣмецкій переводъ его пьесы въ „Dänische Schaubühne, geschrieben von dem Freiherrn Ludw. v. Holberg“, Copenhagen, 1756, томъ четвертый) точно такъ же являются два старика, между собою рѣшившіе поженить своихъ дѣтей; дочь одного изъ нихъ въ ужасѣ отъ перспективы выйти замужъ за вертопраха, побывавшаго въ Парижѣ, и сама любитъ молодого человѣка, котораго до поры до времени ея отецъ чуждается (эта блѣдная личность, соотвѣтствующая Добролюбову русской пьесы, и называется сходно съ нимъ,—по-нѣмецки *Liebhold*). Навязанный ей женихъ былъ въ Парижѣ всего пятнадцать недѣль, но считаетъ себя настоящимъ парижаниномъ, сыплетъ французскими фразами (наприм., je m'en moque, что говоритъ и Иванушка, вызывая отвѣтъ отца: „что это за манмокъ?“) и ругательствами. Мать отъ него въ восторгѣ; хотя, какъ и бригадирша, подчасъ ничего не понимаетъ изъ его словъ. Отца онъ не слушается, съ будущимъ тестемъ затѣваетъ ссору, даже драку; подобно Иванушкѣ, онъ не хочетъ признавать повиновенія старшимъ и находитъ, что „если старые люди впадаютъ въ дѣтство, то съ ними обращаться нужно, какъ съ дѣтьми“. Родителей онъ старается выставить въ смѣшномъ видѣ; мать заставляетъ танцовать минуэтъ, а отца пѣть (въ Бригадирѣ, IV, 4,—„матушка, пропойте-ка вы намъ какой-нибудь эръ“). Его сопровождаетъ слуга, который вмѣстѣ съ субреткой Дорой и ея товарищемъ Михелемъ являются, на первый взглядъ, лишними въ датской пьесѣ сравнительно съ русскою; однако въ той роли, которую должна играть Дора, есть опять точки соприкосновенія. У Гольберга, правда, нѣтъ прямого *pendant* къ совѣтницѣ, но взамѣнъ ея введенъ очень сходный пріемъ. Субретка, желая помочь своей барышнѣ, переряживается и выдаетъ себя за madame La Flèche, только что пріѣхавшую изъ Парижа, слѣдомъ за своимъ милымъ Жаномъ. Хотя онъ никогда не видалъ ея, это льститъ его самолюбію, онъ быстро влюбляется,—и такимъ образомъ мы получаемъ какъ бы отдаленный первообразъ любовныхъ сценъ между Иванушкой и совѣтницей. Въ рѣчахъ субретки такъ же осмѣянъ жаргонъ тогдашнихъ модныхъ щеголихъ, влюбленный съ такимъ же ужасомъ признается въ своемъ отвращеніи къ ожидающему его браку, такъ же мечтаетъ бѣжать съ дамой своего сердца въ Парижъ и т. д., какъ Иванушка. Можно было бы привести еще нѣсколько мелкихъ образчиковъ сходства (наприм., въ обѣихъ пьесахъ одинъ изъ стариковъ обращается съ другимъ покровительственно, какъ бы снисходя къ нему; у Гольберга онъ, по старому обычаю, говоритъ съ нимъ въ третьемъ лицѣ,—въ „Бригадирѣ“: „я началъ уже со всѣми вами обходиться безъ чиновъ“, I, 1),—но достаточно и общаго сходства. Указывая на него, нельзя не признать у Фонвизина большихъ отклоненій отъ первообраза, много оригинальныхъ и остроумныхъ чертъ, и въ особенности живыхъ воспроизведеній русской дѣйствительности (типическіе образы безмозглаго русскаго служаки-бригадира, хищника, святоши и развратника, совѣтника, безподобной Акулины Тимоѳеевны). Русская пьеса вообще гораздо бойчѣе, но зато рѣзче впадаетъ въ карикатурность.—Въ письмахъ Фонвизина

укажемъ на новый, случайно бросившійся въ глаза примѣръ явнаго плагіата: одно изъ украшеній сатирическаго журнала „Стародумъ или другъ честныхъ людей“, задуманнаго Фонвизинымъ въ годы его размолвки съ Екатериной и потому неразрѣшеннаго администраціей,—Переписка между дѣдиловскимъ помѣщикомъ Дурыкинымъ и Стародумомъ о пріисканіи учителя для помѣщичьихъ дѣтей,—въ главныхъ своихъ чертахъ, и даже во многихъ выраженіяхъ, взято изъ „Сборника сатирическихъ сочиненій“ любимаго въ восьмнадцатомъ вѣкѣ нѣмецкаго сатирика Рабенера [1]), съ передѣлкой именъ на русскій ладъ,—и все это несмотря на категорическое заявленіе Фонвизина въ предисловіи къ своему журналу, гдѣ говорится прямо, что „переводы изъ сего періодическаго

есть указаніе на близкое знакомство съ датской комедіей: „по крайней мѣрѣ не могутъ мнѣ импозировать наши *Jean France*“, писалъ онъ сестрѣ въ апрѣлѣ 1778 года.—Относительно возможности вліянія Гольберга на пьесу Фонвизина была, какъ мы узнали уже послѣ напечатанія нашихъ статей въ „Вѣст. Европы“, высказана догадка Н. С. Тихонравовымъ въ приготовленномъ къ печати, но не выпущенномъ Словарѣ питомцевъ Московскаго университета.—Подлинная комедія Гольберга была переведена по-русски И. Елагинымъ („Французъ русской“); въ восьмидесятыхъ годахъ Дмитрій Хвостовъ передѣлалъ ее, назвавъ „Русской Парижанецъ“ (Россійскій Ѳеатръ, часть XV); главное дѣйствующее лицо получило характеристическое имя Франколюба; это уже не вѣтреный идіотикъ Жанъ, бредящій Парижемъ послѣ короткой побывки въ немъ; у него немалый свѣтскій опытъ въ столицѣ Франціи; мечта его—вернуться туда и служить „мускетеромъ du Roi“. Со стороны его отца, Скрягина, доморощеннаго Гарпагона, столь же странна, какъ и у Бригадира, и у отца Жана, мысль отправить сына въ Парижъ. Въ результатѣ не только легкомысліе, но и порочность; при помощи плута-слуги, Проглядa, тоже героя парижскихъ любовныхъ приключеній, Франколюбъ присваиваетъ шкатулку своего отца,—но раскаивается; интрига съ выгодной женитьбой срывается; разбитый, опозоренный, онъ удаляется навсегда въ Парижъ,—вѣдь „въ Парижѣ можетъ быть лишь счастливъ человѣкъ!“

[1]) Sammlung satyrischer Schriften, Leipzig, Johann Gottfr. Dycks, 1752, третья часть, стр. 10—25. Мы имѣемъ въ виду двѣ статьи: 1) Schreiben eines von Adel an einen Professor, in welchem einen guten Hofmeister zu wählen gebeten, und gesagt wird, was man von ihm für Fähigkeiten verlange и 2) Antwort des Professors, nebst zwo Taxen von einem geschickten und eilf ungeschickten Hofmeistern. Обѣ статьи значительно сокращены (такъ изъ одиннадцати экземпляровъ плохихъ учителей оставлено пять). Вотъ нѣсколько мѣстъ для сличенія: „Цезуркинъ, ремесломъ піита, желаетъ также имѣть мѣсто у г. Дурыкина... обѣщаетъ каждый разъ для именинъ его превосходительства сводить въ стихахъ своихъ всѣхъ боговъ съ Олимпа, проситъ по копейкѣ за стихъ, да къ святкамъ кафтана съ плеча его превосход., хотя и довольно поношеннаго. Онъ весьма забавнаго нрава и шутитъ такъ умно, что въ домѣ дурака не надо; ни на кого не сердится, развѣ только кто стихи его похулитъ“. (N. seines Handwerks ein Poet, erbietet sich ohne Besoldung zu dienen, wenn ihm für eine jede Gratulation von zweihundert Versen baar vier Groschen gegeben werden... Er verlangt alle Weihnachten ein abgesetztes Kleid, es mag so alt seyn, als es wolle... Er ist auch witzig, und satyrisch, man möchte sich vor Lachen ausschütten. Böse wird er nicht leicht, man muszte denn seine Verse tadeln).—„Господинъ Кераксинъ знаетъ по-гречески, по-еврейски, но не знаетъ по-русски что, кажется, для дѣтей его превосход. и не нужно. Нынѣ, къ сожалѣнію, многіе изъ русскихъ дворянъ хотятъ дѣтей своихъ учить по-русски“ (N. N. redet lateinisch und griechisch, kann aber kein Deutsch. Desto besser schickt er sich zu einem Informator in ein adliches Haus. Es ist ewig zu bejammern, dasz man itzt anfangen will... von dem Adel zu verlangen, dasz sie.. deutsch lernen sollen). Мелкія черты сходства разбросаны повсюду. Красоткинъ убирается, какъ кукла, берется причесывать дѣтей, выводить пятна, вскружилъ голову женѣ профессора (geputzt wie eine Puppe, erbietet sich die junge Herrschaft zu frisieren, macht Dintenfecke aus der Wäsche, gefällt meiner Frau).

творенія вовсе исключаются", что „ни одно сочиненіе, гдѣ-нибудь напечатанное, въ сей книгѣ мѣста имѣть не можетъ, словомъ, *всѣ сочиненія будутъ совсѣмъ новыя*". И при томъ именно тѣ черты сатирической картины, которыя мы склонны были бы считать отпечаткомъ русской дѣйствительности,—домашняя обстановка помѣщика, лакейство набивающихся къ нему учителей, ироническія замѣчанія насчетъ новой странной моды учить русскихъ дѣтей по-русски,—все это оказывается точнымъ оттискомъ съ нѣмецкой сатиры, рисовавшей прямо съ натуры... Если же мы къ этимъ *скрытымъ* займамъ прибавимъ много *явныхъ* переводовъ и переложеній, сдѣланныхъ Фонвизинымъ изъ разнообразнѣйшихъ писателей, изъ Гольберга [1]), Гесснера, Битобе, Арно, Буасси, Вольтера [2]) и т. д., и съ полной достовѣрностью предположимъ, что ненапечатанныя вполнѣ или же не отысканныя политическія разсужденія Фонвизина (о вольности французскаго дворянства и о пользѣ третьяго чина) [3]), и политическій меморандумъ объ ограниченіи верховной власти, составленный отъ имени графа Н. И. Панина (для Павла Петровича) [4]) и исходившій изъ основного положенія о договорномъ происхожденіи правительства, были также построены по иностраннымъ образцамъ, съ частыми переводами изъ нихъ, подобно дошедшему до насъ „разсужденію о торгующемъ дворянствѣ" (перев. изъ книги аббата Coyer), то получимъ точку зрѣнія на нашего писателя, весьма отличающуюся отъ общепринятой. Богато одаренный отъ природы, но непостоянный и легкомысленный, плохо образованный и потому способный въ лучшіе свои годы (по мѣткому выраженію Вяземскаго) „только что не гласнымъ образомъ, а отрицательными умствованіями *проповѣдывать выгоду невѣжества*" и осыпать въ своихъ заграничныхъ письмахъ бранью лучшихъ мыслителей Европы, этотъ человѣкъ былъ обязанъ западному вліянію вообще и порожденному имъ въ Россіи обновляющему движенію лучшими

---

[1]) „Датскому Мольеру" пришлось быть воспріемникомъ Фонвизина и въ склонности его къ театру,—комедія Гольберга „Генрихъ и Пернилла", видѣнная имъ въ дни студенчества въ Петербургѣ, возбудила въ немъ первые театральные восторги (что не помѣшало ему впослѣдствіи обозвать ее ничтожествомъ,—и совершенно неосновательно, потому что это бойкая, живая вещица на сюжетъ въ духѣ „плутовскихъ" романовъ),—и въ писательствѣ, такъ какъ первая большая его работа—переводъ 226 басенъ Гольберга.

[2]) Новые варіанты къ переводамъ *Альзиры* и *Sidney* (Коріона)—въ „Матеріалахъ для полнаго собр. сочин. Фонвизина", посмертномъ трудѣ Н. С. Тихонравова. 1894.

[3]) Было высказано предположеніе, что напечатанное въ Архивѣ кн. Воронцова, т. XXVI, с. 315—324, безыменное „Краткое изъясненіе о вольности франц. дворянства и о пользѣ третьяго чина" принадлежитъ Фонвизину (В. И. Семевскій, Крестьян. вопросъ въ Россіи и т. д., I, 174). Главные выводы этого трактата: „въ Россіи надлежитъ быть: 1) дворянству совсѣмъ вольному, 2) третьему чину совсѣмъ освобожденному и 3) народу упражняющемуся въ земледѣльствѣ, хотя не совсѣмъ свободному, но по крайней мѣрѣ имѣющему надежду быть вольнымъ, когда будутъ они такими земледѣльцами или такими художниками, чтобы со временемъ привести въ совершенство деревни или мануфактуры господъ".

[4]) Новыя свѣдѣнія о составленіи и судьбѣ этого меморандума или „конституціоннаго акта" приведены въ обширномъ біографическомъ очеркѣ М. А. Фонвизина, напеч. В. И. Семевскимъ въ сборникѣ „Обществ. движенія въ Россіи въ первую половину XIX вѣка", 1905, стр. 8—13.

сторонами своей писательской дѣятельности, всею программой своихъ сатирическихъ нападокъ. Осмѣивая фальшивое французское воспитаніе, онъ шелъ по пути, проложенному до него; добиваясь поднятія нравственнаго достоинства человѣка независимо отъ усиленія образованности [1]), онъ раздѣлялъ иллюзію западныхъ филантроповъ своего времени; испещряя своего „Недоросля“ упованіями на вмѣшательство власти, онъ вторилъ господствующей теоріи о „просвѣщенномъ деспотизмѣ“; въ проектѣ преобразованій, составленномъ имъ въ духѣ убѣжденій панинскаго оппозиціоннаго кружка, требовалъ коренного измѣненія русскаго строя, введенія самоуправленія, народнаго представительства [2]), постепеннаго освобожденія крестьянъ, и опирался на практику шведскихъ государственныхъ учрежденій; даже въ мелочахъ, какъ мы видѣли, онъ часто не позволялъ себѣ отступать отъ чужихъ указаній и, чтобъ бороться съ русскими Цезуркиными и Красоткиными, спрашивался у нѣмцевъ. Степень оригинальности его творчества значительно понижается, и несомнѣннымъ его достояніемъ остается бойкій, неистощимо насмѣшливый умъ (способный невзначай создать истинно-трагическій характеръ Простаковой), искреннее стремленіе къ роли обличителя, стража общественной совѣсти [3]), много наблюдательности и еще болѣе пересмѣшничанья, не отступающаго ни передъ какими излишествами, способнаго даже издѣваться надъ тѣмъ, что создало его, какъ писателя, и вложило въ его созданія живую душу...

Сопоставляя съ Фонвизинымъ его заклятаго соперника Лукина, мы не можемъ не признать, что послѣдній, безмѣрно уступая ему въ талантливости, превосходилъ его добросовѣстностью пріемовъ. Дарованій у него было мало, любовь къ театру была большая; чутье необходимости національной сцены, понятной простому, необразованному народу, не давало ему покоя,—онъ пошелъ въ науку къ французамъ и, не смущаясь презрительными отзывами корифеевъ литературы и журнальныхъ рецензентовъ (даже критиковъ и авторовъ стихотворныхъ пародій въ нови-

[1]) Замѣтимъ, что резонеры, которыхъ онъ дѣлалъ глашатаями своихъ положительныхъ взглядовъ, отживали тогда свой вѣкъ на западѣ, откуда онъ ихъ взялъ, и что надъ Стародумами тамъ уже смѣялись. „Человѣкъ можетъ быть развитъ и не говорить сентенціями,— замѣчалъ еще Spectator (1712, № 4),—точно такъ же онъ доказываетъ своими движеніями, что умѣетъ танцовать, хотя и не дѣлаетъ постоянно антрша“.—Пристрастіе Фонвизина къ сценической проповѣди при посредствѣ резонеровъ, по всей вѣроятности, развилось подъ вліяніемъ Гольберга, которому онъ такъ много былъ обязанъ. На обиліе добродѣтельныхъ лицъ у „датскаго Мольера“, какъ на отличительную его черту, указываетъ Брандесъ въ своей книгѣ „Ludwig Holberg und seine Zeitgenossen“, 1885, 128.

[2]) Отраженіе этихъ требованій представляетъ, наприм., статья, написанная Фонвизинымъ для несостоявшагося его журнала „Стародумъ или другъ честныхъ людей“, въ видѣ „письма отъ Стародума“ (февраль 1788 г.), поднимающая вопросъ о «народныхъ собраніяхъ», гдѣ „мы имѣли бы разсуждать о законѣ и податяхъ, и судить поведенія министровъ, государственнымъ рулемъ управляющихъ“.

[3]) „Таковая свобода, каковою нынѣ пользуется Россія,—говорилъ онъ,—поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага“... „Писатели имѣютъ долгъ возвысить громкій голосъ противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству“.

ковскомъ *Трутнѣ*) о его работѣ, усердно отдавался драматическимъ передѣлкамъ, видя въ нихъ переходную ступень къ оригинальному творчеству. Пьесы Детуша, Реньяра, Кампистрона, Буасси, превращаются подъ его руками въ картинки русскихъ нравовъ, иногда довольно удачныя. Соревнованіе съ французскими авторами укрѣпляло въ немъ рѣшимость добиться созданія самобытнаго русскаго репертуара. Онъ старался пока обрусить передѣланныя пьесы, вводить въ нихъ бытовыя сценки и въ своихъ предисловіяхъ и письмахъ горячо и искренно защищалъ свою завѣтную идею. Этотъ ученикъ французовъ выучился у нихъ любить свое родное [1]), и его пророческое предсказаніе о великомъ значеніи русскаго, для всѣхъ понятнаго театра, „сего для народа весьма полезнаго и потому великія хвалы достойнаго упражненія", которое со временемъ „произведетъ у насъ и зрителей и писцовъ" (т.-е. драматурговъ), до новѣйшаго времени, когда послѣ нѣсколькихъ десятилѣтій гуманной агитаціи въ пользу отдѣльной *народной* сцены взяла верхъ идея *всенароднаго,* общедоступнаго театра, оставалось благимъ пожеланіемъ. Скромная дѣятельность Лукина производитъ поэтому симпатичное впечатлѣніе, хотя (за исключеніемъ его *Мота,* драматизованнаго эпизода изъ жизни автора, впрочемъ, не безъ подражанія *Dissipateur'у* Детуша) она сводилась на переработку чужого матеріала: слишкомъ очевидно, что онъ искалъ готовыхъ и испытанныхъ рамокъ, въ которыя могло бы войти русское бытовое содержаніе.

Совершенно такъ же смотрѣли на этотъ вопросъ многіе изъ нашихъ сатирическихъ журналистовъ восьмнадцатаго вѣка. Въ ту пору передъ ними и ихъ западными собратьями возносился увлекательный успѣхъ англійской журнальной сатиры; подражать ей стремились всѣ [2]). Нѣмецкая нравоучительная журналистика возникла подъ вліяніемъ Стиля и Аддисона. Первый нѣмецкій журналъ этого рода „Der Vernünfftler" (выходилъ въ 1713—14 гг. въ Гамбургѣ) снабженъ былъ впослѣдствіи, въ изданіи отдѣльною книгой, откровеннымъ признаніемъ, что онъ просто „ein deutscher Auszug aus den engländischen Moral-Schriften des Tatler und Spectator" [3]). Къ 1760 году въ Германіи насчитывали 180 подражаній „Зрителю". Лессингъ разсказывалъ о своемъ другѣ Миліусѣ, много работавшемъ въ журналахъ, что часто приходилось заставать его за писаніемъ сатирической статейки, при чемъ онъ обложенъ былъ англійскими книжками, развернутыми на самыхъ удачныхъ страницахъ.

---

[1]) Его идеаломъ всегда оставалась самостоятельная русская комедія. „Французы, англичане, нѣмцы и прочіе народы, театры имѣющіе, держатся всегда своихъ образцовъ, коихъ они и изображаютъ, а чужихъ изрѣдка, да и то побочно вводятъ; для чего же намъ не своихъ держаться?" (Предисловіе къ „Награжденному постоянству". Соч. Лукина, изд. Ефремова, стр. 116).

[2]) Журнализму Стиля и Аддисона и изученію состава его сатиры посвящена спеціальная работа В. Лазурскаго, Сатирико-нравоучительн. журналы Ст. и Аддис., Одесса, 1909, томъ I; вопросъ о вліяніи на европейскую и русскую журналистику въ ней пока не затронутъ.

[3]) K. Jakoby. Die ersten moralischen Wochenschriften Hamburgs am Anfange des 18. Jahrh. 1888.

Бесѣдуя съ нѣмецкимъ читателемъ о нѣмецкихъ же домашнихъ дѣлахъ, Милiусъ сначала прочитывалъ подходящую къ случаю статью изъ Spectator'а или Tatler'а и затѣмъ развивалъ свою мысль по готовому шаблону; главныя темы осмѣянiя были указаны и повторялись съ небольшими измѣненiями, такъ какъ задачи, преслѣдовавшiяся приверженцами просвѣтительнаго направленiя, были приблизительно однѣ и тѣ же.

Начиная съ „Journal littéraire", выходившаго въ Гагѣ въ 1713 г. и помѣщавшаго большiе переводы изъ „Зрителя", французская сатирическая журналистика, въ особенности „Spectateur français" Мариво, также шла на буксирѣ за англiйскою,—и въ своемъ „Siècle de Louis XIV" Вольтеръ, опираясь на факты, призналъ, что „писательскiе прiемы Аддисона—превосходный образецъ для всѣхъ странъ".

То же явленiе повторилось у насъ. Если иные журналы, какъ, напр., „Доброе намѣренiе" Санковскаго (издававшееся при московскомъ университетѣ, 1764) [1]), „Полезное съ Прiятнымъ" (1769) и „Смѣсь", жили главнымъ образомъ переводами и переложенiями, то другiе, болѣе самостоятельные, все же научались на иностранныхъ образцахъ, какъ искуснѣе и бойчѣе осмѣивать домашнiя уродства. Бойко написанный очеркъ замоскворѣцкихъ старинныхъ суевѣрiй, съ которыми авторъ сталкивается на каждомъ шагу, попадая изъ одной бѣды въ другую (*Всякая всячина*, стр. 17—21), имѣетъ всѣ признаки рисунка съ натуры,—а между тѣмъ онъ расположенъ по канвѣ такого же разсказа въ англiйскомъ „Зрителѣ" (1, № 7) и такъ искусно приближенъ къ русскимъ нравамъ, что читается съ удовольствiемъ, какъ вполнѣ оригинальное произведенiе [2]). Вообще сатира екатерининской „Всячины" почти исключительно пробавлялась обрусѣнiемъ аддисоновскаго юмора, столь ловко производившимся, что и во время полемики съ нею противники не попрекнули ее развязностью литературныхъ прiемовъ [3]). Англiйскiе

---

[1]) Первый русскiй студенческiй журналъ. Въ немъ много переводовъ изъ Спектатора; есть, впрочемъ, и переложенiя изъ старинныхъ авторовъ, напр., Боккачьо (Ивана Бокацiя, славнаго Флорентинца).

[2]) Вѣроятно, первымъ у насъ переводомъ изъ „Spectator'а" слѣдуетъ счесть хранящiйся въ рукописи, въ библiотекѣ Академiи Наукъ, fol. 138, переводъ „Изъ книги называемыя Спектаторъ (смотритель) сравненiе между Людовикомъ XIV и Петромъ Алексѣевичемъ, росс. Императоромъ, въ разсужденiи славы", принадлежащiй перу Тредьяковскаго. Пекарскiй, Истор. Ак. Наукъ, II, 26. Первое же упоминанiе о журналѣ Аддисона встрѣтилось намъ подъ 1725 г. въ упомянутомъ уже дневникѣ Петра Апостола, Кiевск. Старина 1895, VII, 126; затѣмъ въ Примѣч. къ Спб. Вѣдомостямъ 1729 года перечислены „моралическiе понедѣльные письма", и въ числѣ ихъ Аспектаторъ.—За три года до появленiя „Всякой всячины" изданъ былъ сборникъ избранныхъ статей изъ англiйскихъ, преимущественно сатирическихъ журналовъ, конечно, съ Спектаторомъ во главѣ—„Забавный философъ", Спб. 1766; переводы Л. Сичкарева.

[3]) Указанiе на обильныя заимствованiя „Всячины", сдѣланное въ первомъ изданiи настоящей книги, развито и подкрѣплено было впослѣдствiи В. Солнцевымъ, „Всякая всячина и Спектаторъ", Спб. 1893. Ср. статью того же автора о „Смѣси" въ Библiографѣ, 1894, и отдѣльно.

образцы [1]) дали намъ, кромѣ того, разнородныя формы сатирическихъ статей: у насъ завелась въ журналахъ комическая переписка щеголей и щеголихъ, дневники провинціала въ столицѣ, личныя обращенія отъ издателя къ публикѣ или вымышленныя посланія ея къ нему, попытки беллетристическихъ набросковъ и характеристикъ въ родѣ знаменитыхъ аддисоновскихъ созданій, — членовъ дружескаго клуба, стараго баронета Роджера де-Коверлей съ его привычными собесѣдниками, финансистомъ Андрью Фрипортомъ, щеголемъ Уиллемъ Гоникомомъ, самимъ Spectator'омъ, вездѣсущимъ, вѣчно наблюдающимъ жизнь и людей, и т. д., — обезпечившихъ „Зрителю“ вліяніе на развитіе англійскаго бытового романа. Но не только въ транскрипціяхъ и передѣлкахъ (не совсѣмъ чуждыхъ и новиковскимъ журналамъ) выражалось тѣсное общеніе съ образцами. Большинство нашихъ журналистовъ восьмнадцатаго вѣка старалось идти въ ногу съ англійскими своими собратьями въ преслѣдованіи задачъ сатиры *общечеловѣческой*; по примѣру Аддисона, они также научали гуманности, осмѣивали варварское воспитаніе, рисовали портреты невѣжественныхъ педагоговъ, суевѣрныхъ ханжей, судей-взяточниковъ. Своихъ, кровно-*русскихъ* недуговъ они рѣдко осмѣливались касаться,—и эта робость давно поставлена имъ была въ вину Добролюбовымъ [2]); они въ состояніи были съ увлеченіемъ отдаваться литературной перебранкѣ, въ то время, какъ отовсюду выступали передъ ними жгучіе вопросы, крестьянское рабство, чиновничье хищничество, гнетъ сословности. Но это воздержаніе отъ злобы дня не всегда было добровольнымъ,—и въ ту же взятую съ запада журнальную рамку публицистъ съ силой воли и выдержкою Новикова или съ гуманнымъ чутьемъ примыкавшаго къ нему Ѳ. Эмина, рѣшившійся выйти изъ круга общихъ сатирическихъ темъ, терпимыхъ и узаконенныхъ примѣромъ Екатерины, вводилъ уже подлинную дѣйствительность съ ея запросами и нуждами, но несомнѣнное давленіе свыше парализовало подобное направленіе журналистики, которую хотѣли сдерживать и регламентировать общими командными внушеніями.

„Живописецъ“, по заглавію уже напоминающій такія изданія, какъ „Discurse der Maler [3]), „Der Maler der Sitten“ и т. д., требовалъ простора для просвѣщенія народа, „ибо науки любятъ свободу и тамъ болѣе распространяются, гдѣ свободнѣе мыслятъ“. Крестьянскій вопросъ получилъ въ журналахъ Новикова выдающееся значеніе. На ряду съ знамени-

---

[1]) Первые подражатели узнавали ихъ по французскимъ переводамъ „Spectator'a“, которые въ 18 вѣкѣ выходили многими изданіями, при чемъ русское переложеніе сохраняло сокращенія или измѣненія, сдѣланныя переводчиками. Путемъ сличенія текстовъ это доказалъ В. Лазурскій въ статьѣ по поводу разысканій В. Семенникова, „Русскій Библіофилъ“, 1915, II.

[2]) Русская сатира въ вѣкъ Екатерины (Современникъ, 1859, X; Собр. соч. Доброл., I).

[3]) Журналъ швейцарскихъ противниковъ Готтшеда,—Брейтингера и Бодмера,—выходилъ сначала подъ назв. „Discourse der Mahlern“ (1721), а впослѣдствіи „Die Mahler oder Discourse von den Sitten der Menschen“.

тыми (быть можетъ, принадлежавшими перу самого Новикова) [1]) письмами изъ деревни, „Отрывкомъ изъ путешествія“ И. Т., своимъ правдивымъ изображеніемъ положенія крѣпостного люда возбудившими сильное недовольство, журналы Новикова проводили поучительныя параллели съ болѣе гуманнымъ отношеніемъ къ крестьянству на западѣ, въ Германіи, Англіи. Закрытіе послѣдняго сатирическаго листка Новикова, „Кошелька“, вызвано было, говорятъ, жалобою французскаго посла на оскорбленія, будто бы наносимыя чести Франціи, тогда какъ насмѣшка направлена была на уродливыя стороны модной переимчивости и на двусмысленныхъ иностранныхъ авантюристовъ, эксплоатировавшихъ ее,—и это закрытіе сдѣлало для Новикова дальнѣйшую обличительную дѣятельность невозможною. Несмотря на то, навсегда удержалась въ немъ склонность къ ней, ярко характеризующая его молодые, свѣжіе годы,—и въ позднѣйшихъ его изданіяхъ слѣды ея постоянно замѣтны. „Письмо Сенеки къ Луцилію о томъ, что должно поступать благосклонно съ рабами“, или стихотвореніе „Быль“ въ „*Вечерней зарѣ*“ продолжали проповѣдь гуманныхъ отношеній къ крестьянамъ.

Лучшій до сихъ поръ историкъ русской сатирической журналистики, Аѳанасьевъ [2]), имѣлъ право поставить Новикова въ образецъ позднѣйшимъ народолюбцамъ; онъ, дѣйствительно, „не щадилъ темныхъ сторонъ русскаго быта, ни тѣхъ, какія наслѣдованы отъ допетровской старины, ни тѣхъ, какія возникли вслѣдствіе слѣпого пристрастія къ чужеземнымъ обычаямъ: нападая на ложь условныхъ приличій и неразборчивость при выборѣ иностранныхъ гувернеровъ, онъ съ чувствомъ полнаго уваженія относился къ европейской наукѣ и ея представителямъ“. Это уваженіе сохранилъ Новиковъ до конца своей общественной дѣятельности; не пройдя правильной школы, не зная ни одного иностраннаго языка и знакомясь съ европейскою мыслью изъ переводовъ и литературныхъ заимствованій, онъ съ большою проницательностью отдѣлялъ существенныя и развивающія начала европейской цивилизаціи отъ мишуры,—и эта тщательная разборчивость замѣтна даже въ тѣ періоды, когда у него какъ будто брала верхъ національная исключительность. Въ „Словарѣ россійскихъ писателей“ Вольтеръ названъ славнымъ европейскимъ писателемъ, и на ряду съ нимъ поставлены Дидро, Локкъ, Руссо, Шекспиръ. Изъ оцѣнокъ твореній для театра въ „Словарѣ Драматическомъ“, 1787, складывается высокое представленіе о старой и новѣйшей драмѣ запада съ такими ея свѣтилами, какъ Шекспиръ, Мольеръ, Гете, Лессингъ, Вольтеръ, Бомарше, Мерсье. „Живописецъ“ считаетъ вполнѣ естественнымъ и законнымъ, чтобъ народъ, выходящій изъ тьмы невѣдѣнія и жестокосердія, заимствовалъ свое просвѣщеніе у племенъ

[1]) Въ новѣйшее время снова поднимается возбуждавшійся не разъ вопросъ о принадлежности ихъ Радищеву, чьи сношенія съ Новиковымъ съ начала семидесятыхъ годовъ уже не подвергаются сомнѣнію. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ „Отрывка“ указываютъ совпаденіе съ позднѣйшими пріемами „Путешествія“.—В. Семенниковъ, Русск. сатирич. журналы 1769—1774 г. Разысканія объ издателяхъ ихъ и сотрудникахъ, 1914, с. 54 и сл.

[2]) Русскіе сатирическіе журналы, М. 1859, стр. 183.

культурныхъ [1]). „Утренній Свѣтъ“ старается воспитывать вкусъ читателей искуснымъ подборомъ произведеній древнихъ и новыхъ европейскихъ авторовъ и передаетъ изъ „Персидскихъ писемъ“ Монтескье одну изъ лучшихъ „утопій“ 18-го вѣка, притчу о Троглодитахъ (Ут. Св., часть IV), прославляющую гражданскія доблести, духъ братства и солидарности въ воображаемой „аравійской“ республикѣ. Въ „Московскомъ Изданіи“ 1781 г. переведена изъ Энциклопедіи руководящая статья *о философѣ* (принадлежащая Вольтеру); въ „разговорѣ Аспазіи съ Аристиппомъ“ требуется для женщинъ одинаковое воспитаніе съ мужчинами; „Покоющійся Трудолюбецъ“ высказывается за свободу печати, противъ крестьянскаго рабства. Эти примѣры, къ которымъ можно бы прибавить не мало однородныхъ [2]), кажется, вполнѣ подтверждаютъ сознательный европеизмъ Новикова.

Стѣсненный въ открытомъ служеніи общественному дѣлу, Новиковъ нашелъ исходъ своей отзывчивости къ страданіямъ и нуждамъ людей въ такомъ умственномъ движеніи, которое, придвигаясь къ Россіи съ отдаленной европейской окраины, затопляло тогда своими волнами Францію, Германію, Австрію. Гуманная сторона масонства подѣйствовала на него столь же обаятельно, какъ дѣйствовала она на непримиримо реалистическую натуру Лессинга, предавшагося въ своихъ „Масонскихъ разговорахъ“ грезамъ о всемірномъ союзѣ „вольныхъ каменщиковъ“ съ цѣлью нравственнаго совершенствованія, на Николаи, Фихте и многихъ другихъ литературныхъ и научныхъ дѣятелей, оставшихся равнодушными къ мистической сторонѣ масонскаго ученія. Съ 1732 года (когда первыя масонскія ложи въ Россіи состояли изъ иностранцевъ), во всякомъ случаѣ съ 1741 г., когда генералъ Джемсъ Кейтъ, находившійся въ то время на русской службѣ, впослѣдствіи извѣстный, какъ храбрый сподвижникъ Фридриха Великаго, назначенъ былъ гросмейстеромъ для Россіи, и масонство было организовано у насъ по англійской системѣ [3]),— начинается исторія русскаго масонскаго движенія. Почти всѣ системы и ритуалы, выработавшіеся на западѣ (англійскіе, шотландскіе, нѣмецкіе, шведскіе, французскіе, мартинизмъ [4]), розенкрейцерство), были съ теченіемъ времени привиты на русской почвѣ; тѣсныя связи заключались дважды съ лондонской Великой Ложей, директивы давало одно время шведское масонство, изъ-за вліянія на русскія ложи происходила настойчивая борьба нѣмецкихъ масонскихъ дѣятелей (барона Рейхеля) съ англійскими; въ союзѣ нѣмецкихъ масонскихъ обществъ Россія подъ конецъ

[1]) Живописецъ, годъ II, стр. 223.

[2]) Подробный анализъ содержанія новиковскихъ повременныхъ изданій — въ книгѣ проф. Незеленова „Н. И. Новиковъ, издатель журналовъ“, 1875.

[3]) По мнѣнію нѣкоторыхъ масонскихъ писателей, масонство въ Россіи еще древнѣе и восходитъ будто бы къ петровскому времени, когда Гордонъ и Лефортъ познакомили съ нимъ самого царя.—Русск. Старина, сентябрь, „Къ исторіи масонства въ Россіи“, стр. 533—34.

[4]) Развивавшійся одно время подъ непосредственнымъ воздѣйствіемъ Сенъ-Мартена, автора выдающагося трактата „Des erreurs et de la Vérité“, „О Заблужденіяхъ и истинѣ“. Ліонъ, 1775; съ С. Мартеномъ были на западѣ въ сношеніяхъ Зиновьевъ, Кошелевъ и др.

значилась, какъ подчиненная провинція; важнѣйшая, казалось, русская система выработана была по англійскому образцу Елагинымъ [1]). На масонскій конвентъ въ Германіи посылался русскій представитель (Шварцъ); Алексѣй Кутузовъ былъ въ теченіе десяти лѣтъ (1787—1797) русскимъ делегатомъ въ Берлинѣ.

Обширная литература, оригинальная и переводная, составленныя въ наше время коллекціи доспѣховъ, утвари, символической иконографіи, наглядно напоминающія о вѣрованіяхъ и обрядности таинственно привлекательной и необыкновенно живучей секты, перешедшей и въ двадцатое столѣтіе, остались наслѣдіемъ нѣкогда сильнаго возбужденія умовъ, захватившаго собою большую полосу литературной дѣятельности восьмнадцатаго вѣка. Оно является однимъ изъ наиболѣе замѣтныхъ результатовъ западнаго вліянія въ ту пору, какъ бы ни были разнородны значеніе составныхъ элементовъ масонства и степень пригодности его для русской жизни.

Алхимическія бредни и теософія масоновъ, конечно, кажутся теперь психопатическимъ упражненіемъ [2]), но въ въ свое время онѣ удовлетворяли такому же стремленію познать тайны природы, какое въ 16-мъ вѣкѣ вело къ изученію Луцидарія и астрологическихъ альманаховъ, въ 18-мъ вѣкѣ, несмотря на успѣхи естествознанія въ Европѣ, манило къ месмеризму, лабораторно-алхимической пачкотнѣ и общенію съ невидимыми и грозными силами, въ 19-мъ влекло къ спиритизму. Символика и таинственность добыванія высшаго познанія, магически привлекавшія масоновъ, такъ же поражаютъ теперь своимъ туманнымъ характеромъ. Отклоненію пригодныхъ для общаго дѣла силъ въ дебри мистицизма и суевѣрій должно было бы, конечно, противодѣйствовать серьезно поставленное естествознаніе, — но гдѣ искать его слѣдовъ въ русской жизни восьмнадцатаго столѣтія?..

Пусть, однако, эта сторона масонства (не безусловно необходимая въ символѣ его вѣры, — такъ какъ современные намъ западные масоны совсѣмъ порвали съ нею) такъ и останется болѣзненнымъ извращеніемъ высоко филантропическаго дѣла, возникшаго нѣкогда изъ нехитрыхъ рабочихъ союзовъ взаимопомощи и сумѣвшаго широко развить въ себѣ человѣколюбіе. Даже сектантское рвеніе розенкрейцерства, его мистицизмъ,

---

1) Связи русскаго масонства съ различными оттѣнками европейскаго движенія выяснены были прежде всего Лонгиновымъ, „Новиковъ и московскіе мартинисты“, М. 1867, затѣмъ Пыпинымъ, Ешевскимъ. Общеевропейской исторіи масонства, съ русскимъ каменщичествомъ, какъ однимъ изъ ея звеньевъ, посвящены очерки, составившіе коллективный трудъ „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ“, изд. подъ ред. С. Мельгунова и Н. Сидорова, М. 1915.

2) Любопытный образецъ этихъ бредней представленъ въ статьѣ А. Н. Пыпина, „Homunculus. Эпизодъ изъ алхиміи и изъ исторіи русской литературы“ (Починъ, сборникъ Общ. люб. слов. на 1896 г.), — это, напоминающее извѣстную сцену изъ второй части гетевскаго „Фауста“, наставленіе, какъ химически, при помощи майской росы, мужской и женской крови и т. д. создать человѣчка. — Самымъ раннимъ заявленіемъ на Руси о важномъ значеніи алхиміи слѣдуетъ признать записку служилаго голландца Фандергина, поданную въ 1626 году въ Посольскій приказъ „о высшей философской алхиміи“. Ключевскій, Западное вліяніе въ Россіи XVII вѣка, Вопросы философіи, 1897, № 36.

ненависть къ знанію и общественному служенію не смогли сполна овладѣть ни Новиковымъ, ни Шварцемъ и отклонить ихъ отъ гуманнаго подвига. Въ русской жизни восьмнадцатаго вѣка успѣхи масонства всегда будутъ цѣнными благодаря важнѣйшей, человѣчной его сторонѣ. Если соціально-политическіе запросы родного края, въ силу принципіальнаго воздержанія масоновъ отъ вмѣшательства въ политику, были чужды имъ, то широко понятая забота о помощи *людямъ*, безъ различія національности, вѣры и общественнаго положенія, помощи нравственной, просвѣтительной и матеріальной, дружно сплачивающей всѣ силы братства для одной цѣли, въ связи съ благородной заботой о личномъ самосовершенствованіи, раскрывала въ иниціативѣ масонства начало общественной самопомощи, въ которомъ такъ нуждалась страна, слишкомъ привыкшая къ опекѣ, и рѣшительнаго осужденія жестокихъ, несправедливыхъ и противныхъ христіанству основъ соціальнаго строя [1]). Старый сословно-кастовый духъ сталъ уступать вліянію уравнивающаго, братскаго духа, отводившаго въ ложѣ равныя права вельможѣ и плебею,— и еще въ началѣ 19-го столѣтія въ масонствѣ считалось особою заслугой поддержаніе этой традиціи братства [2]). Забвеніе національной розни, которое сближало русскихъ масоновъ съ нѣмецкими, англійскими, впослѣдствіи польскими, и не спрашивало страдающаго или бѣднаго человѣка, какого онъ племени, какой вѣры, не могло не смягчать общепринятыхъ понятій,—хотя дряхлому Новикову едва не пришлось снова вытерпѣть гоненій за то, что въ 1812 году онъ одинаково сердобольно ходилъ за русскими, французами и ихъ союзниками въ бѣдной деревенской больницѣ, при чемъ доносчики обвиняли его чуть не въ измѣнѣ...

Не лишена, конечно, интереса исторія разнообразныхъ сношеній нашего масонства съ западомъ, особенно съ Германіею, посылки делегатовъ на конвентъ въ Вильгельмсбадѣ, основанія и развитія „Астрей", „Пламенѣющихъ звѣздъ", „Нептуновъ", „Трехъ Мечей" и т. д., но, повторяемъ, выше этихъ учащавшихся личныхъ и общихъ сближеній съ западно-европейской жизнью стоитъ въ масонствѣ исторія пропаганды человѣчности, усвоенной въ томъ же источникѣ, широко развитой благодаря энергіи и самоотверженію такихъ людей, какъ Новиковъ и его друзья. Для „простого народа" эти масоны, обязанные быть космополитами, въ лучшемъ смыслѣ слова, являлись спасителями во время голода, учили (еще въ петербургскихъ безплатныхъ школахъ) и лѣчили его отъ болѣзней, гдѣ могли, давали ему дешевое или совсѣмъ безплатное чте-

---

[1]) Т. Соколовская. Масонство, какъ положительное движеніе русской мысли. Всемірный Вѣстникъ, 1904. — Того же автора—Русское масонство и его значеніе въ исторіи обществ. движенія, 1908.

[2]) Похвалы этому уравнивающему вліянію масонства слышалъ въ Петербургѣ въ 1805 году Рейнбекъ и записалъ ихъ въ своей статьѣ „Die Maurerei im Orient von Russland", въ Zeitschr f. Freimaurerei, 1829.—Новѣйшій нѣмецкій трудъ по исторіи русскаго масонства, цѣнный тѣмъ, что въ немъ использованы рукописные протоколы ложъ, сохраненные въ Берлинѣ, принадлежитъ Friederichs'у, „Geschichte der einzigen Maurerei in Russland", 1904.—Пыпинъ. Русское масонство до Новикова, Вѣстн. Евр., 1868, VI.

ніе, заступались за свободу его совѣсти (какъ это дѣлалъ впослѣдствіи, при Александрѣ, для духоборовъ Лопухинъ), хотя бы и не сочувствовали ученію того или другого религіознаго толка. Когда, въ началѣ гоненій на Новикова, онъ посланъ былъ на испытаніе правовѣрія къ архіепископу Платону и тотъ, побесѣдовавъ съ нимъ, далъ самый сочувственный отзывъ о немъ, какъ истинномъ христіанинѣ и лучшемъ украшеніи паствы, это признаніе нравственнаго достоинства въ человѣкѣ, который въ дѣлахъ догмата и обрядности могъ быть названъ вольнодумцемъ, характеризовало и духъ вѣка, и обоихъ собесѣдниковъ, опаснаго масона и краснорѣчиваго оратора, часто навлекавшаго на себя опалу Екатерины и, какъ свидѣтельствуетъ человѣкъ, близко его знавшій [1]), въ келіи своей читавшаго Вольтера, Гельвеція, Руссо...

Многіе изъ масоновъ, даже изъ новиковскихъ друзей, сначала заплатили дань увлеченію модой, ударившись въ скептицизмъ на французскій ладъ. Въ молодые годы Лопухинъ всю усадьбу свою застроилъ различными монументами и фантастическими храмами въ честь не только Вольтера, но и Руссо; увлеченіе „Système de la nature" Гольбаха, въ особенности послѣдней ея частью (Code de la nature), привело его къ мысли о переводѣ, затѣмъ и о „разсѣяніи этого перевода въ рукописяхъ" [2]). Потомъ, сознавъ, что на этомъ пути они не удовлетворятъ пробудившемуся въ нихъ стремленію къ филантропической и общественной дѣятельности, подобные Лопухину искатели истины сгруппировались подъ покровомъ масонства, и самъ Лопухинъ дошелъ до философіи братолюбиваго опрощенія, въ которой польскій историкъ русской литературы видитъ раннее предвѣстіе ученія Льва Толстого [3]). Культурные интересы молодости уберегли многихъ адептовъ отъ черезмѣрнаго увлеченія мистической стороной масонства, и, создавъ при энергической иниціативѣ Новикова, осуществившаго наконецъ широко просвѣтительныя стремленія своихъ молодыхъ лѣтъ [4]), „Дружеское Ученое Общество" и „Типографическую Компанію", московскій масонскій кружокъ сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ важнымъ общественнымъ и литературнымь центромъ.

Если передъ судомъ исторіи на одной сторонѣ станутъ русскіе

---

[1]) Графъ Ѳедоръ Головкинъ, въ молодости замѣтное лицо при дворѣ Екатерины, одно время посланникъ въ Неаполѣ, снова выдвинувшійся при Павлѣ, большую часть жизни проведшій за границей, гдѣ и родился (въ Гаагѣ). Онъ обладалъ большимъ собраніемъ документовъ, касавшихся восьмнадцатаго вѣка. Нѣкоторые изъ нихъ были изданы въ Швейцаріи: Lettres diverses recueillies en Suisse par le comte Fédor Golowkine. Génève, 1821. Характеристика Платона сдѣлана имъ въ неизданныхъ „замѣткахъ", приведенныхъ впервые, въ выдержкахъ изъ рукописи, въ статьѣ Lucien Perey, Catherine II et le prince de Ligne, Revue de Paris, 1895, 15 juin. Въ 1905 г. появился сводъ его воспоминаній, характеристикъ и „анекдотовъ", La cour et le régne de Paul I-er.

[2]) Записки И. В. Лопухина, М. 1861, с. 14. Противъ Руссо онъ выступилъ впослѣдствіи въ своихъ „Замѣчаніяхъ на извѣстную книгу Руссову Du contrat social".

[3]) A. Brückner. Geschichte der russischen Litteratur, 1905, 111.

[4]) Объ основанномъ имъ въ 1772 г. въ Петербургѣ „Собраніи, старающемся о напечатаніи книгъ"—В. Семенниковъ, „Раннее издательское общество Новикова" (Русск. Библіофилъ, 1912, V).

приверженцы отсталаго берлинскаго розенкрейцерства, перенимавшіе отъ него вмѣстѣ съ различными „теоретическими градусами“ и реакціонное отношеніе къ умственному прогрессу современности, съ другой же московскіе просвѣтители,—незначительный вредъ, принесенный масонами-обскурантами екатерининскаго времени, затмится великими заслугами масоновъ-носителей культуры.

Сочувствіе новой европейской литературѣ и наукѣ, преимущественно нѣмецкой,—нерѣдкое явленіе въ избранныхъ, особенно московскихъ, масонскихъ кружкахъ. Трансильванскій нѣмецъ, сначала воспитатель въ русской знатной семьѣ, Шварцъ, несмотря на выдающееся положеніе среди русскихъ розенкрейцеровъ, своею неутомимою просвѣтительной дѣятельностью въ московскомъ университетѣ и руководствомъ издательскою работой новиковскихъ типографскихъ фирмъ является звеномъ между европейской культурой, русскимъ масонствомъ, молодежью, искавшею настоящей науки, и обществомъ, нуждавшимся въ притокѣ развивающихъ и облагораживающихъ началъ. То знакомя студентовъ (впервые на Руси) съ ученіями Канта [1]), то вступая въ философскихъ своихъ лекціяхъ въ борьбу съ французскимъ матеріализмомъ, то основывая при университетѣ педагогическую, затѣмъ переводческую семинарію и собраніе университетскихъ питомцевъ, реформируя университетскую гимназію въ истинно-научномъ духѣ, читая рядъ полезныхъ общихъ и приватныхъ курсовъ не только по философіи, но и по нѣмецкой литературѣ и по эстетикѣ, дѣйствуя на умъ и вкусъ молодежи, онъ внесъ въ дремотную жизнь университета духъ энергической научной пропаганды; въ выборѣ и направленіи переводной дѣятельности Новикова Шварцу принадлежала, конечно, немалая роль. *Такой* масонъ былъ бы желаннымъ членомъ того идеальнаго братства вольныхъ каменщиковъ, о которомъ мечталъ Лессингъ (въ своихъ масонскихъ діалогахъ,—„Ernst und Falk, Gespräche für Freimaurer“). Шварцъ поддерживалъ изъ Москвы постоянныя связи съ нѣмецкой литературною жизнью, широко разросшіяся во время его пріѣзда въ Германію въ 1781—82 г. Эти связи еще болѣе скрѣпились, когда у масоновъ завелся, въ лицѣ необыкновенно даровитаго, рано сгубленнаго меланхоліею, подъ конецъ, въ годы гоненій на масоновъ, забытаго на чужбинѣ Кутузова, постоянный агентъ при нѣмецкомъ масонскомъ конвентѣ. Живя въ Берлинѣ, онъ сблизился съ главнѣйшими нѣмецкими поэтами, боготворилъ Клопштока, удивляясь таинственнымъ красотамъ его „Мессіады“, которую перевелъ съ наслажденіемъ, и ставилъ на ряду съ нею развѣ только „Ночи“ Юнга (Night thoughts), также переложенныя имъ по-русски [2]). Когда вспомнимъ, что Кутузовъ былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ людей къ Радищеву, членомъ его лейпцигскаго кружка, затѣмъ въ Петербургѣ его неизмѣннымъ сожителемъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ, что ему, уже масону, посвя-

---

[1]) На это указываетъ, наприм., неизвѣстный авторъ нѣмецкаго письма о русскомъ масонствѣ XVIII вѣка (Русск. Архивъ, 1874, VI).

[2]) Плачъ Юнга или нощныя размышленія о жизни, смерти и безсмертіи. М. 1780.

щены были и „Житіе Ушакова“ и „Путешествіе“,—когда превосходныя, задушевныя письма его къ московскимъ друзьямъ и къ ссыльному Радищеву (черезъ его брата въ Архангельскѣ) [1]) раскроютъ безконечныя симпатіи къ гонимому и страдающему другу, при всемъ различіи ихъ убѣжденій [2]) мы увидимъ, какъ могло иногда соприкасаться масонство съ радикальнымъ политическимъ западничествомъ въ искреннихъ своихъ стремленіяхъ обновить русскую жизнь.

Стоитъ перечитать длинные списки книгъ, изданныхъ Новиковымъ въ московскій періодъ его дѣятельности, чтобы убѣдиться, сколько пользы принесла она для поднятія уровня читающей массы. Десятки спеціально-масонскихъ заглавій на первый разъ отпугнутъ насъ, но промежъ ихъ длинныхъ рядовъ мы встрѣтимъ переводы цѣлаго ряда классическихъ произведеній всѣхъ народовъ: тутъ и „Юлій Цезарь“ Шекспира и Лессингова „Эмилія Галотти“, и „Свадьба Фигаро“, „Потерянный рай“ (распространявшійся, замѣтимъ кстати, еще съ 1745 года въ рукописномъ переводѣ барона А. Г. Строгонова) [3]), и „Мессіада“, — любимый въ набожной Англіи „Путь Паломника“, *Pilgrims Progress*, проникнутая глубокой нравственной силой, смѣлостью обличенія людской порочности и нетерпимости, безъискусственно красивая въ своемъ аллегорическомъ уборѣ проповѣдь простого рабочаго [4]), Джона Бэніана,—моральныя произведенія Геллерта, имѣвшія въ свое время сильное вліяніе на умы въ Германіи, аллегорическая повѣсть одного изъ немногихъ свободомыслящихъ политическихъ нѣмецкихъ писателей 18-го вѣка, Фридриха Карла Мозера, „Даніилъ во рвѣ львиномъ“ (Daniel in der Löwengrube), гдѣ въ лицѣ Даніила, смѣлаго совѣтника и обличителя при дворѣ Дарія, изображенъ былъ самоотверженный министръ-реформаторъ, проповѣдникъ просвѣтительныхъ идей [5]). Книги этого рода вмѣстѣ съ разнообразными

---

[1]) Переписка московскихъ масоновъ XVIII вѣка, изд. Я. А. Барсковымъ. Петроградъ, 1915.

[2]) „Мнѣнія мои о многихъ вещахъ различествуютъ съ твоими, но сердце твое бьетъ моему согласно, и ты мой другъ!“ писалъ Кутузовъ.

[3]) Общедоступность новиковскаго изданія, конечно, въ значительной степени содѣйствовала установленію популярности у насъ поэмы Мильтона, проникшей, не въ примѣръ классическимъ произведеніямъ запада, въ среду народныхъ читателей, даже въ міръ сектантства. Практика народныхъ читаленъ нашего времени давно отмѣтила большой спросъ на „Потерянный Рай“.

[4]) Съ новиковскаго изданія также идетъ длинный рядъ переводовъ и перепечатокъ этого творенія; на послѣднія 50 лѣтъ приходится три изданія его,—новѣйшее въ 1910 г.

[5]) Мозеръ знаменитъ своей книгой „Der Herr und der Diener (Господинъ и слуга), гдѣ подвергнутъ былъ осужденію обычный въ то время даже въ мелкихъ нѣмецкихъ государствахъ взглядъ правителей на всѣхъ государственныхъ чиновниковъ, какъ на своихъ личныхъ слугъ, и установленъ принципъ ихъ отвѣтственности передъ народомъ. Авторъ поплатился за свои теоріи изгнаніемъ изъ Гессена и долгими годами нужды. Нелицемѣрное служеніе идеѣ передавалось въ его семьѣ изъ поколѣнія въ поколѣніе. Его отецъ, не менѣе знаменитый въ свое время юристъ Іоганъ Якобъ Мозеръ, за свою книгу о земскомъ самоуправленіи и за порицаніе дѣйствій фаворитовъ при виртембергскомъ дворѣ, былъ на шестидесятомъ году брошенъ въ крѣпостную тюрьму и выдержанъ тамъ пять лѣтъ въ самомъ тяжкомъ заточеніи. Разсказы о его судьбѣ возмущали потомъ молодого Шиллера. Minor, Schiller, sein Leben und seine Werke, 1890, I.

періодическими изданіями, съ священнымъ писаніемъ на славянскомъ и даже на нѣмецкомъ языкѣ и т. д. распространялись быстро по всей Россіи. 448 названій книгъ представляютъ собой блестящій итогъ новиковскаго издательства; число типографій, явныхъ, а иногда и тайныхъ, умножалось не только въ Москвѣ и провинціальныхъ городахъ, но и въ большихъ селахъ, и въ книжную торговлю введена была стройная организація, придавшая еще одну рельефную сторону заслугамъ Новикова. Но если никто не станетъ отрицать у него большой предпріимчивости и издательской энергіи еще въ петербургскую его пору, все-таки несомнѣнно, что расцвѣтъ его издательства и широкихъ книгопродавческихъ операцій относится къ той порѣ, когда онъ вошелъ въ общеніе съ главными двигателями книжнаго дѣла въ Германіи. Достовѣрно извѣстно, что Шварцъ, еще до пріѣзда въ Россію слышавшій о примѣчательной издательской дѣятельности Новикова, во время поѣздки въ Германію по масонскимъ дѣламъ имѣлъ отъ него порученіе завязать прямыя сношенія съ книжными фирмами и изучить всю постановку дѣла. Это порученіе было исполнено, и главныя связи завязаны были, какъ говорятъ, съ Лейпцигомъ, что не замедлило отразиться на образцовомъ устройствѣ новиковскаго издательства. Но, кромѣ Лейпцига и тогдашнихъ магнатовъ книжнаго дѣла, кажется, можно было бы предположить вліяніе выдвигавшагося тогда новаго нѣмецкаго культурнаго центра, Берлина, и именно первостепеннаго берлинскаго издателя, Николаи. Между Новиковымъ и Николаи, какъ дѣятелями по распространенію книгъ въ народной массѣ, много сходства; въ то же время и писатель, и книгопродавецъ, и журналистъ, основывавшій одно изданіе за другимъ, пока не зародилась его *Всеобщая Нѣмецкая Библіотека,* прожившая цѣлыхъ полстолѣтія, онъ такъ же смотрѣлъ съ идеалистической точки зрѣнія на свое дѣло, группировалъ около себя молодые таланты, интересовался образовательной пропагандой и шелъ долго объ руку съ Лессингомъ и Мендельсономъ. Знать объ оживленной дѣятельности этого настойчиваго, энергическаго человѣка было легко Новикову (кромѣ общихъ связей съ Германіей) благодаря Шварцу и Кутузову,—и врядъ ли мы ошибемся, приписавъ этому ободряющему примѣру извѣстную долю вліянія на широкій размахъ новиковской предпріимчивости.

Только полное непониманіе основныхъ принциповъ масонства могло навязывать ему политическую программу и смѣшивать его представителей, мартинистовъ и, въ особенности, розенкрейцеровъ, съ убѣжденными сторонниками политическаго прогресса и радикальныхъ общественныхъ реформъ. Если трудно разграничить въ томъ столѣтіи опредѣленныя литературныя направленія и партіи, такъ что изслѣдователь, поставившій это себѣ цѣлью, потративъ много усилій на обособленную характеристику ихъ, призналъ въ концѣ своей книги, что направленія тогда „не только шли параллельно, но и сталкивались между собою, иногда—враждебно, чаще—сближаясь и даже сливаясь одно съ другимъ“, и что „одни и тѣ же писатели совмѣщали въ своихъ произведеніяхъ разныя

начала“ [1]), то всего замѣтнѣе, конечно, раздѣльная линія между масонами и прогрессистами-политиками. Сознаніе, что дольше жить въ старомъ порядкѣ съ его несправедливостями, произволомъ, загрубѣлостью нельзя,—общая отправная точка для тѣхъ и другихъ, но одни искренно убѣждены, что путь къ разумному и справедливому строю заключается въ нравственномъ совершенствованіи, другіе видятъ его столько же въ коренныхъ преобразованіяхъ и улучшеніяхъ гражданскаго быта, экономическихъ условій, въ свободѣ науки. И тѣ, и другіе искали поддержки у западной мысли, но для прогрессистовъ восьмидесятыхъ годовъ авторитетами являлись уже не предтечи общественнаго движенія 18-го вѣка, Вольтеръ, Монтескье, открывшіе новые горизонты для предшествующаго поколѣнія русскихъ интеллигентныхъ людей, но Гельвецій [2]), Мабли, Руссо и послѣдовавшая за нимъ школа проповѣдниковъ глубокаго переустройства жизни [3]). Свободнѣе знакомиться съ подобными ученіями можно было, конечно, внѣ Россіи,—и зарожденія новаго оттѣнка западниковъ нужно искать среди заграничныхъ русскихъ студентовъ.

Все число молодыхъ людей, которые подъ конецъ царствованія Екатерины шли въ европейскіе, особенно нѣмецкіе, университеты, ища прямого общенія съ современной наукой, трудно опредѣлить, но оно несомнѣнно было велико [4]). Когда вслѣдствіе указа Павла Петровича, запретившаго русской молодежи посѣщать заграничные университеты, составлялись списки тѣхъ, кто находился въ ту пору въ Германіи,—въ Лейпцигѣ и Іенѣ насчитано было до семидесяти человѣкъ. Эта молодежь, застигнутая врасплохъ и разсѣянная указомъ, была прямымъ потомствомъ того кружка, который въ концѣ шестидесятыхъ годовъ собрался въ Лейпцигѣ вокругъ Радищева.

Дружной гурьбой изъ двѣнадцати товарищей, дѣйствительно удачно выбранныхъ (преимущественно изъ даровитѣйшихъ учениковъ пажескаго корпуса), заняли они въ Лейпцигѣ (1766) выдающееся положеніе среди студенчества,—особенно послѣ того, какъ, набушевавшись вдоволь и отдавъ дань тому привольному волокитству, которое процвѣтало въ шумной и людной сутолокѣ Лейпцига, они предались наукѣ. Много лѣтъ спустя лучшій ея представитель, профессоръ Платнеръ, отзывался о Радищевѣ, какъ о замѣчательно талантливомъ студентѣ. Подготовленный

---

[1]) Незеленовъ. Литературныя направленія въ екатерининскую эпоху. 1889, стр. 334.

[2]) Первый переводъ изъ Гельвеція, „Объ источникахъ страстей“, сдѣланный Дашковой, появился въ раннюю пору екатерининскую, въ журналѣ 1763 г., „Невинное упражненіе“.

[3]) Возбуждено было, однако, вниманіе и къ такимъ отдаленнымъ отъ современности соціальнымъ системамъ, какъ „Утопія“ Томаса Мора. Въ годъ взятія Бастиліи появилась она въ переводѣ съ французскаго,—„Картина возможно лучшаго правленія или Утопія“. Спб., 1789.

[4]) Новѣйшій біографъ Бенжамена Констана (Gustave Rudler, La jeunesse de Benj. Constant, 1909) извлекъ изъ архивовъ студенческаго „Умозрительнаго Общества“ (Speculative Society) при эдинбургскомъ университетѣ любопытныя свѣдѣнія объ одномъ изъ товарищей Констана по университету,—Полторацкомъ. Въ записяхъ о преніяхъ (1784—85) онъ часто упоминается не только какъ участникъ, но и какъ руководитель засѣданій. Предметами обсужденія служили такіе вопросы, какъ свобода совѣсти, права женщины, вредъ постоянныхъ армій, законность казни Карла I и т. д. Rudler, 166—8.

домашнимъ воспитаніемъ подъ руководствомъ образованнаго и независимо мыслившаго француза, бывшаго члена Руанскаго парламента, спасшагося въ Россію отъ гоненій своего правительства, частными уроками московскихъ профессоровъ, наконецъ, даже педагогіей пажескаго корпуса, Радищевъ могъ глубоко усвоивать науку. Въ школѣ такихъ людей, какъ Платнеръ, Бёме или Геллертъ, невозможно было не отдаться серьезному ея изученію, и притомъ не ради ея только, но для служенія народу. Платнеръ съ горячностью громилъ съ каѳедры общественныя несовершенства, неравенство, рабство; Геллертъ казался и студентамъ, и многочисленнымъ читателямъ его басенъ, романовъ, журнальныхъ статей, воплощеніемъ гуманности,—и десятки трогательныхъ по своей наивности разсказовъ сохранили память о довѣрчивыхъ обращеніяхъ къ нему его поклонниковъ за совѣтами въ трудныя минуты. Сильно расширялся кругозоръ Радищева и отъ свободно выбраннаго имъ въ университетѣ изученія природы, и отъ серьезныхъ занятій медициной, которыя обѣщали ему особую пользу для народа. Но еще важнѣе было самообразованіе въ русскомъ студенческомъ кружкѣ, изученіе важнѣйшихъ явленій въ современной наукѣ, составленіе рефератовъ, переводовъ, обсужденія и споры. Дополняя университетскіе курсы, друзья широко поставили дѣло своего духовнаго развитія, стройно изучали философскую литературу всѣхъ передовыхъ странъ (на ряду съ Гельвеціемъ или Мабли, съ особеннымъ вниманіемъ, напр., Лейбница), науки общественныя, вводили въ кругъ своихъ чтеній естествознаніе и медицину. Извѣстный разсказъ Гримма, проѣзжавшаго черезъ Лейпцигъ, о томъ, какъ въ кружкѣ зачитывались Гельвеціемъ [1]) (именно его книгой „De l'esprit"; „въ оной книгѣ, говорилъ потомъ Радищевъ, мы мыслить научилися") и всесторонне обсуждали его идеи,—разсказъ, доставившій нѣсколько отрадныхъ минутъ узнавшему о томъ философу,—могъ бы на первый взглядъ вызвать впечатлѣніе юношеской забавы моднымъ матеріализмомъ, такой забавы, которая отдалитъ ихъ со временемъ отъ тяжелой борьбы съ застоемъ и невѣжествомъ, ожидающей ихъ на родинѣ. На дѣлѣ мы видимъ совершенно другое. Если изъ лейпцигскаго кружка, просуществовавшаго пять лѣтъ, впослѣдствіи выбыли нѣкоторые менѣе убѣжденные и слабые духомъ члены, зато онъ выставилъ изъ своей среды такихъ людей, какъ вдохновитель кружка, благородный, стойкій въ принципахъ своихъ, идеалистъ Ѳедоръ Ушаковъ (рано, еще въ Лейпцигѣ, умершій), Радищевъ, Яновъ, Челищевъ, Кутузовъ, настоящихъ, сознательныхъ работниковъ, подготовлявшихъ себя при помощи европейской науки для общенароднаго русскаго дѣла [2]).

---

[1]) Памятникомъ этихъ занятій являются напечатанныя Радищевымъ въ приложеніи къ „Житію Ѳ. В. Ушакова" „Пять писемъ его о первой книгѣ Гельвеціева сочиненія о Разумѣ". Разсужденіе о правѣ наказаній и о смертной казни, въ сильной степени опиравшееся на Беккарію,—другой сохранившійся памятникъ лейпцигскихъ работъ Ушакова,—свидѣтельствуетъ о глубокой серьезности его соціальныхъ воззрѣній.

[2]) Даже второстепенный членъ лейпцигскаго кружка, впослѣдствіи значительно возвысившійся въ офиціальномъ мірѣ, Козодавлевъ, вспоминалъ съ благодарностью о той

Въ „Житіи Ѳ. Вас. Ушакова“ Радищевъ съ большой силой передаетъ, съ какой жаждою полезной дѣятельности возвращались друзья въ Россію послѣ многолѣтняго отсутствія,—и какъ тяжело перенесли они ожидавшее ихъ разочарованіе. Радищевъ живо рисуетъ восторгъ, когда „они узрѣли межу, Россію отъ Курляндіи отдѣляющую... Если кто, понимая, что есть изступленіе, скажетъ, что не было въ насъ таковаго, и что не могли бы мы тогда жертвовать жизнью для пользы отечества, тотъ, скажу, не знаетъ сердца человѣческаго. Признаюсь, что послѣдовавшее по возвращеніи нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умѣрило“.

Въ русской жизни не нашлось никакого дѣла ему по плечу. Широкое образованіе, всю жизнь развивавшееся (сорока лѣтъ онъ выучился по-англійски и могъ читать Шекспира и Мильтона въ подлинникѣ) [1], казалось, обрекало его на изолированное положеніе въ обществѣ. Несмотря на мерцавшій еще тогда у насъ отблескъ просвѣтительнаго вѣка, мало было людей, способныхъ вполнѣ понять складъ ума и убѣжденій Радищева. Небольшой кружокъ, въ которомъ видимъ нѣсколько лейпцигскихъ сотоварищей, въ особенности друга его Кутузова и (какъ въ свое время подозрѣвали, наравнѣ, впрочемъ, съ Кутузовымъ) сотрудника его по знаменитому „Путешествію“, Челищева [2], Козодавлева, затѣмъ Крылова съ Рахманиновымъ и немногими представителями либеральной мелкой прессы,—группа лицъ, посвятившихъ себя распространенію политическаго образованія (Общество друзей словесныхъ наукъ, закрытое въ 1798 году), издававшая журналъ „Бесѣдующій Гражданинъ“ [3],—госте-

пользѣ, которую принесло для его службы отечеству пребываніе въ лейпцигскомъ университетѣ. Въ письмѣ къ Фонъ-Тюммелю, напечатанномъ въ „Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten u. anderen Sachen“ 1786, сент., стр. 871, онъ говоритъ о томъ, „какъ въ качествѣ пажа императрицы онъ былъ посланъ съ нѣсколькими товарищами въ Лейпцигъ, въ университетъ, и тамъ, благодаря щедротамъ ея величества, пріобрѣлъ всѣ знанія, помогшія ему въ настоящей его службѣ ревностно и съ признательностью исполнять свое дѣло. Судите же, съ какими чувствами я смотрю на милости ея величества, благодаря которымъ мое отечество становится все просвѣщеннѣе!“

[1]) Алекс. Никол. Радищевъ по воспоминаніямъ сына, Русск. Вѣстн. 1858, декабрь, I, 402.—„Путешествіе“ полно свидѣтельствъ о большой литературной начитанности,—„сладостныя слезы, исторгнутыя изъ сердца Вертеромъ“, остроумная ссылка на „Донъ-Кишота“, выдержка изъ Аддисонова „Катона“, изъ словаря Бэйля и т. д., горячій отзывъ о безсмертіи Шекспира, Мильтона, Вольтера. Въ одномъ изъ сибирскихъ писемъ къ Воронцову Радищевъ вспоминаетъ, какъ въ былое время въ Петербургѣ при помощи французскихъ, нѣмецкихъ и англійскихъ критическихъ журналовъ онъ постоянно слѣдилъ за всѣми новостями трехъ главныхъ литературъ.

[2]) Архивъ кн. Воронцова, томъ XIII, стр. 200; см. въ томъ же сборникѣ т. XI, 96, намеки на прикосновенность Дашковой и Воронцова къ плану написать „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Переписка московскихъ масоновъ съ Кутузовымъ сохранила тревожныя для нихъ вѣсти о томъ, что въ такомъ же соучастіи подозрѣвали Кутузова.

[3]) О немъ—Воспоминанія С. А. Тучкова, 1908, и статья П. Е. Щеголева, Изъ исторіи журнальн. дѣятельности Радищева, Минувшіе Годы, 1908, XII.—Членами Общества друзей словесныхъ наукъ издано было послѣ ссылки Радищева составленное въ духѣ его „Новѣйшее повѣствовательное землеописаніе“ (1795), обратившее на себя вниманіе власти рѣзкими сужденіями о старомъ политическомъ режимѣ на западѣ, конечно, примѣненными къ русской жизни. О гоненіи на эту книгу и запрещеніи ея — Семенниковъ, „Къ исторіи цензуры въ Екатерининск. эпоху“. Русск. Библіогр., 1913, I.

пріимный и оппозиціонно настроенный салонъ Дашковой и ея брата Воронцова,—вотъ среда, гдѣ онъ могъ встрѣчать поддержку и сберегать свою независимость. Сначала, казалось, на него обратили вниманіе и включили въ число членовъ „Собранія, старающагося о переводѣ иностранныхъ книгъ“, учрежденнаго Екатериной (на него возложенъ былъ переводъ книги Мабли „Observations sur l'histoire de la Grèce, выполненный имъ съ интересными примѣчаніями, рѣзко порицавшими, напр., неограниченную форму правленія, или „самодержавство, какъ наипротивнѣйшее человѣческому естеству состояніе“), но серьезныхъ послѣдствій этотъ призывъ не имѣлъ. Для остального общества онъ былъ просто сенатскимъ протоколистомъ, потомъ чиновникомъ при главнокомандующемъ Петербурга, членомъ таможни, занятымъ прозаическимъ дѣломъ очистки корабельныхъ грузовъ пошлиной, подъ конецъ управляющимъ таможней. Но и въ интеллигентной средѣ и въ дѣловомъ мірѣ сказывались въ немъ черты *новаго* человѣка, воспитавшагося въ странѣ цивилизованной. Зрѣлище общей безнравственности, произвола, крестьянскаго рабства наполнило его честнымъ негодованіемъ; не умѣя скрывать своихъ мыслей, онъ горячо проповѣдывалъ, гдѣ только могъ, о необходимости гласности, законности, коренныхъ преобразованій. Сочувствуя петровской реформѣ, онъ (въ своемъ первомъ памфлетѣ, пріуроченномъ къ открытію фальконетова памятника Петру, — „Письмѣ къ другу, жительствующему въ Тобольскѣ, по долгу званія своего“) ставилъ въ вину царю-преобразователю, что онъ, „возносяся самъ, не возносилъ отечество свое, *утверждая вольность частную*“. Примкнувъ къ редакціи крыловской „Почты духовъ“, онъ въ одной изъ лучшихъ статей этого журнала [1]), носящей несомнѣнные слѣды его авторства, заступился за право подобныхъ глашатаевъ правды возвѣщать ее безбоязненно всѣмъ, „говорить истину царямъ“, но не съ улыбкой, по державински, а безъ прикрасъ, наголо, съ опасностью опалы или изгнанія. Пусть зрѣлище пороковъ „учинитъ ихъ суровыми, унылыми и задумчивыми“, пусть ихъ честятъ именемъ мизантроповъ, враговъ рода человѣческаго; въ любимомъ имъ мольеровскомъ героѣ, мнимомъ мизантропѣ Альцестѣ, онъ видѣлъ воплощеніе непризнанной, неоцѣненной людьми любви къ человѣчеству, заступничества за святѣйшія права гражданъ, борьбу съ пороками, низостью, произволомъ, и считалъ бы счастливымъ то общество, въ которомъ было бы нѣсколько такихъ неподкупныхъ об-

---

[1]) „Почта духовъ“, 1789, письмо четвертое, отъ Сильфа Дальновида къ волшебнику Маликульмульку (ср. также письмо 45-е, отъ Сильфа Выспрепара). Новѣйшій издатель соч. Крылова, воспроизведшій „Почту духовъ“, склоненъ приписать Радищеву письма 20-е и 24-е. Полное собр. соч. Крылова, подъ ред. В. В. Каллаша, 1904.— П. Е. Щеголевъ (Изъ исторіи журнальной дѣятельности А. Н. Радищева, Минув. Годы, 1908, XII), внося новое освѣщеніе въ вопросъ объ участіи Радищева въ „Почтѣ духовъ“, считаетъ возможнымъ ограничить журнальную работу его сотрудничествомъ въ „Бесѣдующ. Гражданинѣ“, изъ котораго онъ извлекъ неизвѣстную доселѣ радищевскую статью „Бесѣда о томъ, что есть сынъ отечества“,—но такія примѣты вполнѣ солидарныхъ съ Путешествіемъ взглядовъ, пріемовъ, выраженій, какія даетъ, наприм., письмо 4-е, все же несомнѣнны.

личителей [1]). Годъ спустя послѣ этой журнальной статьи онъ снова, въ „Путешествіи“, развилъ ту же мысль, воздавая хвалу Мольеру за глубоко вѣрное истолкованіе характера и значенія независимыхъ личностей въ ихъ борьбѣ съ обществомъ,—и въ этихъ чертахъ невольно воспроизводя свой собственный портретъ [2]).

Но и въ служебномъ дѣлѣ онъ остался вполнѣ своеобразнымъ. Всѣ дошедшіе до насъ разсказы выставляютъ его рыцаремъ неподкупности, о которомъ скоро всѣ заговорили въ торговомъ мірѣ; милліонная выгода его не соблазнила; иностранцы съ удивленіемъ смотрѣли на человѣка, у котораго дѣло вершилось на строгомъ основаніи закона, и когда его постигла кара, они единодушно горевали. Съ своей нравственной чистоплотностью и изысканнымъ благородствомъ, этотъ лейпцигскій студентъ, превратившійся въ таможеннаго досмотрщика, производилъ такое же впечатлѣніе диковиннаго явленія, какъ въ двадцатыхъ годахъ девятнадцатаго столѣтія будущіе декабристы, надворный судья Пущинъ или членъ палаты уголовнаго суда Рылѣевъ, составившіе себѣ не только въ свѣтскихъ кругахъ, но и въ простонародьѣ репутацію высокой честности и безкорыстія.

Все, что привелось этому зоркому и страстному наблюдателю подмѣтить въ окружавшей его жизни, всѣ идеальныя требованія, которыя онъ могъ предъявить къ ней подъ вліяніемъ видѣннаго и передуманнаго на западѣ, все это составило сущность его многострадальной книги. И тутъ, по собственному его показанію, главными его руководителями опять же были писатели западные. Для оригинально выбранной формы разсказа, которая довершаетъ иллюзію путешествія дѣленіемъ вмѣсто главъ на станціи и обрисовкой серьезныхъ темъ различными дорожными сценами и картинками, послужила прототипомъ Sentimental Journey Стерна [3]). Радищевъ увлекся этой книгой, прочитавъ ее сначала въ нѣмецкомъ переводѣ [4]), и въ своей „Повинной“ засвидѣтельствовалъ потомъ, что „пер-

---

1) „Если бы при дворахъ государей находилось нѣкоторое число мисантроповъ, то какое счастіе послѣдовало бы тогда для всего народа! Каждый государь, внимая гласу ихъ, познавалъ бы тотчасъ истину... Министры, судьи, вельможи, однимъ словомъ, всѣ тѣ, коимъ ввѣрено благосостояніе народное, трепетали бы при единомъ названіи мисантропа... Ничто не можетъ остановить сего ужаснаго предвозвѣстника истины“.

2) Въ написанномъ въ Сибири разсужденіи „О человѣкѣ, его смертности и безсмертіи“ (1792) мысль Радищева опять возвращается къ „мизантропамъ Альцесту и Тимону“, суровость которыхъ онъ противопоставляетъ обычной податливости стремленіямъ людской массы. Сочин., изд. Каллаша, II, 163. Болѣе подробный анализъ вліянія „Мизантропа“ на Радищева— въ моихъ „Этюдахъ о Мольерѣ“, Мизантропъ, М. (1881), и въ „Этюдахъ и характеристикахъ“, 4 изд., 1912.

3) О Стернѣ и вліяніи на умы его „Путешествія“—новѣйшая работа Wilbur Cross, The life and times of Laurence Sterne, 1909.

4) Русскій переводъ явился лишь въ 1793 году. Наибольшей извѣстности среди русской публики Стернъ достигъ въ началѣ XIX вѣка, когда изданы были даже „Красоты Стерна или собраніе лучшихъ его патетическихъ повѣстей и отличнѣйшихъ замѣчаній на жизнь“ (М. 1801), явились многочисленныя подражанія (чувствительныя путешествія по Россіи Измайлова, Шаликова и друг.), и, наконецъ, какъ отпоръ крайностямъ сентиментализма, комедія Шаховскаго „Новый Стернъ“.

вая мысль написать книгу *въ сей формѣ* пришла ему, читая путешествіе Іориково" [1]). Глубокій юморъ и чувствительность, за которую Стернъ готовъ былъ отдать всѣ свои дарованія, поразили Радищева. Смѣхъ Стерна, который, по выраженію Карлейля, часто печальнѣе слезъ, не только нашелъ отголосокъ у Радищева, — въ этомъ отношеніи предшественника Гоголя съ его невидимымъ міру внутреннимъ смѣхомъ,—но получилъ еще болѣе серьезное развитіе. Стернъ въ состояніи былъ неожиданно, послѣ непринужденной веселости, отдаться печальнымъ мыслямъ при видѣ оборваннаго нищаго, вьючнаго осла, павшаго отъ непосильной работы на дорогѣ, птички, бьющейся въ клѣткѣ, какъ узникъ въ своей темницѣ, но онъ далеко не прочь подчасъ свѣтло смотрѣть на жизнь и людей: онъ принимается разсказывать читателю свою встрѣчу съ проѣзжей красоткой, какую-нибудь bonne aventure. Онъ характеризовалъ однажды свою книгу „мирнымъ странствіемъ сердца въ поискахъ за природой и тѣми ощущеніями, которыя она порождаетъ, заставляя насъ любить другъ друга и весь свѣтъ болѣе, чѣмъ мы это дѣлаемъ". Однимъ словомъ, Стернъ—гуманная, сострадательная натура, соединяющая нервную чувствительность, рѣдкій художественный реализмъ, врожденную вражду къ дрязгамъ политики, вспышки эпикурейства. Радищевъ пошелъ безконечно дальше своего англійскаго собрата; въ остроумной стерновской классификаціи путешественниковъ, —инквизиторовъ, хвастуновъ, ипохондриковъ, лжецовъ, вертопраховъ и т. д.,—онъ вмѣстѣ съ Стерномъ, конечно, принадлежалъ къ числу „сентиментальныхъ" странниковъ [2]), чья воспріимчивость возбуждается малѣйшимъ житейскимъ фактомъ, уноситъ ихъ въ безбрежное море мыслей, сближеній, выводовъ, сочувствій и протестовъ. Но безчисленныя встрѣчи на пути, иногда слишкомъ кстати подобранныя, лишь бы провести передъ читателемъ разнообразные типы, оттѣнки нравовъ и общественныхъ сословій, описанныя съ мастерствомъ, часто напоминающимъ Стерна и полнымъ неожиданныхъ переходовъ отъ бойкости и юмора къ негодованію или паѳосу, возбуждаютъ въ читателѣ протестъ противъ гнета и развращенности и взываютъ къ коренной реформѣ. Стернъ не дошелъ никогда до потрясающей силы того „сновидѣнія", которое, въ главѣ *Спасская Полѣсть*, рѣзкими красками изобразивъ тщеславіе, гордыню и пагубное ослѣпленіе властителя, раболѣпіе, хищничество и лживость правящихъ и придворныхъ сферъ и мученическую судьбу провозвѣстниковъ свободы, возбуждаетъ къ энергической защитѣ справедливости и правды.

Радищевъ не разъ заимствовалъ у своего образца, но взятое имъ насыщалъ реальнымъ русскимъ содержаніемъ. Изображеніе покинутой и

---

[1]) Работа начата была, по словамъ самого Радищева, еще въ 1785 году съ отдѣльнаго очерка,—„Повѣсти о продажѣ людей съ публичнаго торга", послужившей пробнымъ шаромъ; затѣмъ, въ слѣдующемъ году, читая Гердера, онъ „началъ писать о цензурѣ и началъ повѣсть Систербецкую". Письмо Радидищева изъ крѣпости. Соч., II, 950.

[2]) Съ грустной ироніей перемѣстилъ онъ себя потомъ (въ письмѣ къ Воронцову изъ Сибири) въ другую категорію стерновскихъ туристовъ,—„путешественниковъ по неволѣ" (relégué dans la classe que Sterne appelle des voyageurs par nécessité). Арх. Воронц., V, 321.

больной Мэри [1]) не осталось безъ вліянія на радищевское заступничество за безпомощность крестьянской дѣвушки; въ пѣвцѣ духовныхъ стиховъ, растрогавшемъ Радищева вь Клину, есть черты стараго францисканскаго монаха, отца Лоренцо, который плѣнилъ Стерна въ Кале первобытною простотою и задушевностью,—странникъ такъ же обмѣнивается съ нимъ подаркомъ и на возвратномъ пути такъ же узнаетъ о смерти своего бѣднаго друга; въ обрисовкѣ положительной личности „Крестецкаго дворянина“ съ его культомъ благородства и независимости много сходства съ кавалеромъ свят. Людовика, встрѣченнымъ Стерномъ въ Версалѣ. Размышленія англійскаго писателя при видѣ птички въ клѣткѣ о рабствѣ и обращеніе къ „божественной свободѣ“ должны были повліять на искренній лиризмъ радищевскаго гимна къ вольности, заканчивающаго собою главу *Тверь*. Но стоитъ сличить эти мѣста у обоихъ писателей, чтобъ увидать, у кого изъ нихъ горячѣе бьется сердце сочувствіемъ къ народнымъ горестямъ.

Съ путешествіемъ Стерна, въ ряду образцовъ, способствовавшихъ выработкѣ радищевскаго направленія, можетъ соперничать сочиненіе иного характера, наполовину научное, историческое, даже философское, наполовину литературное, съ вставными эпизодическими разсказами, большими чувствительными отступленіями и пышными декламаціями на гуманныя темы. По словамъ Радищева, въ 1780 или 1781 году среди „коммерческихъ книгъ“, которыя онъ изучалъ для обогащенія своихъ свѣдѣній о торговлѣ, необходимыхъ на таможенной службѣ, онъ напалъ на „Философскую и политическую исторію колоній и торговли европейцевъ въ обѣихъ Индіяхъ“, аббата Рейналя [2]), и увлекся ею. Смерть жены и печальное настроеніе, захватившее его потомъ слишкомъ на два года, заставили его прервать чтеніе этой книги, но онъ снова къ ней вернулся и испыталъ сильное ея вліяніе. Иначе и быть не могло. „Исторіею Индіи“ Рейналя тогда зачитывались всѣ, ее считали въ теченіе двухъ десятилѣтій евангеліемъ. Радищевъ увидѣлъ ее въ Россіи „общечитаемою“;—красующіеся во всѣхъ уцѣлѣвшихъ до сихъ поръ частныхъ библіотекахъ того вѣка, даже въ дальней провинціи, экземпляры Рейналя подтверждаютъ это Гриммъ предсказывалъ „Исторіи Индіи“ безсмертіе на ряду съ „Духомъ законовъ“; вождь возстанія вестъ-индскихъ рабовъ, Туссенъ-Лувертюръ, съ трудомъ разбирая ее, приходилъ отъ нея въ умиленіе [3]). Впослѣдствіи Робеспьеръ отстоялъ осужденнаго на смерть за обличеніе террористовъ Рейналя, напомнивъ конвенту, что передъ нимъ—авторъ великой „Исторіи обѣихъ Индій“.

Радищевъ не могъ не поддаться сильному впечатлѣнію проповѣди человѣчности и освобожденія, съ которою чувствительный аббатъ обра-

[1]) Sentimental journey through France and Italy, by mr. Yorick, L., 1796, 180 и сл.

[2]) Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. A La Haye, 1774, собственно коллективный трудъ многихъ авторовъ, въ томъ числѣ на первомъ мѣстѣ Дидро. Степень участія сотрудниковъ Рейналя и значеніе ихъ вкладовъ опредѣлено въ работѣ Anatole Feugère „Raynal, Diderot et quelques autres Historiens des Indes“, Revue d'hist. littér. de la France. 1913, II.

[3]) О значеніи книги Рейналя см. John Morley, „Diderot and the encyclopedists“, 1880.

щался ко всему цивилизованному міру подъ вліяніемъ собранныхъ имъ въ подавляющемъ множествѣ примѣровъ жестокости и самоуправства плантаторовъ и несчастій измученныхъ рабовъ. Индійскія бытовыя картины слишкомъ близко подходили къ повседневнымъ сценамъ русскаго крѣпостничества, чтобы протестъ Рейналя, несмотря на избытокъ декламаціи, отвѣчавшей, впрочемъ, вкусу вѣка, не возбудилъ въ немъ страстнаго желанія выступить съ такимъ же обличеніемъ противъ крѣпостного права. Съ другой стороны немало привлекало свойственное и французскому писателю, на ряду съ Стерномъ, сочетаніе противоположныхъ элементовъ, сентиментализма и точныхъ жизненныхъ картинъ. Такъ назрѣло у Радищева желаніе въ легкой, доступной, чисто-литературной формѣ, подъ предлогомъ путешествія изъ одной столицы въ другую, раскрыть передъ безпечнымъ читателемъ, не сознающимъ, сколько зла и горя гнѣздится въ окружающемъ его быту, всю ихъ ужасающую силу.

На первомъ планѣ сталъ, конечно, крестьянскій вопросъ, обставленный взятыми прямо съ натуры сценами деревенской дѣйствительности; многолѣтняя (еще съ Лейпцига) подготовка къ его изученію и рѣшенію внушила русскому автору мысли, далеко опередившія его первоначальный образецъ, и прежде всего мысль объ освобожденіи крестьянъ съ землею. Заимствованія, цитаты, переложенія изъ Рейналя въ главахъ *Чудово*, *Хотиловъ* и т. д. [1]) являются фономъ русской бытовой картины, постепенно переходящей въ проектъ крестьянскаго освобожденія. Касаясь другихъ сторонъ жизни, Радищевъ выбиралъ иные авторитеты; такъ многія данныя для историческаго очерка цензуры въ главѣ „Торжокъ“, этого горячаго заступничества за свободу печати, обличающаго цензуру, „приказное разсмотрѣніе книгъ до изданія ихъ въ свѣтъ“, которое, по мнѣнію Радищева, „принадлежитъ къ одному корню съ инквизиціею“,— онъ взялъ у Гердера, еще шире его требованій ставя свободу печатнаго слова. Вліяніе Руссо сказывается во многихъ разсужденіяхъ на нравственныя темы; акад. Сухомлиновъ находилъ отраженіе взглядовъ любимаго Радищевымъ профессора Платнера въ защитѣ вѣротерпимости; ода „Вольность“, введенная въ главу „Тверь“, своимъ политическимъ фономъ имѣетъ факты изъ борьбы за свободу на западѣ (Вильгельмъ Телль, Кромвель и казнь Карла I) на ряду съ подвигами изъ древняго міра (Брутъ); ссылки на словарь Бэйля, на англійскихъ деистовъ, Бэкона, Вольтера и т. д. дополняютъ впечатлѣніе, производимое „Путешествіемъ“, какъ трудомъ сознательнаго и разносторонне начитаннаго западника и въ то же время народолюбца.

---

[1]) Въ разныхъ мѣстахъ „Путешествія“ встрѣчаются выраженія и мысли, воспроизведенныя Радищевымъ почти дословно изъ Рейналя („Духъ свободы такъ искореняется въ рабахъ, что не только не желаютъ они прекратить свои страданія, но еще тягостно имъ зрѣть другихъ свободными“.—„Ужели мало, что страждетъ мой согражданинъ? Да и въ томъ нѣтъ нужды. Онъ—человѣкъ, вотъ мое право, вотъ вѣрющее письмо“.—Любимый въ былые годы эпизодъ о Едровской Анютѣ, идеализованной крестьянской дѣвушкѣ, несомнѣнно написанъ подъ вліяніемъ вставныхъ въ исторію Рейналя повѣстей, превозносившихъ душевную чистоту и силу любви дикарей.

Екатерина, порицая вольномысліе Радищева, обозначила такой складъ ума прозвищемъ „французскаго заблужденія“ и приписывала его происхожденіе „разнымъ полумудрецамъ сего вѣка, какъ-то: Руссо, аббе Рейналь и тому гипохондрику подобные“; правда, она тутъ же называетъ Радищева и „мартинистомъ“, подозрѣвая, безъ всякаго основанія, связи его съ масонскимъ движеніемъ [1]). Но негодованіе заставляетъ ее утверждать далѣе, будто имъ руководила только „любовь распространять гипохондрическія и унылыя мысли“, кромѣ того, „необузданная амбиція и нетерпѣніе желчи отъ недостиженія вышнихъ степеней“; „давно мысль его рѣшила себя опредѣлить въ Россіи первымъ *подвизателемъ*“, иронизируетъ Екатерина. Поступокъ Радищева, полный безстрашной отваги и нетолько рискованный, но по условіямъ времени прямо предназначенный къ суровой карѣ, получалъ такимъ образомъ значеніе мелкой эгоистической отместки честолюбца-неудачника, его завѣтныя мысли становились брюзжаньемъ меланхолика, передъ которымъ все живое и благородное окутывается погребальнымъ флеромъ... Между тѣмъ эти мысли пережили вѣкъ Радищева, перешли въ наслѣдіе послѣдующимъ поколѣніямъ, иныя уже осуществились, вошли въ жизнь, другія стали неотъемлемой принадлежностью всякой прогрессивной программы [2]), а эта живая, мѣстами (особенно въ бытовыхъ картинахъ) почти современнымъ намъ языкомъ написанная, книга должна была дожидаться двадцатаго вѣка, чтобъ выйти наконецъ изъ-подъ запрета, поддерживавшагося безотчетной пугливостью [3]).

Въ Повинной Радищева, конечно, видны и смущеніе, и болѣзненная подавленность духа, вызванныя пристрастнымъ допросомъ Шешковскаго, никогда не останавливавшагося передъ пытками, усиленныя строгимъ заключеніемъ, жуткимъ ожиданіемъ неизвѣстной и страшной развязки, — но и въ эти минуты, когда онъ уже почти не владѣлъ собой, приверженность къ идеаламъ, усвоеннымъ съ ранней молодости, брала порою верхъ. Онъ нѣсколько разъ повторяетъ, что думалъ принести пользу, надѣялся на свободомысліе Екатерины, полагая, „что говоритъ доброе“ и сочувственное ей; ужъ потому онъ „не хотѣлъ сдѣлать возмущеніе, что *народъ нашъ книгъ не читаетъ*,—а можетъ ли мыслить о семъ, кто общниковъ не имѣетъ?..“ Гроза разразилась и привела въ содроганіе его сторонниковъ [4]); ссылка въ Илимскій острогъ на десять лѣтъ

---

1) Любопытно, что иные изъ масоновъ, пытаясь объяснить причины его вольнодумнаго и разрушительнаго дѣянія, ставили вопросъ, не иллюминатъ ли онъ. „Не знаю, есть ли здѣсь иллюминаты,—писалъ Лопухинъ Кутузову.—Ежели онъ имѣлъ нещастіе между нихъ попасть, то поступокъ его могъ оттуда произойти“. Переписка московъ. масоновъ, 1915, с. 15.

2) По показаніямъ сына Радищева, въ программу его входили освобожденіе крестьянъ, гласное судопроизводство, свобода совѣсти, свобода печати, судъ присяжныхъ, отмѣна подушной подати, равенство передъ закономъ и т. д. Русск. Вѣстн. 1858, дек. I.

3) Въ ноябрѣ 1905 г. она издана была Н. П. Сильванскимъ и П. Е. Щеголевымъ съ вступит. статьями и примѣчаніями, затѣмъ В. В. Каллашемъ (Соч. Радищ. 1907, I), Тройницкимъ, А. Бороздинымъ.

4) „Quelle sentence et quel adoucissement pour une étourderie!—писалъ тогда Сем. Романовичъ Воронцовъ, — que fera-t-on pour un crime et pour une révolte en forme? *Cela fait frémir!*“ Архивъ кн. Воронцова, томъ 9-й, 1867, стр. 181.—Нашлись однако люди, и не въ

замѣнила собой смертную казнь, примѣненную уголовною палатой въ первомъ русскомъ литературномъ процессѣ на основаніи злостно и искусственно привлеченныхъ статей гражданскаго, военнаго и морского законодательства, каравшихъ *государственную измѣну*. Но Радищевъ и въ Сибири сохранилъ прежніе интересы и стремленія; возвратъ силъ и покой среди семьи даже оживили ихъ. Въ трактатѣ „О человѣкѣ, о его смертности и безсмертіи", написанномъ въ Илимскѣ, видны прежняя возбужденность мысли, стремящейся рѣшать насущные вопросы человѣчества, и разносторонняя начитанность, свободно ссылающаяся нетолько на авторитетныя философскія и естественно-научныя сочиненія (Локка, Руссо, Ньютона, Гольбаха, Галлера, Линнея, Бюффона), въ особенности опираясь на Лейбница и Моисея Мендельсона, но и на разнообразные литературные памятники [1]). Въ ссылкѣ онъ продолжалъ самообразованіе, слѣдилъ (благодаря Воронцову) за новой западной литературой, интересовался всѣми текущими явленіями французской политической прессы (напримѣръ, извѣстнымъ *Père Duchesne*, который ему доставляли воронцовскіе курьеры), гамбургскими газетами и русскими журналами, перечитывалъ старыхъ своихъ любимцевъ, напр., Вольтера, оцѣнивъ на дѣлѣ его походъ противъ оптимизма въ „Кандидѣ", и, хотя, вступая въ предѣлы Сибири, грустно повторялъ извѣстную надпись надъ входомъ въ Дантовъ Адъ: „lasciate ogni speranza voi ch'entrate" (одна изъ рѣдкихъ въ томъ вѣкѣ у насъ цитатъ изъ Данта), онъ старался и для этого края принести посильную пользу, изслѣдовалъ его производительныя силы, возбуждалъ въ своихъ сношеніяхъ съ Воронцовымъ важный вопросъ объ устройствѣ народнаго образованія въ Сибири, лѣчилъ инородцевъ, изучалъ ихъ бытъ и религію, написалъ проектъ о торговлѣ съ Китаемъ и т. д. Онъ возвратился въ Россію, столь же убѣжденный въ необходимости коренныхъ преобразованій, какъ и прежде. „Гласъ его не премѣнился, выя не была стерта и носилась гордо". Мысль о перенесенныхъ страданіяхъ находила опору въ примѣрахъ такого же мученичества за идею; ему вспоминался „Гусъ, издыхающій въ пламени, Галилей въ темницѣ",—и онъ твердо вѣрилъ, что „время и уготовленіе" разрушатъ всѣ „препоны".

Первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ въ калужскую деревню было бы освободить крестьянъ, но указъ 23 ноября 1796 г., возвратившій ему только половинныя права, не могъ допустить такой мѣры,—въ „Описаніи моего владѣнія" отразилось то состояніе нравственной пытки, которое

Россіи, а за границей, которые удивлялись великодушію, смягчившему приговоръ. Сравнивая этотъ образъ дѣйствій съ политикой правительства Бернскаго кантона по отношенію къ мятежнымъ жителямъ pays de Vaud, тогда еще подвластнаго Берну, одинъ изъ швейцарскихъ корреспондентовъ гр. А. Р. Воронцова, Сожи, восторгался Екатериной и воспользовался первымъ случаемъ, чтобы разсказать о судьбѣ Радищева Неккеру. Арх. Воронц., кн. XXVII, 1883, 20.

[1]) Напр., на Шекспирова „Гамлета", изъ котораго онъ останавливается на „единословіи или монологѣ" (Быть или не быть), на аддисонова „Катона", на Оссіана. Любопытны при этомъ ссылки и на восточную поэзію,—въ частности на Саади,—или параллель ея съ европейскимъ творчествомъ („европейскія и арабскія *мнѣ извѣстныя* стихотворенія"; Соч., II, 177).

испытывалъ вернувшійся изгнанникъ, бродя по полямъ своего Нѣмцова, возлѣ Малоярославца, во время работъ, и со стыдомъ размышляя о томъ, какъ всѣ эти изнуренные жаромъ жницы и косцы напрягаютъ всѣ силы свои для поддержанія зажиточной жизни его одного. Когда же снова стало вольнѣе дышать при Александрѣ, Радищевъ, вызванный въ Петербургъ, весь отдается преобразовательной работѣ. Новый вѣкъ кажется ему достойнымъ, желаннымъ завершеніемъ лучшихъ дѣяній европейской мысли въ просвѣтительную эпоху. Съ энтузіазмомъ вспоминаетъ онъ въ примѣчательномъ по идейной силѣ стихотвореніи о минувшемъ вѣкѣ, „безумномъ" и въ то же время „мудромъ" („о, незабвенно столѣтіе! радостнымъ смертнымъ даруешь истину, вольность и свѣтъ... Мощно, велико ты было, столѣтіе! Духъ вѣковъ прежнихъ палъ предъ твоимъ алтаремъ ницъ и безмолвенъ, дивясь"), но вѣритъ въ широкій прогрессъ новой поры, когда „миръ, судъ правды, истина, вольность польются отъ трона". Среди молодежи, рвущейся къ реформамъ, онъ является однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „комиссіи о составленіи законовъ"; онъ вырабатываетъ проекты, подаетъ „мнѣнія", „основанныя единственно на философскомъ свободомысліи" [1]), съ юношеской горячностью отстаиваетъ свои взгляды во время преній, непріятно поражая неисправимостью своею старшихъ сочленовъ, исполнявшихъ обязанности реформаторовъ скорѣе по приказу, чѣмъ по убѣжденію; по свидѣтельству его сына, у него были столкновенія даже съ Сперанскимъ, чьи планы частичныхъ улучшеній и поправокъ его не удовлетворяли. Радищевъ разработалъ проектъ судебной реформы, основанной на введеніи суда присяжныхъ, выступилъ наконецъ съ проектомъ полнаго пересмотра законодательства; самоубійство, вызванное острымъ припадкомъ меланхоліи послѣ сильнаго столкновенія съ двуличнымъ и озлобленнымъ главою комиссіи Завадовскимъ, прервало эту неутомимую дѣятельность во время приготовленій къ поѣздкѣ въ Англію для изученія на мѣстѣ института присяжныхъ.

Такъ вся жизнь этого единственнаго, быть можетъ, въ восьмнадцатомъ вѣкѣ истиннаго *западника*, съ первыхъ же шаговъ на русской землѣ и до старости, ушла на служеніе самымъ насущнымъ нуждамъ народа; его неразрывная связь съ европейскимъ умственнымъ движеніемъ не отдалила его отъ Россіи, а сроднила его съ нею, указала цѣли и способы ихъ достиженія [2]). Тотъ же завѣтъ передалъ онъ своимъ сверстникамъ и немногимъ молодымъ своимъ ученикамъ. Его лейпцигскій товарищъ Петръ Челищевъ, быть можетъ, дѣйствительно помогавшій ему

---

[1]) Образцомъ этихъ „мнѣній", заявленныхъ имъ въ комиссіи, могутъ служить напечатанныя впервые въ книгѣ акад. Сухомлинова „А. Н. Радищевъ, авторъ „Путеш. изъ Петербурга въ Москву", 1883, мнѣнія о „цѣнахъ за людей убіенныхъ" и о правѣ подсудимыхъ отводить судей и выбирать себѣ защитниковъ; предполагаютъ его участіе въ запискѣ Воронцова о „непродажѣ крестьянъ безъ земли".

[2]) Изъ новѣйшихъ работъ о Радищевѣ—прекрасная характеристика въ книгѣ В. Мякотина „Изъ исторіи русскаго общества", 1902, — также очеркъ В. В. Каллаша, „Рабства врагъ", Извѣстія Отдѣл. рус. яз. Акад. наукъ, 1904,—статья В. Е. Якушкина, „Учебн. годы Радищева" въ сборн. „Подъ знаменемъ науки",—ст. В. Міаковскаго „Годы ученія А. Н. Радищева", Голосъ Минувшаго, 1914, III и V.

при изданіи книги, предпринялъ полгода послѣ грозы, разразившейся надъ Радищевымъ, изъ любознательности,—вѣроятно, также и изъ осторожности, побуждавшей на время скрыться съ глазъ,—путешествіе на сѣверъ Россіи [1]). Съ замѣчательной обстоятельностью и зоркимъ вниманіемъ изучалъ онъ положеніе народа, состояніе его промысловъ, духовные его нужды и запросы, естественныя богатства и полную заброшенность дальняго сѣвернаго края. У него не было радищевскаго таланта, но минутами онъ напоминаетъ смѣлый обличительный тонъ своего друга, не только раскрывая злоупотребленія, но и бичуя ихъ сарказмомъ или поражая виновниковъ рѣзкими укоризнами въ видѣ патетически-приподнятыхъ, по тону напоминающихъ Рейналя и Радищева, обращеній и воззваній („Духовные начальники! Когда-бъ заведены были порядочныя у васъ школы, былъ ли бы этотъ человѣкъ принужденъ искать убѣжища въ сихъ страшныхъ жилищахъ волковъ и медвѣдей?“—„Увы, надменные ушельцы въ кабинеты ваши! Почто вы просыпаете въ нихъ жизнь, толикими способами снабденную къ славѣ отечества, къ пользѣ государя и къ блаженству народному?“—„Смотрите: повсюду бѣдность, праздность скука; повсюду малая прибыль, а величайшій трудъ“.—„Чувствительность моя не терпитъ сихъ упущеній, и кровь сихъ несчастныхъ преступниковъ брызнула даже до моего сердца“!). Путешественникъ благоговѣйно относится къ Петру Великому, ставитъ собственными руками кресты и скромные памятники всюду, гдѣ что-либо напомнитъ ему о преобразователѣ; Ломоносовъ и для него, какъ для Радищева, является лучшимъ выразителемъ народной самодѣятельности, направленной навстрѣчу европейскому просвѣщенію,—и во славу Ломоносову онъ тоже поставилъ памятникъ. Эксплоатація русскихъ силъ иноземцами ему столь же ненавистна, какъ привлекательно свободное наше соревнованіе съ ними. Издатель „Дневника“ подмѣтилъ во многихъ его мѣстахъ вліяніе идей Платнера, помогавшихъ Челищеву разбираться среди противорѣчій и несовершенствъ русской жизни [2]).

Молодые ученики и ближайшіе послѣдователи Радищева ратовали за тѣ же убѣжденія. Самый талантливый изъ нихъ, рано умершій Пнинъ, сблизившійся съ учителемъ своимъ послѣ окончательнаго возвращенія его изъ ссылки, издавалъ, вмѣстѣ съ А. Ѳ. Бестужевымъ, отцомъ будущихъ декабристовъ, въ концѣ вѣка, при неблагопріятнѣйшихъ цензурныхъ условіяхъ павловской поры „Санктпетербургскій Журналъ“, знакомя съ европейской публицистикой и защищая (въ особенности въ мѣтко написанномъ разговорѣ калифа съ визиремъ) общечеловѣческое просвѣ-

---

[1]) Описаніе его, сохранившееся въ рукописи библіотеки графа Шереметева, издано акад. Л. Н. Майковымъ,—„Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 году, дневникъ П. И. Челищева“, 1886 (изд. Общества Древн. Письмен.).

[2]) Во время путешествія ему не разъ вспоминался Радищевъ; въ Архангельскѣ онъ встрѣтилъ его брата Моисея, у котораго жили старшіе сыновья изгнанника, а въ Бѣлозерскѣ записалъ сонъ, въ которомъ увидалъ себя снова съ товарищами молодости, Ѳедоромъ Ушаковымъ, Кутузовымъ и Радищевымъ „въ одномъ домѣ, изъ котораго Радищевъ и Кутузовъ бѣжали, и якобы ихъ опять поймали“ и т. д. (с. 244).

щеніе, въ стихотвореніяхъ своихъ выступалъ независимымъ мыслителемъ, всегда возбуждая людей къ борьбѣ за свои права, задумывалъ *Народный* Вѣстникъ, организовалъ отпоръ нетерпимому славянофильству Шишкова, а въ примѣчательномъ для своего времени, быстро разошедшемся и во второмъ изданіи запрещенномъ „Опытѣ о просвѣщеніи относительно къ Россіи" (Спб., 1804), выставившемъ подробный планъ насущныхъ преобразованій, заступился за „сословіе замледѣльческое, которое находится въ страдательномъ состояніи, будучи отдано во власть рабовладѣльцамъ, поступающимъ съ подвластными людьми хуже, чѣмъ съ скотами",—когда же книга, „способная собрать надъ Россіей черную губительную тучу" (по выраженію цензурнаго отзыва), вызвала гоненіе, протестовалъ противъ цензурно-инквизиторскаго гнета полнымъ сатирической силы діалогомъ (происходящимъ будто бы *въ Манджуріи*) между сочинителемъ, принесшимъ на просмотръ свое твореніе подъ заглавіемъ „Истина", и цензоромъ, въ которомъ одно уже заглавіе поднимаетъ стремленіе „строго разсмотрѣть" статью. Въ заступничествѣ Пнина за европейскую культуру, за рабствующій народъ, за стѣсненное слово, слышится живой отголосокъ убѣжденій Радищева.

Въ сочувственныхъ стихотвореніяхъ, вызванныхъ смертью Радищева у его поклонниковъ (элегіи Борна и Пнина) [1]), въ рѣчахъ, которыми почтило его память Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ, сгруппировавшее молодыя силы, преданныя идеямъ общественнаго прогресса, въ глубокой симпатіи такого убѣжденнаго патріота и націоналиста, какъ извѣстный Сергѣй Николаевичъ Глинка, къ западнику-вольнодумцу, въ которомъ онъ видѣлъ искреннюю любовь къ русскому дѣлу [2]), въ живомъ отголоскѣ преобразовательной программы Радищева *первомъ* проектѣ реформъ Сперанскаго [3]), — во всѣхъ этихъ проявленіяхъ сочувствія, исходившихъ изъ противоположныхъ лагерей литературы, сказывается признаніе глубокой связи радищевскаго европеизма съ сознаніемъ великихъ обязанностей по отношенію къ родной странѣ [4]).

Но то же сочетаніе принциповъ замѣтно и въ зарождавшемся въ концѣ вѣка движеніи, которое предвѣщало позднѣйшее славянофильство. Оно замыкалось пока въ области исторической науки. Послѣ такихъ предшественниковъ, какъ Татищевъ, изслѣдователи-труженики Миллеръ и Шлецеръ, дилеттантъ-фантазеръ Елагинъ,—главные представители исторіографіи въ вѣкъ Екатерины, Болтинъ и Щербатовъ, водворяли націо-

---

1) „Уста, что истину вѣщали, увы, навѣки замолчали, и пламенникъ ума погасъ; кто къ счастью велъ путемъ свободы, навѣкъ, навѣкъ оставилъ насъ", сѣтовалъ Пнинъ.

2) По свидѣтельству сына Радищева, Павла Алекс., Глинка принадлежалъ къ числу „величайшихъ его поклонниковъ".

3) В. Семевскій, Первый политическій трактатъ Сперанскаго, Рус. Богатство, 1907, I.

4) Разнообразныя показанія свидѣтельствуютъ о томъ, что, несмотря на конфискацію „Путешествія" и уничтоженіе части изданія самимъ Радищевымъ, она имѣла значительное распространеніе, даже въ далекой провинціи, при помощи рукописныхъ копій. Въ изданномъ нынѣ своемъ дневникѣ Радищевъ говоритъ, что на обратномъ пути въ Россію онъ самъ нашелъ такую копію въ Кунгурѣ.

нально-патріотическое направленіе въ наукѣ. Изъ желанія дать отпоръ историческимъ и политическимъ взглядамъ на исторію Россіи, высказаннымъ въ легковѣсныхъ работахъ западныхъ борзописцевъ, въ родѣ Николая Леклерка, Болтинъ выступилъ на аренѣ науки. Оскорбленная народная гордость и коренное чувство правдивости, побуждавшее во что бы то ни стало бороться съ ложью, сдѣлали Болтина писателемъ, — а привлекавшая нѣкогда Татищева мечта дать русскому народу достойную его исторію сосредоточила его разысканія на отдаленномъ русскомъ прошломъ. Охранительный тонъ его произведеній и полемическій жаръ, который онъ вносилъ въ нихъ, ревностно отстаивая отъ западныхъ и русскихъ своихъ противниковъ національную самобытность, привели къ тому, что Болтина иные до сихъ поръ считаютъ одностороннимъ, нетерпимымъ и нѣсколько старомоднымъ консерваторомъ, въ родѣ Шишкова. Различныя данныя, добытыя біографомъ Болтина [1]) и изслѣдователями его вліянія на русскую историческую мысль [2]), возстановляя въ правдивомъ свѣтѣ его ученый и публицистическій методъ, рисуютъ совсѣмъ иную личность. Болтинъ исходилъ отъ непосредственнаго знакомства съ западной наукой, но не для того, чтобы, воспользовавшись имъ, потомъ отречься и откреститься отъ Европы,—во всѣхъ своихъ произведеніяхъ онъ пользовался западными источниками и высоко цѣнилъ нѣкоторыхъ любимыхъ имъ авторовъ. Онъ увлекался тѣмъ же скептикомъ Бэйлемъ, которому съ ранней молодости поклонялся Радищевъ [3]); Вольтеръ, Монтескье [4]), Руссо, были въ его глазахъ великими авторитетами; говоря даже о русскихъ домашнихъ дѣлахъ, онъ ссылается на Руссо, какъ на тонкаго наблюдателя и истиннаго друга человѣчества. Взглядъ Вольтера на свободу и независимость научныхъ изслѣдованій онъ признаетъ вполнѣ разумнымъ и совершенно не противорѣчащимъ христіанству; тотъ же писатель встрѣчаетъ въ немъ большое сочувствіе, когда утверждаетъ, „что гражданская свобода есть залогъ политической силы и независимости“ [5]).

Идея закономѣрности, внесенная Болтинымъ въ историческую науку, въ частности ученіе о вліяніи природныхъ условій, особенно климата, усвоена была не только у Монтескье, но, какъ думаютъ теперь, и у писателя XVI вѣка Бодена [6]); наконецъ, непосредственно повліялъ на Болтина такой предшественникъ, какъ Татищевъ, чье произведеніе могло воз-

---

[1]) Сухомлиновъ, Исторія Россійской Академіи, выпускъ пятый. Спб. 1880, стр. 92—296.

[2]) Милюковъ. Главныя теченія русской исторической мысли. Русская Мысль, 1893, V.

[3]) Стойкость вліянія Бэйля на русское вольнодумство, удержавшагося и послѣ распространеніи энциклопедизма, фактъ очень своеобразный.—Новѣйшая работа о Бэйлѣ и его вліяніи—Alb. Cazes, „Pierre Bayle. Sa vie, ses idés, son influence et son oeuvre“, 1905.

[4]) Есть преданіе, что Радищевъ переводилъ книгу Монтескье о величіи и паденіи римлянъ.

[5]) У Болтина начатъ былъ переводъ „Энциклопедіи“, доведенный до буквы К.

[6]) Въ его книгѣ „Methodus ad facilem historiarum cognitionem“, которая въ переводѣ съ общедоступной французской передѣлки (La physique de l'histoire etc., Amsterdam, 1755) была издана по-русски въ 1794 г. подъ названіемъ „Физика исторіи или всеобщія разсужденія о первонач. причинахъ тѣлеснаго сложенія и природнаго характера народовъ“.

будить въ немъ серьезные ученые интересы и вмѣстѣ съ тѣмъ уваженіе къ европейской наукѣ. Сущностью взглядовъ Болтина была дѣйствительно вѣра въ русскую самобытность, но не самодовольную, исключительную и насквозь проникнутую нетерпимостью; Болтинъ исходилъ отъ взгляда „Наказа“ на Россію, какъ на *государство европейское*. Принимая послѣдствія, истекающія изъ этого положенія, хотя и порицая излишнюю поспѣшность петровской реформы, онъ отстаивалъ отъ западныхъ притязаній *равноправность* русскаго міра съ остальными племенами Европы, въ своихъ отзывахъ о фактахъ текущей или прошлой жизни европейскихъ племенъ относился къ нимъ, какъ равный къ равнымъ, а не какъ робкій ученикъ, не смѣющій имѣть своего сужденія, пытался внести историческое объясненіе темныхъ сторонъ русской жизни, считая ихъ переходнымъ зломъ; онъ напоминалъ противникамъ, что и у нихъ, въ дни феодализма, господствовалъ еще худшій порядокъ вещей, который потомъ уступилъ мѣсто иному строю подъ вліяніемъ новыхъ идей. Того же ждалъ Болтинъ и отъ будущности русской земли; онъ не отстаивалъ крѣпостного права, а, напротивъ, рисовалъ мрачныя картины его и требовалъ, чтобъ оно отмѣнено было повсемѣстно, лишь съ соблюденіемъ извѣстной постепенности и съ соразмѣрнымъ усиленіемъ народной образованности, чтобъ оправдался совѣтъ Руссо—освободить и *души*, сдѣлать ихъ способными пользоваться свободой. Такимъ образомъ преобразовательный элементъ входилъ въ значительной степени и въ эту охранительную программу; любя родное, Болтинъ не обрекалъ его на застой или на поворотъ назадъ. Въ одномъ изъ любопытнѣйшихъ мѣстъ своихъ „Примѣчаній на Леклерка“ онъ высказываетъ, по поводу толковъ о необходимости крестьянскаго освобожденія, мысль, что на свѣтѣ существуютъ „многообразныя вольности, одна другой больше или меньше съ названіемъ своимъ несходствующія“, и что изъ нихъ „надобно намъ избрать такую, которая бы сообразна была нашему настоящему физическому и нравственному состоянію“. „Земледѣльцы наши,—говоритъ онъ далѣе,—прусской вольности не снесутъ, германская не сдѣлаетъ состоянія ихъ лучшимъ, съ французскою помрутъ они съ голоду, а англійская низвергнетъ ихъ въ бездну погибели“ [1]). Участіе русской народной стихіи въ общекультурномъ движеніи человѣчества, обезпечивающее притомъ племенную индивидуальность, не можетъ быть, конечно, характеристичнѣе выражено и опредѣленно обрисовываетъ нашего перваго убѣжденнаго „руссофила“.

Даже у сотоварища Болтина по направленію, хотя и соперника его по методу и научнымъ пріемамъ, Щербатова, несмотря на скорбный или негодующій тонъ отзывовъ его „Поврежденія нравовъ“ о новой, послѣпетровской Руси и ея главныхъ дѣятеляхъ, въ особенности о Екатеринѣ, воплотившей въ себѣ и развращенность и лицемѣріе, которыми внушенъ и весь ея поддѣльный европеизмъ,—несмотря на приторность картинъ старорусской жизни, изображаемой *сплошь* счастливой, богатой, богобояз-

---

[1]) Примѣчанія на Леклерка, II, 235.

ненной, нравственной, уваженіе къ европейскому просвѣщенію остается основнымъ, неизмѣннымъ тезисомъ. Петровскій переворотъ, какъ мы уже видѣли, и онъ считалъ неизбѣжнымъ, личность Петра выгораживалъ изъ развращающаго вліянія новаго порядка вещей, соболѣзнуя о томъ, что добрыя намѣренія преобразователя искажались его безнравственными клевретами, хищниками и циниками. Еслибъ реформа сберегла ту чистоту нравовъ, которая грезилась Щербатову въ далекой старинѣ, и тотъ строй, въ которомъ родовитая знать была первенствующею, онъ ничего не имѣлъ бы противъ такихъ результатовъ петровской политики, какъ „знаемость Россіи въ Европѣ и вѣсъ въ дѣлахъ", какъ военная слава и „процвѣтаніе наукъ, художествъ и ремеслъ". Таковъ Щербатовъ, какъ политикъ-моралистъ; какъ ученый, историкъ, философъ, онъ находился въ такой же зависимости отъ главнѣйшихъ западныхъ авторитетовъ, какъ Болтинъ; въ его „Разсужденіяхъ о правленіи" открыты обильныя заимствованія изъ „Духа законовъ", а въ „Размышленіяхъ о смертной казни" слѣды внимательнѣйшаго чтенія и критическаго разбора книги Беккаріи (рукописный переводъ которой найденъ теперь въ его бумагахъ вмѣстѣ съ „Объясненіемъ" на эту книгу Вольтера) [1]); его „Путешествіе въ землю Офирскую г. С., шведскаго дворянина", русскій вкладъ въ литературу соціальныхъ „утопій", подъ аллегорической дымкой страны, лежащей гдѣ-то близъ южнаго полюса, изобразившій желанное возрожденіе Россіи, конечно, создалось подъ вліяніемъ западныхъ образцовъ, богатой въ то время литературы всякихъ „Телемаковъ", „Базиліадъ" („Naufrage des îles flottantes ou la Basiliade", Морелли, съ конечнымъ торжествомъ государя-философа надъ удручавшими людей „пловучими островами суевѣрій"), „2440 года" („L'an deux mille quatre cents quarante. *Rêve s'il en fut jamais*", Себаст. Мерсье) и т. д. [2]),—вмѣстивъ въ готовыя рамки охранительно-русское, національное содержаніе съ своеобразной смѣсью свободы, самоуправленія, крѣпкой власти и рабства [3]).

Такое же усвоеніе европейской мысли и творчества происходило въ небольшихъ кружкахъ и группахъ, стоявшихъ поодаль отъ главныхъ литературныхъ направленій. Это—кружокъ Крылова и Рахманинова, кучка друзей Львова (Державинъ, Хемницеръ, Капнистъ), группа драматурговъ съ Княжнинымъ во главѣ. Тамъ, гдѣ имѣли вѣсъ и вліяніе вольтерьянецъ Рахманиновъ и Радищевъ, замѣчательно даровитый и

---

[1]) Въ его рукописяхъ въ Публичной Библіотекѣ нашлось немало иныхъ переводовъ, весьма характерныхъ для старовѣра-націоналиста,—Politique naturelle Гольбаха, „Grandeur et décadence" Монтескье, „Опытъ на человѣка" Попа, „Освобожд. Іерусалимъ" Тасса.—Минувш. Годы, 1908, XI, „Русск. депутатъ XVIII вѣка", кн. Д. Шаховскаго.

[2]) Тѣ же образцы повліяли и на аллегорическія поэмы-утопіи Хераскова („Нума", „Кадмъ и Гармонія"), въ которыхъ отразились, своеобразно сочетавшіяся, преданность просвѣтительнымъ идеямъ и высокое масонское человѣколюбіе, мечтанія о лучшемъ общественномъ строѣ, основанномъ на истинной свободѣ и справедливости, царствѣ нравственной силы и „естественной" религіи.

[3]) Сочиненія Щербатова собраны и изданы въ наше время въ пяти томахъ. Спб. 1896—1904.—О „Путешествіи"—статья А. А. Кизеветтера „Русская утопія XVIII столѣтія" (Историческіе очерки, М., 1912).

полуобразованный самородокъ Крыловъ не могъ устраниться отъ тока просвѣтительныхъ идей; на его журналахъ, въ особенности на *Почтѣ духовъ*, при всѣхъ повтореніяхъ шаблонныхъ нападокъ на судей-взяточниковъ, шарлатановъ-гувернеровъ, птиметровъ и т. д., лежитъ все же отпечатокъ важныхъ культурныхъ запросовъ вѣка, за которые ратуютъ горячо и убѣжденно сотрудники-„духи" радищевскаго типа. Первые наброски крыловскихъ басенъ зарождаются подъ вліяніемъ Лафонтена, котораго Крыловъ сталъ переводить еще въ отрочествѣ; сатира „Зрителя" ставитъ себѣ образцами Мольера, Лесажа, Бомарше; таинственная до сихъ поръ исторія юношескихъ „заблужденій" Крылова, едва не подвергшихся карѣ, обставленная обысками, захватомъ рукописей, грозою ссылки, закрытіемъ журнала, осталась навсегда для него воспоминаніемъ о томъ, какъ и онъ заплатилъ когда-то дань увлеченіямъ передовой молодежи. Инымъ, вполнѣ сознательнымъ европеизмомъ проникнута была дѣятельность кружка, сходившагося въ гостепріимной гостиной разносторонне образованнаго, полнаго исканій въ области искусства, Н. Львова. Хемницеръ внесъ въ этотъ кружокъ основательное знакомство съ нѣмецкой поэзіей, знаніе современной Европы, которую онъ наблюдалъ вблизи въ ранней молодости (въ семилѣтнюю войну въ Пруссіи) и въ зрѣлые годы, когда вмѣстѣ съ Соймоновымъ предпринялъ путешествіе въ Парижъ, изучалъ на мѣстѣ важнѣйшія философскія сочиненія и поклонялся любимымъ авторамъ, особенно Руссо, подъ чьими окнами хаживалъ, очарованный, словно испанецъ на серенадѣ. Нѣмецкіе баснописцы, Лихтверъ, Геллертъ, Лессингъ, на ряду съ Лафонтеномъ указали ему пути и пріемы сатиры, когда всѣ противорѣчія и несовершенства жизни побудили болѣзненно-чуткаго наблюдателя взяться за перо для заступничества за просвѣщеніе и добродѣтель, за умъ и талантъ противъ властнаго невѣжества и глупости, даже для протеста противъ соціальныхъ золъ, требовавшаго отъ эпохи преобразованій прежде всего радикальной чистки *верхнихъ* ступеней общественной *лѣстницы*. Капнистъ явился представителемъ французскаго оттѣнка образованія; поклонникъ Мольера, онъ положилъ въ основу „Ябеды", одной изъ немногихъ въ европейской литературѣ „судебныхъ комедій", поведшей подкопъ подъ старое продажное судопроизводство, полной негодованія и презрѣнія, поднимающейся часто до большой сатирической силы, мотивъ изъ „Мизантропа", надѣливъ Прямикова альцестовскимъ культомъ благородства и готовностью на неудачѣ своего собственнаго процесса показать современникамъ устрашающій примѣръ постояннаго нарушенія справедливости, на этой основѣ возвелъ отталкивающую по своей бытовой правдѣ картину всеобщей и безнаказанной стачки лихоимства и неправосудія, а въ „Одѣ на рабство", дышавшей негодованіемъ на закрѣпощеніе малорусскаго народа, вызывалъ Екатерину искоренить невольничество. Наконецъ и Державинъ, располагая только однимъ нѣмецкимъ языкомъ, искалъ въ германской поэзіи образцовъ, которые поддержали бы его самородное и мало воздѣланное дарованіе; переводя и перелагая философскія стихотворенія Фридриха Великаго, онъ

написалъ свои „Читалагайскія оды“,—типическій образецъ его „первой манеры“, полной напыщенности и „паренія“; выпущенное на волю подъ вліяніемъ эстетическихъ взглядовъ Львова и его друзей, большое дарованіе поэта не разрывало связей съ европейскими теченіями. У Галлера, Гагедорна, Клейста, Клопштока (впослѣдствіи даже у Шиллера) Державинъ заимствовалъ то религіозное и умозрительное содержаніе своей поэзіи (въ одѣ „Богъ“, напр., цѣлая строфа взята у Галлера), то легкую, анакреонтическую манеру; туманность образовъ и любовь къ сѣверной миѳологической обстановкѣ, проявляющаяся въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, привились къ его поэзіи благодаря вліянію „Оссіановыхъ пѣсенъ“; его любимыя моральныя темы, развиваемыя въ „сатирическихъ одахъ“—нравственное достоинство человѣка, истинное благородство, основанное не на клочкахъ пергамента, а на служеніи человѣчеству и добрыхъ дѣлахъ, и т. д.,—были задолго до него ходячими сюжетами въ нѣмецкой просвѣтительной литературѣ [1]), вообще довольно близко ему знакомой.

Зависимость Державина отъ западныхъ образцовъ заходила, при всемъ его стремленіи къ самобытности, дальше, чѣмъ это принято думать. Наприм., переводъ аддисоновскаго *Зрителя*, попавъ въ руки стихотворца, внушилъ ему, по всей вѣроятности, первую мысль о внѣшней формѣ *Видѣнія Мурзы*. Два раза (въ №№ 159 и 604) Аддисонъ возвращается къ аллегоріи въ восточномъ вкусѣ, носящей названіе The vision of mirza. Державинъ заставилъ явиться къ себѣ Фелицу вмѣсто таинственнаго генія, выведеннаго Аддисономъ, шире развилъ жгучій для него въ ту пору вопросъ объ условіяхъ творчества въ современномъ обществѣ и въ сильной степени внесъ въ свою оду русское содержаніе. Но у обоихъ писателей та же цѣль—изобразить при помощи фантастической обстановки свѣтлую, духовную сторону жизни, и, въ видѣ контраста, неисходное ничтожество людского эгоизма, погоню за мелкими интересами, ненависть къ человѣку, который осмѣлится говорить правду [2]). И, конечно, въ школѣ подобныхъ твореній укрѣплялись свойственныя ему влеченія къ строгому рыцарству добродѣтели, столь досаждавшія Екатеринѣ, разсѣивался миражъ, наведенный на него вначалѣ ролью присяжнаго ея барда, и совершался ростъ той независимости, которая возмутила его „низкими и недостойными“ поступками самой Екатерины, которая, какъ понялъ онъ наконецъ, „управляла государствомъ и самимъ правосудіемъ болѣе по политикѣ или своимъ видамъ, нежели по святой правдѣ“ [3]).

---

[1]) Онѣ развиваются, напримѣръ, весьма часто въ произведеніяхъ Фридриха,—а разъясненію высокаго призванія дворянства посвятилъ особую книгу (Vom Adel) любимый въ то время публицистъ баронъ von Loen; въ его аргументаціи немало сходныхъ чертъ со взглядами Державина.

[2]) The Spectator, twelfth edit., I, 284 и слѣд., VIII, 186—8.—„Видѣніе мирзы“ было переведено сначала Гр. Козицкимъ („Явленіе мирзы“) въ Ежемѣсячн. Сочиненіяхъ 1757 г., затѣмъ въ журналѣ Новикова „Утренній Свѣтъ“, 1777, ч. III.—Въ восьмнадцатомъ вѣкѣ многіе истинные цѣнители, напр. Бэрнсъ, называли аддисоново „Видѣніе мирзы“ однимъ изъ украшеній *Зрителя*.

[3]) Записки Державина, Сочин., изд. Я. Грота, I с. 654.

Развивая моральныя темы въ примѣненіи къ русской обстановкѣ и разнообразя ихъ изъ окружающей жизни примѣрами, Державинъ искусно обрусилъ ихъ,—подобно тому, какъ въ легкія свои вещицы, первоначально сплошь подражательныя, онъ со временемъ научился вводить народныя черты, придавая имъ непринужденный, простой, бытовой тонъ, который казался привлекательнымъ даже пушкинскому поколѣнію.

Театръ екатерининскихъ временъ, менѣе богатый талантами, чѣмъ другіе роды литературы, въ своей спеціальной сферѣ старался такъ же честно дѣлать общее имъ всѣмъ дѣло просвѣтительной пропаганды и изученія русской жизни. Съ одной стороны стояли послѣдователи европейской драмы, ставившіе себѣ образцомъ или соціальное направленіе „мѣщанскаго“ англійскаго театра, спускавшагося въ „Лондонскомъ купцѣ“ Лилло или „Игрокѣ“ Мура до низовъ общества, или же новую драму французскихъ приверженцевъ энциклопедизма, и пользовавшіеся сценой, какъ каѳедрой, съ другой—бытовики и народники, избравшіе себѣ эту спеціальную программу дѣйствій, также слѣдуя примѣру западной литературы.

Княжнинъ въ своихъ трагедіяхъ, опираясь не только на Вольтера, но и на Метастазіо, Де-Беллуа, Мерэ, выступалъ защитникомъ просвѣтительныхъ идей и, въ посмертномъ своемъ *Вадимѣ*, полномъ отголосковъ вольтеровскаго *Брута*, даже политической свободы, въ смѣломъ контрастѣ противопоставивъ монархическому строю новгородскій республиканизмъ, обличая тирановъ, и въ свои произведенія, несмотря на иноземные часто сюжеты ихъ, вводилъ изображеніе русскихъ общественныхъ условій, отголоски взглядовъ „Наказа“, педагогическихъ теорій Бецкаго [1]). Николевъ, французъ по воспитанію, насытилъ либеральнымъ лиризмомъ, во вкусѣ парижскихъ политическихъ трагедій, свою *Сорену* [2]), взятую будто бы изъ исторіи полоцкаго княжества, строго запрещенную московскими властями, потомъ, въ минуту великодушія, выпущенную на волю Екатериной, которая не захотѣла отнести къ себѣ, „матери отечества“, какъ ее не разъ льстиво называли, горячія нападки на тиранію (это происходило въ 1785 году; семь лѣтъ спустя *Вадимъ* былъ сожженъ). Веревкинъ, по слѣдамъ Дидро, обличая пороки, вводилъ въ междусословныя отношенія, изображенныя въ его комедіяхъ, проповѣдь человѣчности и братства. Въ то же время переводчики новыхъ соціальныхъ *драмъ*,—Пушниковъ, поставившій въ Москвѣ въ 1770 году съ оглушительнымъ успѣхомъ, который возбудилъ негодованіе Сумарокова, „Евгенію“ Бомарше, клеймившую общественное неравенство и могущество знати, тонкій истолкователь „Свадьбы Фигаро“ Лабзинъ и двое дру-

[1]) Новѣйшая работа о Княжнинѣ, раскрывающая связь его трагедій съ просвѣтительнымъ движеніемъ XVIII вѣка, принадлежитъ Юрію Веселовскому, „Идейный драматургъ екатерининской эпохи“. Литературные очерки, I, М., 2 изд., 1910 г.—„Вадимъ Новгородскій“ изданъ вновь съ предисловіемъ В. Саводника, М., 1914 г.

[2]) О вліяніи на эту пьесу трагедій Вольтера, „Альзира“, „Семирамида“ и „Магометъ“, ср. статью А. Кадлубовскаго, „Сорена и Замиръ Николева и трагедіи Вольтера“, Извѣст. Отд. рус. яз. и сл., 1907, I.

гихъ переводчиковъ этой пьесы, чьи труды остались въ рукописи, перелагатели „Севильскаго цирюльника“, „Школы злословія“ Шеридана [1]), „Судьи“, „Уксусника“, „Женневаля“ и другихъ, полныхъ соціально-реформаторскихъ идей, драмъ Мерсье [2]), Сандуновъ, переводчикъ шиллеровскихъ „Разбойниковъ“,—могли только ободрить нашихъ драматурговъ въ ихъ попыткахъ вносить на сцену общественныя нужды и противорѣчія,—и сами встрѣчали поддержку у руководящихъ просвѣтителей (такъ Новиковъ не только издалъ переводъ „Свадьбы Фигаро“, но и въ „Драматическомъ словарѣ“ замолвилъ вѣское слово за Бомарше, „писателя замысловатаго, остраго и важнаго“). Даже второстепенный видъ драматическихъ произведеній, комическая опера, благодаря Княжнину, пыталась вставить свое слово въ проповѣдь человѣчности и просвѣщенія. Княжнинъ въ своихъ комедіяхъ и оперныхъ либретто беретъ основу у Мольера, Бомарше, Детуша, Брюйэ, сплетаетъ заимствованную фабулу съ бытовыми картинами, обличающими иногда даже крѣпостное право, и вмѣстѣ съ самоучкой Аблесимовымъ [3]) дѣлается основателемъ *народнаго*, деревенскаго, комическаго и опернаго репертуара, представляющаго собой одно изъ наиболѣе характеристическихъ явленій въ русскомъ театрѣ того вѣка.

Подъ сложнымъ вліяніемъ нравоописательнаго направленія западной сатирической журналистики, немало содѣйствовавшаго развитію бытовой повѣсти,—романа приключеній и плутовства, типа „Жиль-Блаза“,—свободнаго и смѣлаго реализма такихъ изслѣдователей общества, какъ Мариво и аббатъ Прево, спускавшихся, подобно защитникамъ „мѣщанской драмы“, до его низовъ,—и вольнодумно-сатирическихъ новеллъ Вольтера, происходилъ починъ русскаго романа. Еще въ серединѣ столѣтія одинъ изъ раннихъ переводчиковъ западной беллетристики считалъ необходимымъ въ предисловіи къ роману Прево „Философъ англинской, или похожденія Клевеланда“ (1760) объяснять, что такое романъ, защищать литературу фикціи отъ обвиненій въ легкомысленномъ и развращающемъ вліяніи на умы, обособлять въ области повѣсти дѣйствительно вредное и порочное, зато высоко ставить облагораживающее дѣйствіе истинно художественныхъ и нравственныхъ твореній. Настаетъ время русскихъ опытовъ и исканій въ этомъ направленіи, болѣе или менѣе самостоятельныхъ, часто основанныхъ на пережитомъ, на запасѣ личныхъ наблюденій надъ жизнью, нравами, характерами. Эминъ идетъ впереди съ своими „Похожденіями Мирамонда“, въ которыхъ сквозь

---

[1]) Любопытныя свѣдѣнія о постановкѣ и распредѣленіи ролей въ пьесѣ Шеридана—въ „Архивѣ дирекціи императ. театровъ“, Спб. 1892 г., отд. III.

[2]) Интересъ русскаго театра XVIII вѣка къ Мерсье, съ его новаторствомъ въ теоріи драмы, тѣсною связью съ ученіями Руссо, большою возбужденностью въ вопросахъ соціальнаго переустройства (проявленною какъ въ драмахъ, такъ и въ его утопіи „L'an 2440“),—фактъ очень цѣнный.—О значеніи Мерсье для своей эпохи—Leon Bécl ard, „Sebastien Mercier, sa vie, son oeuvre, son temps“, 1903.

[3]) Зная малограмотность Аблесимова, приходится объяснить себѣ соприкосновеніе (хотя бы въ общемъ замыслѣ) двухъ *оперъ*, его „Мельника-Колдуна“ и „Le Devin du village“ Руссо, заимствованіемъ изъ вторыхъ рукъ, съ чужого пересказа.

экзотическій нарядъ просвѣчиваетъ романически-необычайная судьба самого автора,—появляются „Несчастный Никаноръ или приключенія россійскаго дворянина“, Матв. Комарова, „Житіе господина NN, служащее введеніемъ въ исторію его въ царствѣ мертвыхъ“; въ неоконченномъ романѣ „Пригожая Повариха или похожденія развратной женщины“ Чулковъ съ непринужденностью истиннаго реалиста вскрываетъ изнанку общественныхъ нравовъ и входитъ въ тотъ рядъ изученій развращающаго вліянія города на непосредственную натуру изъ народныхъ слоевъ, въ которомъ онъ встрѣчается, какъ съ раннимъ образцомъ, съ „Маріанной“ Мариво, и въ послѣдующую, революціонную пору съ примѣчательнымъ „Развратившимся крестьяниномъ“ (Paysan perverti) Ретифа де-ла-Бретонна [1],—а любитель философской новеллы, Дмитріевъ-Мамоновъ, подражаетъ вольтеровскому „Микромегасу“ въ своемъ аллегорическомъ „Дворянинѣ-философѣ [2]), соединяя съ реальной, земной обстановкой міръ планетъ и затрогивая въ такой притчѣ соціальныя проблемы. Не достигая выдающейся художественности, не блистая подборомъ дарованій, зарождающаяся повѣсть намѣчаетъ уже многія изъ задачъ романа, и исторія его развитія, возбужденнаго извнѣ, удачно начинается этимъ прологомъ [3]).

Подобныхъ слѣдовъ европейскаго вліянія въ тогдашней литературѣ, хотя бы, съ второстепеннымъ значеніемъ, вообще немало, и всѣ они примыкаютъ къ магистральнымъ линіямъ общаго движенія. Выработанные близкимъ изученіемъ французской поэзіи XVII—XVIII в., красивые и остроумно мѣткіе въ небывалой формѣ своей, мастерскіе переводы и подражанія Дмитріева баснямъ и стихотворнымъ сказочкамъ (contes) Лафонтена, выводившія иногда снова, послѣ необъятнаго промежутка, передъ русскимъ читателемъ старознакомые сюжеты (въ основѣ *Модной жены* лежитъ обработанное французскимъ баснописцемъ странствующее сказаніе), самостоятельныя сатирическія вылазки того же стиля въ остроумнѣйшемъ „Чужомъ толкѣ“,—Psyché Лафонтена, превратившаяся въ „Душеньку“ Богдановича и нѣкогда считавшаяся чудомъ изящества и граціи,—оригинальная хрестоматія всякаго, стараго и новаго, русскаго и западнаго, повѣствовательнаго и анекдотическаго матеріала, достопамятный кургановскій „Письмовникъ“, съ нѣсколькими сотнями „краткихъ замысловатыхъ“ повѣстей и „сборомъ стиходѣйствъ“,—нужно ли еще умножать примѣры?.. Двигатели главныхъ школъ и направленій, съ другой стороны добровольцы литературы, служившіе ей внѣ группъ или кружковъ, сходились въ томъ же трудѣ усвоенія и переработки европейскаго творчества.

Въ немногочисленныхъ, еще только зарождавшихся, кружкахъ по-

---

[1]) О немъ ср. очеркъ, посвященный Ретифу де-ла Бретонну въ моихъ „Этюдахъ и характеристикахъ“, 1912.

[2]) Составляетъ приложеніе къ его переводу лафонтеновской „Любви Псиши и Купидона“ (1769); позже онъ былъ напечатанъ отдѣльно, Смоленскъ, 1796 г.

[3]) Характеристики, оцѣнки, извлеченія—въ книгѣ В. В. Сиповскаго, „Очерки изъ исторіи русскаго романа“, I, 1909.

слѣдователей западной науки связи съ европейскимъ умственнымъ движеніемъ были не менѣе живыми. Муравьевъ, одинъ изъ воспитателей Александра и первый руководитель Батюшкова, поклонялся античной поэзіи и итальянскимъ классикамъ; научнымъ своимъ образованіемъ онъ обязанъ былъ изученію шотландскихъ философовъ. Широкое развитіе поддерживало его въ смутные конечные годы восьмнадцатаго вѣка, и онъ принесъ александровской порѣ нетронутый юношескій идеализмъ. Для людей такого закала наука была неприкосновенной святыней, и, увлекаясь Руссо, они рѣшительно протестовали противъ парадокса о вредѣ ея для нравственности. Всѣ прочли, конечно, дважды изданный переводъ его первой „диссертаціи" [1]), но остались при своемъ мнѣніи, и русская дѣйствительность, напоминавшая на каждомъ шагу не объ избыткѣ, а о скудости научнаго развитія, укрѣпляла ихъ въ этомъ взглядѣ. Философы деизма, помогавшіе вѣрующимъ людямъ подниматься надъ мелкими догматическими спорами и уходить отъ нихъ въ сферу высшей, „естественной" религіи, доставляли истинное наслажденіе для молодого поколѣнія, учившагося въ духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ [2]). Евгеній Болховитиновъ, будущій митрополитъ и ученый изслѣдователь, спасся отъ гнета семинарской схоластики единственно благодаря подобному чтенію и увлекался лекціями Шадена въ московскомъ университетѣ, гдѣ раскрывались передъ нимъ теорія нравственности Шефтсбэри и философскіе взгляды Дидро и Даламбера. Товарищи Евгенія по академіи раздѣляли его вкусы; одинъ изъ нихъ, будучи уже священникомъ, не могъ никогда разстаться съ Жанъ-Жакомъ Руссо, который умѣлъ *трогать* его душу. Авторъ біографіи митрополита Евгенія [3]) сближая эти черты, взятыя изъ жизни, съ одной изъ мастерски написанныхъ страницъ въ радищевскомъ Путешествіи, гдѣ приведены жа-

---

[1]) „Разсужденіе, удостоенное награжденія отъ академіи дижонской въ 1750, на вопросъ, предложенный сею академіею, что возстановленіе наукъ и художествъ способствовало ли къ исправленію нравовъ?" Перев. Павелъ Потемкинъ. Второе изд. напечатано было Новиковымъ (Типографич. комп., 1787). Переводу предпослано предисловіе, полемизирующее съ „страннымъ" мнѣніемъ философа. Учитель Фонвизина, Рейхель, выступилъ также въ рѣчи на актѣ московскаго университета въ 1762 году противъ Руссо; его рѣчь переведенная Фонвизинымъ, напеч. въ Первомъ полномъ собран. сочин. Фонвизина, М., 1888.

[2]) Правда, у насъ съ особенной легкостью признавали тогда философскими звѣздами первой величины любого изъ этихъ писателей. Такъ чествовали Попа за его „Опытъ о человѣкѣ", переведенный профессоромъ Поповскимъ. Его считали даже вольнодумцемъ, и изъ-за этого перевода возникли клерикальныя пререканія; архіепископъ Амвросій вычеркивалъ изъ него наиболѣе опасныя мѣста, замѣняя ихъ строками своего сочиненія или выдержками изъ французскаго переложенія поэмы. Въ Германіи гораздо раньше разгадали дилеттантизмъ подобной философіи, переложенной въ стихи изъ салонныхъ разглагольствій покровителя Попа, Болинброка. „Pope ein Metaphysiker!" такъ въ видѣ ироническаго восклицанія озаглавилъ молодой Лессингъ свой отвѣтъ на предложенную берлинской академіей конкурсную задачу, и съ большой ироніею характеризовалъ странность научнаго отношенія къ философской забавѣ стихотворца.—Въ новѣйшее время старинная знаменитость Попа введена въ надлежащія скромныя рамки Лесли Стифеномъ (біографія Попа въ English men of letters и статья „Pope as a moralist" въ Hours in a library).

[3]) Кіевскій митрополитъ Евгеній Болховитиновъ, статья Н. С. Тихонравова. Сочиненія, томъ III, ч. I.

лобы семинариста, бредущаго пѣшкомъ въ столицу учиться, на умственное коснѣніе въ бурсѣ и на неудовлетворенную жажду просвѣщенія, имѣлъ основаніе признать живую вѣрность этой жанровой картинки.

Если же такому бурсаку выпадала завидная доля докончить образованіе на западѣ, не читать исподтишка умныя книжки, не блуждать по-ломоносовски на столбовой дорогѣ въ погонѣ за слабой и тщедушной русской наукой, изъ него выходилъ бодрый научный работникъ съ новыми взглядами и свободными убѣжденіями. Десять семинаристовъ, посланныхъ въ 1765 г. въ Оксфордъ и Кэмбриджъ съ цѣлью образовать изъ нихъ профессорскій персоналъ богословскаго факультета въ Москвѣ, пробывъ въ Англіи отъ семи до девяти лѣтъ, возвратились на родину полезными и развитыми дѣятелями [1]). Троицкій семинаристъ Десницкій, довершивъ образованіе въ Шотландіи (въ Глазго), вернулся въ Москву, гдѣ передъ нимъ открылась профессура въ университетѣ, проповѣдникомъ освободительныхъ идей. Относясь сочувственно къ принципамъ, выставленнымъ Екатериною въ „Наказѣ“, онъ шелъ дальше и въ образецъ русскимъ реформамъ (народному представительству, новымъ основамъ судопроизводства, введенію суда присяжныхъ и т. д.) ставилъ Англію съ ея учрежденіями, культомъ законности [2]), свободной мысли. Но онъ имѣлъ въ виду не одно только преобразованіе русскаго законодательства на гуманныхъ началахъ; въ самую жизнь хотѣлъ бы онъ вдохнуть бодрый духъ самодѣятельности, который удивлялъ его въ англичанахъ, завоевавшихъ себѣ вольность долгой выдержкой въ борьбѣ, уваженіе къ человѣческому достоинству, признаніе женской равноправности, за которую онъ чуть ли не первый на Руси замолвилъ слово [3]).

Пока складывалась, развивалась и потомъ постепенно гасла въ охладѣвшей атмосферѣ дѣятельность всѣхъ вспомянутыхъ нами писателей и ученыхъ просвѣтительной поры, миссія восьмнадцатаго вѣка приходила къ концу; наиболѣе живой отголосокъ дальнихъ бурь,—книга Радищева,—былъ заглушенъ среди общаго равнодушія, и какой-то злорадный свидѣтель (по преданію, будто бы Державинъ) напутствовалъ иронической эпиграммой несчастнаго собрата-обличителя, „русскаго Мирабо“, отправлявшагося въ свое безконечное искупительное путешествіе. Но и самъ Державинъ за оду „Властителямъ и судіямъ“, переложенную изъ псалмовъ Давида, сочтенъ былъ якобинцемъ. Противъ Новикова скоплялись тучи, и общество впадало въ прежнюю запуганную безучастность. Оно стало бояться прежнихъ своихъ любимцевъ, зная теперь, къ чему неминуемо приводитъ ихъ ученіе („вы, господа французы, па-

---

[1]) „Изъ жизни русскихъ студентовъ въ Оксфордѣ въ царств. Екатерины II“, ст. проф. Александренко. Журн. мин. нар. просв. 1893, янв.; также Вѣстн. Европы, 1873, Проектъ богосл. факультета въ московскомъ университетѣ при Екатеринѣ.

[2]) Любопытно, что вымышленный семинаристъ, выводимый Радищевымъ, необыкновенно высоко ставилъ переведенную Десницкимъ книгу англійскаго юриста Блекстона: „Истолкованіе англійскихъ законовъ“, и желалъ бы, „чтобъ судьи имѣли эту книгу вмѣсто святцевъ и чаще заглядывали въ нее, чѣмъ въ календарь“.

[3]) Юридическое разсужденіе о началѣ и происхожденіи супружества. М. 1774.

дали все ниже, отъ вольтерьянства въ жанъ-жакизмъ, потомъ въ рейнализмъ, и, наконецъ, въ мираболизмъ, что хуже всего", говорилъ Суворовъ Ланжерону) [1]). Давно ли, при одной вѣсти о парижскомъ переворотѣ 1789 года, въ Петербургѣ началось такое ликованіе, что, казалось, взята была не чужая, а русская Бастилія, и мы были наканунѣ великихъ событій [2]), давно ли, разлившись по всей Европѣ, вызвавъ восторги столь разнородныхъ дѣятелей, какъ Клопштокъ и Кантъ, Бэрнсъ и Питтъ, Эразмъ Дарвинъ, Пристлей и Шиллеръ, энтузіазмъ къ французскому освобожденію передался и на берега Невы? Вскорѣ все затихло, какъ будто испугавшись недавней смѣлости, а офиціальная печать, сохранившая исключительное право направлять общественное мнѣніе, ежедневно пугала его парижскими ужасами, выставляя главныхъ дѣятелей злодѣями, браня Лафайэтта и Мирабо,—хотя было время, когда Екатерина увлекалась американской экспедиціей Лафайэтта и предлагала ему перейти въ русскую службу, а съ Мирабо велись тайные переговоры посломъ Симолинымъ.

Не могли разомъ остыть и заглохнуть молодыя еще силы, успѣвшія развиться при сравнительномъ привольѣ предшествующей поры; имъ суждено было пережить порывы негодованія, презрѣнія къ обществу, стремленія вырваться изъ оковъ; въ нихъ развивались донельзя чуткая нервность, быстрые переходы отъ восторговъ къ унынію и отъ слезъ къ вызывающему смѣху. Это былъ ихъ способъ борьбы съ рутиной, способъ ребяческій, дышащій незнаніемъ жизни,—но вѣдь его принимали же за что-то великое нѣмецкіе юноши конца вѣка, поколѣніе „геніевъ", въ своемъ „Sturm und Drang'ѣ", въ сущности не сдвигавшемся съ мѣста, видѣли же они цѣль своего протестующаго существованія! И на Руси тоже не обошлось безъ своего „Sturm und Drang'a", хотя длился онъ недолго, не предавался бурнымъ излишествамъ и не можетъ выставить ни одного крупнаго, созданнаго имъ, произведенія подстать къ гетевскому „Гетцу" или шиллеровскимъ „Разбойникамъ".

Карамзинъ, его другъ Петровъ, Кутузовъ, небольшой, но тѣсный московскій кружокъ, группировавшійся около семьи Плещеевыхъ, прониклись идеями такого либеральнаго лиризма. Чувствительность Карамзина, унаслѣдованная отъ матери и непомѣрно развитая еще въ дѣтствѣ чтеніемъ множества переводныхъ романовъ (которое онъ даже впослѣдствіи, въ „Рыцарѣ нашего времени", признавалъ прекраснымъ педагогическимъ средствомъ противъ растлѣвающей прозы житейской), удачно

[1]) Изъ неизданныхъ мемуаровъ Ланжерона въ парижск. Націон. Библіотекѣ; Larivière, Catherine II et la révolution franç., 1895, p. 105. Екатерина до извѣстнаго времени все же старалась хоть сколько-нибудь снять вину съ философовъ, доказывая, напр., въ письмѣ къ Гримму 1793 г., что они заблуждались, думая, что проповѣдуютъ добрымъ и честнымъ людямъ.

[2]) Сегюръ (Mémoires ou souvenirs et anecdotes, 1826) былъ свидѣтелемъ, какъ въ Петербургѣ и русскіе, и иностранцы, „встрѣчаясь на улицѣ, радостно обнимались и поздравляли другъ друга, какъ будто ихъ освободили отъ слишкомъ тяжелой цѣпи, угнетавшей ихъ". Для Екатерины парижскія событія были поразительной неожиданностью. За годъ съ небольшимъ до взятія Бастиліи, 19 апр. 1788, она писала Гримму, что „не раздѣляетъ мнѣнія тѣхъ, кто думаетъ, будто мы наканунѣ революціи".

встрѣтилась въ масонскій періодъ жизни Карамзина съ мефистофелевскимъ сарказмомъ Петрова. Нѣмецкая начитанность перваго дополнялась англійскими литературными вкусами его друга, а идеи братства и человѣчности, усвоенныя въ новиковскомъ кружкѣ, нашли для себя подготовленную почву въ свободолюбивыхъ мечтаніяхъ Карамзина, бывшаго ученика Шадена, никогда не забывшаго, какъ старый педагогъ приходилъ къ нимъ бывало въ классъ съ ликующимъ видомъ и съ бюллетенемъ въ рукахъ о побѣдахъ Вашингтона. Но у кружка была непосредственная связь съ школой „Бурныхъ стремленій". Послѣ болѣзненнаго, безумнаго соперничества съ Гете, лихорадочно напряженнаго творчества во всевозможныхъ родахъ литературы, вызвавшаго въ немъ неизлѣчимую душевную болѣзнь, доживалъ свои послѣдніе дни въ Москвѣ (нѣсколько времени даже въ одномъ домѣ съ Карамзинымъ) лифляндецъ Ленцъ, нѣкогда одинъ изъ блестящихъ участниковъ кружка Гете. Владѣя умственными силами лишь въ полосы просвѣтовъ, онъ все же былъ прежде живымъ свидѣтелемъ и участникомъ важнаго періода въ новой нѣмецкой поэзіи, корреспондентомъ многихъ ея дѣятелей, занимательнымъ, хоть и эксцентричнымъ разсказчикомъ о людяхъ и дѣлахъ недавняго прошлаго. Втихомолку онъ не переставалъ писать,—искры прежняго таланта сверкали иногда въ его произведеніяхъ, на которыхъ лежала печать душевной боли („въ самомъ сумасшествіи онъ удивлялъ насъ піитическими идеями",—говоритъ Карамзинъ)—пока смерть не положила конецъ его грустному существованію и прежній баловень судьбы не найденъ былъ мертвымъ на одной изъ московскихъ улицъ [1]).

---

[1]) Время его жизни въ Россіи до сихъ поръ образуетъ пробѣлъ во всѣхъ его нѣмецкихъ біографіяхъ. Въ одной изъ лучшихъ, принадлежавшихъ Эриху Шмидту („Lenz und Klinger. Zwei Dichter aus der Geniezeit", Berl., 1878), оно вспомянуто, напр., лишь въ нѣсколькихъ словахъ. Русская біографія Ленца („Поэтъ періода бурныхъ стремленій, Якобъ Ленцъ") М. Н. Розанова (1901) сгруппировала и въ этомъ отношеніи много фактовъ. Балтійскій литераторъ, г. Егоръ фонъ-Сиверсъ, долго собиралъ матеріалы для полной біографіи Ленца и открылъ немало произведеній въ стихахъ и прозѣ, написанныхъ имъ въ Россіи; эти матеріалы отчасти напечатаны въ Baltische Monatschrift, 1866, мартъ 1879, 6—7 тетрадь; остальное хранится въ семейныхъ бумагахъ гг. Сиверсъ. Драматическія произведенія, оставшіяся послѣ Ленца, изданы были Карломъ Weinhold'омъ, „Dramatischer Nachlass von J. M. R. Lenz". Frankf., 1884. Между стихотвореніями предсмертной поры находимъ (очевидно, масонскую по титулу) оду „Le jour d'Hélène ou de fondation d'un nouvel ordre", между прозаическими проектъ открытія въ Москвѣ литературнаго съѣзда, Опытъ объ изящной словесности *безъ правилъ* („Belles lettres sans principes"); Опытъ о воспитаніи; Comédie des bêtes (драматическая сцена) и т. д. Въ числѣ отрывковъ изъ пьесъ есть сцена изъ драмы о Борисѣ Годуновѣ, изображающая разговоръ Бориса съ какимъ-то купцомъ изъ Углича, совѣтующимъ ему избавиться отъ царевича Дмитрія и возмущающимъ правителя своимъ безстыдствомъ и цинизмомъ. Полное собраніе сочиненій Ленца стало выходить (1909) въ Мюнхенѣ подъ ред. Franz Blei.—Пора „Бурныхъ стремленій" выслала въ Россію и другого своего представителя. На русской службѣ (генераломъ, директоромъ корпуса, попечителемъ дерптскаго учебнаго округа) провелъ долгіе годы Клингеръ, по титулу бурной юношеской пьесы котораго „Sturm und Drang" названъ былъ весь періодъ. Его переписка изъ Петербурга съ Гете напечатана въ Göthe-Jahrbuch, III, 1882. Въ Россіи написаны были многіе изъ его романовъ, въ томъ числѣ повѣсть изъ жизни Фауста (Faust's Leben), занимающая не послѣднее мѣсто въ литературѣ, вызванной гетевской трагедіей (русскій переводъ изд. въ М. 1913).

Въ кружкѣ боготворили Руссо, рвались на волю и въ одиночество, поэтизировали американскую войну и предвѣстія французской революціи, швейцарскую свободу; Карамзинъ считалъ своими любимыми героями Франклина и Вильгельма Телля. Потомъ научились цѣнить мрачныя красоты британскихъ поэтовъ и ихъ нѣмецкихъ послѣдователей. Карамзинъ, переводившій сначала дидактическія поэмы швейцарца Галлера или Геснеровы идилліи, съ увлеченіемъ переводитъ „Юлія Цезаря“ или „Эмилію Галотти“, гдѣ каждая строка дышитъ ненавистью къ тираніи и самоуправству; со временемъ онъ станетъ поклонникомъ Робеспьера и будетъ потрясенъ его убійствомъ... Вѣчная противоположность идеаловъ и дѣйствительности угнетала порою друзей до меланхоліи, чуть не до мистицизма,—вмѣстѣ просиживали они до бѣлаго дня въ небольшой каморкѣ масонскаго братства, читая „Юнговы Ночи“ и смотря на стоявшее передъ ними распятіе; Карамзинъ еще изъ Москвы завязываетъ сношенія съ Лафатеромъ, посвящаетъ его въ свою душевную жизнь и проситъ указаній и совѣтовъ въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія [1]).

Путешествіе Карамзина по Европѣ (какъ полагалъ Тихонравовъ, въ особенности внушенное совѣтами Ленца), значительно расширивъ его горизонтъ, внесло вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе практическій элементъ въ его грезы и стремленія. Житье въ Швейцаріи не только дало ему много сладостныхъ минутъ на родинѣ его кумира Руссо, пріучило понимать и художественно описывать, по примѣру Томсона (въ его „Временахъ года“), красоты природы, но внушило ему сочувствіе къ швейцарскому соціальному строю; въ Англіи онъ внимательно присмотрѣлся къ институту мирового суда, къ суду присяжныхъ, вѣротерпимости, самоуправленію, слышалъ въ парламентѣ Фокса, Шеридана; во Франціи онъ не устоялъ передъ сильными впечатлѣніями революціи, и въ послѣдовательныхъ передѣлкахъ текста „Писемъ“ ему пришлось ослаблять первоначальныя проявленія сочувствія. Изъ первыхъ источниковъ познакомился онъ съ состояніемъ современной европейской мысли, отъ великаго Канта до фантаста Лафатера, и перевидалъ почти всѣхъ выдающихся поэтовъ, пытливо вызывая „великихъ людей“ на откровенность въ своихъ любознательныхъ interviews. Съ увлеченіемъ становится онъ въ ряды сентиментельной школы. Въ легкой и разнообразной формѣ дорожнаго дневника, указанной какъ Радищеву, такъ и ему, блестящимъ примѣромъ Стерна, онъ посвящаетъ читателя въ свои задушевныя мысли, желанія и наблюденія [2]),—и въ то же время обставляетъ свои изліянія (какъ доказали

[1]) Письма Карамзина къ Лафатеру напечатаны въ „Сборникѣ отд. р. яз. и слов. Акад. Наукъ“, т. 54, томъ 73. Навсегда сохранилъ онъ свѣтлое воспоминаніе о близкомъ знакомствѣ съ нимъ въ Женевѣ и послѣ смерти Лафатера помѣстилъ въ Вѣстн. Евр. 1802 г., № 6, переводную статью съ примѣчаніями, проникнутыми искренней симпатіею.

[2]) Въ „Письмахъ русск. путешеств.“ множество выписокъ изъ Стерна и ссылокъ на его книги; онѣ встрѣчаются, напр., въ письмахъ изъ Бруга, Цюриха, Лозанны, Ліона; въ іюлѣ 1789 г., вѣроятно, подъ впечатлѣніемъ взятія Бастиліи, онъ вписываетъ изъ „Тристрама Шанди“ слова капрала Трима: „nothing can be so sweet as liberty“ (ничто не можетъ быть сладостнѣе свободы).

теперь тщательныя сличенія) сложнымъ аппаратомъ вычитаннаго и усвоеннаго западнаго матеріала [1]). Съ опредѣленными цѣлями литератора и публициста въ западномъ духѣ возвращается онъ въ отечество. На немъ лежитъ такой типическій отпечатокъ европейца, въ его нарядѣ, манерахъ, свободныхъ рѣчахъ такъ видны привычки къ непринужденности и самоопредѣленію, что испуганные собесѣдники отводятъ его въ сторону послѣ одного изъ его первыхъ обѣдовъ въ петербургскомъ свѣтѣ и совѣтуютъ быть осторожнѣе.

Онъ ревностно принялся за дѣло. Его „Московскій журналъ", созданный въ подражаніе западнымъ образцамъ, былъ все-таки первымъ, дѣйствительно живо веденнымъ русскимъ литературнымъ журналомъ съ толковымъ критическимъ отдѣломъ, „Письмами русскаго путешественника", т.-е. занимательной хроникой европейской жизни и литературы, новой иностранной беллетристикой и попытками самого редактора создать чувствительную повѣсть стерновскаго оттѣнка (вліяніе Стерна [2]) замѣтно не только въ *Бѣдной Лизѣ*, но и въ *Натальѣ боярской дочери*, среди древнерусской обстановки) [3]); легкость и выразительность новаго слога, вызванная состязаніемъ съ европейскимъ стилемъ, помогла усвоенію проводимыхъ въ массу идей и вмѣстѣ съ тѣмъ создала эпоху въ жизни русскаго языка. Изъ молодого редактора могъ выработаться со временемъ талантливый руководитель литературнаго движенія, чуткій и къ Шекспиру, и къ вліяніямъ новой словесности, представитель новой эстетики Лессинга и Гердера, отзывчивый на всѣ живыя явленія въ литературѣ и даже политикѣ Европы, любившій все родное, ставя, однако, выше его общечеловѣческое. „Главное дѣло,—говорилъ онъ тогда, — быть людьми, а не славянами. Что хорошо для людей, то не можетъ быть дурно для русскихъ; что англичане или нѣмцы изобрѣли для пользы, выгоды человѣческой, то мое, ибо я человѣкъ". Но съ порой быстраго его писательскаго роста совпадаетъ начало наиболѣе тяжкой полосы для всей литературы. Кругомъ Карамзина рѣдѣютъ ряды друзей; Петрова уже нѣтъ, и некому охлаждать расплывчивость его чувствительности зрѣлымъ и спокойно-остроумнымъ словомъ; Кутузовъ рѣшительно отдалился отъ него послѣ его отпаденія отъ масонства и недружелюбно смотритъ на его отважныя литературныя притязанія. Нови-

---

[1]) В. В. Сиповскій („Н. М. Карамзинъ, авторъ Писемъ русск. путешественника", Спб. 1899), пройдя по слѣдамъ Тихонравова и Буслаева, подробно выяснилъ вліяніе на „Письма" книги Морица „Reisen eines Deutschen in England", „Tableau de Paris" Мерсье, писемъ Кокса о Швейцаріи (франц. перев. „Lettres de mr. Willam Coxe à mr. Melmoth sur l'état politique, civil et naturel de la Suisse"), описаній Парижа и окрестностей Dulaure'a. Часто выдержки введены сполна въ карамзинскій текстъ.

[2]) Любопытно его предположеніе о генеалогіи стерновскаго направленія. Въ „Письмахъ рус. путешеств." по поводу поѣздки въ Медонъ, приходъ Рабле, онъ, опредѣляя его значеніе, высказываетъ мысль, что Стернъ испыталъ вліяніе великаго сатирика.

[3]) Нѣсколько примѣровъ: „Любезный читатель! Прости мнѣ сіе отступленіе! Не одинъ Стернъ былъ рабомъ своего воображенія".—„Кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая сообщается только для однихъ *чувствительныхъ душъ*, имѣющихъ сію сладкую вѣру" и т. п.

ковъ и все его братство въ опалѣ; до Карамзина доходятъ слухи, что его собственное положенiе становится небезопаснымъ, что въ столицѣ подозрительно слѣдятъ за его дѣйствiями; сначала его, потомъ его друга Дмитрiева призываютъ къ допросу. Его подозрѣваютъ въ „атеизмѣ, вольнодумческомъ и якобинскомъ ядѣ", доносчики утверждаютъ, что онъ „цѣлитъ въ перваго консула". Ему приходится встрѣчать грудью всѣ невзгоды.

Вчитываясь въ его письма за послѣднiя пятнадцать лѣтъ восьмнадцатаго вѣка и въ тѣ аллегорическiя произведенiя, гдѣ, скрываясь за какихъ-нибудь Филалетовъ или Мелодоровъ, онъ высказываетъ свое тревожное или отчаянное состоянiе духа, мы ясно видимъ, какъ годъ отъ году онъ поневолѣ отрѣшается отъ прежнихъ надеждъ, отдается безсодержательному стихотворству или безобиднымъ философскимъ разсужденiямъ, которыя слагаетъ въ духѣ западныхъ деистовъ, издаетъ невинные альманахи или общеобразовательные сборники (Пантеонъ иностранной словесности, который ему хотѣлось бы превратить въ „родъ журнала, посвященнаго иностранной литературѣ"), которые, несмотря на то, цензура находитъ возможнымъ обезображивать („цензура, какъ черный медвѣдь, стоитъ на дорогѣ", пишетъ онъ Дмитрiеву, 1798), задыхается въ своей новой роли и часто стыдится ея. Прожить съ такою печатью безмолвiя на устахъ не легко для натуры не особенно сильной; утомленный, разбитый, едва доживаетъ Карамзинъ до лучшихъ дней. Съ воцаренiемъ Александра привычные Карамзину интересы выдвигаются снова на первый планъ, западничество опять дѣлается двигательной силой, — но у него уже нѣтъ прежней энергiи, жизнь успѣла многому научить [1]), и прежнiй порывистый юноша, поклонникъ Франклиновъ и Теллей, истолкователь Шекспира и Лессинга,—послѣ недолгой, опять западнической, журнальной попытки съ Вѣстникомъ Европы,—окончательно сворачиваетъ съ прежняго пути, замыкается въ тиши кабинета и за дѣлами давно минувшихъ дней начинаетъ забывать о молодыхъ, горячихъ интересахъ подросшаго на смѣну ему поколѣнiя [2]).

Не одного Карамзина коснулось влiянiе той пугливой подавленности, въ которой русское общество доживало восьмнадцатое столѣтiе. Будущiе дѣятели и писатели, чья молодость совпала именно съ этой порой, навсегда сохранили слѣды ея мертвящаго духа. О сближенiи съ Европой нечего было и думать,—развѣ подъ флагомъ мальтiйскаго рыцарства, пересаженнаго тогда Павломъ въ Россiю и вызвавшаго потѣшно-напыщенную игру въ старозавѣтныя бытовыя формы запада. Сочувствiе

---

[1]) Печальной житейской мудростью вѣетъ отъ тонкой и остроумной карамзинской параллели „Чувствительнаго и Холоднаго", открывающей собою XIX вѣкъ. Торжество благоразумныхъ, ко всему равнодушныхъ людей оттѣнено заявленiемъ, въ которомъ сказался прежнiй Карамзинъ: „одни чувствительные приносятъ великiя жертвы добродѣтели, удивляютъ свѣтъ великими дѣлами, для которыхъ, по словамъ Монтаня, нуженъ всегда небольшой примѣсъ безразсудности, un peu de folie".

[2]) Отмѣтимъ здѣсь же, что одно изъ первыхъ проявленiй въ Карамзинѣ желанiя когда-нибудь посвятить себя русской исторiи, находящееся въ письмѣ изъ Парижа въ маѣ 1790 года, коренится съ соревнованiи съ западными народами, которые уже имѣютъ своихъ Юмовъ, Робертсоновъ и Гиббоновъ.

умственнымъ интересамъ и общественнымъ движеніямъ Европы считалось преступнымъ, запрещалось даже употребленіе предосудительныхъ словъ,— отечество, представитель, гражданинъ,—напоминавшихъ чѣмълибо о новомъ французскомъ государственномъ строѣ; ввозъ иностранныхъ книгъ въ Россію былъ сначала ограниченъ двумя таможнями, а затѣмъ и вовсе воспрещенъ, такъ какъ, по словамъ указа 1800 года, „черезъ ввозимыя изъ-за границы разныя книги наносится развратъ вѣры, гражданскаго закона и благонравія". Русскихъ студентовъ вернули (1799) изъ-за границы. Для поколѣнія постарше такія мѣры показались переломомъ, отреченіемъ отъ прошлаго. Воспитанный въ идеяхъ Никиты Панина, этого фанатика „непремѣнныхъ государственныхъ законовъ", сторонника европейской культуры и народнаго самоуправленія, послѣдовательно и рѣшительно осуждавшій бывало произволъ матери и превзошедшій ее въ беззаконіи, Павелъ и по отношенію къ европейской образованности рѣзко перемѣнился. Въ молодые годы объѣхавшій всю Европу подъ именемъ графа Сѣвернаго, онъ пріобрѣлъ тогда популярность либеральными поступками и мнѣніями,—посѣщеніемъ отставленнаго Неккера, неудовольствіемъ по поводу запрещенія парижской театральной цензурой трагедіи Ла Гарпа „Jeanne de Naples", въ которой заподозрѣны были выходки противъ Екатерины [1]), согласіемъ выслушать въ своемъ салонѣ чтеніе самимъ Бомарше гонимой тогда „Свадьбы Фигаро" и восхваленіемъ этой комедіи [2]). Отъ прежняго европеизма не осталось слѣдовъ. Послѣ *теоретической* враждебности Екатерины противъ мятежнаго французскаго народа, готовой унизить его, ослабить его друзей, возбудить европейскую войну для обузданія Франціи, но не вмѣшивать въ нее Россію [3]), теперь у правителя укоренялось убѣжденіе, что для насъ пришло время спасать Европу отъ гибельныхъ идей; народныя силы и деньги, героизмъ русскихъ войскъ, шедшихъ умирать въ снѣгахъ швейцарскихъ горъ или равнинахъ Ломбардіи, таланты Суворова, все напрягалось для достиженія этой безнадежной цѣли. Удручающее, мертвящее затишье общественной и литературной дѣятельности, въ значительной степени еще нуждавшейся въ поддержкѣ запада, не могло не наступить. Случайныя свѣтлыя минуты, въ родѣ заглаживавшаго екатерининскія напраслины освобожденія Радищева и полумертваго Новикова, передъ которымъ растроганный, охваченный стыдомъ и ужасомъ, Павелъ опустился на колѣна,—нѣкоторыхъ льготъ вообще масонамъ, быть можетъ,

---

[1]) Hallays-Dabot. Histoire de la censure théatrale en France, 1862, p. 125—6.

[2]) Loménie, „Beaumarchais et son temps", II, 301—2.—Изъ напечатаннаго въ книгѣ Lintilhac'a „Beaumarchais et ses oeuvres", 1887, с. 407, письма къ Бомарше отъ одного изъ придворныхъ французскихъ актеровъ, исполнявшаго порученіе директора театровъ Бибикова, видно, что со стороны русскаго двора дѣлались сначала настоятельныя усилія получить primeur Свадьбы Фигаро, интересовавшей уже какъ „продолженіе Севильск. Цирюльника, выдержавшаго въ Петербургѣ 50 представленій и не перестающаго восхищать". Когда Екатерина познакомилась съ пьесой, революціонный духъ возмутилъ ее, и сношенія прекратились.

[3]) Ср. Albert Sorel, L'Europe et la révolution, I, 516—18, IV, 44. Larivière. Catherine et la révol., p. 98—118.

его былымъ товарищамъ [1])—снятія запрета съ капнистовской *Ябеды,*—терпимости къ журнальной дѣятельности Пнина съ ея проповѣдью просвѣщенія и гуманности, были слишкомъ рѣдки, чтобъ нарушить впечатлѣніе летаргическаго сна, сковавшаго всю жизнь.

Закрывая „Московскій журналъ“ и замѣняя его невиннымъ альманахомъ съ приторнымъ заглавіемъ „Аглая“, Карамзинъ закончилъ свое объясненіе съ читателями грустными словами, смыслъ которыхъ оказался вскорѣ пророческимъ и для него и для всего культурнаго движенія восьмнадцатаго вѣка:

„Драма кончилась и занавѣсъ опускается“.

---

[1]) Преданіе, утверждавшее, что Павелъ не только находился въ сношеніяхъ съ масонами, но даже былъ келейно принятъ въ масонство, находитъ вѣру у новѣйшихъ историковъ ордена.

IV.

Внезапно пробужденное изъ летаргическаго забытья, русское общество, а вмѣстѣ съ нимъ и литература не скоро могли придти въ себя. Слишкомъ уже силенъ былъ контрастъ между тяжелымъ кошмаромъ, который свинцовымъ гнетомъ давилъ умъ и совѣсть русскаго человѣка, и тою радужной картиной всеобщаго благополучія, которая открылась передъ нимъ съ первыхъ же дней царствованія Александра. Оттого такъ много лирически-неумѣренныхъ восторговъ и оптимизма во всѣхъ тогдашнихъ проявленіяхъ общественнаго мнѣнія, начиная съ похвальныхъ словъ и одъ присяжныхъ стихотворцевъ и кончая объятіями и христосованіемъ на улицѣ незнакомыхъ другъ другу людей послѣ вѣсти о смерти Павла. Мало-по-малу упоеніе начало улегаться, и оказалось достаточно досуга, чтобъ подвести итоги всѣмъ положительнымъ пріобрѣтеніямъ. Въ числѣ снятыхъ запретовъ многіе касались развитія образованности, науки,—не только стало вообще вольнѣе дышать, но, казалось, можно было безбоязненно мыслить и высказываться. На первый взглядъ естественно было ожидать расцвѣта литературы. Но внѣшнихъ льготъ, отмѣнъ или послабленій было недостаточно; рвеніе молодого правителя и того кружка его товарищей, который, словно забывая, что времена перемѣнились, окружалъ таинственностью свои либеральныя совѣщанія, украшенныя революціоннымъ титуломъ „Comité de salut public", и будто бы чреватыя великими преобразованіями, не могло удовлетворить важныхъ запросовъ жизни; нужна была подготовка для широкаго развитія реформъ, нужны были надежныя нравственныя силы, самостоятельно выработавшіяся личности,—ничего подобнаго не было въ обществѣ; все вытравила изъ слабаго еще культурнаго слоя предшествовавшая реакція.

Восьмнадцатый вѣкъ завѣщалъ, правда, своему преемнику нѣсколько литературныхъ репутацій, которыя могли бы взять на себя руководство русскимъ литературнымъ движеніемъ. Но въ самомъ началѣ столѣтія не стало Радищева; два года спустя скончался даровитѣйшій его послѣдователь Пнинъ. Въ борьбѣ съ жизнью силы многихъ дѣятелей предшествовавшей поры, далеко не гигантскія, попритупились; Карамзина манило къ себѣ кабинетное затишье ученаго, Дмитріевъ и Державинъ уже вступили въ кругъ дряхлѣвшихъ, хотя и достопочтен-

ныхъ, знаменитостей и доживали вѣкъ на правахъ литературнаго генеральства; Капнистъ, выказавъ всю мѣру своей язвительно-насмѣшливой наблюдательности и гражданственнаго негодованія въ *Ябедѣ*, уединился въ своей украинской деревнѣ, и отъ горацiанскихъ упражненій, переводовъ изъ Мольера или басенъ отклонялся развѣ для вмѣшательства въ намѣченную, казалось, работу по судебной реформѣ. На ряду съ ними подвизались различныя бездарности, преимущественно изъ бурсаковъ, выдвинувшіяся впередъ въ эпоху реакціи благодаря усиленному спросу на „умѣренность и аккуратность",—а на стражу стараго начала уже выступилъ (1808) съ своимъ „Разсужденіемъ о старомъ и новомъ слогѣ" Шишковъ, поддержанный охранительнымъ штабомъ *Бесѣды* и Россійской Академіи. Стародавніе вкусы, совсѣмъ было заслоненные попытками создать новую литературную школу, брали верхъ, и успѣхъ шишковскаго ученія былъ въ извѣстной степени обезпеченъ задолго до кризиса отечественной войны.

Но въ то самое время, когда русскій образованный слой принужденъ былъ довольствоваться подобной прѣсной умственной пищей, чуть не возвращаясь къ семнадцатому вѣку,—въ Европѣ снова поднимались волны сильнаго литературнаго движенія. Впечатлѣнія и вліянія желѣзной военной диктатуры, смѣнившей надежды на всеобщее обновленіе, воспитали и выдвинули изъ опускавшагося снова въ индифферентизмъ французскаго и англійскаго общества школу смѣлаго протеста; раздавались вдохновенные диѳирамбы свободѣ и укоры „мѣщанской" апатіи. Продолжатели дѣла, начатаго въ Англіи немногими горячими сторонниками французскаго переворота и проповѣдниками свободы мысли, Годвиномъ съ его теоріей „Политической Справедливости", Мэри Вольстонкрафтъ, защищавшей въ своей „Vindication of the rights of woman", 1792, женскую равноправность, Томомъ Пэйномъ, провозглашавшимъ „Права человѣка" и наступленіе „Вѣка разума", Бэрнсомъ,—Ландоръ, Байронъ, разрывали связи съ старымъ общественнымъ строемъ, протестовали противъ застоя и порабощенія, звали къ освобожденію всѣ угнетенныя племена. Италія, „страна мертвыхъ", пробуждалась къ тревожной жизни заговоровъ и тайныхъ обществъ, политическаго мученичества и безчисленныхъ возстаній; снова воскресала дантовская греза о единой и свободной Италіи; ее прославлялъ въ своихъ одахъ Манцони, ради нея гибли, томились въ тюрьмахъ или уходили въ изгнаніе Уго Фосколо, Сильвіо Пеллико. „Литература эмигрантовъ" сгруппировала за предѣлами подавленной и безгласной Франціи все даровитое, недовольное, рвущееся на волю или терзаемое народной и личной скорбью, все разочарованное или полное мстительности поколѣніе „сыновъ вѣка", воплощенное въ герояхъ Шатобріана, Бенжамена Констана, Сенанкура, г-жи Сталь. На чужбинѣ эмигранты излѣчивались отъ одностороннихъ французскихъ интересовъ и симпатій, знакомились съ умственной жизнью другихъ племенъ, особенно Англіи и Германіи. Блестящая характеристика новой нѣмецкой литературы въ книгѣ г-жи Сталь „De l'Allemagne" и личныя связи ея автора съ корифеями мыслящей Германіи устанавли-

вали международный обмѣнъ, поддерживая широкое космополитическое общеніе, такъ много обязанное учителю m-me de Staël, Руссо. Великій подъемъ гетевской мысли и творчества, увѣнчанный появленіемъ „Фауста“, пламенная драматургія Шиллера, окруженныя новшествами первыхъ романтиковъ, возбужденный внѣшними политическими опасностями походъ романтической литературы во имя народности и славной старины, все бурно и интенсивно переживалось на рубежѣ вѣковъ Германіею, почти совсѣмъ не коснувшись въ ту пору русской мысли.

Неравенство силъ, глубины и серьезности должно было бросаться въ глаза всякому, кто хотѣлъ бы сравнить это страстное возбужденіе съ мирнымъ сномъ отечественной словесности. Каково бы ни было художественное или соціальное значеніе той или другой западной школы, слишкомъ ясно было, что тамъ все живетъ, кипитъ, волнуется, тогда какъ ни русская поэзія державинскаго пошиба, ни журналистика Каченовскихъ и Воейковыхъ, ни едва прозябавшая въ университетѣ и академіи наука не въ силахъ были заговорить даже сколько-нибудь живымъ и понятнымъ языкомъ.

А между тѣмъ ворота въ Европу были раскрыты настежь; всякій понималъ, что и теперь, какъ прежде, у нея необходимо искать освѣженія и поддержки, снова войдя въ русло общеевропейскаго развитія.

И съ довѣрчивостью плохо образованныхъ людей, которая повергала въ настоящее изумленіе такихъ умныхъ наблюдателей, какъ г-жа Сталь, во время пребыванія ея въ русской средѣ, 1812, (ее удивляло, что въ разговорѣ съ нею собесѣдникъ всегда перечислялъ все, что гдѣлибо было высказано по какому-нибудь предмету, но совершенно не въ состояніи былъ формулировать собственнаго мнѣнія), русское общество начала столѣтія гостепріимно принимало къ себѣ съ запада все и всѣхъ, плохо разбирая оттѣнки и направленія. Пришли къ нему роялисты-эмигранты, старавшіеся привить нашимъ дворянамъ тонкости усовершенствованнаго легитимизма; одно время перекочевалъ даже весь старый французскій дворъ, нашедшій убѣжище въ Митавѣ, съ Людовикомъ XVIII во главѣ; явились спасшійся отъ наполеоновскихъ гоненій апостолъ германскаго единства, мѣткій наблюдатель русской жизни и совѣтчикъ насущныхъ реформъ, особенно крестьянской, Штейнъ, и госпожа Сталь въ ореолѣ непримиримой вражды съ Наполеономъ и блестящаго своего литературнаго почина (въ Петербургѣ она знакомила многихъ съ ненапечатаннымъ еще и составившимъ эпоху этюдомъ своимъ „De l'Allemagne“) [1]; явился родной братъ Марата, спрятавшій свое страшное имя подъ псевдонимомъ Де-Будри, чтобъ гувернерствовать при Пушкинѣ въ лицеѣ, а въ интимныя минуты увлекать молодежь разсказами о революціи; пришли іезуиты съ своими воспитательными учрежденіями [2], и

---

[1]) Paul Gautier „Mad. de Staël et Napoléon“, 1903, 313—14,—также Staël, Dix années d'exil.

[2]) Аббатъ Nicolle, бывшій въ Парижѣ наставникомъ въ Collège Sainte-Barbe, основалъ въ Петербургѣ пансіонъ, куда стало модой отдавать дѣтей русской знати и куда лишь случайно не попалъ Пушкинъ; рядомъ съ этимъ съ 1800 года существовала въ столицѣ коллегія, основанная самимъ іезуитскимъ орденомъ; тутъ въ особенности выдвинулся père Rosaven.

всякаго рода мистики новѣйшей формаціи, и графъ Жозефъ Де-Местръ, долголѣтній сардинскій посланникъ при русскомъ дворѣ, глубокомысленный философъ консерватизма и міровой католической миссіи, поучавшій заправителей нашего народнаго просвѣщенія (гр. Разумовскаго) о вредѣ наукъ для Россіи, какъ страны *послушной* и смирной [1]). А наряду съ этимъ въ рукахъ молодежи очутились романтическія элегіи, проникнутыя міровой скорбью рѣчи различныхъ Рене и Адольфовъ, боевыя пѣсни Беранже, политическія трагедіи Кёрнера и Клейста, взывавшія къ освобожденію нѣмецкаго народа. Она съ увлеченіемъ приглядывалась къ политическому броженію на западѣ и научилась сочувствовать всякому народному освободительному движенію, гдѣ бы оно ни проявилось. Противостоять этому тяготѣнію невозможно было; оно охватывало, особенно въ первые годы, всѣхъ, начиная съ молодыхъ писателей и образованныхъ дворянъ, и кончая самимъ Александромъ. Если въ этомъ нашествіи иноплеменныхъ идей приходится искать источниковъ новыхъ русскихъ литературныхъ направленій, то, съ другой стороны, политическая и общественная программа Александра въ его лучшую пору не что иное, какъ переложеніе на русскіе нравы гуманныхъ теорій, вычитанныхъ въ свое время изъ философскихъ и педагогическихъ западныхъ книжекъ, иногда, правда, уже устарѣвшихъ (близко знавшіе его люди находили, что онъ остановился на общихъ принципахъ 1789 года), его воспитателями Лагарпомъ и Муравьевымъ. Съ молоду увлеченіе идеями Руссо, сборы къ гуманному правленію во вкусѣ просвѣтителей-филантроповъ, потомъ планы конституціонныхъ реформъ въ англійскомъ духѣ, французскія основы задуманныхъ, но не только не выполненныхъ, а заподозрѣнныхъ и задушенныхъ преобразованій Сперанскаго, потомъ патріотизмъ на почвѣ народничества, усвоенный у Штейна, затѣмъ воинствующій консерватизмъ въ духѣ Меттерниха, мистицизмъ г-жи Крюденеръ, квакерство и т. д.—какая пестрая смѣна „западныхъ“ увлеченій всѣхъ родовъ, смѣшавшихся съ византійскимъ лукавствомъ и самоуправствомъ чистокровнаго отечественнаго пошиба, наполнила эту жизнь!

Для того, чтобъ вліять въ частности на литературное движеніе эпохи, Александру при всемъ показномъ его сочувствіи къ умственному прогрессу недоставало живого интереса къ нему, творческой силы, свойственной въ извѣстной степени Екатеринѣ, даже просто пониманія нуждъ литературы. Если иногда ему и хотѣлось принять на себя роль мецената, то это совершенно ему не удавалось [2]). Въ противоположность обѣщанію править въ духѣ своей бабки, Александръ благоразумно воз-

---

[1]) „На что вамъ наука?—говорилъ онъ. — Она творитъ людей безпокойныхъ, самонадѣянныхъ, порицателей правительства, поклонниковъ всякой новизны, презрительно относящихся ко всякому авторитету и къ народнымъ догматамъ“.

[2]) Такъ онъ хотѣлъ, подражая Екатеринѣ, выказать любезность современнымъ французскимъ знаменитостямъ. Но для этого онъ просто послалъ Талейрану перстень для пожалованія, кому слѣдуетъ,—и все кончилось тѣмъ, что перстень получила какая-то посредственность.—„Lorsque Catherine faisait des largesses aux Voltaire, d'Alembert, on savait du moins les trouver“, справедливо замѣтилъ по этому поводу Воронцовъ (Архивъ Вор., XIV, 283).

держался отъ активнаго вмѣшательства въ судьбу литературы, занявъ сначала по отношенію къ ней нейтральное положеніе, напоминающее образъ дѣйствій Фридриха Великаго относительно литературы нѣмецкой. Во вторую половину царствованія аналогія между александровскимъ и екатерининскимъ временемъ возстановилась, нейтральность замѣнилась подозрительностью и карами, но уже было поздно, и обновленная литература, успѣвшая сложиться тѣмъ временемъ, вынесла и эту невзгоду.

Итакъ, на какую бы то ни было помощь со стороны власти разсчитывать было нечего. Наличныя литературныя силы принялись искать новыхъ путей сами, на свой страхъ, повинуясь личнымъ вкусамъ. Никакой правильно сложившейся и дружно дѣйствующей школы мы долго не видимъ. Взамѣнъ ея отдѣльныя личности отваживаются отклоняться отъ принятой рутины и, поддаваясь стремленію къ творческой свободѣ, отвоевываютъ шагъ за шагомъ почву для будущей литературы. Таково значеніе дѣятельности передового, ранняго отряда новыхъ писателей, Жуковскаго, Батюшкова, Нарѣжнаго.

Рано замѣтны у насъ предвѣстія приближающагося романтизма. Оссіану пришлось быть его пророкомъ и Ермилу Кострову, первому переводчику оссіановыхъ пѣсенъ [1]), его вѣстовымъ. Сильное впечатлѣніе, произведенное въ англійской литературѣ искусной поддѣлкой Макферсона подъ народную старину, сліяніемъ ея подлинныхъ памятниковъ съ археологическими измышленіями новой поэзіи, не сгладившееся даже въ ранній періодъ дѣятельности Байрона, распространяясь по всей Европѣ, покоряя себѣ Гете, Гердера, Шиллера, не могло не захватить и русской поэзіи, давъ ей первыя романтическія очарованія [2]) и долго не разставаясь съ нею (въ лицейскій періодъ Пушкинъ переводитъ „Кольну"); еще не затихло у насъ раціоналистическое направленіе галломановъ, а уже показался таинственный поѣздъ всадниковъ, богатырей дальняго сѣвера, повѣяло суровымъ привольемъ моря и горъ,—и передъ прелестью Оссіана преклонились даже поэты въ родѣ Державина. Въ концѣ восьмнадцатаго вѣка у насъ узнали и о нѣмецкой романтической поэзіи, и объ англійскихъ предтечахъ романтизма, Греѣ, Перси. Н. С. Тихонравовъ [3]) считалъ первымъ проблескомъ знакомства съ романтизмомъ переводныя баллады забытой теперь поэтессы и ученой женщины (серьезнаго математика и филолога) Анны Турчаниновой, поборницы женской самодѣятельности, обладавшей большимъ запасомъ знаній и меланхолическимъ взглядомъ на жизнь. Извѣстная баллада казанскаго дилетанта Каменева „Громвалъ", съ которой (1804) обыкновенно ведется у насъ исторія романтизма, имѣла предшественницъ въ двухъ балладахъ

---

[1]) „Оссіянъ, сынъ Фингаловъ, бардъ третьяго вѣка, Гальскія, иначе Эрскія или Ирландскія стихотворенія". Съ *французскаго* Е. Костровъ, 1792 г. Переводъ Александра Дмитріева, 1788, прошелъ незамѣченнымъ.

[2]) О вліяніи Оссіана—Henry Beers, History of english romanticism in the 18 century, 1899, 307—358, также книга Е. Балобановой „Поэмы Оссіана Джемса Макферсона, изслѣдованіе, переводъ и примѣчан.", 1891.

[3]) Сочин. Н. С. Тихонравова, томъ III, I, 1908, „В. А. Жуковскій", 427—8.

Турчаниновой (одна переведена изъ „Reliques of ancient english poetry“ епископа Перси), помѣщенныхъ въ „Пріятномъ и полезномъ препровожденіи времени“ [1]) 1795 года. Жуковскій прочелъ ихъ еще въ пансіонѣ.

Обаяніе романтизма слишкомъ сильно затронуло сокровенные помыслы и мечтанія слабонервной, чрезмѣрно чувствительной, воспитанной на сентиментализмѣ Томсона и Юнга, натуры Жуковскаго, чтобъ не увлечь его въ подражательность. Если въ отрочествѣ, несмотря на прививавшіеся ему средою ложноклассическіе вкусы, онъ уже увлекался „Сельскимъ кладбищемъ“ Грея (дважды переведеннымъ въ концѣ вѣка), а въ ранней юности „Ленорой“ Бюргера и „Покинутой деревней“ Гольдсмита, характеристическими проявленіями романтической поэзіи *до романтизма*, то съ годами въ томныхъ или таинственныхъ пѣсняхъ и сказаніяхъ Фуке, Новалиса, Тика онъ находилъ отголосокъ своей рано разбитой души и, не имѣя силъ стряхнуть съ себя расплывчивость чувства и найти сколько-нибудь мужественныя, энергическія ноты, видѣлъ въ романтическомъ складѣ поэзіи сладостную и цѣлебную опору страдающаго и мыслящаго человѣчества. То было продолженіе и развитіе встрѣтившей его на порогѣ жизни, подержанной масонствомъ, „чувствительности“, вліянія прекраснодушія такихъ старцевъ-идеалистовъ, какъ Ив. П. Тургеневъ, Лопухинъ или Херасковъ, пансіонскаго „Дружескаго Литературнаго общества“ (въ которомъ отразились преданія новиковскаго „Дружескаго Ученаго общества“), кружка Кайсарова и юношей Тургеневыхъ съ ихъ разностороннимъ знакомствомъ съ нѣмецкой литературой конца вѣка и поры Бурныхъ стремленій, поддержаннымъ со временемъ образовательными поѣздками въ Германію. По свойствамъ своей природы и далеко не глубокому образованію онъ никогда не входилъ въ изученіе сущности романтизма; свидѣвшись въ сороковыхъ годахъ съ Тикомъ, въ то время уже отдалившимся отъ прежней своей школы, онъ не могъ столковаться съ нимъ; романтическое увлеченіе Шекспиромъ было для него непонятно, Гамлетъ остался въ его глазахъ навсегда „чудовищемъ“; теоретики романтизма не существовали для Жуковскаго, и онъ очень бы изумился, услыхавъ, напримѣръ, изъ устъ Фридриха Шлегеля, что „назначеніе романтической поэзіи состоитъ не только въ соединеніи всѣхъ разрозненныхъ поэтическихъ видовъ и въ сближеніи поэзіи съ философіей, но что она стремится то смѣшивать между собой, то совершенно сливать поэзію и прозу, геніальный порывъ и критику, искусственность стиха съ народной, естественной поэзіей, сдѣлать поэзію жизненной и общественной, и, наоборотъ, придать жизни и обществу поэтическій характеръ, поэтизировать остроуміе и, наполняя художественныя формы разнороднѣйшимъ и развивающимъ содержаніемъ, оживлять ихъ всѣми прихотливыми изгибами юмора“ [2]).

Подобные широкіе замыслы не приходили въ голову нашему

---

[1]) Въ томъ же журналѣ и въ „Ипокренѣ“ новѣйшія изслѣдованія указали усердное воздѣлываніе темъ Юнга и Оссіана.

[2]) R. Haym, Die romantische Schule. Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes, B., 1870, 254.

поэту,—такъ же мало понималъ онъ философскій подъемъ мысли и свободолюбіе усердно переводимаго имъ Шиллера (въ иныхъ родахъ его творчества) или міровоззрѣніе Гете, съ которымъ однако судьба поставила его даже въ близкія отношенія. Еще разъ повторилось дѣйствіе уже указаннаго закона: по мѣрѣ пересадки къ намъ извѣстнаго литературнаго движенія его основа суживалась и мельчала. Отъ широкаго изученія романтиками нѣмецкой старины, которому наука обязана развитіемъ занятій народностью и языкомъ, отъ странной, но во всякомъ случаѣ своеобразной философіи романтизма, стремившейся охватить и осмыслить всѣ жизненныя явленія, почти не осталось въ русскомъ переложеніи слѣда. Вадимы, Громобои, Свѣтланы, спящія дѣвы, — красивая поддѣлка подъ русскую старину; сквозь народную одежду ея то и дѣло выступаютъ не однѣ только нѣмецкія, но вообще чужеземныя черты: въ Свѣтланѣ старая, всеобщая знакомая, бюргеровская Ленора [1]), въ Двѣнадцати спящихъ дѣвахъ—фантастика Шписа, въ ранней повѣсти о Вадимѣ—герой поэмы Флоріана „Вильгельмъ Телль", переведенной Жуковскимъ еще въ 1802 г., наконецъ въ „Пѣвцѣ въ станѣ русскихъ воиновъ" вполнѣ сходная тема патріотической пѣсни Грея „The Bard", обозрѣвавшей устами такого же театрально-эффектнаго пѣвца главныя эпохи англійской національной славы [2]). Это — тѣ же пріемы, которые встрѣчаются у Жуковскаго нерѣдко даже въ задушевныхъ, личныхъ изліяніяхъ. Такъ прелестное стихотвореніе „Тамъ небеса и своды ясны" съ его субъективными чертами написано по плану изъ „Послѣдняго Абенсерага" Шатобріана... У романтической поэзіи Жуковскій взялъ прежде всего внѣшность,—таинственную обстановку, легіоны призраковъ и мертвецовъ, загробный міръ, феодальную декорацію, затѣмъ смутное влеченіе къ народности и, важнѣе всего, искренность непринужденнаго выраженія чувства. Увлеченіе внѣшностью, къ счастью, прошло скоро, и хотя Жуковскому впослѣдствіи приходилось совѣститься, что онъ былъ „поэтическимъ дядькой всѣхъ чертей и вѣдьмъ", вкравшихся въ русскую поэзію,—по правдѣ сказать, это демоническое отродье вовсе не было многочисленно, совсѣмъ не страшно, и все разсѣялось передъ свѣтлой музой Пушкина [3]). Такъ же быстро обветшали у насъ

---

[1]) О широкомъ распространеніи странствующаго сказанія, положеннаго Бюргеромъ въ основу своей баллады, и вмѣстѣ съ тѣмъ о вліяніи „Леноры" на другія литературы ср. статью Вильг. Вольнера „Ueber den Lenorenstoff in der slavischen Volkspoesie" (Archif f. slav. Philol., 1882, II), книгу Bonnet-Maury, Burger et les origines anglaises de la ballade littéraire en Allemagne 1889, и кн. Созоновича „Ленора Бюргера и родственные ей сюжеты въ народн. поэзіи европейск. и русской", 1893.

[2]) Это стихотвореніе многіе знали у насъ тогда; такъ Грибоѣдовъ въ глуши Персіи, остановившись въ раздумьи надъ потокомъ, на мшистомъ камнѣ, сравнилъ себя съ „Греевымъ Бардомъ,—недоставало только бороды" Собр. соч., изд. Шляпкина, I, 34.

[3]) Обвиненіе, заключающееся въ извѣстномъ письмѣ Рылѣева къ Пушкину (Сочиненія Рылѣева, 1872, 234) и утверждающее, будто Жуковскій на ряду съ большой пользой „надѣлалъ *много* зла и *многихъ* растлилъ своей поэзіей", прививъ къ ней мистицизмъ, является полемическимъ преувеличеніемъ. Трудно было бы насчитать особенно многихъ подражателей Жуковскому, какъ мистику.

и прочіе внѣшніе атрибуты *нѣмецкаго* поэтическаго романтизма, который, строго говоря, и совмѣщается почти исключительно въ одной только дѣятельности Жуковскаго,—столь далекой отъ полнаго воспроизведенія сильно пережитаго германскаго умственнаго движенія, что новѣйшему біографу Жуковскаго она представлялась „поэзіею сентименталиста карамзинской эпохи, прожившаго на островахъ блаженныхъ въ ожиданіи будущаго, которое осуществило бы идеалы его прошлаго"... [1])

Но важное пріобрѣтеніе было все-таки сдѣлано. На смѣну торжественно бряцавшаго строя державинской лирики поставлена была задушевность и простота, смѣнявшаяся непритворными идеалистическими порывами. Предшественники въ родѣ Новалиса (Гарденберга) съ его мистическимъ славословіемъ рано угасшей и горячо любимой невѣсты научили Жуковскаго все выстраданное имъ личное горе и муки разбитаго счастья [2]) вносить въ свою поэзію, эту искреннюю исповѣдь сентименталиста-неудачника, небогатую содержаніемъ, меланхолически однотонную, но глубоко правдивую. Изъ личнаго предпочтенія чувствительнаго поэта, въ сильной степени поддержаннаго вліяніемъ западныхъ образцовъ (въ Дерптѣ ему рано пришлось сблизиться съ нѣкоторыми изъ усердныхъ любителей романтизма и получать, благодаря имъ, изъ первыхъ рукъ новости этой школы [3]); впослѣдствіи въ Германіи онъ вошелъ въ личныя сношенія съ Фукэ, Жанъ Полемъ и др.), вытекло развитіе поэтической области, имѣющей неотъемлемое право на существованіе, на ряду съ поэзіей реализма. Если же съ этимъ качественнымъ обогащеніемъ русской поэзіи сопоставить расширеніе ея горизонта, которымъ она обязана была Жуковскому-переводчику, слѣдовавшему и въ этомъ отношеніи маніи нѣмецкихъ романтиковъ переводить все лучшее въ міровой поэзіи и знакомившему насъ, кромѣ германской поэзіи, съ образцами греческаго и восточнаго эпоса, старыми провансальцами, Сервантесомъ, Муромъ, Байрономъ, Вальтеръ-Скоттомъ, лакистами,—то эта заслуга, за которую даже Бѣлинскій не задумался придать переводчику названіе второго Колумба, еще ярче отмѣтитъ обязательства русской поэзіи по отношенію къ *нѣмецкому* романтическому движенію.

Но, чтобъ освободить вполнѣ поэзію отъ остатковъ ложноклассическаго вліянія, недостаточно было поднять въ ней значеніе идеализованной чувствительности. Земное начало, реальное, вполнѣ осязательное, давно

---

[1]) Александръ Веселовскій, „В. А. Жуковскій. Поэзія чувства и сердечнаго воображенія". 1904, XI.

[2]) Душевная исторія героини сердечной драмы поэта, одной изъ выдающихся представительницъ молодого женскаго поколѣнія двадцатыхъ годовъ, показываетъ также большое вліяніе на нее западной мысли и творчества, которыя побуждали ее много думать, многое перечувствовать (нѣмецкій элементъ уравновѣшивался при этомъ дѣйствіемъ французскихъ писателей). Эту сторону вскрыла въ особенности переписка, изданная А. Е. Грузинскимъ въ „Уткинскомъ сборникѣ", М., 1904. Богатыя данныя ея легли въ основу этюда П. Н. Сакулина „Мар. Андр. Протасова-Мойеръ по ея письмамъ", Изв. Отд. р. яз. и слов. Акад. Н., 1906.

[3]) О вліяніи дерптскаго житья на Жуковскаго статья Лыжина, Лѣтоп. рус. лит. и древн., 1859, II, книга Зейдлица „Wass. Andr. Joukoffsky, ein russ. Dichterleben", наконецъ, „Поэзія чувства и сердечн. воображенія".

искало доступа въ поэзію; въ угоду ему даже Державинъ отступалъ, бывало, отъ выспренняго тона и въ мелкихъ своихъ вещицахъ пытался уловить пріемы непринужденной живописи съ натуры. Рѣшительный шагъ впередъ въ этомъ отношеніи сдѣлалъ Батюшковъ, и глубокое вліяніе пластической чувственности его поэзіи на Пушкина не подлежитъ сомнѣнію. Но то, что составляло для своего времени прелесть батюшковскаго стиха, развилось подъ вліяніемъ разносторонняго чтенія чужеземныхъ поэтовъ и подражанія имъ. Воспитанникъ Муравьева, онъ съ раннихъ лѣтъ знакомъ благодаря ему съ классическими произведеніями Греціи и подъ вліяніемъ дружбы съ Гнѣдичемъ научается цѣнить и понимать ихъ. Итальянскіе поэты, съ четырнадцатаго до шестнадцатаго столѣтія, Петрарка [1]), Аріостъ, Тассъ, дѣлаются потомъ его любимцами. Онъ перевелъ нѣсколько новеллъ Боккачьо (Гризельду), задумывалъ изданіе сборника образцовъ итальянской литературы (въ двухъ томахъ, гдѣ предполагались переводы изъ Данта, Петрарки, Аріоста, Тасса, Боккачьо и „другихъ стихотворцевъ перваго періода"). Несчастную свою долю онъ сравнилъ съ судьбой пѣвца „Освобожденнаго Іерусалима", и искреннее стихотвореніе „Умирающій Тассъ" стало почти автобіографіей. Онъ не могъ уберечься и отъ обаянія поэзіи Байрона [2]) и присвоилъ себѣ (скрывъ это, что съ нимъ случалось не рѣдко) [3]), правда, прекрасно переведенную имъ строфу „Чайльдъ-Гарольда" (пѣснь IV, строфа 174), воспѣвающую „наслажденіе дикостью лѣсовъ" и т. д. Онъ столь же субъективенъ въ своей поэзіи и въ выборѣ своихъ образцовъ, какъ Жуковскій; но, натура прямо противоположная романтической слезливости, онъ иначе выражаетъ и свои тревоги и горести, несчастную страсть, потерю друга, разочарованіе въ жизни и въ людяхъ, неудовлетворенную жажду славы и вліянія. Основой его писательства всегда оставались гуманныя идеи восьмнадцатаго вѣка; публицистика и экономическая наука его,—Филанджьери, Беккарія, Вольней, Мабли, Рейналь,—были изучены имъ съ великимъ вниманіемъ; друзья его молодости, сынъ Радищева (Ник. А.), Пнинъ, держались того же направленія, чуткаго къ запросамъ жизни. Душевному анализу Батюшковъ находилъ поддержку въ скептицизмѣ Монтэня, и въ сѣтованіяхъ несчастнаго, больного Тасса, и въ міровой скорби новѣйшихъ неудачниковъ, разочарованныхъ шатобріановскихъ героевъ (по его словамъ, 1811, онъ упивался Шатобріаномъ, особенно по ночамъ); въ свѣтлыя минуты любованія яркой земною красотой, которой онъ умѣлъ поклоняться, какъ истинный язычникъ, его звучныя, пластически красивыя пѣсни сливались съ южными канцонами

---

[1]) О вліяніи его на поэзію Батюшкова—статья А. Некрасова „Батюшковъ и Петрарка", Изв. Отдѣл. р. яз. и слов. Акад. Наукъ, 1911.

[2]) Даже во время долголѣтней душевной болѣзни ему вспомнился Байронъ, и онъ написалъ однажды фантастическое, безсвязное письмо къ нему, давно уже умершему, напечатанное въ Собр. соч., изд. Помп. Н. Батюшковымъ, III, 586.

[3]) Забавно подумать, сколько поколѣній учило, напр., бывало наизусть въ школѣ извѣстные Очерки Финляндіи и даже переводило ихъ по-французски, тогда какъ они во многихъ мѣстахъ переведены изъ Ласепеда.

и эллинскими диѳирамбами; остроуміе и легкость формы въ его бездѣлкахъ, шуткахъ, анакреонтическихъ шалостяхъ, развились изъ состязанія съ античными и французскими образцами. Во время походовъ по Европѣ онъ сблизился наконецъ и съ нѣмецкой словесностью, и „Донъ-Карлосъ“ Шиллера, видѣнный имъ въ Веймарѣ, увлекъ его пламеннымъ идеализмомъ [1]). Но не только въ этомъ отношеніи онъ далеко ушелъ впередъ. Онъ былъ развитѣе и серьезнѣе многихъ изъ своихъ сверстниковъ-стихотворцевъ,—и развитіе, поддержанное наблюденіями надъ европейскою жизнью, вызывало у него осужденіе родныхъ порядковъ и сочувствіе прогрессу. Еще въ Парижѣ онъ обсуждалъ съ Н. Тургеневымъ „общественныя потребности отечества“; самообольщеніе патріотизма раздражало его,—тысячи голосовъ, которые жужжатъ, нашептываютъ: русское, русское... „Кто не любитъ отечества—извергъ,—писалъ онъ Гнѣдичу,—но можно ли любить невѣжество?“ Въ разсужденіи „о вліяніи легкой поэзіи на языкъ“, проникнутомъ еретическою въ то время мыслью о равноправности всѣхъ формъ и направленій поэтическихъ, онъ убѣждалъ русскихъ писателей „поравнять славу языка со славой военною, *успѣхъ ума съ силой оружія*“; въ 1814 году онъ обратился къ Александру съ поэтическимъ заступничествомъ за крѣпостныхъ крестьянъ,—и еще неизвѣстно, въ какой степени въ число причинъ, породившихъ его долгую душевную болѣзнь, входило негодованіе при видѣ реакціи, смѣнившей героическую пору наполеоновскихъ войнъ. Знаемъ лишь одно, что съ виду нерусское (какъ многіе находили тогда) воспитаніе и западные вкусы не только не сдѣлали этого человѣка равнодушнымъ космополитомъ, но пробудили въ немъ живыя и честныя стремленія.

Поодаль отъ такихъ выдающихся личностей, какъ Жуковскій и Батюшковъ, стоитъ малороссъ Нарѣжный съ своими бытовыми повѣстями, многотомнымъ романомъ, обличеніями, остроуміемъ и подчасъ наивностью пріемовъ. Но исторія русскаго романа не можетъ забыть, что произведенія этого грубоватаго юмориста были въ свое время необходимымъ звеномъ между сентиментальной повѣстью, исканіями немногихъ реалистовъ, типа Чулкова, въ восьмнадцатомъ вѣкѣ и реальнымъ романомъ гоголевской школы; извѣстное вліяніе его произведеній на Гоголя (напр., *Двухъ Нвановъ* на „Ссору Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, *Бурсака* на описанія бурсацкаго быта въ „Віѣ“, „Тарасѣ Бульбѣ“, „Заморскаго принца“ на фабулу „Ревизора“, наконецъ, „Россійскаго Жилблаза“ на „Мертвыя души“) несомнѣнно. Позднѣйшіе обличители ужасающихъ порядковъ бурсы, съ Помяловскимъ во главѣ, должны, по справедливости, вести исторію своихъ боевыхъ выступленій отъ этого забытаго своего предшественника. Протестъ противъ русской хищнической и самоуправной политики на Кавказѣ послѣ присоединенія Грузіи придаетъ „Горскимъ князьямъ“ Нарѣжнаго, свидѣтеля и очевидца, значеніе гражданственнаго подвига, еще болѣе усиливающееся благодаря такимъ опытамъ общерусскаго обличенія въ этомъ романѣ,

---

[1]) Біографія Батюшкова Л. Н. Майкова, Собр. соч. Б., I, 173.

какъ, напримѣръ, эпизодъ о рыцаряхъ „ордена нагайки". Далеко не все у него было такъ неискусно и грубо, какъ это можетъ казаться; онъ уже недурной разсказчикъ, временами ѣдко остроуменъ, дѣлаетъ мѣткія наблюденія, располагаетъ порядочными средствами слога; свою Малороссію онъ изучилъ вдоль и поперекъ, но знаетъ и бытъ всего отечества. Откуда онъ набрался этого, хоть внѣшняго, умѣнья, какимъ путемъ, безъ хорошихъ предшественниковъ и сверстниковъ (кромѣ даровитой кучки, полагавшей тогда, вслѣдъ за И. Котляревскимъ, основы новой украинской литературы) пришелъ къ замыслу описывать, не мудрствуя лукаво, дѣйствительную жизнь? Онъ не думалъ скрывать этой тайны и указываетъ того, кому былъ обязанъ. Его учителемъ былъ Лесажъ, которому онъ захотѣлъ даже явно подражать въ „Похожденіяхъ россійскаго Жилблаза" [1]), гдѣ, подобно своему образцу, пріемами „романа-путешествія" и „плутовской повѣсти" описывалъ не безъ остроумія одинъ за другимъ различные закоулки народной жизни, и въ насмѣшкахъ надъ „славянами", поклонниками старины, защитниками обскурантизма, мистиками, въ возмущеніи крѣпостничествомъ выказывалъ себя сторонникомъ новой культуры [2]). Но и на него возбуждающій примѣръ дѣйствовалъ, не принижая его до рабской роли поклонника, а, напротивъ, вызывалъ въ немъ стремленіе быть самостоятельнымъ. Онъ заявляетъ, что „хотѣлъ вывести на показъ *русскимъ* людямъ *русскаго* же человѣка, полагая, что гораздо естественнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца. Почему Лесажъ не могъ этого сдѣлать [3]), всякій догадается; за нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя было отваживаться описывать безпристрастно наши нравы" (напоминать ли, что это довѣрчивое указаніе на новый порядокъ вещей было опровергнуто дѣйствительностью, и печатаніе романа было прервано на третьей части?).

Поставивъ себѣ задачей такое же „безпристрастное описаніе нашихъ нравовъ", выступилъ, наконецъ, съ свѣжими еще, окрѣпшими послѣ нѣсколькихъ лѣтъ писательскаго бездѣйствія, силами послѣдній изъ предшественниковъ новой литературы, Крыловъ. Несмотря на крайнюю скудость образованія этого даровитѣйшаго самородка, его съ раннихъ лѣтъ коснулось вліяніе классическаго французскаго вкуса; первую свою (не сохранившуюся) трагедію „Клеопатра", а затѣмъ и „Филомелу"

---

[1]) „Жилблазъ" Лесажа былъ очень рано переведенъ по-русски, еще въ 1754 г., Василіемъ Тепловымъ, и въ XVIII вѣкѣ выдержалъ у насъ *семь* изданій,—живое доказательство выдающейся популярности нравоописательныхъ пріемовъ автора-реалиста.

[2]) О Нарѣжномъ — Н. А. Бѣлозерская, „Вас. Трофим. Нарѣжный, историч. очеркъ", Спб. 1896. Ю. Соколовъ, „Нарѣжный, два очерка" (Бесѣды, сборн. Общ. Исторіи литературы, 1915, I).

[3]) Т.-е. почему онъ принужденъ былъ перенести мѣсто дѣйствія своего романа изъ Франціи въ Испанію (связи его съ испанскимъ „плутовскимъ романомъ", описывавшимъ свой народный бытъ, впрочемъ, несомнѣнны). Напомнимъ, что примѣръ Лесажа подѣйствовалъ въ свое время ободряющимъ образомъ и на англійскихъ романистовъ XVIII вѣка. Фильдингъ и Смоллетъ—такіе же ученики его, какъ Нарѣжный. Если же принять въ расчетъ, что самъ Лесажъ во многомъ обязанъ испанскимъ разсказчикамъ, получится недурной образчикъ литературнаго обмѣна.

онъ написалъ по всѣмъ правиламъ теоріи Буало; первыя комическія оперы, въ которыхъ онъ хотѣлъ дать возможность зрителю „смѣяться и чувствовать“, опирались на примѣръ Бомарше и старыхъ французскихъ комиковъ. Въ сатирическихъ журналахъ его примѣнялись нормальные, общіе всей нашей старой обличительной журналистикѣ, пріемы, взятые съ запада. Наконецъ, когда всѣ другіе виды дѣятельности Крылова уступили мѣсто баснеписанію, европейское вліяніе достигло высшей силы.

Захудавшій отростокъ вымиравшаго классицизма, басня, возрождается къ новой жизни, наполняется русскимъ бытовымъ содержаніемъ и окончательно пріобрѣтаетъ народность; въ началѣ столѣтія, вплоть до сатиры Грибоѣдова и Гоголя, она даже является передовой представительницей воинствующей, обличительной литературы и поднимаетъ общественное значеніе независимаго слова. Но, въ виду этихъ неоспоримыхъ заслугъ, нельзя забыть, что Крыловъ шелъ почти всегда по пути, указанному французскими и древнегреческими образцами. Благодаря *Примѣчаніямъ* г. Кеневича, книгѣ г. Флёри „Krylof et ses fables“ и нѣкоторымъ позднѣйшимъ работамъ, не только подтвердилось старое мнѣніе о подражаніи Лафонтену, въ значительныхъ размѣрахъ практиковавшемся Крыловымъ [1]), но показано, что обработка чужихъ образцовъ происходила даже въ тѣхъ басняхъ, которыя самъ авторъ желалъ считать оригинальными, и которыя, казалось, носили живой отпечатокъ непосредственности [2]). Нельзя не удивляться мастерству, съ которымъ Крыловъ умѣлъ обрусить старинный сюжетъ, завѣщанный ему Езопомъ, Федромъ или Лафонтеномъ, Геллертомъ, Флоріаномъ, даже Дидро (въ разсказѣ „L'âne et le rossignol“); нѣсколько удачно введенныхъ эпитетовъ, сравненій, описаній, много юмору и мѣткихъ выраженій,—и басня принимаетъ совсѣмъ иной видъ, точно родилась она не во французскомъ салонѣ XVII вѣка, а въ черноземной, помѣщичьей Руси (такъ и въ комедіи *Урокъ дочкамъ,* шагъ за шагомъ скопированной съ Précieuses ridicules Мольера, хотя осмѣявшей не вычурность культуры, но болѣзненную страсть къ французской болтовнѣ, живыя бытовыя черты и бойкія выдумки крыловскаго юмора мастерски обрусили чужое произведеніе). Но основа и темы насмѣшки, остовъ разсказа, все-таки по большей части остаются чужими; собственныя прибавки нашего баснописца къ житейской философіи (гораздо болѣе умѣренныя по духу сравнительно съ его же журнальной сатирой) не всегда удачны,—то онъ принимается предостерегать отъ вреда *излишняго* знанія (въ первой четверти девятнадцатаго вѣка, при Аракчеевѣ и Магницкомъ!) [3]), то обрекаетъ на вѣчныя

[1]) Преклоненіе передъ нимъ необыкновенно рано сказалось у Крылова и сохранилось во всю жизнь; еще въ девяностыхъ годахъ, принося въ даръ другу своему Клушину книгу французскаго баснописца, онъ въ привѣтномъ стихотвореніи желалъ безконечной длительности дружбы, которая лишь тогда „въ сердцахъ ихъ увянетъ, когда богъ ясныхъ дней свѣтить нашъ міръ престанетъ, *или фонтеновы затмитъ кто красоты*“.

[2]) Если свести въ общій счетъ число всѣхъ заимствованій и переработокъ, наберется ровно *шестьдесятъ четыре* басни, сюда относящіяся.

[3]) Бывало, въ своихъ журналахъ, напр., въ Зрителѣ, онъ нападалъ на Руссо за его доводы о вредѣ наукъ.

муки опаснаго писателя („Сочинитель и разбойникъ“; предметомъ нападокъ этой басни считаютъ Вольтера [1]), то порицаетъ современное ему преобразовательное движенiе, часто колеблется между рѣзкимъ обличенiемъ зла, заступничествомъ за гонимую мысль и охранительною боязливостью [2]), и только тогда выбирается на настоящую свою дорогу, когда можетъ свободно рисовать съ натуры, въ готовыхъ рамкахъ, живые и яркiе русскiе типы; отбросивъ, подобно Лафонтену во многихъ, наиболѣе смѣлыхъ его басняхъ, всякое намѣренiе поучать, выводить мораль, и довольствуясь правдивымъ изображенiемъ повседневной дѣйствительности, онъ скудными средствами басни создаетъ тогда превосходную страницу нравоописательнаго романа или сцену изъ вѣковѣчной комедiи

En cent actes divers
Et dont la scène est l'univers.

Такимъ образомъ, и Крыловъ, когда-то близкiй къ Радищеву, теперь другъ отживавшихъ литературныхъ корифеевъ, раздѣлявшiй многiя воззрѣнiя „Бесѣды“, одинъ изъ двигателей патрiотическаго движенiя противъ галломанiи, осмѣивавшiй ее и въ своихъ журналахъ, и въ комедiяхъ, былъ въ значительной степени подвинутъ на свое настоящее поприще чужою (и, странно, въ особенности французскою) указкой, и, перерабатывая уже испытанныя и давно намѣченныя темы, сталъ однимъ изъ первыхъ трезвыхъ изобразителей русской дѣйствительности, понятныхъ и доступныхъ притомъ не только соотечественникамъ, но и всему образованному мiру [3]).

Всѣ только что характеризованныя попытки уже успѣли вдохнуть новую жизнь въ лирику, романъ и басню и понемногу вытѣсняли укоренявшiйся снова старый взглядъ на литературу, какъ забаву или школьное упражненiе,—когда на смѣну передовому отряду стала выдвигаться масса новыхъ, никому невѣдомыхъ силъ. Эта пора одна изъ самыхъ любопытныхъ въ лѣтописи новѣйшей русской мысли; въ промежутокъ пятнадцати, шестнадцати лѣтъ пустѣвшiй уже нашъ Парнасъ быстро населяется; тамъ, гдѣ царствовали сонъ и скука и гдѣ лишь изрѣдка раздавались художественная пѣсня или умное слово случайно шире развившагося новаго поэта, начинается немолчный шумъ и молодое, суетливое движенiе. Духъ свободы и невмѣшательства приносилъ свои плоды; цѣлое поколѣнiе успѣло сложиться и заявить себя. Его вниманiе обращено уже

---

[1]) Любопытно, что въ числѣ крыловскихъ переложенiй изъ иностранныхъ писателей есть заимствованiе и у этого опаснаго сочинителя,—комич. опера „Американцы“ съ фабулой изъ вольтеровской „Альзиры“.

[2]) Ср. статью Н. Аммона, „Жизненная правда и теоретическiе взгляды въ басняхъ Крылова“, Журн. Мин. Народнаго Просвѣщ., 1895, VIII.

[3]) Былъ подведенъ (Журн. Мин. Народ. Просв., 1895, iюль, „Международное значенiе Крылова“, ст. г. Драганова) итогъ многочисленнымъ переводамъ крыловскихъ басенъ; существуетъ 164 ихъ перевода на 21 языкъ (въ томъ числѣ даже на арабскiй и турецкiй); многiе переводы выдержали нѣсколько изданiй (наприм., англiйскiй переводъ Рольстона, къ третьему изданiю котораго написалъ сочувственное предисловiе И. С. Тургеневъ; въ переводѣ оно приведено въ „Русскихъ Пропилеяхъ“, III, 1915 г.

не на односторонніе предметы увлеченія отцовъ и дѣдовъ; поэзія и наука, философія и народная грамотность, политическія преобразованія и экономическіе вопросы, все интересуетъ этихъ людей; немногіе изъ нихъ (далеко не всѣ) начинаютъ съ нѣкотораго космополитизма, но и тѣ скоро проникаются сознаніемъ своимъ связей съ русскимъ народомъ. Тревога, постепенно овладѣвшая русскимъ обществомъ въ виду надвигавшейся опасности наполеоновскаго нашествія, не ослабила ихъ сочувствія европейской культурѣ; они не вторили ни фанатизму Шишкова и его друзей, обвинявшихъ „карамзинское" направленіе во всѣхъ бѣдахъ, постигавшихъ Россію, ни дешевому остроумію усердныхъ обличителей всего французскаго, Ростопчина съ его афишами, „Мыслями вслухъ" (и тѣмъ двухстороннимъ умомъ, который помогалъ ему ненавидѣть и любить западъ въ одно и то же время) [1]), комиковъ, карикатуристовъ, авторовъ народныхъ памфлетовъ; они помнили, чѣмъ обязано было Франціи ихъ отечество, и не могли отождествлять гуманнаго вліянія западно-европейскихъ идей съ побѣдоноснымъ и безотчетнымъ натискомъ желѣзной рати наполеоновскихъ гренадеровъ.

Въ петербургскихъ и московскихъ гостиныхъ является новый типъ собесѣдниковъ, невольно обращающій на себя общее вниманіе странной, обдуманной простотой одежды, серьезной рѣчью. И стойкія убѣжденія ихъ, и эта строгая внѣшность, рѣдко смѣняемая вызывающей насмѣшливостью, и вѣра въ свои силы,—все это доказывало, что *имъ* будетъ принадлежать будущее и что старое поколѣніе принуждено будетъ сдать имъ оружіе. Откуда явились эти новые люди?..

Несмотря на запретительныя мѣры Екатерины и Павла, извѣстное общеніе нашихъ образованныхъ слоевъ съ западомъ никогда не прекращалось. Любую книгу, значившуюся въ индексѣ, можно было, хоть и за дорогую цѣну, достать въ Петербургѣ и въ Москвѣ; русскіе студенты иностранныхъ университетовъ, насильно возвращенные при Павлѣ, снова явились на западѣ при первомъ же просвѣтѣ. Естественно, что люди, ознакомившіеся или у себя дома, изъ книгъ (школа все еще была въ жалкомъ состояніи), или же въ Европѣ, изъ перваго источника, съ западной наукой и литературой, научаясь критически относиться къ домашнимъ порядкамъ, сравнивая ихъ съ свѣжими впечатлѣніями европейской жизни, должны были много передумать и перечувствовать, и, пользуясь наставшимъ привольемъ, заговорить языкомъ внутренняго убѣжденія [2]). Тѣмъ или другимъ путемъ эта молодежь входила въ общеніе съ

---

[1]) По окончаніи войнъ съ Наполеономъ онъ надолго поселился въ Парижѣ; его мемуары написаны по-французски (Matériaux en grande partie inédits pour la biographie future du comte Théodore Rostoptchine, Bruxelles, 1864).

[2]) Какъ чувствителенъ былъ прогрессъ свободы слова, видимъ изъ сравненія съ павловской порой, когда извѣстный впослѣдствіи просвѣтитель, основатель харьковскаго университета Каразинъ задумалъ бѣжать за границу, не чувствуя за собой никакой вины, но только потому, что „свободный образъ мыслей его уже могъ быть преступленіемъ", какъ онъ это самъ высказалъ въ оправдательномъ письмѣ къ Павлу Петровичу.— Рус. Старина, 1873, IV, 567—71, „Русскіе эмигранты въ царствованіе имп. Павла".

новѣйшими движеніями и школами запада, пріобрѣтавшими тамъ господство. Проникнутые идеями нѣмецкаго либерализма или заключивъ дружескія связи съ передовыми французскими дѣятелями, эти люди не хотѣли болѣе выдѣлять себя изъ общеевропейскаго умственнаго движенія. Въ то время, какъ старшее поколѣніе, заставшее въ молодости конецъ екатерининскаго вѣка и пору Павла, не всегда умѣло найтись въ новой обстановкѣ, легко поддалось разжигаемой въ немъ патріотической ненависти къ французамъ, а въ нѣмецкой жизни почти вовсе не оцѣнило значенія классическаго періода дѣятельности Гете и Шиллера [1]), совсѣмъ проглядѣло Канта и Фихте [2]), молодежь, начинавшая жизнь при болѣе счастливой обстановкѣ, не могла не увлечься выдающимися явленіями въ европейской литературѣ и наукѣ. То, что прежде было по плечу только избраннымъ личностямъ, въ родѣ Радищева, становилось доступнымъ массѣ молодыхъ силъ.

Для одной части нашей молодежи складывалась такая же пора гуманнаго идеализма, она переживала такія же свѣтлыя минуты, безъ которыхъ не обходился ни одинъ поэтически настроенный нѣмецкій юноша конца XVIII вѣка. Она и у себя, и среди волнующихся массъ нѣмецкаго студенчества, увлекалась горячими рѣчами маркиза Позы, которому близко все человѣчество, который хотѣлъ бы избавить всѣхъ людей отъ позорнаго гнета и провозгласить свободу мысли; патріотическій порывъ поэтовъ-политиковъ въ родѣ Клейста или Теодора Кернера, сложившаго голову въ борьбѣ за отечество, возбуждалъ сочувствіе благороднымъ соединеніемъ словъ съ дѣломъ; вертеризмъ, хотя гораздо позже, чѣмъ въ Германіи [3]), затрогивалъ чувствительныя струны въ душѣ образован-

---

1) Къ концу XVIII вѣка мы встрѣчаемъ лишь переводъ „Разбойниковъ“ (Н. Сандунова), вышедшій въ 1793, и „Пѣсни радости“ (Карамзина); переводы шиллеровскихъ стихотвореній участились лишь въ 1805 г., послѣ смерти поэта. Къ этому же году относится и первая русская статья о Шиллерѣ въ „Аврорѣ“.—Вообще о шиллеровскомъ вліяніи—Ю. Веселовскій, „Шиллеръ, какъ вдохновитель русск. писателей“, „Рус. Мысль“, 1906, II.

2) Исключенія чрезвычайно рѣдки. Едва ли не лучшимъ изъ нихъ является Муравьевъ-Апостолъ, долго жившій въ Германіи, близко сошедшійся въ Гамбургѣ съ Клопштокомъ и проникшій въ Кенигсбергѣ въ келью Канта. Зато Муравьевъ-Апостолъ выдѣляется изъ круга образованныхъ людей начала девятнадцатаго столѣтія, и его извѣстныя въ свое время „письма въ Нижній-Новгородъ“ (въ Сынѣ Отечества, 1815 года) набрасываютъ въ легкой, общедоступной формѣ программу обязательнаго для всякаго развитого человѣка знакомства съ міровою литературой, нѣмецкой, итальянской и т. п.—Относительно Фихте напомнимъ, что Каразинъ хотѣлъ пригласить его въ открывавшійся харьковскій университетъ.

3) „Вертеръ“ былъ дважды переведенъ въ концѣ столѣтія; въ 1799 г. Андрей Тургеневъ съ молодымъ Мерзляковымъ затѣяли свой переводъ романа; въ 1802 г. появилось подражаніе, „Россійскій Вертеръ“. Прочтенный въ подлинникѣ, онъ вызвалъ нѣсколько слабыхъ русскихъ стихотвореній во второстепенныхъ журналахъ, „Шарлота при гробѣ Вертера“ и др. Любопытно, что даже Новиковъ откликнулся на интересъ къ „Вертеру“. Говоря въ Драматич. Словарѣ, 1787 г., о „Клавихо“, онъ спѣшитъ пояснить, что это—„трагедія г. Гете, славнаго нѣмецкаго автора, который написалъ *отличную книгу, похваляемую повсюду*, „Страданіе молодого Вертера“. Радищевъ въ своемъ „Путешествіи“ признается, что чтеніе Вертера исторгло у него сладостныя слезы.—Съ вліяніемъ Вертера на умы знакомитъ книга Аппеля „Werther und seine Zeit“, 1896, съ его отраженіями въ польской литературѣ—книга K. Wojciechowski, „Werter w Polsce“, Lwów, 1904, во французской—книга Fernand Baldensperger, „Goethe en France“, 1904.

наго русскаго человѣка, научавшагося отстаивать права своей личности, и, отрываясь въ поэзіи страстей отъ пошлаго уровня старинныхъ мадригаловъ, доходить до бурнаго напряженія и борьбы съ гнетомъ общепринятой морали и мертвящимъ складомъ жизни. Возраставшее общественное значеніе нѣмецкой философіи, которая не только облагораживала нравственное содержаніе современнаго поколѣнія, но, въ знаменитыхъ „Рѣчахъ къ нѣмецкому народу" Фихте, умѣла уже возбуждать самосознаніе въ массахъ, ставя передъ ними насущные соціальные вопросы, примиряя общечеловѣческое развитіе съ національнымъ началомъ, подчиняло себѣ всякую сколько-нибудь склонную къ умозрѣнію натуру; свѣжая новость нѣмецкой науки, философія Шеллинга, съ которою впервые познакомили русскихъ вернувшійся въ началѣ вѣка изъ Германіи ученикъ Шеллинга, талантливый медикъ-профессоръ Велланскій, неутомимо поведшій въ медико-хирургической академіи пропаганду шеллингизма вплоть до обскурантскаго погрома Рунича, и за нимъ профессоръ Пушкина въ лицеѣ, Галичъ, манила къ себѣ и объясненіемъ законовъ природы, и новой постановкой всемірно-историческихъ культурныхъ вопросовъ.

Изъ Лейпцига или Геттингена возвращались не одни только Ленскіе, забавные своею разочарованностью „безъ малаго въ восьмнадцать лѣтъ" (кстати,—когда же Ленскій успѣлъ побывать въ университетѣ?), но и такіе люди, какъ Николай Тургеневъ, который вмѣстѣ съ своими братьями (въ особенности Андреемъ, безвременно умершимъ, полнымъ поэтическихъ и философскихъ возбужденій) такъ выгодно выдѣлялся изъ круга современной ему молодежи. Сынъ новиковскаго друга-масона, онъ уже въ старшемъ поколѣніи видѣлъ примѣръ просвѣтительной дѣятельности въ европейскомъ духѣ. Изъ Геттингена [1]) онъ вывезъ не только смутныя „вольнолюбивыя мечты" или томную задумчивость, но и знаніе, живой интересъ къ русской дѣйствительности [2]), серьезные преобразо-

[1]) Университетскую пору Тургенева широко и полно возстановляютъ теперь „Дневники и письма Н. И. Т.", изданн. Отдѣл. рус. яз. и слов. Акад. Наукъ, 1912—13. Срав. также статьи М. Вишницера „Геттингенскіе годы Ник. Ив. Тург.", Минувшіе Годы, 1908, апрѣль и май-іюнь, и кн. того же автора „Die Universität Göttingen und die Entwicklung der liberalen Jdeen in Russland im erst. Viertel des 19 Jahrh., Berl., 1907.

[2]) На полезное вліяніе пребыванія русскихъ молодыхъ людей въ нѣмецкихъ университетахъ указывалъ и Пушкинъ въ Запискѣ о воспитаніи, поданной имъ императору Николаю послѣ примирительной ихъ бесѣды въ Москвѣ въ 1826 году; нагляднымъ примѣромъ онъ выставляетъ Тургенева. „Мы видимъ,—говоритъ онъ,—что Тургеневъ, воспитывавшійся въ геттингенскомъ университетѣ, несмотря на свои заблужденія и свой политическій фанатизмъ, отличался посреди буйныхъ своихъ сообщниковъ нравственностью и умѣренностью правилъ, *слѣдствіемъ просвѣщенія истиннаго и положительныхъ познаній*".—Это „истинное просвѣщеніе" сказывается и въ рѣдкой начитанности, которою поражаетъ его „Опытъ теоріи налоговъ", основанный на лучшихъ трудахъ французской, нѣмецкой и англійской экономической литературы, но еще болѣе въ горячемъ заступничествѣ за крѣпостное крестьянство, часто прорывающемся въ научномъ изложеніи книги. Не лишнимъ будетъ привести здѣсь нѣсколько мѣстъ, которыя покажутъ, какими помыслами о Россіи наполненъ былъ умъ этого западника: „Успѣхи Россіи, при такомъ духѣ народа и правительства (писано въ лучшую пору Александрова царствованія), каковый существуетъ въ отечествѣ нашемъ, были бы еще со-

вательные планы, поддержанные сочувствіемъ такого умнаго государственнаго человѣка, какъ баронъ Штейнъ (оцѣнившій во время совмѣстной работы и Петербургѣ и въ Германіи выдающіяся свойства этого „олицетворенія чести и честности") и, въ особенности, энергичное вмѣшательство въ сборы къ освобожденію крестьянъ, выразившееся въ поданной въ 1819 году Александру запискѣ „Нѣчто о состояніи крестьянъ въ Россіи" и въ „Опытѣ теоріи налоговъ", который написанъ былъ, по его же словамъ, въ Геттингенѣ въ 1810 и 1811 гг. [1]) и продавался, по желанію автора, „въ пользу крестьянъ, на коихъ числятся недоимки въ сборѣ налоговъ". Мысль о крестьянскомъ освобожденіи оставалась потомъ самою завѣтною и дорогою для Тургенева во время его долгой эмиграціи, постоянно прогрессируя, практически вырабатываясь, завершенная наконецъ радикальнымъ проектомъ полнаго освобожденія съ землею, выставленнымъ въ „La Russie et les russes". Жизнь и дѣятельность въ Россіи, рѣзко прерванная поневолѣ, имѣла для него смыслъ главнымъ образомъ потому, что „казалось, онъ долженъ тамъ жить для возможности быть полезнымъ для рабства". Въ Геттингенѣ молодой ученый Андрей Кайсаровъ, товарищъ Жуковскаго и Тургеневыхъ, впослѣдствіи дерптскій профессоръ (одинъ изъ первыхъ начавшій научно разрабатывать русскую народную старину) [2]), написалъ еще въ 1806 г. латинскую докторскую диссертацію о способахъ постепеннаго освобожденія русскихъ

вершеннѣе, если бы общей дѣятельности, общему стремленію къ образованности и къ благосостоянію не препятствовало существованіе рабства" (Опытъ, втор. изд., стр. 239). — „Противникамъ освобожденія не разъ говорено было о необходимости постепеннаго ограниченія власти помѣщиковъ, которая въ дѣйствіяхъ своихъ часто бываетъ противна религіи и человѣчеству" (120).—„Благоустроенное государство не должно созидать благоденствія на несправедливости; угнетеніе одного класса гражданъ другимъ не можетъ быть залогомъ благосостоянія великаго и нравственно добраго народа" (121).—Дальнѣйшею степенью развитія проникнутыхъ глубокимъ сознаніемъ насущныхъ нуждъ отечества взглядовъ Тургенева-эмигранта стали долголѣтній его трудъ „La Russie et les russes", Парижъ, 1847, въ которомъ, послѣ исторіи александровскаго времени, декабризма и яркой характеристики всего ужасающаго николаевскаго строя, даны отчетливо выработанные планы двухъ системъ реформы,—одной, выполнимой при самодержавіи, признающемъ народныя права, дающемъ свободу крестьянамъ, свободу печати, много льготъ, ограничивающихъ произволъ, и другой, конституціонной,—наконецъ, дѣятельное участіе въ герценовскомъ „Колоколѣ" по крестьянскому вопросу и агитація въ Америкѣ по эманципаціи негровъ. Цѣлая жизнь отдана была цѣлямъ освободительныхъ движеній.

[1]) La Russie et les russes, par Nicolas Tourgueneff, I, 96.—Въ библіотекѣ московскаго университета хранится одно изъ любопытныхъ доказательствъ основательной научной подготовки Тургенева. Это переплетенныя въ цѣлую книгу лекціи, записанныя имъ въ 1804 году въ Геттингенѣ за извѣстнымъ въ свое время профессоромъ Эйхгорномъ. Пройденъ былъ такой обширный обзоръ всемірной литературы, съ классическаго періода до поры Гете и Шиллера включительно, вмѣстѣ съ исторіею развитія различныхъ поэтическихъ формъ,— который, конечно, трудно было тогда услышать въ русскихъ университетахъ. Эйхгорнъ сочувствовалъ англійскому научному движенію, новой нѣмецкой поэзіи, благоговѣлъ передъ Гете и Гердеромъ.—Въ области наукъ общественныхъ Тургеневъ много обязанъ былъ вліянію геттингенскихъ профессоровъ Сарторіуса, Геде, историка Герена.

[2]) Находясь въ Германіи, онъ напечаталъ въ 1804 г. свой опытъ о славянской миѳологіи (Versuch einer slavischen Mythologie), три года спустя вышедшій по-русски подъ назв. „Миѳологія славянская и россійская".

крестьянъ [1]). Если вспомнимъ, что тамъ же воспитывался еще въ 18-мъ столѣтіи извѣстный ревнитель крестьянскаго освобожденія Полѣновъ, то увидимъ, что вліяніе нѣмецкой университетской науки не только не отрывало всѣхъ этихъ людей отъ русской почвы, но побуждало ихъ въ особенности передавать изъ поколѣнія въ поколѣніе одну изъ важнѣйшихъ русскихъ заботъ—уничтоженіе рабства [2]).

Изъ Германіи же заимствовали новые научные взгляды тѣ молодые петербургскіе профессора, которые воспитали пушкинское поколѣніе, и должны были вскорѣ, по обвиненію въ „расколахъ и безвѣрьѣ", стать жертвами реакціи,—Германъ, Раупахъ, Галичъ, Арсеньевъ и въ особенности Куницынъ, авторъ „Естественнаго Права", которое потомъ признано было „противухристіанскимъ и подрывающимъ всѣ связи семейственныя и государственныя", а на дѣлѣ представляло собой попытку научнымъ образомъ отстоять, среди безличнаго и безправнаго общества, неотъемлемыя права каждой человѣческой личности. Съ жадностью вслушивалась въ эти новыя рѣчи лицейская и университетская молодежь; на нихъ отдыхала она отъ педантизма остального преподаванія; здѣсь было одно изъ немногихъ противоядій свѣтской пустотѣ или пошлымъ кутежамъ, которые она расположена была считать за настоящую жизнь,—и весьма мало преувеличенія въ благородномъ признаніи Пушкина, что Куницынъ „создалъ ихъ и воспиталъ ихъ пламя".

Такое же, если не большее, значеніе имѣетъ въ жизни Грибоѣдова ученый геттингенецъ, на этотъ разъ уже несомнѣнно подлинный, незадолго передъ тѣмъ покинувшій Геттингенъ (Александръ Тургеневъ еще слушалъ тамъ его курсы въ 1802 году) для Москвы, именно профессоръ Буле. Свѣдѣнія о раннемъ ходѣ развитія Грибоѣдова показываютъ, что и здѣсь мы имѣемъ передъ собой „созданіе и воспитаніе пламени" молодого студента. Университетское вліяніе, сосредоточиваясь въ особенности въ совѣтахъ и указаніяхъ глубоко образованнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ живого и энергическаго [3]) Буле, во многомъ напоминавшаго собой Шварца, и Шлецера-сына, экономиста и статистика, было

[1]) Dissertatio inauguralis philosophicopolitica de manumittendis per Russiam servis.—Кайсаровъ послѣ Геттингена много путешествовалъ по Европѣ, жилъ нѣкоторое время въ Эдинбургѣ, гдѣ вторично получилъ степень доктора, а въ шотландскомъ городѣ Демфрисѣ—почетное гражданство. О Кайсаровѣ—статья Сухомлинова, „А. С. Кайсаровъ и его литературные друзья", Извѣст. отдѣл. рус. яз. Акад. Наукъ, 1897, I.

[2]) Заговоривъ о „геттингенцахъ", слѣдуетъ также вспомнить о студентѣ 18-го столѣтія, епископѣ Дамаскинѣ (Семеновѣ-Рудневѣ), который былъ въ Геттингенѣ въ 1766—72 годахъ и потомъ постоянно проводилъ мысль о необходимости обраэованія для всего русскаго народа. Его „Ученая историческая библіотека", первый опытъ связнаго историческаго обзора русской литературы и затѣмъ библіографіи ея съ начала 16-го вѣка по 1785 годъ напеч. въ Памятникахъ древ.-рус. письмен., 1881, XI.

[3]) Онъ читалъ въ Москвѣ, въ нѣсколько пріемовъ, публичныя лекціи по исторіи, археологіи, исторіи искусства, издавалъ Московскія ученыя вѣдомости, Журналъ изящныхъ искусствъ, устроилъ приватные курсы для лучшихъ студентовъ, спеціально занялся русскою исторіею. Два большихъ его труда по исторіи и философіи, „Lehrbuch der Geschichte d. Philosophie", и шеститомная „Geschichte der neueren Philosophie" имѣли въ свое время немалое значеніе въ нѣмецкой наукѣ.

цѣлебнымъ противовѣсомъ московской барской средѣ, грозившей затянуть молодого человѣка въ свою тину. Оно было такъ сильно, что едва не направило Грибоѣдова на путь спеціальнаго служенія наукѣ; по его же показанію въ официальной бумагѣ, выйдя изъ университета съ званіемъ кандидата правъ (философскій факультетъ далъ ему еще въ 1808 году званіе „кандидата словесныхъ наукъ“), онъ уже „готовъ былъ къ испытанію для поступленія въ чинъ доктора, какъ получено было извѣстіе о вторженіи непріятеля въ предѣлы отечества нашего“.

Противорѣчіе между барскою затхлой средой и чистой нравственной атмосферой, открывшейся передъ Грибоѣдовымъ благодаря университету, давало вмѣстѣ съ тѣмъ уже зародышъ будущей знаменитой комедіи. Есть свѣдѣнія, что она набросана была впервые Грибоѣдовымъ въ студенческіе годы,—и такимъ образомъ сильное вліяніе Буле, которому онъ обязанъ былъ къ тому же знаніями по теоріи и исторіи драмы, и указаніями на Мольера, Аристофана, Плавта, какъ на образцы комедіи, не осталось безъ живого отраженія на ранней умственной зрѣлости комическаго писателя, призваннаго выступить обличителемъ застоя и невѣжества.

Не менѣе сильно было вліяніе французское, незадолго передъ тѣмъ первенствовавшее въ русской жизни. Недавняя мода на „вольтерьянство“, скользившее по поверхности, начинала изглаживаться изъ памяти; обширныя помѣщичьи библіотеки, сплошь составленныя изъ французскихъ скептиковъ и раціоналистовъ, приходили въ запустѣніе, и доживавшие кое-гдѣ свой вѣкъ въ одиночествѣ чудаки-вольтерьянцы становились свидѣтелями плохо понимаемаго уже ими новаго политическаго либерализма. Пройдетъ съ десятокъ лѣтъ, и обычнымъ пугаломъ мирныхъ русскихъ обывателей явятся не вольтерьянцы, а *карбонары*, заговорщики и демагоги, которые будутъ трусливымъ людямъ мерещиться повсюду (смѣшеніе въ одной и той же средѣ, но у людей разныхъ поколѣній, боязни „фармазоновъ“, „вольтерьянцевъ“, „якобинцевъ“ и „карбонаровъ“— одно изъ тонкихъ наблюденій Грибоѣдова надъ современной ему Москвой). Но на смѣну прежнимъ поклонникамъ французскаго вліянія выступаютъ совсѣмъ иные. Въ первую четверть столѣтія это вліяніе послѣдовательно принимаетъ самыя разнообразныя формы, какъ будто давая обществу возможность нагнать далеко ушедшее впередъ движеніе французской мысли.

Первые годы отмѣчены либеральнымъ лиризмомъ и идеалистическою филантропіей во вкусѣ предшествовавшаго вѣка; весь кругъ приближенныхъ Александра тѣмъ или другимъ образомъ связанъ съ различными двигателями ранней революціонной поры,—иные провели даже молодость въ Парижѣ. Строгановъ съ неразлучнымъ своимъ педагогомъ, монтаньяромъ Роммомъ, былъ въ 1789—90 годахъ свидѣтелемъ и участникомъ въ различныхъ моментахъ революціи, однимъ изъ основателей клуба „Друзей закона“, затѣмъ и клуба якобинцевъ [1]). Съ такими задатками

[1]) О монтаньярѣ Роммѣ и его вліяніи на Строганова срав. книгу вел. кн. Николая Михайловича „Пав. А. Строгановъ“, т. I, 1903, стр. 37 и слѣд. Также Marc de Vissac, Un conventionnel du Puy de Dôme. Romme le Montagnard, 1883.—Въ дни революціи Строгановъ скрывалъ свое фамильное имя подъ псевдонимомъ Paul Otcher.

эти люди подошли потомъ къ практической дѣятельности на Руси. У нихъ было много дилеттантической неопытности и мало знанія русской жизни, но ихъ вліяніе все же поддержало въ Александрѣ въ лучшую пору его царствованія извѣстную терпимость и гуманныя влеченія. Но, по мѣрѣ того, какъ ранній кружокъ Александра рѣдѣлъ и уступалъ мѣсто представителямъ совсѣмъ иныхъ убѣжденій, французское вліяніе перемѣстилось въ общественную среду и, исправляя слишкомъ очевидный анахронизмъ александровскаго „Comité de salut public“ и запоздалыхъ отголосковъ энциклопедистскихъ ученій въ литературѣ и жизни, устанавливало болѣе равновѣсія въ умственныхъ интересахъ и влеченіяхъ обоихъ народовъ. Оно стало глубже и серьезнѣе и потому пережило неистовую галлофобію, которую вызвала было отечественная война [1]). Сначала машинально вторя обветшалымъ нападкамъ на господство парижскихъ модъ, французскую болтовню нашихъ салоновъ, на различныхъ искателей приключеній, свившихъ себѣ гнѣздо въ русскомъ обществѣ, пересмотрѣвъ на театрѣ всю благонамѣренную дребедень, доказывавшую и въ трагическомъ и въ комическомъ родѣ вредъ переимчивости, посмѣявшись надъ сотней, другою карикатуръ на французовъ, которыя рѣдко блистали бойкимъ остроуміемъ [2]), образованные кружки вспомнили, что духовныя связи съ Франціей давали намъ кое-что иное, кромѣ моднаго балласта, который годенъ лишь въ кругу Фамусовыхъ, открытаго для „званныхъ и незванныхъ, особенно изъ иностранныхъ“, для „французиковъ изъ Бордо“, для „всякихъ вертуновъ, залетныхъ изъ-за Рейна“. Изъ протеста противъ старой торжественности поэзіи лицейскій кружокъ Пушкина усвоилъ себѣ еще въ школьные годы игривую манеру мелкихъ французскихъ поэтовъ школы Парни и Шолье или, рано привыкая щеголять остроуміемъ и бойкостью, считалъ своими образцами любовную лирику Беранже и эпиграммы забытыхъ теперь Шанфора и Ривароля. *Легкая* поэзія, которую такъ усиленно призывалъ, бывало, Батюшковъ, получила массу поборниковъ,—и не только между

[1]) Оно вошло въ общественно-политическое образованіе многихъ декабристовъ. М. Фонвизинъ въ своихъ показаніяхъ на слѣдствіи заявилъ, что „свободный образъ его мыслей получился не отъ сообщества съ кѣмъ-либо, но, когда ему было 17 лѣтъ—изъ прилежнаго чтенія Монтескье, Рейналя и Руссо, также и древней и новой исторіи“. Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX стол., 1905 г., статья В. И. Семевскаго, 4.— Александръ Муравьевъ въ показаніи своемъ указалъ на вліяніе Монтескье, Руссо (Обществен. Договоръ), Бентама; Штейнгель говорилъ о Вольтерѣ, Руссо, Гельвеціи (на ряду съ Путешествіемъ Радищева, Вадимомъ Княжнина,—и „изъ ненапечатанныхъ“, прежде всего, съ Горемъ отъ Ума) и т. д. Пестель превосходилъ своихъ единомышленниковъ глубокимъ изученіемъ старой и современной философской и политической литературы (при выработкѣ „Русской Правды“ на него вліяло кромѣ Бентама, Бенжамена Констана, Монтескье и т. д., и притомъ съ особенной силой, написанное для президента С.-Американск. Штатовъ сочиненіе французскаго ученаго Дестютъ де Траси, „Commentaire sur l'Esprit des lois de Montesquieu“ p. Destutt de Tracy, 1819.—М. Ковалевскій, „Русская Правда“ Пестеля, Минувш. Годы, 1908, I.

[2]) Все число карикатуръ, летучихъ листковъ съ иллюстраціями и т. д., вызванныхъ войною 1812 года, включая сюда и бойкіе рисунки Теребенева, и грубые по мысли и по исполненію наброски безыменныхъ живописцевъ, доходитъ до 150. Ср. описаніе ихъ у Ровинскаго, Русскія народныя картинки, 1881, II, стр. 152—224.

молодежью, но и среди старшаго поколѣнія. Василій Львовичъ Пушкинъ, побывавшій въ началѣ вѣка въ Парижѣ, гдѣ онъ завязалъ сношенія съ главнѣйшими изъ литераторовъ, не разставался съ стихотвореніями Беранже; въ предсмертныя минуты онъ собралъ послѣднія силы, чтобы добраться до полки, гдѣ стояла любимая книжка, и прочесть еще разъ посланіе къ Лизеттѣ.

На этомъ не остановилась молодая школа, все еще искавшая настоящаго пути. У недавнихъ острослововъ-эпикурейцевъ послышались серьезныя вдумчивыя рѣчи, внушенныя поэзіей Андре Шенье, съ ея предчувствіемъ творческихъ и общественныхъ идей 19-го вѣка, съ глубиной мысли и чувства, съ ореоломъ мученичества; для другихъ юношей притягательная сила французскаго національнаго элемента заключалась въ вѣрности политическимъ традиціямъ, устоявшимъ во французскомъ народѣ подъ гнетомъ Бонапарта и Бурбоновъ, въ сочувствіи политическому возрожденію. Парижъ былъ въ ихъ глазахъ центромъ образованности, гуманности и либерализма. Парламентскія рѣчи вождей оппозиціи, въ чьихъ рядахъ появился снова Лафайэттъ, руководящія статьи возникавшихъ либеральныхъ газетъ, краса литературы памфлетовъ—мастерскія „Письма винодѣла“ Поль-Луи Курье, волновавшія всю страну, смѣлыя нападки Беранже въ его политическихъ пѣсняхъ на Карла X, дѣятелей реставраціи, на старое, неисправимое дворянство, іезуитовъ, миссіонеровъ, всякихъ гасителей просвѣщенія, враговъ народной свободы, наконецъ стихотворенія первыхъ французскихъ романтиковъ, все находило въ этой группѣ молодежи живой отзвукъ. Доходили до нея даже вѣсти о соціальной теоріи Сенъ-Симона [1]), возбуждавшей насмѣшки и раздраженіе въ правившихъ французскихъ классахъ и восторги у немногихъ адептовъ,—хотя сильное вліяніе оказала она лишь на герценовское поколѣніе. Н. Тургеневъ разсказываетъ, съ какимъ увлеченіемъ читалась у насъ тогда газета „Minerve“, гдѣ привлекали всѣхъ статьи Бенжамена Констана; разъ, придя къ Нессельроде, Тургеневъ замѣтилъ, какъ тотъ поспѣшилъ при его входѣ взять въ руки нумеръ „Minerve“, чтобъ не показаться отсталымъ въ глазахъ своего молодого гостя. Въ провинціальной глуши Курска та же сторона французской умственной жизни вызвала въ самоучкѣ Полевомъ, съ бою взявшемъ знаніе иностранныхъ языковъ, мечты о просвѣтительной и публицистической дѣятельности, осуществленныя со временемъ въ основаніи „Московскаго Телеграфа“, которому издатель поставилъ задачей „общеніе русской словесности съ умственной жизнью Европы“,—и сумѣлъ „первый обратить критику на всѣ важнѣйшіе современные предметы“, какъ съ гордостью заявлялъ о томъ въ старости Полевой. Она же преодолѣла политическій индифферентизмъ лицейской молодежи. Какъ только Кюхельбекеръ въ состояніи былъ выбраться изъ Россіи

[1]) Изъ числа будущихъ декабристовъ былъ въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ Сенъ-Симономъ сблизившійся съ нимъ (1816) въ Парижѣ Лунинъ, которому предтеча соціализма поручалъ уже распространеніе своего ученія въ Россіи. Записки Оже, Рус. Архивъ, 1877.

(какъ спутникъ и секретарь Нарышкина), и по пути черезъ Германію вынесъ много сильныхъ впечатлѣній ея культуры, входя въ личныя сношенія съ выдающимися писателями, въ особенности вождями романтической школы,—онъ въ Парижѣ съ фантастической, но симпатичной горячностью, точно второй Анахарсисъ Клотцъ, заявляетъ въ публичной лекціи, прочтенной въ „Athénée royal", объ успѣхахъ либеральнаго движенія въ Россіи и, ссылаясь на новгородскую вольность и на легендарный героизмъ Вадима, приноситъ клятву въ вѣрности своихъ соотечественниковъ принципамъ свободы. Рылѣевъ, вступая съ войсками въ Парижъ, былъ счастливъ очутиться въ немъ и чувствовать, что участвуетъ въ освобожденіи французскаго народа отъ тираніи,—того народа, въ сердцахъ котораго съ прежней горячностью кипитъ любовь къ „независимости и славѣ". Это сознаніе какъ будто облагораживаетъ и его собственное значеніе въ эту минуту, поэтизируетъ всю заграничную кампанію и поднимаетъ въ немъ сильную ненависть къ жестокимъ и абсолютистскимъ замашкамъ нашихъ союзниковъ; они хотѣли бы раздавить несчастную Францію [1],—что было особенно по сердцу и нашимъ патріотамъ въ родѣ Шишкова, заготовившаго въ этомъ духѣ манифестъ къ французскому народу, но остановлены противодѣйствіемъ Александра. Какъ же велико было недовольство Рылѣева, когда онъ увидѣлъ вскорѣ этихъ людей вдохновителями русской реакціи и когда всѣ розовыя надежды либерализма разбились подъ твердымъ натискомъ новой системы, гдѣ Меттернихъ пошелъ объ руку съ Аракчеевымъ! Тогда раздались мужественныя и вольнолюбивыя пѣсни поэта, который ставилъ свою гражданственность не только подъ покровительство *старыхъ* русскихъ героическихъ характеровъ, и, въ своихъ „Думахъ", ихъ примѣромъ стыдилъ „изнѣженное племя переродившихся славянъ", но (пріемъ, достойный настоящаго романтика) хотѣлъ видѣть столь же прямую связь съ любимыми имъ мужами древности и новѣйшаго запада. Точка зрѣнія его на назначеніе поэзіи глубже и серьезнѣе, чѣмъ у многихъ его сверстниковъ; небольшой, позднѣйшій, отрывокъ [2]), сохранившій отголоски его теоретическихъ воззрѣній и свидѣтельствующій о разностороннемъ знакомствѣ съ европейской литературой, ставитъ цѣли поэзіи выше споровъ о классицизмѣ и романтизмѣ и „веригъ, наложенныхъ на насъ Аристотелемъ", высказываетъ сочувствіе новой европейской поэзіи, начиная съ Данта до Шиллера, Гете, „особенно Байрона, у коихъ живописуются страсти людей, ихъ сокровенныя побужденія, вѣчная борьба страстей съ тайнымъ стремленіемъ къ чему-то высокому, къ чему-то безконечному". Онъ побуждаетъ современниковъ скорѣе „уничтожить въ себѣ духъ рабскаго подражанія и обратиться къ источнику истинной поэзіи", употребить

[1]) Въ это самое время наши солдаты, вступая въ столицу Франціи, сложили пѣсню (Пѣсни Кирѣевскаго, выпускъ X, стр. 13), гдѣ красоты Парижа сопоставлены съ величіемъ Москвы, и гдѣ французъ, возвращаясь на родину, говоритъ:

Ты Парижъ, мой Парижокъ, Парижъ славный городокъ!
Есть получше, есть покраше Парижа̀, бѣлокаменна Москва!

[2]) „Нѣсколько мыслей о поэзіи", Сочиненія Рылѣева. Спб. 1872, стр. 225—31.

„всѣ усилія осуществить въ своихъ писаніяхъ идеалы высокихъ чувствъ, мыслей и вѣчныхъ истинъ, всегда близкихъ человѣку и всегда не довольно ему извѣстныхъ“. Словомъ, онъ и для поэзіи требовалъ такого же освобожденія, которое призывалъ всѣми помыслами въ другихъ сферахъ жизни.

Этотъ взглядъ имѣлъ много родственнаго съ теоріями радикальнаго *французскаго* романтизма, постепенно завоевывавшаго себѣ на родинѣ господство надъ умами, сильнаго своими отечественными корнями (Руссо) и поддержаннаго внѣшними вліяніями (Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ), провозгласившаго со временемъ устами Гюго, что „романтизмъ въ поэзіи то же, что либерализмъ въ политикѣ“, и готовившагося къ своему шумливому и рьяному походу противъ стараго начала, въ ополченіи своихъ лириковъ и особенно въ мятежной своей драмѣ. Основанный въ 1823 г. Пьеромъ Леру вліятельный органъ романтиковъ, *le Globe*, собравшій первый составъ оппозиціонныхъ литературныхъ силъ (на-ряду съ большими величинами міра философскаго), вызывалъ сочувствіе всѣхъ друзей новой литературы даже за предѣлами Франціи, наприм., Гете. Вскорѣ взгляды французскихъ романтиковъ были усвоены кружкомъ „Полярной Звѣзды“, гдѣ отразились въ критическихъ статьяхъ Александра Бестужева, и молодой редакціею „Московскаго Телеграфа“, которая подъ его знаменемъ пошла на бой со старой школой. Во французскомъ романтизмѣ эта борьба пріобрѣтала желаннаго союзника, болѣе рѣшительнаго и энергическаго, чѣмъ нѣмецкое романтическое движеніе, тѣмъ временемъ опускавшееся, мельчавшее, уходившее въ мистицизмъ или политическое старовѣрство. Когда же къ этимъ двумъ національнымъ стихіямъ присоединилось наиболѣе могущественное видоизмѣненіе романтизма, — англійская поэзія байроновской школы,—тогда разрывъ произошелъ полнѣйшій, и возстаніе русскихъ романтиковъ противъ классицизма разгорѣлось. Это возстаніе, въ которомъ участвуютъ всѣ лучшія силы пушкинскаго періода, кажется не имѣющимъ строго выработанной программы; почти никто (не исключая Пушкина) не въ силахъ удовлетворительно объяснить, въ чемъ сущность этого движенія, *что такое* романтизмъ,—и это насъ не должно удивлять. Три разнородныя стихіи сошлись, чтобъ показать молодому русскому поколѣнію необходимость свергнуть и у себя то иго, которое послѣдовательно свергалось въ другихъ странахъ. Чуть ли не впервые устанавливалась солидарность и одновременность русскаго литературнаго движенія съ западнымъ, и русская школа входила въ общій ходъ культурнаго развитія. Увлекались уже возможностью вырваться на волю, разбить старыхъ идоловъ и провозгласить свободу творчества, предоставляя времени выработать болѣе прочныя реформы и осмысленную программу. Отовсюду заимствовали то, что казалось особенно привлекательнымъ,—но прежде всего хотѣли быть свободными людьми и въ творчествѣ, и въ жизни. Заслуга этого вліянія слишкомъ очевидна. Отнимите его изъ ранней поэзіи Пушкина, исключите изъ нея общія тогда всей европейской молодежи стремленія и бурное недовольство, или положительныя требованія,—и многое потускнѣетъ и обезцѣнится, несмотря на изящество формы.

Но французская мысль и другими своими оттѣнками привлекала русскихъ людей. Если новѣйшія теченія матеріализма находили немалый отзвукъ въ рядахъ передовой молодежи и отразились на вѣрованіяхъ многихъ декабристовъ [1]), то не меньшее, повидимому, вліяніе пріобрѣталъ кругъ религіозныхъ идей, внушаемыхъ цивилизаціей католичества. Со временъ Петра II, когда, благодаря миссіонерству Жюбе-де-Лакура, Ирины Долгоруковой и герцога Лиріа [2]), начались среди знати обращенія въ католицизмъ, для подобныхъ переходовъ не было удобнѣе поры, чѣмъ двадцатые годы XIX вѣка. Для группы свѣтской молодежи, увлеченной пропагандой католическихъ миссіонеровъ, самая перемѣна религіи, не обусловленная никакимъ философскимъ или общественнымъ обновленіемъ, давала удовлетвореніе религіозному чувству; послѣ первыхъ обращеній, вызванныхъ какимъ-то авантюристомъ, шевалье Бассинэ д'Огаромъ, и петербургскими іезуитами, перешли въ католичество такія выдающіяся личности, какъ кн. Зинаида Волконская, впослѣдствіи Ив. Гагаринъ, Мартыновъ, г-жа Свѣчина, которой предстояло сыграть выдающуюся роль въ парижскомъ клерикальномъ мірѣ и сгруппировать вокругъ себя такихъ людей, какъ Монталанберъ, Фаллу и др. Новообращенные довольствовались старымъ запасомъ католическихъ идей, но то новое движеніе въ сферѣ католичества, которое съ теченіемъ времени должно было привести у Ламеннэ къ компромиссу между церковнымъ ученіемъ и либеральными запросами современности, возбудило глубокій интересъ въ такомъ чуткомъ къ вопросамъ вѣры и въ то же время глубоко понимавшемъ нужды русской общественности, надѣленномъ дальнозоркостью философа исторіи, мыслителѣ и наблюдателѣ жизни, какъ Чаадаевъ.

Наравнѣ съ Грибоѣдовымъ участникъ культурнаго обновленія, которое въ московскомъ университетѣ начала вѣка исходило отъ Буле и немногихъ другихъ просвѣтителей-иностранцевъ, въ домашнемъ образованіи усвоивъ въ совершенствѣ французскій языкъ, на которомъ впослѣдствіи написаны были его произведенія, и близко знакомый со всею новой литературой Франціи, Чаадаевъ въ свѣтскихъ и военныхъ кругахъ Петербурга производилъ впечатлѣніе независимаго, свободно развившагося, проникнутаго политическимъ радикализмомъ, русскаго „Брута или Периклеса". Разрывъ съ военной карьерой и трехлѣтнее странствіе по Европѣ (послѣ отставки своей онъ задумывалъ выселиться навсегда изъ Россіи въ Швейцарію) вывело его умъ на достойный его просторъ. Недавно открытыя признанія его въ дневникѣ, записи чтеній и размышленій въ области мистики [3]), показали, что, очевидно, подъ сильнымъ вліяніемъ болѣзни, вызывавшей приступы тоски и отчаянія (des accès de chagrin et de désespoir), онъ прошелъ черезъ переходный моментъ

---

[1]) Матеріалисты двадцатыхъ годовъ, ст. Павлова-Сильванскаго, Былое, 1907, VIII.

[2]) Ср. книгу Пирлинга „La Sorbonne er la Russie" (1717—1747). P., 1882.

[3]) Въ полнѣйшемъ, окончательномъ собраніи сочиненій и переводовъ П. Я. Чаадаева, изд. М. Гершензономъ, 1913-14, напечатанъ производящій гнетущее впечатлѣніе „Mémoire sur Geist(er)kunde", съ мыслями и изліяніями, вызванными теоріей „познанія духовъ" Юнга-Штиллинга.

мистицизма, увлекаясь въ особенности сочиненіями Юнга-Штиллинга, но не замерли никогда въ немъ общественные интересы, а научная пытливость захватывала его все глубже, превративъ для него житье на западѣ въ примѣчательное самообразованіе. Путешествіе, начавшееся съ Англіи, провело его затѣмъ преимущественно по странамъ католическимъ, Италіи, Франціи. Парижъ, и въ особенности Римъ стали для него излюбленными центрами міровой культуры. Уравновѣшенное въ нѣмецкомъ мірѣ лишь вліяніемъ Шеллинга, сумѣвшаго оцѣнить его феноменальныя способности [1]), воздѣйствіе французской науки, во всѣхъ изгибахъ ея историко-культурной, философской и религіозной работы, отъ Де-Местра, Гизо, Кузена, Балланша, до Ламеннэ, опредѣлило существенныя стороны назрѣвавшей у него историко-философской теоріи. Странствія по католическому міру, изученіе его исторіи, памятниковъ его культуры, наблюденія бытового и нравственнаго характера дали ей прочное основаніе.

Они внушили ему благоговѣніе передъ тою творческой религіозной силой, которая въ теченіе многихъ вѣковъ руководила цивилизаціею,— фантазіею величайшихъ художниковъ, поэтовъ, музыкантовъ, зодчихъ, мыслью созерцателей, волей народовъ и ихъ вождей, создавала величественныя массовыя движенія ради идеи, вела къ подвижничеству, научала бороться съ грубой мощью свѣтской власти. Уныніе и безнадежное сомнѣніе (крайнее и одностороннее, какъ онъ самъ находилъ впослѣдствіи, и притомъ опиравшееся въ фактическомъ отношеніи на слабую историческую нашу науку того времени) овладѣвало имъ при созерцаніи тусклаго русскаго прошлаго, скуднаго идеями, слабаго въ творчествѣ и религіозной мысли, воспитаннаго церковью въ смиреніи, раболѣпіи и безгласности, оторваннаго отъ міровой культуры. Онъ погружался въ размышленія, сравненія, грезы, напоминавшія мечты Данта о великомъ призваніи папы, какъ пастыря человѣчества, вдохновляющаго всѣхъ къ правдѣ, добру, законности и миролюбію. Для Чаадаева соединеніе церквей и народовъ представлялось не удовлетвореніемъ богословской потребности, но средствомъ братски слить всѣ племена ради высшей культуры, ради осуществленія „Царствія Божія на землѣ". Рядомъ съ средневѣковымъ представленіемъ о папствѣ у него выступаетъ мысль объ идеальной свѣтской власти, о которой мечтали его французскіе друзья. Какъ у Данта просвѣтленный папа сопоставлялся съ императоромъ, надѣленнымъ сходною, но вполнѣ земною, гуманною миссіей, такъ у Чаадаева выступала могучая и свѣтлая, идеализованная мір-

---

[1]) Въ 1833 году въ Мюнхенѣ Шеллингъ отзывался о немъ кн. Гагарину, впослѣдствіи издателю его сочиненій, необыкновенно сочувственно, называя его un des hommes les plus remarquables qu'il eût rencontré". Ср. предисловіе Гагарина къ „Oeuvres choisies de P. Tchadajef". 1862.— Въ собраніи сочин. Чаадаева, изд. М. Гершензономъ, даны два письма къ Шеллингу, 1832 и 1842 годовъ, и (очевидно отвѣтъ философа на первое) одно письмо Шеллинга. Чаадаевъ встрѣтился и бесѣдовалъ съ нимъ въ Карлсбадѣ, въ 1825 г. Объ ихъ философскомъ сближеніи ср. очеркъ „Шеллингъ и Чаадаевъ", въ кн. проф. Е. Боброва „Философія въ Россіи".

ская власть. Въ просвѣтительномъ переворотѣ, который онъ призывалъ для Россіи всей душой, онъ ждалъ всего отъ сильной власти, которая смогла бы привить массѣ русскаго народа иные идеалы и слить его съ западомъ. Въ философской оцѣнкѣ судебъ человѣчества мы встрѣчаемъ у него восторженный панегирикъ Петру. Найденное въ бумагахъ Третьяго Отдѣленія письмо Чаадаева къ Николаю, 1833 года, разъясняющее, какъ возможно было бы утвердить наше просвѣщеніе на національной основѣ, и въ связи съ этимъ переписка съ гр. Бенкендорфомъ, выставляющая параллель русской и французской образованности, позволяютъ думать, что онъ одно время возлагалъ великую миссію на Николая... Но Бенкендорфъ отвѣтилъ грубымъ внушеніемъ о неприличии подобныхъ разсужденій, письмо же къ императору никогда не дошло по назначенію.

Такъ зрѣли въ умѣ одинокаго мыслителя тѣ взгляды, которые онъ развилъ три года спустя послѣ возвращенія въ Россію (въ 1829 году) въ серіи примѣчательныхъ своихъ „Философическихъ писемъ" (точнѣе „Письмахъ о философіи исторіи"), помѣченныхъ Некрополисомъ (городомъ мертвыхъ), т.-е. Москвой, и уже въ рукописи начинавшихъ волновать умы, прежде чѣмъ насталъ роковой часъ ихъ обнародованія. И если впослѣдствіи обольстительно рисовались передъ нимъ картины будущаго обновленія Руси [1]), мрачно и безпощадно смотрѣлъ онъ въ Письмахъ на прошлое и настоящее (по первому же предложенію Якушкина онъ вошелъ въ составъ Тайнаго Общества); его возмущало національное самообольщеніе, казавшееся ему худшимъ изъ нашихъ пороковъ; когда нетерпимость къ независимымъ мнѣніямъ осудила его на безмолвіе, онъ въ остроумныхъ и полныхъ ироніи частныхъ письмахъ осмѣивалъ новѣйшія проявленія нашего самомнѣнія и рѣзко возсталъ противъ Гоголя [2]), видя, что онъ своими учительными произведеніями сталъ вторить народной гордости. Не учить другихъ, а самимъ учиться и много работать надъ собой — казалось ему нашимъ удѣломъ. Его своеобразный скептицизмъ, несомнѣнно увлекавшій многихъ въ обществѣ гораздо ранѣе появленія въ Телескопѣ, 1836 г., перваго и единственно оглашеннаго въ печати „Философическаго письма" [3]), былъ конечнымъ результатомъ долгой умственной работы сосредоточеннаго мыслителя, склон-

---

[1]) „Vous savez que, selon moi, la Russie était appellée à fournir une immense carrière intellectuelle,—писалъ онъ впослѣдствіи Александру Тургеневу;—elle devait un jour donner la solution de toutes les questions qui se débattent en Europe". Сочин. Чаад., изд. Гершензона I, 181.

[2]) О выразившемся съ великою горечью въ „Апологіи сумасшедшаго" антагонизмѣ ихъ, обозначившемся еще послѣ появленія „Ревизора", успѣхъ котораго оскорблялъ Чаадаева, видѣвшаго, какъ грубый смѣхъ „гистріона" увлекаетъ людей, тогда какъ глубоко продуманная проповѣдь мыслителя вызываетъ гоненіе, ср. мою статью „Гоголь и Чаадаевъ", въ Этюдахъ и характеристикахъ, 1912, II; примѣчательно также письмо къ Вяземскому, вызванное появленіемъ гоголевскихъ „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями", характеризующее съ ѣдкой ироніей новоявленнаго „крошечнаго наставника народовъ".

[3]) Документы, найденные А. И. Кирпичниковымъ въ Румянцевск. музеѣ, показали, что раньше этой даты, въ концѣ 1832 г., Чаадаевъ приготовилъ уже къ печати, и не на французскомъ, а на русскомъ языкѣ, нѣсколько философскихъ писемъ. Цензура не разрѣшила этого изданія. „Очерки по исторіи новой русской литературы", 1903, ст. 131—33.

наго къ парадоксамъ, которые не устояли передъ позднѣйшей критикой, и (въ „Апологіи сумасшедшаго“) подверглись со временемъ пересмотру и теоретической перестройкѣ самого Чаадаева, прозрѣвшаго возможность самостоятельной культурной роли для своего народа,—все же перваго по времени на Руси философа исторіи.

Но созерцаніе русской современности не у всѣхъ развитыхъ людей вызывало горячій рылѣевскій протестъ или скептическую насмѣшку Чаадаева, такъ жестоко наказанную признаніемъ автора сумасшедшимъ, обреченіемъ оригинальнаго мыслителя на пожизненную опалу и неполноправное существованіе. Чѣмъ шире развѣтвлялась реакція и чѣмъ оскорбительнѣе становилась противоположность между грандіозными надеждами и жалкой ихъ развязкой,—тѣмъ понятнѣе и симпатичнѣе становился для натуръ слабыхъ и легко опускающихся другой оттѣнокъ современнаго литературнаго направленія во Франціи, разрабатывавшій темы разочарованности и міровой скорби. Тѣ же причины должны были породить у насъ одинаковыя слѣдствія. Какъ въ Германіи восьмнадцатаго вѣка смѣна фридриховой поры узкимъ консерватизмомъ и гоненіемъ на просвѣщеніе вызвала въ литературѣ періодъ „бурныхъ стремленій“, когда недовольство часто находило исходъ въ самоубійствѣ или разъѣдающей рефлексіи,—такъ во Франціи имперія и реставрація возбудили такой сильный подъемъ разочарованности и грусти, который не могъ не вызвать въ литературѣ появленія надломленныхъ натуръ, предшествовавшихъ или родственныхъ байроновскимъ героямъ. До извѣстной поры эти страдальцы могли для русской публики представлять интересную литературную новинку (*Рене* былъ переведенъ въ Москвѣ еще въ 1803 году; прочли у насъ и *Peintre de Salzbourg* Шарля Нодье, варіацію на Вертера, разрѣшающуюся самоубійствомъ въ волнахъ Дуная, и *Obermann* Сенанкура, излѣчивающаго мрачную меланхолію трудомъ на пользу ближнихъ), но наступило время самимъ переживать такія же ощущенія и съ глубокой симпатіей отзываться на сѣтованія европейцевъ-неудачниковъ. Ранѣе правительственнаго поворота къ реакціи, нетерпимость, которою общество стало отвѣчать на просвѣтительныя стремленія образованныхъ круговъ и отворачиваться отъ всего западнаго съ такимъ же легкомысліемъ, съ какимъ прежде льнуло къ нему, наконецъ возрастающіе успѣхи мистицизма создали для впечатлительныхъ людей положеніе мучительное; общество перестало понимать ихъ, оно чуждалось всякой „философіи“ и либерализма. Эти люди пройдутъ послѣдовательно по пути Вертеровъ, Рене, Адольфовъ, Шарлей Мюнстеровъ, если только Байронъ не укажетъ имъ во-время иного исхода. Словомъ, эта „душегрѣйка новѣйшаго унынія“ (какъ называлъ ее впослѣдствіи Кирѣевскій), хотя и занесена была сначала съ чужой стороны, пришлась намъ совсѣмъ по плечу.

Вліяніе англійской умственной жизни, начинающее серьезно проявляться лишь съ первой четверти девятнадцатаго вѣка, имѣло сначала преимущественно практическій, дѣловой характеръ. Къ англійскому быту обращались за образцами и указаніями при различныхъ проектахъ пре-

образованій. Когда задумывался пересмотръ законодательства, искали совѣта у англійскихъ спеціалистовъ, Макинтоша и въ особенности Бентама. Къ послѣднему привлекало его ученіе о наибольшей степени счастія для наибольшаго числа гражданъ, трезвый анализъ общепринятыхъ юридическихъ традицій, недовѣріе къ чрезмѣрному вмѣшательству закона въ жизнь, гуманное отношеніе къ жертвамъ уголовнаго законодательства и проповѣдь тюремной реформы [1]). Бентама, прогостившаго въ Бѣлоруссіи около года (1786—87) у брата своего, который въ потемкинскихъ имѣніяхъ дѣлалъ съ его помощью опыты улучшенія быта фабричныхъ рабочихъ, хотѣли снова привлечь въ Россію и готовы были бы удержать его у себя; пріѣхавшій въ Петербургъ, въ качествѣ его представителя, популяризаторъ его идей Дюмонъ былъ радушно встрѣченъ [2]), книга его переведена „по высочайшему повелѣнію"; но, когда наконецъ самъ Бентамъ заявилъ желаніе притти на помощь русскимъ законодателямъ, уклончивый отвѣтъ показалъ ему несвоевременность его вмѣшательства среди начинавшейся уже реакціи.

Вопросъ о народномъ образованіи, заглохшій послѣ почина Екатерины, снова былъ выдвинутъ благодаря Ланкастерской системѣ взаимнаго обученія, которая сначала оффиціально распространялась (для изученія ея были посланы въ 1816 г. въ Англію четыре студента; съ помощью ихъ и англійскаго педагога Герда она стала примѣняться въ Россіи; первая школа возникла въ имѣніи Румянцева, Гомелѣ), быстро привилась у насъ въ народѣ, въ особенности въ войскахъ и на фабрикахъ, смутила своими успѣхами Хлестову и „грибоѣдовскую Москву", встревоженную „ланкарточными взаимными обученіями", и была со временемъ упразднена изъ консервативныхъ опасеній [3]). Уваженіе Александра къ англійскимъ религіознымъ толкамъ и, прежде всего, къ квакерамъ, которыхъ онъ принималъ въ Петербургѣ съ демонстративнымъ почетомъ, казалось, должно было бы научить его цѣнить свободу совѣсти и у себя. Судъ присяжныхъ, введеніе котораго было проектировано Радищевымъ съ первыхъ годовъ столѣтія, предполагалось организовать по англійскому образцу. Наконецъ, особый интересъ къ политическимъ наукамъ и народному хозяйству, отличавшій тогдашніе образованные кружки, былъ вызванъ распространеніемъ идей Адама Смита и его школы,—хотя нельзя не замѣтить, что изученіе теоріи автора „The wealth of nations" [4]) опо-

---

[1]) Переводы Бентама въ новѣйшее время: Избран. сочиненія, пер. А. Н. Пыпина и А. Невѣдомскаго, I т. 1867.—Выдержки въ „Библіотекѣ Экономистовъ", изд. К. Т. Солдатенкова, выпускъ V, 1895.

[2]) Любопытный Дневникъ, веденный имъ во время пріѣзда въ Россію, 1803, переведенъ въ Голосѣ Минувшаго, 1913, II—IV.

[3]) Декабристы занесли ее даже въ Сибирь. Якушкинъ устроилъ въ 1842 и 1846 гг. въ Ялуторовскѣ двѣ школы для мальчиковъ и дѣвочекъ, въ которыхъ принята была система Белля и Ланкастера; школы эти существовали цѣлыхъ 14 лѣтъ, до возвращенія Якушкина въ Россію (Декабристы въ западной Сибири, изслѣдованіе А. Дмитріева-Мамонова. Чтенія въ Общ. Истор. и Древ., 1895, VI, 139, и отдѣльно, 1905).

[4]) Книга Ад. Смита была издана въ переводѣ Н. Политковскаго, 1802—6 гг. (Изслѣдованіе свойства и причинъ богатства народовъ.)

здало у насъ слишкомъ на сорокъ лѣтъ. Николай Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ, старался въ своемъ „Опытѣ теоріи налоговъ" возможно чаще говорить объ Англіи, ея наукѣ и учрежденіяхъ. Большинство проектовъ адмирала Мордвинова (такъ часто восхваляемаго Рылѣевымъ), проникнутыхъ сочувствіемъ къ русскому народу и сдѣлавшихъ имя автора дорогимъ для тогдашняго молодого поколѣнія (въ особенности его „Разсужденіе о пользахъ, могущихъ послѣдовать отъ учрежденія частныхъ по губерніямъ банковъ", Спб., 1811), основаны на частыхъ ссылкахъ на примѣръ Англіи [1]). Грибоѣдовъ, вѣрный интересу къ экономическимъ вопросамъ, вызванному въ немъ университетскими курсами Шлецера, собиралъ на Кавказѣ и въ Персіи и объяснялъ статистическія данныя. Пушкинъ въ одной недоконченной повѣсти не безъ улыбки вспоминалъ, какъ въ 1818 году въ петербургскомъ свѣтѣ всѣ старались придавать себѣ глубокомысленный видъ и разсуждать объ Адамѣ Смитѣ (тогда „строгость правилъ и политическая экономія были въ модѣ; теперь французская кадриль замѣнила Ад. Смита"). Тоже, съ грѣхомъ пополамъ, дѣлалъ въ юности Онѣгинъ, желая казаться „глубокимъ экономомъ".

Мало-по-малу изъ-за этого дѣлового вліянія стало выдвигаться и рости сближеніе съ англійской литературой; знаніе англійскаго языка быстро распространялось [2]). Въ 1822 г. Пушкинъ уже признавалъ, что „англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую", и надѣялся, что „оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи"; въ своемъ англоманствѣ онъ надѣлилъ даже эту поэзію укоризненными эпитетами „робкой и жеманной", забывая о Вольтерѣ, Шенье, Мольерѣ, Беранже. Раньше Байрона мы узнали Вальтеръ-Скотта, сначала какъ стихотворца, потомъ какъ романиста. „Waverley" былъ уже прочтенъ всѣми, тогда какъ „Чайльдъ-Гарольдъ", предварившій его на два года, былъ еще почти

---

[1]) Сравнивая въ этомъ разсужденіи Францію съ Англіею, онъ не находилъ достаточно красокъ, чтобы выразить свое удивленіе англійскому народу; ему мало было дано, но своимъ трудомъ и самодѣятельностью онъ достигъ великихъ успѣховъ. „Взглянемъ въ Англіи на нивы, покрытыя высокою, густою жатвою отъ избраннѣйшихъ зеренъ; на усадьбы, устроенныя со всѣми потребностями для покою и здравія человѣка, снабженныя лучшими орудіями и всею принадлежностью искуснаго сельскаго хозяйства; на селидбы и грады, вмѣщающіе въ себѣ сокровища совокупнаго и долголѣтняго труда человѣческаго, гдѣ умъ, искусство, дѣятельность возводятъ до совершенства науку и работу, и гдѣ каждый трудящійся способствуетъ возрастанію общаго народнаго богатства" и т. д. (стр. 7—8). О томъ же Мордвиновъ мечталъ и для Россіи; ему кажется, что въ случаѣ введенія проектируемаго имъ „сбора съ доходовъ"—„не отымется послѣдняя нерѣдко часть отъ стяжаемаго въ трудѣ и потѣ, при солнечномъ зноѣ лѣтомъ, ни отъ вырабатываемаго замерзлыми руками, среди вихрей и мразовъ зимою, не отрѣжется въ хижинѣ нищаго ломоть отъ хлѣба, едва достаточнаго для вскормленія убогаго, но часто многочисленнаго семейства... судъ и расправа содѣлаются праведными", и т. д. (стр. 3).—Въ новѣйшее время изданіе десятитомнаго „Архива гр. Мордвиновыхъ", подъ ред. Бильбасова, дало возможность сполна обозрѣть дѣятельность неутомимаго прожектера, врага крѣпостничества и безконтрольной власти (однихъ „Мнѣній" напечатано болѣе трехсотъ).

[2]) Крестецкій дворянинъ у Радищева „англійскій языкъ, а потомъ латинскій старался сдѣлать сыновьямъ извѣстнѣе другихъ; ибо твердость духа вольности, переходя въ изображеніи рѣчи, пріучитъ и разумъ къ твердымъ понятіямъ, столь нужнымъ во всякомъ правѣ".

неизвѣстенъ; мнимое вольнодумство Вальтеръ-Скотта вызывало порою кары противъ переводчиковъ его произведеній,—и исторія цензуры хранитъ въ числѣ своихъ занимательнѣйшихъ анекдотовъ разсказъ о томъ, какъ баллада „The Eve of St. John“, или „Ивановъ вечеръ“, вызвала пререканія, суровый цензурный разборъ пьесы Скотта, защиту ея Жуковскимъ, запрещеніе ея и возрожденіе въ измѣненномъ и ослабленномъ видѣ подъ именемъ „Смальгольмскаго замка“ [1]). Но ничто не могло остановить быстро возраставшей популярности Вальтеръ-Скотта, особенно съ тѣхъ поръ, какъ, склонившись передъ славой Байрона, онъ навсегда отказался отъ стихотворства, покинулъ поэму и балладу [2]), чтобъ отдаться историческому роману. Совершенно невѣдомый до той поры въ нашей литературѣ (если не считать двухъ крохотныхъ и слабыхъ историческихъ повѣстей Карамзина), романъ этотъ вызвалъ къ жизни беллетристическое изображеніе русскаго прошлаго и на нѣсколько десятилѣтій, до появленія „Войны и Мира“, узаконилъ у насъ пріемы шотландскаго романиста. За нимъ вслѣдъ пошли и Пушкинъ, и Гоголь въ „Тарасѣ Бульбѣ“, и преисполненный восторженнаго патріотизма Загоскинъ, построившій „Юрія Милославскаго“ по образу и подобію „Легенды о Монтрозѣ“ [3]), Лажечниковъ, опиравшійся на архивныя работы и изученіе источниковъ, наконецъ, въ извѣстной степени, и Алексѣй Толстой [4]). Историческій матеріалъ давала имъ (для старой Руси) обыкновенно „Исторія“ Карамзина, но переработка его происходила по испытаннымъ уже на дѣлѣ правиламъ, которыя создали блестящій успѣхъ „Кенильвортскаго замка“, „Айвенго“ и другихъ наиболѣе любимыхъ у насъ произведеній романиста [5]).

Наконецъ, хотя и поздно,—всего за нѣсколько лѣтъ передъ смертью Байрона,—устанавливается надолго, вплоть до начала сороковыхъ годовъ, вліяніе новой англійской поэзіи, съ которымъ лишь впослѣдствіи стало спорить вліяніе Шекспира (его до конца тридцатыхъ годовъ знали лишь въ немногихъ переводахъ, точнѣе передѣлкахъ, съ французскаго) [6]). Оно

---

[1]) Сухомлиновъ. Изслѣдованія и статьи по русск. литературѣ, т. I, „Матеріалы для исторіи образов. въ Россіи при Александрѣ I“, 437—447. Скабичевскій, Истор. русск. цензуры, 162—66.

[2]) Жуковскій и Вальтеръ-Скоттъ выступили на поприще романтизма съ переводами одного и того же произведенія,—бюргеровской „Леноры“.

[3]) Замотинъ. Романтическій идеализмъ въ русск. обществѣ и литерат. 20—30 годовъ XIX столѣт., 1907, 230—33.

[4]) Съ вліяніемъ Вальтеръ-Скотта на „Князя Серебрянаго“ встрѣчаются отзвуки пріемовъ Альфреда де-Виньи съ его „Cinq-Mars'омъ“; Lirondelle, „Le poète Alexis Tolstoï“, 1911, p. 334, 338.

[5]) Увлеченіе сообщилось даже императору Николаю. Когда, по заведенному обычаю, ему представленъ былъ на цензуру „Борисъ Годуновъ“, при чемъ произведены были въ текстѣ различныя измѣненія и выброшены „слишкомъ тривіальныя выраженія“, императоръ велѣлъ передать Пушкину черезъ гр. Бенкендорфа, что предпочелъ бы, еслибъ данный сюжетъ былъ обработанъ въ историческомъ романѣ, въ родѣ произведеній Вальтеръ-Скотта.

[6]) Лиръ („Леаръ“), Отелло и Гамлетъ въ переводахъ (съ французскихъ передѣлокъ) Висковатова и Вельяминова, съ вандальскими искаженіями, кореннымъ образомъ мѣнявшими планъ и замыселъ шекспировскихъ пьесъ, составляли уже усладу театральной публики на-

не лишено было односторонности, сосредоточивалось почти исключительно на Байронѣ, игнорируя такого сильнаго его соперника, какъ Шелли, и притомъ не передало во всей полнотѣ помысловъ, внутреннихъ тревогъ и общественной программы самого Байрона,—но, при всемъ этомъ, подѣйствовало необыкновенно освѣжающимъ образомъ. Какъ ни принято было (и очень долго) во имя нравственности и незыблемаго порядка осуждать излишества и бурныя вспышки, въ которыя вовлекла Пушкина, Лермонтова и мелкихъ ихъ современниковъ манія байронизма, нужно же сознаваться, что, благодаря этому вліянію, молодость ихъ не только избавилась отъ налета пошлости, но сохранила, при всемъ давленіи среды, много благородныхъ порывовъ, независимости мысли, живого участія къ судьбамъ народнымъ. Сила и этого направленія должна была у насъ значительно ослабѣть; придавалось много важности случайнымъ мелочамъ, — остатку аристократическихъ замашекъ у Байрона или страсти его героевъ рисоваться непризнанностью и демоническимъ величіемъ; эти мелочи быстро усвоивались, и даже у Пушкина переходили иногда въ крайность [1]). Глубокая же соціальная основа этой поэзіи дѣйствовала скорѣе *общимъ* своимъ обаяніемъ, чѣмъ затронутыми ею вопросами и силой скрытаго въ ней энтузіазма.

Для людей байроновскаго закала быть поэтомъ значило быть заступникомъ и за права личности, и за права народныя, отзываться на успѣхи борьбы, гдѣ бы она ни велась, будить человѣчество и, если нужно, жертвовать для этого всѣмъ, даже жизнью. Байрона мы видимъ участникомъ въ освободительныхъ попыткахъ въ Италіи, Греціи, главою дѣятельной секціи карбонаровъ, ораторомъ за рабочихъ въ Верхней Палатѣ, основателемъ политической газеты („Либералъ"); Шелли близко принимаетъ къ сердцу страданія ирландскаго народа, отправляется въ самый центръ броженія умовъ и на время превращается въ настоящаго пропагандиста; талантливый, но до сихъ поръ мало цѣнимый Ландоръ, съ ранней юности искренній ненавистникъ всякой тираніи, при первыхъ же вѣстяхъ о возстаніи испанскаго народа противъ Наполеона летитъ въ Испанію и на свой счетъ выставляетъ легіонъ волонтеровъ [2]). Эту неизмѣнную основу мы найдемъ въ каждомъ выдающемся произведеніи этихъ поэтовъ, она вошла въ ихъ плоть и кровь [3]). Тотъ „гарольдовъ плащъ", ко-

---

чала вѣка. Но замѣчательный, самородный, вдохновенный и мало развитой трагикъ Яковлевъ, творившій, говорятъ, чудеса изъ этого матеріала (въ Отелло), не имѣлъ и сотой доли вліянія, которое два поколѣнія спустя оказывалъ (уже Шекспировскій, въ переводѣ Полевого) Гамлетъ Мочалова.

[1]) „Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебѣ,—писалъ ему Рылѣевъ.— На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ".

[2]) Съ конца девятнадцатаго вѣка становится замѣтнымъ изученіе своеобразной поэзіи этого писателя, совершенно игнорируемаго нашими переводчиками (умеръ онъ въ глубокой старости въ 1864 году). Въ Англіи есть нѣсколько кружковъ „ландористовъ". Обстоятельныя біографіи Ландора принадлежатъ Форстеру, 1866, и Sidney Colvin'у. 1881.

[3]) Характеристика байроновскаго вліянія на европейскія литературы сдѣлана въ книгѣ Эльце „Lord Byron", 1886, въ статьѣ Chiarini, Lord Byron nella politica e nella letteratura

торымъ одѣлся Онѣгинъ, вовсе не былъ такъ незамысловать, какъ казалось многимъ; не однообразный мотивъ скуки и пресыщенія, но сильную любовь къ независимости, тоску и негодованіе при видѣ общаго порабощенія, побужденіе къ активной борьбѣ былъ бы онъ въ состояніи передать съ собою. Что такое *Чайльдъ-Гарольдъ*, какъ не негодующее изображеніе мрака и затишья Европы въ періодъ реакціи, перевитое личными отступленіями, картинами природы и быта, цвѣтами тонкой ироніи, какъ не вызовъ къ порабощеннымъ народностямъ во имя возрожденія и борьбы за свободу! Что такое „Донъ-Жуанъ", ославленный когда-то опаснѣйшимъ, безнравственнымъ произведеніемъ, полнымъ демоническаго сарказма, какъ не сатирическій смотръ всѣхъ племенъ Европы, проводимыхъ сквозь градъ насмѣшекъ надъ двуличностью ихъ морали и общественнаго склада, смотръ безпримѣрный по всемірно-исторической шири и по благородству мысли, взывающій къ терпимости, протестующій противъ ужасовъ и безумія войнъ! Кто станетъ искать этой широкой рамки въ русскихъ переложеніяхъ байроновскихъ темъ?

Тѣмъ не менѣе вліяніе это дѣйствовало живительно. Если въ предшествующій періодъ приходилось съ философской точки зрѣнія доказывать необходимость и „пользу страстей", какъ сдѣлали Крыловъ и Радищевъ, то теперь элементъ этотъ самъ съ неудержимой силой вторгался и въ жизнь, и въ поэзію. Широкій размахъ поэтической живописи, привлекательный образъ сильной и протестующей личности, разнообразіе содержанія, гдѣ европейская современность сплеталась съ чертами быта востока, людская жизнь съ міромъ призраковъ и духовъ, цивилизація и первобытная простота кочевника, городской шумъ и красоты горной природы или океана,—и прежде всего чарующая новизна формы, ничѣмъ не скованная свобода стиха, соперничающая съ свободою мысли,—все это должно было увлечь русское молодое поколѣніе. Раньше другихъ узнали о Байронѣ люди, почему-либо имѣвшіе прямыя сношенія съ Англіей и англичанами, Блудовъ, присылавшій изъ Лондона Жуковскому съ товарищами различныя байроновскія новинки, Уваровъ, Батюшковъ, получившій въ Неаполѣ отъ англичанъ primeur списковъ съ IV пѣсни „Гарольда" (его переводъ двухъ строфъ изъ нея о „наслажденіи и въ дикости лѣсовъ" и т. д.—первый памятникъ русскаго байронизма). Затѣмъ сильное содѣйствіе оказали французскіе переводчики. Къ 1819—20 гг. Байронъ въ полномъ смыслѣ слова сталъ „властителемъ нашихъ думъ"; передъ нимъ преклонились представители всѣхъ новыхъ оттѣнковъ литературы, Грибоѣдовъ, читавшій даже подъ арестомъ „Чайльдъ Гарольда", Пушкинъ, Батюшковъ, прежде прозванный было русскимъ Тибулломъ, Баратынскій, критики въ родѣ князя Вяземскаго, усвоившаго байронизмъ въ Варшавѣ отъ польскихъ почитателей поэта, и старозавѣтнаго, казалось, охранителя литературы, М. Каченов-

---

della prima meta del secolo, Nuova Antologia, 1891, fasc. 13, въ двухтомномъ трудѣ проф. Здзѣховскаго, Byron i jego wiek, 1894—97, въ моихъ „Этюдахъ о байронизмѣ" (Этюды и характеристики, 4 изд., 1912), въ кн. Estève „Byron et le romantisme français", 1907.

скаго [1]), чувствительный романтикъ Жуковскій, переводчикъ „Шильонскаго замка“, невольно наложившій на байроновскій фонъ поэмы мягкіе, примиряющіе оттѣнки, и клубные друзья Репетилова, которые, на ряду съ „камерами, присяжными“ и другими „важными матеріями“, толковали о Байронѣ, А. Бестужевъ-Марлинскій и его братъ Николай (переводчикъ „Паризины“), слѣпецъ Козловъ, поэтъ политическій Рылѣевъ, и такіе свѣтскіе дилеттанты, какъ семья Раевскихъ, впервые посвятившая Пушкина на Кавказѣ въ тайны байронизма [2]). Отъ упоенія и восторговъ все въ этомъ поколѣніи, что сколько-нибудь владѣло стихомъ, перешло къ подражанію, переложенію, переводу. Излюбленные образы Байрона,—преимущественно его ранней поры, герои восточныхъ поэмъ, Гяуръ, Корсаръ, Лара, оживали въ русскихъ варіаціяхъ на байроническія темы. Отъ сладостнаго навожденія этого никто не могъ избавиться,—самъ Рылѣевъ, такъ горячо доказывавшій Пушкину, что „его огромное дарованіе, его пылкая душа могутъ вознести его до Байрона, оставивъ Пушкинымъ“, тоже заплатилъ общую дань, въ „Войнаровскомъ“ придалъ герою байроническій колоритъ разбитаго жизнью неудачника и ввелъ въ поэму мотивы изъ „Шильонскаго узника“ и „Мазепы“... Иные изъ учениковъ англійскаго поэта со временемъ отказались отъ всякой солидарности съ байроновскимъ направленіемъ и перешли, какъ Вяземскій, на болѣе ровную дорогу, даже стыдились своихъ молодыхъ увлеченій; но мы не можемъ не видѣть, что имъ они обязаны были самой свѣтлой порой своего духовнаго развитія. Потому-то, когда до нихъ дошла печальная вѣсть о кончинѣ любимаго поэта, ими овладѣло неподдѣльное горе [3]).

---

[1]) Изданный имъ „Выборъ изъ сочиненій лорда Бейрона“, М. 1821, былъ первымъ переводнымъ сборникомъ байроновскихъ поэмъ (Гяуръ, Абидосск. невѣста, Осада Кориноа и др.). До этого изданія Вѣстникъ Европы помѣщалъ уже переводныя французскія статьи о поэтѣ.

[2]) Н. Раевскій былъ основательнѣе многихъ знакомъ съ англійской поэзію, Вальт. Скоттомъ, Кольриджемъ, Муромъ, и, какъ показываютъ его письма къ Пушкину, могъ руководить его критическимъ вкусомъ. Л. Н. Майковъ. Историко-литер. очерки, 1895, „Изъ сношеній Пушкина съ Н. Раевскимъ“.—О современныхъ Байрону отраженіяхъ его поэзіи въ русской литературѣ—сравн. мои „Этюды о байронизмѣ“, также В. Маслова „Начальный періодъ байронизма въ Россіи“, Кіевъ, 1915.

[3]) Пушкинъ въ деревенской церкви отслужилъ въ годовщину смерти поэта панихиду по „рабѣ Божьемъ Георгіѣ“. Въ IV части „Мнемозины“ напечаталъ онъ „Прощаніе съ моремъ“ и его пѣвцомъ, „какъ оно, могучимъ, глубокимъ, мрачнымъ, неукротимымъ“. Только что основанный Московскій Телеграфъ привелъ въ первомъ же № изъ этого, тогда еще не напечатаннаго, стихотворенія отрывокъ, помѣстилъ статью В. Скотта о Байронѣ и воспоминанія о немъ изъ Westminster Review. Большинство русскихъ стихотворцевъ поспѣшило отозваться чѣмъ-нибудь на смерть Байрона. Кромѣ Пушкина, Иванъ Козловъ, Веневитиновъ (прологъ—„Смерть Байрона“), кн. Вяземскій, М. Бестужевъ-Рюминъ („Послѣднія чувства Байрона“), Кюхельбекеръ, Рылѣевъ (стих. „На смерть Байрона“, напечат. лишь въ 1828 г., анонимно, въ „Альбомѣ сѣверныхъ музъ“) и т. д. Укажемъ изъ наиболѣе удачныхъ произведеній, вызванныхъ ею, на стихи В. Кюхельбекера, появившіеся въ Мнемозинѣ и изданные отдѣльно съ портретомъ англійскаго поэта. Авторъ заставляетъ тѣни байроновскихъ созданій явиться къ Пушкину и возвѣстить о гибели его любимаго поэта; съ рѣзкими уко-

Три разноплеменныя начала, которыя мы здѣсь обособили, сходились въ значительномъ вліяніи на русскую мысль и творчество, поддерживаемыя многими второстепенными элементами, которые дѣйствовали на нее вслѣдствіе возраставшаго сближенія съ общеевропейскими интересами [1]. Возникла тогда даже мысль свести для образованной массы итоги науки, литературы и политики,—и въ значительной степени была уже выполнена: иждивеніемъ московскаго издателя Селивановскаго, въ которомъ, казалось, возродилось просвѣтительное рвеніе Новикова, было напечатано три тома новой Энциклопедіи [2], составленной по иностраннымъ источникамъ, съ прибавленіемъ статей о Россіи,—но все изданіе съ рукописями для дальнѣйшихъ томовъ было задержано и уничтожено.

Чего не успѣвала сдѣлать литература, тому учила жизнь. Новое русское поколѣніе, слѣдомъ за своими западными сверстниками, привыкло считать, что все живое и смѣло заявляющее себя гдѣ бы то ни было, не чуждо ему. Долгое пребываніе на западѣ въ періодъ войны 1813—15 годовъ облегчило для нашей молодежи знакомство съ общественнымъ движеніемъ Европы. Народныя движенія въ Испаніи (революція 1820 года, съ ея краткимъ конституціоннымъ эпилогомъ, возбуждавшая сочувствіе Н. Тургенева, Чаадаева, неаполитанская революція, таинственная дѣя-

---

ризнами авторъ обращается къ Англіи, не оцѣнившей великаго человѣка, и предвѣщаетъ ему вѣчную славу:

Упала дивная комета!
Потухнулъ среди тучъ перунъ!
Еще трепещетъ голосъ струнъ,
Но нѣтъ могучаго поэта!
Онъ палъ—и средь кровавыхъ сѣчь
Свободный грекъ роняетъ мечъ!
Бардъ, живописецъ смѣлыхъ душъ,
Гремящій, радостный, нетлѣнный,
Во вѣкъ пари, великій мужъ,
Тамъ надъ Элладой обновленной!
Тиртей, союзникъ и покровъ
Свободой дышущихъ полковъ!
Ты взвѣсилъ ужасъ и страданья,
Ты погружался въ глубь сердецъ
И средь волненій и терзанья
Рукой отважной взялъ вѣнецъ.
Завидный, свѣтлый, но кровавый,
Вѣнецъ страдальчества и славы!

[1]) Такимъ было въ первой четверти вѣка, наприм., вліяніе итальянской науки и литературы, ограниченное, впрочемъ, великими, классическими именами, Дантомъ, поэтами Возрожденія, немногими представителями культуры 18-го вѣка, и почти игнорировавшее современность: Петрарка, Аріостъ, Тассъ,—въ общественныхъ наукахъ экономистъ Филанджьери, Верри, старый криминалистъ Беккарія,—въ новой драмѣ Альфьери, на которомъ впервые останавливается Пушкинъ,—въ комедіи Гольдони. О Монти или Фосколо нѣтъ и помина; Сильвіо Пеллико узнаютъ съ 1836 года благодаря переводу „Моихъ темницъ", явившихся въ мІровой литературѣ предтечей „Записокъ изъ мертваго дома".

[2]) Свѣдѣнія о судьбѣ этого изданія, извлеченныя изъ документовъ Государств. Архива, приведены В. И. Семевскимъ, „Общ. движенія въ перв. полов. XIX вѣка", 305. Въ числѣ главныхъ сотрудниковъ былъ Кюхельбекеръ.

тельность карбонаровъ, разгоравшаяся парламентская борьба во Франціи, учащавшіяся вспышки греческихъ возстаній и дѣятельность нѣмецкаго тугендбунда,—словомъ, всѣ разнородныя манифестаціи, которыми Европа отвѣчала на натискъ соединеннаго абсолютизма и рядъ закрѣпощавшихъ ее конгрессовъ, находили отголосокъ въ извѣстномъ слоѣ русскаго общества. Два громкихъ уголовныхъ процесса, которыми реакція пыталась подавить колоссальный успѣхъ политическихъ пѣсенъ Беранже, вызвали и у насъ большое негодованіе, передовые журналы привѣтствовали смѣлаго пѣвца [1]), и осужденному поэту посланъ былъ сочувственный адресъ, покрытый множествомъ подписей [2]). Испанскій народный вождь Ріэго, какъ во второй половинѣ столѣтія Гарибальди, былъ популяренъ у насъ не менѣе, чѣмъ въ либеральныхъ кругахъ своей страны. Рылѣевъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній („Гражданинъ“) считалъ великимъ позоромъ для бездѣятельной и равнодушной русской молодежи, что „возставшій народъ, въ бурномъ мятежѣ ища свободныхъ правъ, не найдетъ въ средѣ этого поколѣнія ни Брута, ни Ріэги“, и даже самъ Александръ, по словамъ очевидца, съ неудовольствіемъ встрѣтилъ безтактное заявленіе радости, которое позволили себѣ въ его присутствіи придворные, узнавъ о казни испанскаго демагога [3]). Въ этой житейской школѣ воспитывалось тогдашнее поколѣніе съ неменьшимъ увлеченіемъ, чѣмъ въ школѣ чисто-литературнаго европейскаго прогресса [4]). Политическія стремленія проникаютъ въ старую организацію масонства, объединяя подъ его флагомъ, прежде безпартійнымъ, чуждавшимся политики, дѣятельныя силы [5]). Солидарныя съ измѣнившимся масонствомъ попытки сгруппировать эти силы для общественной дѣятельности, Союзъ Спасенія или истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества, Союзъ Благоденствія, Общество Соединенныхъ Славянъ и др., возникли подъ сильнымъ вліяніемъ Тугендбунда [6]), съ его широкой программой, охватившей всю нѣмецкую жизнь, національное движеніе, воспитаніе, литературу, политическій ростъ массъ; впечатлѣніе энергіи, выказанной „союзомъ добродѣтели“, было сильно и возбуждало къ дѣйствію; никакіе запреты и

---

[1]) Кн. Вяземскій въ Москов. Телеграфѣ, въ статьѣ, которой придана была форма „письма изъ Парижа“. Собран. соч., I, 230—6.

[2]) Jules Janin, Béranger et son temps, 1866, p. 119—20.

[3]) Пушкинъ съ желчнымъ остроуміемъ набросалъ эту картину съ натуры въ стихотвореніи „Сказали разъ царю“ и т. д.

[4]) Въ числѣ произведеній декабриста Фонвизина, написанныхъ въ ссылкѣ, есть высоко любопытное разсужденіе „О подражаніи русскихъ европейцамъ“, защищающее Петра отъ обвиненія въ переимчивости, но выражающее надежду, что мы „научимся подражать и болѣе существенному стремленію къ истиннымъ благамъ цивилизаціи, къ гражданской свободѣ, къ равенству и безразличію всѣхъ передъ закономъ, и утвержденію и обезпеченію правъ всѣхъ и каждаго“. Выдержки изъ этой статьи впервые сообщ. въ „Общ. движ. въ перв. полов. XIX в.“, 1905.

[5]) Семевскій, „Декабристы-масоны“, Минувшіе Годы, 1908, № 2 и 3; того же автора „Политич. и обществен. идеи декабристовъ“, 1909, гл. III.

[6]) Якушкинъ (Записки, М. 1905, с. 11) прямо говоритъ о томъ, что при составленіи устава „руководствовались печатнымъ нѣмецкимъ уставомъ, привезеннымъ кн. Ильей Долгоруковымъ и служившимъ пруссакамъ для тайнаго соединенія противъ французовъ“.

стѣсненія не могли его парализовать. Офиціально закрытый въ 1809 году, онъ продолжалъ работу негласно и въ освободительную войну выказалъ всю свою силу. Съ главными его двигателями развитой военной молодежи нашей пришлось близко сойтись въ 1813 году и унести свѣтлыя воспоминанія о людяхъ, высоко поставившихъ идеалы благородства, любви къ отечеству и независимости, чуждавшихся революціонныхъ намѣреній, но готовыхъ душу положить за народное благо.

А старый порядокъ тѣмъ временемъ приготовилъ свой отвѣтъ на всѣ эти литературныя и общественныя стремленія. Противъ вольнолюбія старая партія выставила Шишкова съ его крутой цензурой и убѣжденнымъ обскурантизмомъ [1]), противъ новой науки выслала Фотія, Серафима, Магницкаго и Рунича; она поднимала снова устарѣвшій крикъ противъ опасности галломаніи, и въ комедіяхъ, карикатурахъ, ростопчинскихъ собесѣдованіяхъ съ народомъ и т. д. нападала на французскія моды, „завиральныя идеи" и французскихъ гувернеровъ,—тогда какъ опасность вовсе была не тутъ, и по словамъ замѣчательнаго анонимнаго отвѣта Ростопчину [2]), „крещеные басурманы" были еще хуже такъ называемыхъ „некрещеныхъ" („они внутри больше зла дѣлаютъ, чѣмъ французы: отъ тѣхъ хоть оборониться можно, а на этихъ и рта разинуть не смѣй"). Она со скрежетомъ зубовъ принуждена была снести пагубную снисходительность Александра къ покореннымъ французамъ, которымъ мы принесли въ даръ не презрительную брань шишковскаго манифеста, отвергнутаго императоромъ, а конституціонную хартію, выслушивать въ Парижѣ славословія Вильмена, Сюара, юнаго Ламартина, превозносившихъ въ лицо Александру его великодушіе,—и сбиралась къ отместкѣ всему этому вольнолюбію дома. На широкую религіозную терпимость, становившуюся снова очереднымъ вопросомъ въ Европѣ, она отвѣчала суровымъ и нетерпимымъ мистицизмомъ, любившимъ мученичество не столько для себя, сколько для своихъ противниковъ, и всему новому на Руси грозила, подобно Скалозубу, дать Аракчеева „въ Вольтеры". Но и въ этомъ глухомъ противодѣйствіи прогрессу какъ мало собственныхъ словъ и пріемовъ! Для вліятельныхъ, но все же сколько-нибудь культурныхъ слоевъ авторитетными руководителями являлись такіе апостолы реакціи, какъ недавній гость петербургскій Жозефъ де-Местръ, который въ завлекательно написанныхъ „Soirées de Saint-Petersbourg", и въ „Четырехъ главахъ" о русскихъ дѣлахъ, и въ перепискѣ, и въ личныхъ сношеніяхъ съ петербургскими дѣятелями развивалъ

[1]) Гетце, авторъ воспоминаній объ этомъ времени, свидѣтельствуетъ, что Шишковъ отклонялъ отъ себя, въ частныхъ бесѣдахъ, обвиненіе въ умышленномъ обскурантизмѣ и духѣ гоненія, защищалъ свой цензурный уставъ, будто бы болѣе снисходительный, чѣмъ предшествовавшіе, и приводилъ примѣръ, какъ онъ самъ, вопреки всѣмъ цензорамъ, отстоялъ однажды изданіе извѣстныхъ записокъ Я. Шаховскаго.—П. фонъ-Гётце, Fürst Alexander Nicolaewitsch Galitzin und seine Zeit. Leipzig, 1882.

[2]) Онъ изложенъ въ формѣ письма „села Терпигорева, деревни Слабосиловки крестьянина Панкратія Филатова сына Чистоправдина", Русск. Старина, 1881, декабрь, „Нужды и горе Россіи въ 1807 году".

цѣлую теорію отпора духу вѣка и противодѣйствія всякимъ реформамъ, даже освобожденію крестьянъ [1]). Вся свора наемныхъ меттерниховскихъ борзописцевъ такъ же искусно запугивала и возбуждала насъ. Наконецъ, въ мистическомъ замыслѣ Священнаго Союза, увлекшемъ Александра идеею охраны человѣчества отъ разрушительныхъ вліяній, не обошлось безъ вдохновителя въ лицѣ отжившей и покаявшейся вѣтренницы баронессы Крюднеръ, рѣзко перешедшей на амплуа проповѣдницы и пророчицы. Если Фотій и Аракчеевъ неповинны ни въ чемъ, мало-мальски имѣющемъ связь съ западомъ, если отъ одного изъ нихъ отдаетъ византійскимъ келейничествомъ, а отъ другого казармой военныхъ кантонистовъ, то взамѣнъ этого все мистическое движеніе, постепенно принявшее обширные размѣры и породившее огромную литературу, имѣвшее своихъ богослововъ, журналистовъ и поэтовъ, почти исключительно питалось иноземными соками, братаясь съ западнымъ мистицизмомъ и перенося къ намъ творенія различныхъ Юнговъ-Штиллинговъ, Экартсгаузеновъ, госпожи Гіонъ; Библейское общество было косвеннымъ порожденіемъ старинной лондонской Библейской ассоціаціи, подобно тому, какъ новѣйшее масонство не могло никогда отрѣшиться отъ своихъ западныхъ связей. Эти связи должны были подъ конецъ стать причиною гибели мистицизма, заподозрѣннаго въ неправовѣріи и вольнодумствѣ.

Когда верхъ одержали Аракчеевы и Фотіи, и въ хронической раздвоенности характера Александра просвѣтительныя и „законно-свободныя“ стремленія уступили мѣсто византійскому хитроумію, охранительному рвенію и болѣзненной подозрительности [2]), два большіе стана противниковъ и защитниковъ общеевропейскаго развитія очутились лицомъ къ лицу. Среди нихъ выступалъ въ роли пустынника, призывающаго къ покаянію, ветеранъ Карамзинъ съ своей „Запиской о Древней и Новой Россіи“, отрекавшійся отъ заблужденій своей молодости, маня въ блаженный покой допетровской Руси, осуждая въ александровскомъ правительствѣ „излишнюю любовь къ государственнымъ преобразованіямъ, которыя потрясаютъ основы имперіи“, въ особенности стремленіе освободить крестьянъ, „не приготовленныхъ къ свободѣ исправленіемъ нравственнымъ“, имѣющихъ „навыкъ рабовъ“,—и, въ рѣзкой противоположности съ этими охранительными доводами вырабатывались и зрѣли въ средѣ будущихъ декабристовъ опредѣленныя нормы будущаго государственнаго возрожденія, проекты конституцій и уложеній Пестеля, Муравьева и др., опиравшіяся на разнообразныя иноземныя и плохо приложенныя къ русской жизни, уложенія, отъ якобинской конституціи 1793 года

---

1) Де-Местръ совѣтовалъ въ своихъ Quatre chapitres sur la Russie устроить особый тайный комитетъ для противодѣйствія духу реформъ и предлагалъ хитроумный проектъ парализованія эманципаціоннаго движенія. Русскія отношенія де-Местра характеризованы въ кн. George Cogordan, Joseph De-Maistre, 1891; ср. также Correspondance diplomatique de J. De M., recueillie par Albert Blanc, 1860.

2) Двойственность его характера вѣрно прослѣжена въ изслѣдованіи Theod. Schiemann'a, „Geschichte Russlands unter Kaiser Nicolaus I“, томъ I, 1904, посвященный александровской порѣ.

или испанской 1812-го до американскаго народоправства,—любопытная глава изъ исторіи нашего ранняго политическаго европеизма... Наступала удушливая пора, отъ которой Грибоѣдову приходилось спасаться въ Персію, въ умѣ Пушкина планы бѣгства за границу смѣнялись сборами въ китайскую миссію, Веневитиновъ готовъ былъ принять службу на востокѣ, а Чаадаевъ бросался въ лоно католической цивилизаціи

Въ такой-то средѣ, при такихъ условіяхъ, ставшихъ еще томительнѣе послѣ декабрьскаго возстанія, прошла вся дѣятельность обоихъ главныхъ представителей возмужавшей наконецъ литературы, обоихъ вождей ея, Грибоѣдова и Пушкина, приведенныхъ самою жизнью къ необходимости выяснить и разграничить народное начало и европеизмъ. Западное вліяніе на Грибоѣдова слишкомъ очевидно. Онъ впервые прозрѣлъ и осмыслилъ дѣйствительность благодаря Буле; въ годы литературнаго ученичества вырабатывалъ свой, сначала непокорный, тяжелый стихъ на переводахъ и передѣлкахъ легкихъ французскихъ пьесъ, Le secret du menage Крезэ де Лессера, превратившейся въ „Молодыхъ супруговъ", комедіи Барта (изъ французскаго репертуара 60-хъ годовъ 18-го вѣка) „Les fausses infidélités" („Притворная невѣрность"). Зорко вглядываясь въ чужеземныя, пересаженныя къ намъ новинки, онъ видѣлъ слабыя стороны и достоинства у классиковъ и романтиковъ, переводилъ Шиллера („Семела") и Гете (прологъ на театрѣ изъ „Фауста") [1], заступался за катенинскій переводъ *Леноры*, набрасывалъ планы трагедій во французскомъ вкусѣ (Радамистъ и Зенобія), и въ написанной въ складчину съ Катенинымъ комедіи *Студентъ* свободно смѣялся надъ уродствами сентиментализма и притязаніями русскихъ романтиковъ, начиная съ Жуковскаго. Независимый въ жизни и въ литературѣ, онъ стоялъ между партіями, самостоятельно выбиралъ свои пути, къ прежнимъ авторитетамъ присоединивъ со временемъ Байрона и въ особенности Шекспира, котораго тщательно изучалъ [2]). Давно, еще на студенческой скамьѣ, задумавъ „Горе отъ ума", онъ вспомнилъ сходные съ его фабулой мотивы въ „Исторіи Абдеритовъ" Виланда, юмористическомъ очеркѣ судьбы умнаго и много путешествовавшаго по свѣту Демокрита, ославленнаго сумасшедшимъ соотечественниками, раздраженными его свободомысліемъ,—и въ „Мизантропѣ" Мольера (откуда,— такъ же, какъ и изъ „Школы женъ",—даже заимствовалъ нѣсколько

[1]) Въ выборѣ его для перевода новѣйшій біографъ Грибоѣдова вполнѣ вѣрно находитъ созвучіе мыслей и настроеній обоихъ поэтовъ послѣ созданія великаго произведенія, слѣды „радостей и мукъ творчества". Н. К. Пиксановъ, біограф. очеркъ Гриб., Соч., I, 1911.

[2]) Онъ хотѣлъ содѣйствовать введенію шекспировскихъ пьесъ въ репертуаръ русской сцены. Увлекаясь Каратыгинымъ, въ которомъ находилъ „геніальную душу и чудное дарованіе", онъ читалъ ему во французскомъ переводѣ отрывки изъ „Ромео и Юліи". Тотъ было „съ ума сошелъ, просилъ, въ ногахъ валялся, чтобъ перевести Грибоѣдову 5-й актъ, Жандру остальные". Грибоѣдовъ готовъ былъ согласиться, но не ждалъ добра отъ „литературныхъ товариществъ", потому что, говорилъ онъ, „я стану переводить *съ подлинника*, а онъ съ дурного списка; сладить трудно, перекраивать Шекспира дерзко" и т. д. Сочин. Грибоѣдова, изд. Шляпкина, I, 187. Эти сборы Грибоѣдова къ переводу Шекспира до сихъ поръ проходили незамѣченными.

стиховъ)[1]. Наконецъ, въ посмертной своей трагедіи „Грузинская ночь“ онъ находился подъ сильнымъ впечатлѣніемъ драмъ Шекспира и въ одномъ изъ уцѣлѣвшихъ явленій воспроизвелъ въ кавказской обстановкѣ сцену вѣдьмъ изъ „Макбета“.

Это не „слѣпое, рабское подражаніе“, противъ котораго энергически возсталъ самъ Грибоѣдовъ устами Чацкаго, это и не свободная варіація на готовыя темы, непритязательное и веселое переряживанье изъ чужихъ одеждъ въ свои, которое позволило любимцу тогдашней публики, князю Шаховскому, ввести на нашу сцену „своихъ комедій шумный рой“ и доставило недолговѣчную репутацію такому противнику Грибоѣдова, какъ водевилистъ Писаревъ. Связи съ иностранными образцами были опорою самостоятельнаго творчества, служенія своему народу. Чацкій и герой мольеровской комедіи имѣютъ различныя цѣли и неодинаковую общественную среду передъ собой, но въ основѣ они кровно близки другъ другу; то же смѣшеніе разочарованности, презрѣнія къ людямъ, съ горячимъ порывомъ во что бы то ни стало впередъ, тѣ же черты общественнаго дѣятеля, стремящагося къ работѣ, не находящаго для нея простора, не оцѣненнаго и, несмотря на всѣ неудачи, непреклоннаго. Изъ всѣхъ новѣйшихъ, современныхъ ему неудачниковъ Чацкій по своей чуткости къ народнымъ нуждамъ и способности страдать и мучиться изъ-за нихъ всего ближе къ Якопо Ортису, герою романа Фосколо, но онъ не покончитъ съ собой въ припадкѣ малодушія и отчаянія, какъ Ортисъ, но гордо понесетъ свой крестъ до конца и при малѣйшемъ просвѣтѣ проявитъ свои великія дарованія.

Чацкій не даромъ много путешествовалъ по Европѣ, наблюдая ея учрежденія и жизнь (черта, всего болѣе подавшая, вѣроятно, поводовъ считать прототипомъ его Чаадаева); онъ всюду видѣлъ слѣды самостоятельной національной работы и вмѣстѣ съ тѣмъ участія въ общечеловѣческомъ культурномъ движеніи. Только дома, на родинѣ, онъ увидалъ съ одной стороны полную безличность и раболѣпіе передъ всѣмъ иноземнымъ, съ другой—ненависть къ просвѣтительному движенію и „законносвободнымъ“ (какъ переводилъ нѣкогда Александръ I слово „либеральный“) стремленіямъ новыхъ поколѣній, сближавшимъ тогда мыслящую Европу для отпора повсемѣстной реакціи. Въ комедіи слишкомъ много проявленій открытаго заступничества за гонимую литературу, науку, народную школу, крѣпостное крестьянство, чтобъ нужно было еще доказывать глубокія симпатіи писателя къ требованіямъ передовой партіи.

Горячая любовь къ русской старинѣ и народности, основанная на рѣдкомъ въ то время спеціальномъ знакомствѣ съ исторіею и археологіею Россіи, свободно уживалась у Грибоѣдова съ европеизмомъ и сочув-

---

[1]) Наприм., тѣ негодующія восклицанія, съ которыми Альцестъ и Чацкій сходятъ со сцены въ концѣ пьесы. До Грибоѣдова Радищевъ близко подошелъ къ мольеровской тирадѣ въ горячихъ словахъ, которыми заканчивается глава „Чудово“: „Прощусь съ городомъ навѣки. Не въѣду никогда въ сіе жилище тигровъ... Заѣду туда, куда люди не ходятъ, гдѣ не знаютъ, что есть человѣкъ“, и т. д.

ствіемъ современному общественному движенію. Безъ слащавой щербатовской идеализаціи дальняго прошлаго онъ любилъ переноситься въ него мыслью, чтобъ по-рылѣевски вызывать изъ него для ободренія современниковъ дѣдовскій героизмъ и силу воли; онъ могъ вмѣстѣ съ Чацкимъ (кстати сказать, и съ извѣстнымъ Штейномъ) желать измѣненія русскаго костюма во вкусѣ стариннаго удобнаго и теплаго одѣянія и „вмѣстѣ съ тѣмъ полагалъ, что оно бы снова сблизило насъ съ простотою отечественныхъ нравовъ", „сердцу его чрезвычайно любезныхъ" [1]), но, конечно, хотѣлъ бы видѣть облеченныхъ въ кафтаны и охабни соотечественниковъ пользующимися всѣми благами новаго просвѣщенія и политическихъ правъ, за которыя такъ искренно заступался въ великой своей комедіи, не скрывъ своихъ сочувствій даже передъ лицомъ слѣдственной комиссіи. Предвидя неизбѣжную неудачу переворота, неподготовленнаго, несвоевременнаго, онъ вполнѣ склоненъ былъ къ двигательнымъ его идеямъ. Подобно Чацкому, онъ не заявлялъ притязаній на самостоятельно выработанную теорію, скромно признавая за собой лишь „пять, шесть мыслей здравыхъ", — но если бъ только треволненія его жизни дали ему возможность развить и обосновать ихъ, эти мысли могли бы уже въ началѣ вѣка представить опытъ искуснаго сліянія двухъ враждовавшихъ направленій. Чацкій-Грибоѣдовъ не только былъ другомъ декабристовъ, передовымъ общественнымъ дѣятелемъ, — онъ опередилъ свое время и какъ мыслитель.

Въ развитіи таланта Пушкина — еще большая и сложная смѣсь вліяній западной поэзіи и мысли. Ихъ рядъ открывается тѣми кумирами, которымъ онъ научился поклоняться еще въ кружкѣ своего отца, гдѣ эмигранты-роялисты сливались съ офранцуженными баричами. Ребенкомъ онъ подражалъ Вольтеру въ своихъ „поэмахъ" и списывалъ Мольера въ своихъ дѣтскихъ комедіяхъ. Потомъ настала очередь легковѣсныхъ французскихъ стихотворцевъ 18-го вѣка, пѣвцовъ чувственности и „галантности", увлекавшихъ всѣ свободныя лицейскія силы въ безконечное перетираніе игривыхъ темъ. Даже Вольтеръ въ ту пору казался ему лишь главнокомандующимъ этой арміи шалуновъ-остроумцевъ, и великая, освобождающая умы миссія его какъ будто не сознавалась вовсе. Изъ-за раннихъ любимцевъ, однако, понемногу выдвигаются важнѣйшіе дѣятели другихъ литературъ, сначала совсѣмъ невѣдомыхъ Пушкину. Дельвигъ приноситъ въ дружескія бесѣды знакомство съ нѣмецкой поэзіей. Фантастическіе эффекты Оссіана не миновали и лицейской молодежи. Кюхельбекеръ и Чаадаевъ указали Пушкину на современную французскую словесность. Грессе съ братіею и ихъ запоздалый преемникъ, особый любимецъ Пушкина, креолъ Парни, всю свою литературную жизнь отдавшій воспѣванію любви и закончившій ее скабрезной поэмой „La guerre des dieux", уступаютъ мѣсто блестящимъ эссеямъ и боевымъ романамъ г-жи Сталь, навсегда сохранившей для

[1]) Показаніе Грибоѣдова въ слѣдственной комиссіи по 14 декабря. Щеголевъ, „А. С. Грибоѣдовъ и декабристы", 1905, с. 17.

Пушкина необыкновенную обаятельность [1]), повѣстямъ Шатобріана, элегіямъ Шенье или политическимъ пѣснямъ Беранже. Въ разгаръ лицейскаго періода составляется, такимъ образомъ, столь разнообразная библіотека образцовъ, иностранныхъ и русскихъ, что самъ Пушкинъ не безъ труда перечисляетъ ихъ и подводитъ итогъ своей начитанности и увлеченіямъ европейскою поэзіею въ автобіографическомъ стихотвореніи *Городокъ*, написанномъ имъ еще по пятнадцатому году,—и столь же цѣнномъ въ этомъ отношеніи, какъ памятная записка юнаго Байрона, обозрѣвшая еще болѣе внушительный запасъ прочитанныхъ имъ въ школьные годы англійскихъ и иностранныхъ поэтовъ, историковъ, философовъ [2]). Нестройное, хаотическое состояніе его творчества, почти не выходившаго изъ подражательности, начинаетъ уступать мѣсто болѣе художественнымъ произведеніямъ. *Русланъ и Людмила* стоитъ на грани новаго періода, внося въ поэзію свѣжій элементъ народной сказочной старины. Намъ понятно сильное впечатлѣніе, произведенное этой поэмой, понятны и негодующіе вопли, раздавшіеся изъ лагеря литературныхъ старовѣровъ. *Русланъ* (подобно виландову *Оберону* или *Сиду* Гердера) былъ дѣйствительно новинкой для русскаго читателя, заинтересовавшей его заброшеннымъ міромъ народности,—но, по ироніи судьбы, эта первая попытка найти русское содержаніе для поэмы была внушена Пушкину не народными сказками, а вольтеровскою „Pucelle" и шутливымъ эпосомъ Аріоста и его школы, въ такой же прихотливой смѣси соединившимъ повѣсть о волшебныхъ дѣяніяхъ старины съ насмѣшливыми выходками и надъ ними, и надъ легковѣріемъ читателя.

Но развитіе художественнаго мастерства совпадало съ подъемомъ политическаго сознанія, съ ростомъ гражданственности. Призывъ „свободы просвѣщенной" и судъ надъ рабствомъ въ стихотвореніи „Деревня" и посланіяхъ Чаадаеву, смѣлая насмѣшка надъ двуличностью Александра въ вызывающей пѣсенкѣ „Noël", политическія эпиграммы, наконецъ „Ода вольность" (новая варіація на тему радищевскаго стихотворенія, близкая къ нему и въ ходѣ мысли, и въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, замѣнившая историческую справку о казни Карла I Людовикомъ XVI на эшафотѣ), заклинавшая „свободы" гордую пѣвицу „открыть поэту благородный слѣдъ того *возвышеннаго галла*, кому она сама средь грозныхъ бѣдъ внушала гимны смѣлые", т.-е. Андре Шенье, являются признаками иного, еще болѣе важнаго поворота въ настроеніи молодого поэта. Политическая поэзія Западной Европы уже успѣла завладѣть имъ, рево-

---

1) Съ горячностью рвался онъ въ бой за нее въ молодые годы противъ нетерпимой и злобной критики. Какъ впослѣдствіи для Тургенева Жоржъ-Зандъ была „одною изъ нашихъ святыхъ", такъ Пушкинъ, грозя врагамъ m-me de Staël, восклицалъ: „Сталь—наша, не тронь ея!" Въ „Рославлевѣ", напечатанномъ въ 1836 г., данъ очень сочувственный портретъ ея среди русской обстановки начала вѣка.

2) Thomas Moore. The letters and journals of Lord Byron with notices of his life, 1873, I, 46—47; въ этомъ спискѣ особенно много историческихъ сочиненій и біографій; въ отдѣлѣ поэзіи значатся „всѣ англійскіе классики, нѣсколько французскихъ (Сидъ Корнеля—любимая пьеса), безчисленные греческіе и латинскіе поэты" и т. д.

люціонная возбужденность, охватывавшая снова Францію (убійство герцога Беррійскаго Лувелемъ), освободительныя движенія, судорожно охватывавшія одну за другой страны Запада, поднимали духъ, возмущенный натискомъ реакціи, и звали къ миссіи поэзіи общественной, — а возлѣ стояли такія обаятельныя личности, соединявшія высокое развитіе съ стремленіями общественными, какъ вдохновитель Пушкина въ идеяхъ гражданственности, Чаадаевъ, какъ Пущинъ, какъ Тургеневы, наконецъ даже какъ нѣкоторые друзья изъ кружка „Зеленой Лампы“.

Когда, въ первые же мѣсяцы ссылки на югъ, взволнованнаго и возмущеннаго несправедливостью поэта впервые коснулось вліяніе Байрона, почва для усвоенія протестующей поэзіи была уже подготовлена. По свидѣтельству Мицкевича, опиравшагося на признаніе своего друга, Пушкинъ, „прочитавъ байроновскаго *Корсара*, почувствовалъ себя поэтомъ“. Начинается (съ элегіи „Погасло дневное свѣтило“, 1820) многолѣтній періодъ его байронизма, богатый возбужденіями къ дѣятельности, разнообразіемъ темъ и характеровъ, указавшій поэту великое призваніе народнаго вождя и установившій его связь съ наиболѣе жизненными движеніями современности. Онъ не усвоилъ и не могъ усвоить себѣ всего содержанія байронизма [1]), — ни личный характеръ, ни воспитаніе, ни среда, ни традиціи не развили въ немъ тѣхъ свойствъ, которыя выразились у Байрона въ дѣйствительно пережитомъ титанизмѣ борьбы, — хотя въ первые, наиболѣе бурные годы своего невольнаго скитальчества онъ былъ, казалось, уже на пути къ такому усвоенію,—все же многимъ былъ онъ обязанъ въ своемъ литературномъ ростѣ вліянію любимаго поэта. Слѣдомъ за „Восточными поэмами“ Байрона впервые ввелъ онъ въ русскую поэзію картины природы и быта странъ экзотическихъ, Кавказа, Крыма, дикой степной Бессарабіи, вмѣстѣ съ своимъ образцомъ увлекаясь возможностью сопоставлять цивилизованную, изломанную и ненормальную жизнь съ привольной жизнью дѣтей природы и свѣтскія цѣпи съ свободой, душевнымъ здоровьемъ и нравственной силой первобытныхъ племенъ, грезившейся Байрону, вѣрному ученику Руссо. Сложное вліяніе *Беппо, Донъ-Жуана* и *Чайльдъ-Гарольда* внушило ему замыселъ *Онѣгина;* въ *Бахчисарайскомъ фонтанѣ* гаремныя сцены живо напоминаютъ *Донъ-Жуана*, а характеръ Гирея — новый оттискъ съ байроновскаго клише Али-паши Янинскаго; *Корсаръ* и *Шильонскій узникъ* отразились въ *Братьяхъ-разбойникахъ.* Разнороднѣйшіе оттѣнки байроновскаго творчества усвоивались и широко развивались въ поэзіи русскаго послѣдователя,—демоническая романтика, міровая гарольдовская скорбь, смѣлый юморъ и міровая сатира „Донъ-Жуана“, лирическія отступленія въ поэмахъ, свободно обращенная къ читателю личная исповѣдь. На смѣну лицейскаго восхваленія счастливой лѣности и наслажденія жизнью, воспѣванія крѣпостныхъ актрисъ и царскосельскихъ мѣщанокъ подъ вычурными именами разныхъ Доридъ и Лилетъ является горячее изображеніе

---

[1]) Мѣткія соображенія о Пушкинѣ-байронистѣ у П. Крапоткина, Ideals and realities in russian literature, 1905, p. 45—46.

страстей и увлеченій и рядъ изящно написанныхъ женскихъ головокъ, подстать къ байроновскимъ героинямъ; эпикурейца, жуира и blagueur'а смѣнила страдающая и сумрачная тѣнь непризнаннаго и разочарованнаго избранника, — сначала очень блѣдная въ *Кавказскомъ Плѣнникѣ*, потомъ оживающая въ Алеко, надѣленная кипучими страстями, презрѣніемъ къ людскимъ предразсудкамъ, стремленіемъ къ свободной жизни, къ опрощенію, и осужденная влачить за собой роковое наслѣдіе стараго соціальнаго строя.

Шире прежняго развился въ поэтѣ и живой интересъ къ современнымъ народнымъ движеніямъ; его новая политическая лирика оставила за собой неопытную реторику его „Оды вольность", и въ „Кинжалѣ" (написанномъ подъ впечатлѣніемъ убійства Коцебу Карломъ Зандомъ, и связывающемъ съ нимъ воспоминаніе объ убійствѣ Марата) отразилось охватившее Европу народное броженіе; достойное Байрона сочувствіе къ угнетеннымъ прозвучало въ стихотвореніи „Возстань, о Грецiя, возстань", въ горячемъ участіи, выказанномъ Пушкинымъ къ успѣху греческаго возстанія, затѣяннаго въ Молдавіи Александромъ Ипсиланти, въ симпатіи къ неаполитанскимъ инсургентамъ (стихотворное письмо къ В. Давыдову, возглашающее здоровье *тѣхъ* (итальянскихъ либераловъ) и *той* (свободы) [1]),—въ различныхъ планахъ произведеній на политическія темы въ родѣ драмы и поэмы *Вадимъ*, съ старымъ, еще княжнинскимъ, сюжетомъ, но съ новыми диѳирамбами новгородской вольности. Русская дѣйствительность была имъ глубже понята теперь, ближе принята къ сердцу, чѣмъ въ прежніе годы, когда многое оцѣнивалось съ точки зрѣнія ѣдкой эпиграммы. Прежніе друзья Пушкина, изъ партіи дѣйствія, помнили его петербургскимъ блестящимъ и непостояннымъ остроумцемъ, мѣткимъ политическимъ застрѣльщикомъ, и не рѣшались открыться ему вполнѣ; инымъ человѣкомъ становился онъ на югѣ,—и горько сѣтовалъ на это недовѣріе [2]). Но они не ошиблись. Его необыкновенно даровитая натура не пригодна была для продолжительнаго дѣйствія въ общественномъ смыслѣ; только на этой почвѣ могло потомъ состояться примиреніе съ николаевскимъ режимомъ „въ надеждѣ славы и добра", преобразованій и улучшеній, которыя должны смѣнить собою пору террора,—примиреніе, обреченное на разочарованіе, укоры себѣ, раздвоеніе, наконецъ, приведшее къ осужденію порядка вещей, „въ которомъ общественнаго мнѣнія не существуетъ, гдѣ всѣ равнодушны къ понятіямъ о долгѣ, справедливости, правдѣ, гдѣ цинически презираютъ мысль и человѣческое достоинство" [3]). Самъ поэтъ

[1]) Въ эту именно пору предположена была, во вкусѣ суворовскихъ походовъ противъ французскаго республиканизма и позднѣйшей „венгерской войны", посылка русскаго корпуса для подавленія неаполитанской революціи. Съ Кавказа вызванъ былъ для командованія отрядомъ Ермоловъ. Усмиреніе произведено было безъ нашей помощи Австріею.

[2]) Отношенія поэта къ декабризму прекрасно очерчены въ статьѣ А. Слонимскаго. „Пушкинъ и декабрьское возстаніе", Соч. Пушкина, подъ ред. С. Венгерова, т. II.

[3]) Письмо къ Чаадаеву, 19 окт. 1836 г.

произнесъ съ обычной своей откровенностью суровый приговоръ и своимъ сверстникамъ, оставшимся на этомъ берегу, и себѣ:

Но праведникъ изнеможденный,
Въ цѣпяхъ, на казни осужденный,
Съ лампадой, брежжущей во тьмѣ,
. . . . не склонитъ
На свитокъ вашъ очей своихъ,
И на стѣнѣ вашъ вольный стихъ
. . . . не начертитъ
Грядущимъ узникамъ въ привѣтъ...

Но изъ грустнаго признанія въ отсутствіи стойкости, изъ сравненія себя съ сѣятелемъ, вышедшимъ на посѣвъ слишкомъ рано, „до звѣзды", и отрекшимся отъ безплодной работы, вовсе не вытекаетъ, въ области прямыхъ байроновскихъ завѣтовъ, охлажденія Пушкина къ любимѣйшему поэту его молодости, послѣ Шенье лучшему его наставнику въ свободолюбіи. Если съ виду довольно скоро, черезъ пять лѣтъ, волна байронизма смѣнилась другою, катившеюся плавно и спокойно, и подъ соединеннымъ вліяніемъ иныхъ великихъ западныхъ образцовъ развилось самостоятельное творчество, то сочувствіе Байрону сохранилось навсегда, переживъ примиреніе съ новымъ порядкомъ вещей, побѣду объективности, національное направленіе. Въ стихотвореніи *Андрей Шенье* (1825 г.) Байрону отведено мѣсто на ряду съ Дантомъ,—и самое это стихотвореніе, славящее мученичество непонятаго и оклеветаннаго поэта-гражданина, стоитъ на уровнѣ байроновскаго взгляда на поэзію; въ отказѣ Пушкина исполнить совѣтъ Вяземскаго и прославить смерть Байрона въ „Пятой пѣснѣ Чайльдъ-Гарольда" (онъ видимо сбирался почтить его память обширнымъ стихотвореніемъ,—„цѣлую панихиду затѣялъ", по его выраженію, но цензурныя неудобства остановили его,—„а про себя писать скучно") чувствуется благоговѣніе передъ Байрономъ и трепетъ при мысли явиться продолжателемъ его поэмы. Статья о передѣлкѣ Олинымъ „Корсара", 1827 г., называетъ поэзію Байрона очаровательно-глубокою, удивляется въ „Донъ-Жуанѣ" „шекспировскому разнообразію". Разборъ „Ѳракійскихъ элегій" Теплякова, повторившихъ мотивы „Чайльдъ-Гарольда", характеризуетъ подобный пріемъ „стремленіемъ пойти по слѣдамъ *генія*". Перешедшее въ глубь новаго періода продолженіе *Онѣгина* сохранило байроническій отпечатокъ, если не въ изображеніи главнаго характера, то въ тонѣ и складѣ повѣствованія,—„шутливая пародія" на манію байронизма оставила неприкосновенною (по выраженію самого поэта) „великую и священную память" [1]).

---

[1]) „Замѣтки" Пушкина, 21 ноября 1830 г., Болдино.—Въ выясненномъ теперь замыслѣ поэта привести (въ уничтоженной *десятой* главѣ „Онѣгина") Евгенія подъ конецъ его неудачной жизни въ станъ декабристовъ, хотя и безъ глубокаго сочувствія задуманному ими дѣлу, есть извѣстная аналогія съ невыполненнымъ замысломъ Байрона привести Донъ-Жуана, послѣ Англіи и Германіи конца 18-го вѣка, въ захваченную революціоннымъ пожаромъ Францію и дать ему, преисполненному тягостныхъ впечатлѣній отъ своихъ блужданій среди человѣчества, но не революціонеру въ душѣ, погибнуть среди народныхъ волненій.

„Полтава“ задумана была какъ будто независимо отъ байроновскаго „Мазепы“, все же въ параллель съ нимъ (тогда какъ романическое освѣщеніе характера стараго гетмана напоминаетъ Марино Фальеро), „Нулинъ“ хранитъ связь съ „Беппо“. Въ 1830 году въ посланіи „Къ вельможѣ“ лира Байрона, въ противоположность старымъ литературнымъ знаменитостямъ, все еще называется „новой, *чудной* лирой“; въ біографической статьѣ объ англійскомъ поэтѣ 1835 года, Байронъ снова названъ *великимъ* поэтомъ. Созвучіе настроеній и мыслей съ Байрономъ никогда не покидало пушкинской лирики. Общественно-политическое содержаніе ея отклонилось отъ юношеской солидарности съ поэзіей протеста, но множество мотивовъ осталось общимъ съ творчествомъ „властителя думъ“, — сходились они и въ глубокой скорби своихъ элегій („Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье“ сродно съ однимъ изъ лучшихъ мѣстъ IV гл. „Чайльдъ-Гарольда“), и въ поэзіи природы. Съ другой стороны, ростъ „Донъ-Жуана“, съ которымъ Пушкинъ знакомился последовательно, глава за главой, наполнялъ его удивленіемъ передъ небывалой силой міровой сатиры.

Это ничѣмъ не охлажденное сочувствіе, полное возбужденій къ самостоятельной работѣ, совпадаетъ съ видимымъ поворотомъ къ художественному творчеству, идетъ рядомъ съ разработкой историческаго романа и трагедіи, съ изученіемъ народности и старины. Оно — новый матеріалъ для оцѣнки внутренняго разлада, который скрывался подъ измѣнившейся и, казалось, уравновѣшенной внѣшностью. „Говорятъ, что царь проститъ меня за трагедію, — писалъ Пушкинъ князю Вяземскому по поводу *Бориса Годунова*.—Наврядъ, мой милый; хоть она и въ хорошемъ духѣ написана, *да никакъ не могъ упрятать всѣхъ моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго. Торчатъ!*“

И не одному лишь Байрону выпало на долю сохранить для него свѣтлое вліяніе юношескихъ идейныхъ впечатлѣній. Еще въ Одессѣ, гдѣ онъ сошелся съ „глухимъ англійскимъ атеистомъ“ докторомъ и участвовалъ въ философскихъ и литературныхъ бесѣдахъ его дружескаго кружка, Пушкинъ познакомился съ поэзіей Шелли и, конечно, въ ту пору не могъ не увлечься роскошными видѣніями молодого мечтателя, уносившагося на крыльяхъ грезы за предѣлы народовъ, религій, цивилизацій, въ царство свободы, братства и разума. Возвратовъ къ прошлому среди объективнаго успокоенія было немало. Въ нихъ, какъ и въ проявленіяхъ гуманнаго сочувствія къ гонимымъ подвижникамъ, въ заступничествѣ и тоскѣ о погибшемъ поколѣніи декабристовъ („Аріонъ“, „Посланіе въ Сибирь“ и др.), къ которому онъ обращается съ словами надежды на конечное торжество ихъ дѣла, въ попыткахъ защитить и отстоять насущныя преобразованія, раскрывается немолчная работа ума выдающагося, заслуживавшаго иной участи, стиснутаго гнетомъ судьбы, но не сдававшагося ей [1]). Если, прощаясь съ порою своихъ

[1]) Въ одномъ изъ писемъ къ кн. Вяземскому, отъ 16 марта 1830 г., онъ даетъ ясно понять, что на примиреніе его съ правительствомъ вліяла увѣренность, что оно „намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія. Огражденіе дворянства, подавленіе чинов-

увлеченій, Пушкинъ сложилъ стихотвореніе на смерть Наполеона, „свой послѣдній либеральный бредъ“, старался „закаяться“, видѣлъ въ себѣ неудачнаго сѣятеля свободы,—то, когда на исходѣ жизни онъ захотѣлъ подвести итогъ своей дѣятельности въ „Памятникѣ“, онъ въ первой редакціи его поставилъ себѣ это сѣяніе свободы въ заслугу и назвалъ себя прямымъ потомкомъ Радищева:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства новыя для пѣсней я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищева (варіантъ: что въ мой
жестокій вѣкъ) возславилъ я свободу...

Эти возвраты къ прошлому среди упрочивавшагося повидимому съ каждымъ годомъ примиренія съ новымъ порядкомъ вещей необыкновенно характеристичны. Тщетно звалъ къ себѣ поэтъ и теперь, какъ еще въ эпиграфѣ къ „Кавказскому плѣннику“, свою молодость, умоляя ее вернуться,—и нашелъ исходъ недовольству собой и невольному отреченію отъ злобы дня въ гармонически спокойномъ, объективномъ, художественномъ творчествѣ; мысль устремилась къ народной старинѣ, къ жизни старой Европы, къ дальнему югу, за тридевять земель, лишь бы не касаться того, что происходило вокругъ. Въ свѣтлой области красоты не нужно было насиловать творческой свободы... Но необходимо было успокоить возникавшія въ душѣ сомнѣнія и найти оправданіе для служенія чистому искусству. Въ этомъ переходномъ состояніи снова пригодилось вліяніе западное. Кружокъ молодыхъ поклонниковъ новой нѣмецкой философіи и классической гетевской поэзіи только что основалъ тогда свой органъ „Московскій Вѣстникъ“. Поставивъ свое изданіе подъ покровительство великаго нѣмецкаго поэта, который прислалъ имъ даже сочувственное письмо, они подъ предводительствомъ Веневитинова развивали и пространно мотивировали теорію искусства для искусства, видѣли идеалъ поэта въ олимпійцѣ-Гете („Телеграфъ“, наоборотъ, рѣшительно становился на сторону Шиллера), вызывали Пушкина вступить на то же славное поприще и одарить русскій народъ величавымъ, истинно художественнымъ творчествомъ,—и вѣрили, что ветеранъ нѣмецкой поэзіи, „плѣненный“ Пушкинымъ, „послѣднимъ жаромъ вдохновленный“,

Къ небу, съ пѣснію прощанья,
Стремя торжественный полетъ,
Въ восторгѣ дивнаго мечтанья
Тебя, о Пушкинъ, назоветъ [1]).

Эстетико-философское оправданіе происходившаго въ немъ поворота пришло во-время на помощь томимому одиночествомъ поэту, среди охла-

---

ничества, новыя права мѣщанъ и крѣпостныхъ, — вотъ великіе предметы“. Смирнова передаетъ, будто однажды въ разговорѣ съ Николаемъ Павловичемъ поэтъ откровенно сказалъ, что ненавидитъ крѣпостное право.

[1]) Веневитиновъ, стихотв. „Къ Пушкину“.—Съ такимъ же вызовомъ понять свое высшее „небесное“ призваніе обращался въ ту же пору къ поэту Чаадаевъ. Убѣжденный, что онъ „можетъ принести безконечную пользу бѣдной Россіи, заблудившейся на землѣ“, онъ говорилъ ему: „jettez *un cri vers le ciel*,—il vous répondra“ (1829).

жденія отпрянувшаго отъ него молодого поколѣнія и недовѣрчивости правящихъ классовъ. Покинутый „Телеграфомъ“, онъ сблизился съ кружкомъ Веневитинова, сходился съ нимъ въ чествованіи Гете, отзывался о немъ благоговѣйно, ставилъ его чуть не во главѣ литературы, но не пошелъ далѣе отрывочнаго опыта разработки гетевской темы въ „Сценѣ изъ *Фауста*“, остановившагося лишь на мотивѣ хандры и пустоты жизни [1]). Онъ отдавалъ въ „Московскій Вѣстникъ“ свои произведенія и, часто затрогивая вопросъ о роли поэта по отношенію къ *черни*, перелагалъ въ стихотворной формѣ усвоенную имъ теорію. Но молодые друзья его гетеанцы ошибались, возводя (какъ чудилось имъ) въ духѣ ихъ великаго образца въ идеалъ безстрастное священнодѣйствіе, отрѣшенное отъ всякой суеты земной, тогда какъ въ своемъ поэтическомъ завѣщаніи, второй части *Фауста*, поэтъ указалъ на самоотверженное служеніе народному благу, какъ на конечную цѣль и гармоническое разрѣшеніе всякихъ личныхъ стремленій. Связи съ народомъ, крѣпчавшія годъ отъ году, охранили Пушкина отъ крайняго примѣненія доктрины; факты его собственной дѣятельности опровергли повторяемое имъ ученіе; *чернью*, раздражавшею его, доводившею до отчаянія, была не безвѣстная народная масса, которая лишь въ наши дни узнаетъ наконецъ его произведенія, не крестьянство, чей языкъ, бытъ, нравы, поэзію онъ съ возраставшимъ интересомъ изучалъ, чье безправное положеніе съ потрясающимъ юморомъ, словно предвѣщая салтыковскую сатиру, онъ изобразилъ въ „Исторіи села Горохина“, но та полуграмотная, самодовольная и въ то же время раболѣпная столичная чиновная и дворянская челядь, вдохновляемая Гречемъ и Булгаринымъ, которая ненавидѣла поэта и отравляла его жизнь.

Съ интересомъ къ Гете у Пушкина въ эти годы совпалъ интересъ къ Шекспиру. Обоими онъ усиленно сталъ заниматься еще въ Одессѣ, признаваясь, между прочимъ, что хоть иногда и заглядываетъ въ библію, но что „предпочитаетъ ей Гете и Шекспира“. Вліяніе англійскаго трагика было послѣднимъ сильнымъ внѣшнимъ импульсомъ; однако, на знакомство его съ шекспировскимъ творчествомъ во всемъ его объемѣ ничто не указываетъ, и „Гамлетъ“, повидимому, не захватилъ его вовсе. Пушкинъ заимствовалъ у Шекспира въ особенности новую въ нашей литературѣ форму драматическихъ хроникъ, свободное отношеніе къ единству времени и мѣста, „вольное и широкое изображеніе характеровъ“, „необыкновенное составленіе типовъ и простоту“, сочетаніе круп-

---

[1]) Было время, когда въ неумѣренномъ превознесеніи пушкинскаго творчества Незеленовъ провозглашалъ, что въ своей „Сценѣ“ Пушкинъ „переросъ Гете“ (А. С. Пушкинъ въ его поэзіи, 1882), видѣлъ въ ней „поправку (съ русской точки зрѣнія) великаго созданія Гете“. Новѣйшая работа В. А. Розова „Пушкинъ и Гете“, Кіевъ, 1908, стремящаяся доказать великое вліяніе Гете на русскаго поэта, сильнѣйшее, будто бы, чѣмъ его байронизмъ, и значительное сродство „въ ихъ воззрѣніяхъ, чувствахъ и идеалахъ“, признаетъ, что въ „Сценѣ изъ Фауста“ авторъ „подхватилъ нити, казалось, оставленныя навсегда германскимъ геніемъ“, и сдѣлалъ „смѣлую попытку использованія великаго созданія и хотя намекалъ на разрѣшеніе великой проблемы, поставленной въ немъ“ (стр. 292).

ныхъ историческихъ личностей съ широко задуманными народными сценами. По его же словамъ, источниками для „Бориса Годунова" были „Шекспиръ, Карамзинъ и наши старыя лѣтописи" [1]). На первомъ мѣстѣ, конечно, слѣдуетъ поставить вліяніе *Генриха IV*. Въ характеръ Бориса поэтъ вложилъ сходныя черты съ Генрихомъ, въ особенности страстную заботу объ упроченіи въ своемъ потомствѣ власти, добытой преступнымъ путемъ; въ предсмертной бесѣдѣ Бориса онъ чрезвычайно близко повторилъ увѣщанія шекспировскаго героя своему сыну [2]); въ той же трагедіи есть слѣды вліянія *Ричарда III* и *Генриха V*.

Изученіе Шекспира замѣтно, кромѣ того, въ большей или меньшей степени, и въ другихъ драматическихъ произведеніяхъ и поэмахъ Пушкина. Если еще въ 1825 году замыселъ *Графа Нулина* явился у него изъ шаловливаго желанія пародировать шекспировскую поэму „Лукреція", то въ послѣдній періодъ *Анжело* былъ свободнымъ пересказомъ трагикомедіи „Мѣра за мѣру"; на циклѣ психологически глубокихъ одноактныхъ драмъ сказалось общее вліяніе міровыхъ трагедій Шекспира,— а найденные въ рукописяхъ очерки характеровъ Шэйлока, Анджело и Фольстафа и разборъ „Ромео и Юліи" показываютъ, какъ вѣрно понималъ онъ Шекспира; къ чтенію его онъ то и дѣло возвращался, испытывая такое же наслажденіе, какое выносилъ, когда перечитывалъ Данта, неразлучнаго съ нимъ даже въ военной обстановкѣ „путешествія въ Эрзерумъ" и вызвавшаго у него прекрасныя переложенія и подражанія.

А за звѣздами первой величины виднѣется множество привлекшихъ поэта разнородныхъ европейскихъ писателей [3]). Увлеченіе Вальтеръ-Скоттомъ, совпавшее вначалѣ съ разливомъ байронизма, но пережившее

---

[1]) Къ нимъ можно, однако, прибавить „Athalie" Расина, вліяніе которой на пушкинскую трагедію доказано Ѳ. Д. Батюшковымъ, „Пушкинъ и Расинъ". Спб. 1900.

[2]) Пушкинъ находилъ, что черты Генриха встрѣчаются и въ характерѣ самозванца („il y a beaucoup de Henri IV dans Дмитрій". Переписка Пушк., 1908, II, 88), повидимому, именно въ смѣлости его пріемовъ.—Нѣкоторымъ нѣмецкимъ изслѣдователямъ хотѣлось, безъ всякаго основанія, видѣть въ *Борисѣ Годуновѣ* слѣды вліянія гетевскаго *Гетца фонъ Берлингингена*. Honegger, Russische Litetatur und Kultur, 1880, 189; Weddigen, Gesch. der Einwirkungen der deutsch. Literatur auf die Literaturen d. übrigen Völker, 1882 166.—О вліяніи Шекспира на Пушкина—Michael Pokrowsky, „Puschkin und Shakespeare", Shakespeare-Jahrbuch, т. 43, 1907.—Та же сцена увѣщанія сыну, которая у Пушкина сложилась подъ впечатлѣніемъ шекспировской, повторилась впослѣдствіи у Алексѣя Толстого въ „Царѣ Борисѣ", гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ (въ сценѣ съ привидѣніемъ на престолѣ) замѣтно вліяніе „Макбета". Допросъ волхвовъ въ „Смерти Іоанна Грознаго" близко сходится съ діалогомъ Макбета и вѣдьмъ.

[3]) О широтѣ и богатствѣ изученій европейскихъ литературъ говоритъ уже составъ пушкинской библіотеки, несомнѣнно въ ту пору не имѣвшей себѣ у насъ ничего равнаго въ иностранномъ своемъ отдѣлѣ; это настоящая лѣтопись всеобщей литературы, начиная съ Данта, Бокачьо и поэтовъ Возрожденія и кончая живою современностью. Англія представлена Шекспиромъ, Бэньяномъ, писателями временъ революціи, Свифтомъ, Байрономъ, лакистами, Бэрнсомъ, Скоттомъ, Муромъ, Бульверомъ, романистами 18 в., Дизраэли, Годвиномъ. Бэйль, Вольтеръ и Дидро открываютъ собою обширную группу французскихъ писателей и мыслителей, украшенную всѣми именами французскаго романтизма, до Sainte-Beuve'а, Мюссе, Гюго, Мериме, Бальзака; недавнее итальянское прошлое представлено Альфьери, Касти, Пеллико, Испанія Сервантесомъ и Кальдерономъ, Германія Гофманомъ, Генрихомъ Гейне и т. д.—Каталогъ Пушкин. библіотеки изданъ Б. Л. Модзалевскимъ, 1910, Пушкинъ и его современники, IX—X.

его [1]), поддержало Пушкина въ художественномъ изученіи русской старины. Онъ вступилъ въ ряды послѣдователей „шотландскаго чародѣя“, надъ рвеніемъ которыхъ онъ такъ остроумно посмѣялся, видя, какъ, „подобно ученику Агриппы, они, вызвавъ демона старины, не умѣли имъ управлять и сдѣлались жертвами своей дерзости“,—но въ рукахъ поэта былъ, должно быть, чудесный талисманъ; строптивый духъ раскрылъ передъ нимъ тайны былого, и начало русской *исторической* повѣсти было положено. Но и бытовой романъ, какъ завершеніе разрозненныхъ повѣствовательныхъ попытокъ, повѣстей Бѣлкина и т. д., долженъ былъ выработаться по широкому плану, возникшему, въ силу нѣсколько прихотливаго выбора поэта, подъ вліяніемъ большого романа Бульвера „Pelham or adventures of a gentleman“; задуманный собственно въ видахъ противодѣйствія крайностямъ свѣтскаго байронофильства въ Англіи, романъ Бульвера привлекъ Пушкина рѣзкимъ разоблаченіемъ ничтожества и порочности господствующаго общественнаго слоя. Планъ пушкинскаго романа, которому предстояло выполнить такую же миссію въ русской средѣ, нѣсколько разъ передѣлывавшійся, имѣлъ цѣлью охватить жизнь русскаго общества за нѣсколько поколѣній, вывести рядъ подлинныхъ личностей (въ томъ числѣ Грибоѣдова, Всеволожскаго, Завадовскаго, Орлова и т. д.); „Русскій Пеламъ“ (въ одной изъ редакцій плана—Пелымовъ), отъ котораго уцѣлѣло лишь нѣсколько страницъ (дѣтство героя и пребываніе его въ германскомъ университетѣ, грубо прерванное приказомъ отца), показалъ бы, какъ чужеземный примѣръ могъ навести на мысль о русскомъ соціальномъ романѣ-хроникѣ, предвѣстникѣ „Войны и мира“ [2]). Мольеръ и Моцартъ возбудили поэта къ обработкѣ легенды о *Донъ-Жуанѣ*; она манила его къ себѣ за много лѣтъ до созданія *Каменнаго гостя*, но озарилась новымъ свѣтомъ подъ вліяніемъ произведшаго немалое впечатлѣніе въ современной словесности запада толкованія въ извѣстномъ фантастическомъ этюдѣ Гофмана, объяснившаго ее неустаннымъ и безплоднымъ исканіемъ истиннаго счастья и идеальной женщины [3]). Фантастическіе разсказы Гофмана оставили свою печать на *Пиковой дамѣ*, какъ на *Портретѣ* Гоголя, повѣстяхъ Погорѣльскаго („Двойникъ“, 1828, подражаніе „Серапіоновымъ братьямъ“), „Пестрыхъ Сказкахъ“ и „Русскихъ Ночахъ“ Одоевскаго. Любимая когда-то русской публикой въ передѣлкѣ для нашей сцены „Дунайская Русалка“ (Donauweibchen) Генслера оставила замѣтный слѣдъ на замыслѣ и частностяхъ пушкинской „Русалки“ [5]). Въ рамку драматической поэмы Виль-

---

[1]) Въ „Капитанскую дочку“ введенъ эпизодъ изъ „Робъ-Роя“; еще Бѣлинскій находилъ связи этой повѣсти съ „Ламермурской невѣстой“; въ послѣднихъ сценахъ ея видятъ отраженіе „Эдинбургской темницы“ (М. Гофманъ, „Капитан. Дочка“, Сочин. Пушкина, Библіот. велик. писат., IV, 356—7).

[2]) О романѣ Пушкина см. статью Поварнина „Русскій Пеламъ“. Записки Истор.-Филог. Факультета Спб. университета, 1900 г.

[3]) Don Juan, eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten zugetragen. Русск. переводъ г. Страхова, Артистъ, 1894.

[4]) И. Н. Ждановъ. „Пушкинская Русалка и Das Donauweibchen Генслера“, 1900.

[5]) Собственно лишь небольшого отрывка изъ нея (Пиръ во время чумы), который, возбудивъ въ читателѣ повышенное настроеніе, обрываетъ нить на одномъ изъ загадочныхъ

сона „Зачумленный городъ“ [1]) Пушкинъ ввелъ двѣ прекрасныя пѣсни. Альфьери, Шенье, Вольтеръ, Соути, Вордсвортъ [2]), Барри Корнуоллъ, Бэньянъ (переложеніе отрывка изъ Pilgrim's Progress) и мн. друг. нашли въ Пушкинѣ мастерского переводчика [3]). Порою онъ даже наряжалъ собственныя произведенія, съ тѣмъ или другимъ умысломъ, въ условный иноземный нарядъ, назвавъ, напр., одно изъ личныхъ своихъ признаній, полное равнодушія къ политическимъ формамъ, какъ бы свободны онѣ ни были, и выше всего ставящее свободу своего духа, переводомъ изъ итальянскаго поэта Ипполито Пиндемонте, нѣкогда энтузіаста великой французской революціи (воспѣтой имъ въ поэмѣ „Francia“), отпрянувшаго отъ нея послѣ террора, но навсегда сохранившаго преданность итальянскому освобожденію и единству [4]), или изобрѣтая несуществовавшаго англійскаго драматурга Ченстона для того, чтобъ приписать ему своего *Скупого рыцаря* (еще Галаховъ указалъ на то, что въ сюжетъ этой пьесы введенъ одинъ эпизодъ изъ „Пертской красавицы“ Вальт. Скотта; очевидно, впрочемъ, вліяніе на ту же пьесу ярко набросаннаго Байрономъ въ „Донъ-Жуанѣ“, пѣснь XII, образа всемогущаго скупого богача, царственнаго въ своихъ подвалахъ) (7).

И свою поэзію и дѣятельность другихъ русскихъ писателей Пушкинъ любилъ вводить въ общеевропейскія рамки: замолвивъ въ первый разъ въ печати слово о Гоголѣ, онъ не могъ не вспомнить о Мольерѣ и Фильдингѣ, свои попытки создать русскій сонетъ ставилъ въ связь съ исторіей сонета, вспоминая Шекспира, Камоэнса, Петрарку, Данта („суровый Дантъ не презиралъ сонета“). Космополитизмъ его литературныхъ вкусовъ развивался съ годами все шире и достигъ полнаго развитія ко времени основанія *Современника*. Культъ великихъ художниковъ прошлыхъ вѣковъ свято хранится имъ; привѣтствуя въ своемъ журналѣ Шатобріановскій переводъ „Потеряннаго Рая“, онъ дѣлаетъ прекрасную характеристику Мильтона, не только какъ замѣчательнаго поэта, но и какъ „строгаго творца *Иконокласта* и книги Defensio populi“, благороднаго фанатика идеи и страдальца (примѣчательное въ николаевской средѣ чествованіе республиканизма, одушевляющаго обѣ названныя книги...). Въ то же время съ большимъ интересомъ слѣдилъ онъ за успѣхами новѣйшей французской поэзіи, привѣтствовалъ сильное даро-

---

моментовъ сюжета. Поэма Вильсона, одного изъ приверженцевъ „Озерной школы“, выдержавшаго немалую полемику съ Байрономъ, явилась въ 1816 г. (The City of the Plague and other poems).

[1]) Подъ вліяніемъ его стихотворенія написано, напр., „Я помню чудное мгновенье“.

[2]) Въ склонности къ переводамъ поэтическихъ произведеній съ различныхъ языковъ могъ служить ему примѣромъ Байронъ, любившій называть себя „гражданиномъ вселенной“ и оставившій много переводовъ изъ всевозможныхъ литературъ, даже португальской, армянской, новогреческой.

[3]) А. А. Чебышевъ, „Замѣтка о Скупомъ рыцарѣ“, въ сборн. „Памяти Л. Н. Майкова“, 1902, проводитъ параллель между пьесой Пушкина и драмой Генри Мильмана „Fazio“, (1817).

[4]) Есть слѣды знакомства Пушкина съ его поэзіей. Одной изъ рукописей „Кавказскаго Плѣнника“ (въ Румянцов. Музеѣ) предпосланъ эпиграфъ изъ Sermoni poetici Пиндемонте, взятый изъ отдѣла, озаглавленнаго „Viaggi“, при чемъ передъ приводимыми Пушкинымъ стихами находится ѣдкая выходка противъ Екатерининской Россіи.

ваніе въ Альфредѣ де-Мюссе и въ Жозефѣ Делормѣ (поэтическомъ двойникѣ молодого Сентъ-Бёва), съ особымъ удовольствіемъ печаталъ „Хронику русскаго въ Парижѣ“ Александра Тургенева, самъ готовился обозрѣвать всѣ новости западныя и горячо возсталъ противъ мнѣнія академика Лобанова о вредѣ изученія европейскихъ литературъ. Наконецъ, интересъ къ славянской и въ особенности русской народной поэзіи привелъ его къ переводу юго-славянскихъ пѣсенъ, оказавшихся потомъ искусной мистификаціей Проспера Мериме (сборникъ „La Guzla“, приписанный фиктивному „иллирійцу“—поэту Гіацинту Маглановичу), но доставившихъ Пушкину истинное удовольствіе [1]).

Такъ въ важнѣйшихъ и мелкихъ вопросахъ, въ школьные годы и въ пору наибольшей славы, поэтъ находилъ вѣрную опору въ европейской мысли и творчествѣ. Оно указало ему достойныя его цѣли, пробудило и поддержало серьезный взглядъ на назначеніе поэзіи,—и тогда, когда онъ видѣлъ его въ служеніи народному благу, и въ ту пору, когда выше всего поставилъ развитіе въ ней художественныхъ красотъ. Онъ вступилъ на путь народности, поддержанный старой итальянской поэзіей, Шекспиромъ, Скоттомъ и новыми французскими поэтами. Онъ создалъ новую драму, вытѣснившую классическій стиль трагедіи, при помощи великаго англійскаго трагика; ввелъ въ свои поэмы непосредственную русскую дѣйствительность, освѣщенную то юморомъ, то сатирическимъ негодованіемъ, опираясь на Байрона; руководимый блестящимъ примѣромъ его поэтическаго изображенія природы, привилъ родной поэзіи это выдающееся украшеніе; въ своей лирикѣ, безконечно измѣнчивой, отъ беззаботной шутливости къ тяжелому унынію, отъ вольнолюбивой политической оды къ гимну красотѣ, выработалъ себѣ свободу творчества, руководясь обширнымъ знаніемъ лирической поэзіи всѣхъ временъ и народовъ. Чужеземное было переработано и вполнѣ ассимилировано, согрѣто и сплочено сильнымъ дарованіемъ; съ „подражаніемъ“ соединилась вторая двигательная сила (по терминологіи Тарда—„изобрѣтеніе“)—самостоятельное творчество, и на этомъ сложномъ пьедесталѣ воздвиглась русская поэзія, впервые достойная этого имени.

Пѣвецъ Петра Великаго и защитникъ его просвѣтительной реформы, строгій съ виду, но, несмотря на это, все же сочувственный критикъ Радищева [2]), пристыдившій еще въ молодые годы Бестужева тѣмъ, что онъ въ обзорѣ литературы позволилъ себѣ пропустить имя автора „Путешествія“ („если о Радищевѣ мы забудемъ, такъ о комъ же намъ помнить?“ восклицалъ онъ), слѣдившій съ гетевской отзывчивостью за всѣми умственными движеніями въ Европѣ, находя, что „на поприщѣ

---

[1]) Вопросъ о возникновеніи и составѣ этой любопытной поддѣлки подъ югославянскую народность, плѣнившей, на ряду съ Пушкинымъ, сначала и Мицкевича, разсмотрѣнъ въ кн. Voyslav M. Iovanovitch, „La Guzla de Prosper Merimée. Etude d'histoire romantique“. Paris, 1911.

[2]) О двойственномъ значеніи пушкинской статьи, несмотря на принятыя авторомъ предосторожности, запрещенной къ печати, ср. статью В. Е. Якушкина „Пушкинъ и Радищевъ“ въ сборникѣ „О Пушкинѣ, статьи и замѣтки“, 1899.

ума нельзя намъ отступать“, Пушкинъ передалъ это коренное свое убѣжденіе всей своей школѣ. Его усвоили и сверстники, одновременно съ нимъ вступившіе въ ряды литературы, и тѣ младшіе ученики, совсѣмъ „молодое, незнакомое племя“, выросшее вокругъ него въ послѣдніе годы, не испытавъ разочарованія, которое отдалило его предшественниковъ, молодежь 1825—26 года, отъ Пушкина послѣ примиренія его съ старымъ порядкомъ, и сгруппировавшееся вокругъ „Современника“ съ такою же симпатіей и такимъ же довѣріемъ, какое влекло ихъ преемниковъ къ Бѣлинскому. Баратынскій и Веневитиновъ, Вяземскій, В. Одоевскій и Козловъ, Дельвигъ и Полежаевъ, мелкія величины въ родѣ Туманскаго или байрониста Теплякова, всѣ, кто уцѣлѣлъ отъ разгрома, снесшаго съ лица русской земли даровитое, идейное и мужественное поколѣніе декабристовъ, съ объединяющимъ ихъ единодушіемъ хранили лозунгъ уваженія къ европейской культурѣ. Байронъ ли, Вордсвортъ или Томасъ Муръ, нѣмецкіе ли романтики или Гете, Ламартинъ, Шенье, Беранже, или поэтическая натуръ-философія Шеллинга возбудительно подѣйствовали на ихъ развитіе, — общія его условія, связанныя съ европейскимъ вліяніемъ, остались неизмѣнными. И это шло вопреки господствовавшимъ, насильственно внѣдряемымъ понятіямъ и принципамъ. Цѣлый рядъ неблагопріятныхъ причинъ дѣйствовалъ наперекоръ. Желѣзный режимъ, продержавшійся, для устрашенія и усмиренія, въ первые годы послѣ декабрьскихъ событій, снова, какъ при Павлѣ, пытался разобщить русскую жизнь отъ связей съ западомъ. Позже, на ряду съ нѣкоторымъ ослабленіемъ этой запретительной политики, выдвинулось, усердно поощряемое свыше, ученіе объ „оффиціальной народности“, которое вело не къ обстоятельному изслѣдованію народной жизни, а къ горделивой исключительности и самодовольству, восхвалявшему „исконныя начала“ превыше чьей бы то ни было культуры. Какъ осадокъ злопамятства, во всю николаевскую пору сохранялось въ правящихъ, мнившихъ себя всемогущими, сферахъ холодное, подозрительное отношеніе къ Европѣ, усиливавшееся каждый разъ, когда на западѣ старому порядку грозила серьезная опасность (во время іюльскихъ событій 1830 года и послѣдовавшихъ затѣмъ всюду волненій или послѣ всеобщаго движенія въ 1848 году), и выражавшееся въ стѣсненіяхъ литературы и науки.

Когда среди всеобщей безгласности (вспомнимъ слова Герцена) „тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала слова, чтобы спокойно сказать свое lasciate ogni speranza“, противъ нея возстало сначала само общество, даже студенчество, и власть своей суровой расправой скрѣпила эту нетерпимость. Но съ „печальной фигуры“ Чаадаева и съ середины тридцатыхъ годовъ, когда появилось его „Философическое письмо“, ведетъ свое начало западничество, какъ литературно-общественное направленіе. Старый лозунгъ, дорогой Пушкину и всѣмъ лучшимъ людямъ двадцатыхъ годовъ, устоялъ, неизмѣнный, привлекательный, и среди новыхъ людей, новыхъ школъ.

V.

По своему вліянію на лирическую поэзію въ частности и на литературное движеніе вообще Пушкинъ напоминаетъ значеніе Петра въ словесности и наукѣ. Не одна лишь современная ему группа писателей-сверстниковъ составляетъ его „школу“, но и тѣ младшіе послѣдователи и преемники, которые еще шире и пышнѣе развили унаслѣдованный отъ него запасъ идей, образовъ, общественныхъ и художественныхъ интересовъ, и, какъ Лермонтовъ и Гоголь, связали пушкинскія традиціи съ запросами новыхъ поколѣній. Ближайшіе же сотрудники поэта или свернули съ пути, не совладавъ съ натискомъ охранительныхъ идей, или рано выбыли изъ строя.

Нѣсколько задушевныхъ стихотвореній Веневитинова выказали недюжинное дарованіе въ этомъ мечтателѣ, воспитавшемся на нѣмецкой философіи, на культѣ Гете и Байрона; юношеская критическая статья его о Пушкинѣ — авторѣ Онѣгина, высоко цѣня его, отвергла навязываемый ему титулъ русскаго Байрона и ярко выставила широту и общечеловѣческое значеніе байроновской поэзіи; драматическій прологъ его, *Смерть Байрона*, выдѣляется изъ скорбнаго хора русскихъ стихотворцевъ глубиной мысли и сочувствіемъ освободительному подвигу; начатый имъ большой романъ „Три эпохи любви“ съ героемъ-неудачникомъ явился бы звеномъ между Алеко, Плѣнникомъ и Печоринымъ. Но смерть разбиваетъ всѣ эти надежды, и послѣднія пѣсни юноши уже полны загробныхъ видѣній. Дельвигъ, всю жизнь увлекавшійся западными, преимущественно нѣмецкими, поэтическими образцами и вмѣстѣ съ тѣмъ пытавшійся усвоить себѣ духъ и пріемы русскихъ народныхъ пѣсенъ, рано умираетъ, и послѣдніе дни его отравлены „непріятностями“, вызванными осторожно выказаннымъ его газетой сочувствіемъ парижскимъ іюльскимъ событіямъ 1830 года (помѣщеніе стихотворенія Казимира Делавиня въ честь погибшихъ на баррикадахъ, вынесшихъ на себѣ дѣло свободы). Талантливѣйшій изъ всей плеяды, Баратынскій, воспитавшійся на французской поэзіи и мысли восьмнадцатаго вѣка (Вольтерѣ), сначала не чуждый байронизму, обрисовавшій (даже въ стихотв. „Подражателямъ“, т.-е. русскимъ байронистамъ) идеальный, „окруженный нетлѣнными лучами“, образъ Байрона въ его борьбѣ съ судьбой и людьми, „чтимаго, подобно мученику“, порывался къ самостоятельному творчеству и побуж-

далъ высоко цѣнимаго имъ Мицкевича выйти изъ подражательности („возстань, — говорилъ онъ ему, видя его „у байроновскихъ ногъ,—возстань, вѣдь самъ ты богъ!“), но постепенно смолкъ подъ давленіемъ житейскихъ дрязгъ и неудачъ. Его не оцѣнили, не замѣтили его писательскаго роста, личное счастье разбито, положеніе родины удручаетъ его, не забывшаго грезъ и надеждъ передовой молодежи двадцатыхъ годовъ („Благословенъ грядый во имя Господне!“ воскликнулъ онъ, когда за два года до смерти прочелъ указъ объ „обязанныхъ крестьянахъ“); настроеніе „русскаго Гамлета“, какъ назвалъ его еще Пушкинъ, затуманилось пессимизмомъ, подобно Альфреду де-Виньи, судьбу котораго онъ напоминаетъ; онъ кончаетъ жизнь одинокимъ печальнымъ мыслителемъ. Его извѣстная поэтическая тризна по Гете всегда останется выдающимся проявленіемъ несомнѣннаго дарованія.

Доля его сотоварища-поэта Козлова была еще печальнѣе; байроновская поэзія, которую онъ съ любовью перелагалъ и переводилъ („Невѣста Абидосская“, „Чернецъ“, написанный подъ вліяніемъ *Гяура* [1]) въ формѣ предсмертной исповѣди измученнаго гоненіями судьбы грѣшника, и окруженный красивою оправой днѣпровскихъ ландшафтовъ), была великимъ утѣшеніемъ для слѣпца, выработавшаго себѣ трогательную философію несчастья, и онъ прославилъ своего любимѣйшаго писателя въ поэмѣ „Байронъ“ (Новости литературы, 1824). По словамъ Жуковскаго, онъ зналъ наизусть „всего Байрона, всѣ поэмы Вальтеръ-Скотта, лучшія мѣста изъ Шекспира“. Наконецъ, чтобы рядомъ съ нимъ поставить вѣчно смѣющагося и острящаго Демокрита, Вяземскій пронесъ сквозь цѣлый рядъ поколѣній чуть, не до конца вѣка, свою бойкую наблюдательность, остроуміе, политическій задоръ, легкость стиха, широкое знакомство съ европейскими литературами (вначалѣ горячее увлеченіе Байрономъ), ученый дилеттантизмъ, способности критика-застрѣльщика, выказанныя въ защитѣ романтизма, поддержкѣ новшествъ Пушкина, потомъ склонность къ изолированной роли среди литературныхъ направленій, неопредѣленность общественныхъ и политическихъ взглядовъ, завершившуюся обскурантизмомъ.

Быстро поблекъ Языковъ. Онъ долго не замолкалъ, но то, что выходило въ сороковыхъ годахъ изъ-подъ его пера, не только измѣна гуманному пушкинскому направленію, но часто вовсе и не поэзія. Безпечно относясь смолоду къ наукѣ и развитію, онъ личные счеты съ Дерптомъ, столкновенія съ профессорами и педелями, научился переносить въ непріязненныя отношенія къ Германіи и нѣмцамъ вообще, потомъ и ко всему западному, возвеличивая добрыя родныя начала, которыя грезились ему въ ухарствѣ, пирахъ и размашистомъ волокитствѣ. Въ началѣ это было безобидно и выкупалось бойкимъ и звонкимъ стихомъ. Вакхическій жаръ даже сблизилъ на время Языкова съ Пуш-

---

[1]) Конецъ поэмы—подражаніе „Марміону“ Вальтеръ-Скотта. Козловъ высоко цѣнилъ талантъ романиста и написалъ ему стихотворное посланіе; В.-Скотту сообщили объ этомъ увлеченіи, и онъ пожелалъ узнать поэзію своего поклонника.—Н. Даниловъ, „Ив. Ив. Козловъ“, Изв. Отд. р. яз. Ак. Наукъ, 1914, II.

кинымъ. Но, тогда какъ у Пушкина подобныя вспышки бывали мимолетными капризами и послѣ нихъ наставали цѣлыя полосы глубокихъ творческихъ думъ, Языковъ навсегда остался съ привычками и взглядами бурша, — единственная уступка, которую онъ могъ сдѣлать ненавистной западной стихіи! Мало-по-малу онъ начинаетъ кичиться этою особенностью и поэтизировать презрѣніе къ новой образованности. Уже онъ сбирается „гордо бросить свой лавровый, *виномъ обрызганный* вѣнецъ", уже смотритъ на русскихъ товарищей въ университетѣ, какъ на „внуковъ могущественныхъ славянъ", которымъ приходится „отдавать свободныя руки въ оковы нѣмецкой вольности", и т. д. Когда же, избалованный легкими успѣхами въ извѣстныхъ кругахъ, онъ находитъ поддержку застарѣлой нелюбви къ Европѣ въ руссофильскихъ восторгахъ московскихъ друзей, онъ сбрасываетъ маску и отдается воспѣванію „веселонравной старины", „счастливыхъ бояръ", русскаго молодечества. За границей онъ пытается познакомиться съ новой нѣмецкой литературой; по собственному признанію, читаетъ и Гейне, и Ленау, но выноситъ изъ чтенія *мало толку*. Сближеніе его, расшатавшаго свое здоровье, съ Гоголемъ, слабѣвшимъ и больнымъ душою, довершаетъ это настроеніе. Тяжелое зрѣлище представляютъ оба они вмѣстѣ съ дряхлѣвшимъ Жуковскимъ, все глубже погружавшимся въ мистицизмъ, когда блуждаютъ по Европѣ наканунѣ 1848 г., присутствуютъ при тревогахъ и терзаніяхъ народныхъ и не находятъ у себя въ отвѣтъ ничего, кромѣ непріязненныхъ выходокъ и глумленія! [1]). Языковъ умѣетъ называть нѣмцевъ и въ письмахъ, и въ стихахъ, лишь „нехристью нѣмецкой, злою"; сочувствовать западу значитъ „плевать на честныя могилы предковъ"; для женщинъ желать учиться значитъ „лишиться благословенія и быть у Бога ни почемъ" [2]). Наконецъ, охранительное усердіе приводитъ его къ апогею,—глумленію надъ гонимымъ Чаадаевымъ, и знаменитому стихотворенію „Къ не-нашимъ"; выказанная въ немъ ненависть ко всей партіи Бѣлинскаго возбудила въ такой честной натурѣ, какъ К. Аксаковъ, искреннее негодованіе и вызвала съ его стороны отвѣтное, примиряющее стихотвореніе.

Таковы могли быть иногда побѣги отъ пушкинской школы. Не опираясь ни на серьезное изученіе русской народности, не зная и горделиво не желая знать европейскаго развитія, люди въ родѣ Языкова

---

[1]) Жуковскій утратилъ тогда и пониманіе литературныхъ важнѣйшихъ явленій, не только новѣйшихъ, но и современныхъ лучшей порѣ его собственной дѣятельности. „Избави насъ, писалъ онъ въ 1845 году, отъ противныхъ Героевъ нашего времени, отъ Онѣгиныхъ и прочихъ многихъ имъ подобныхъ. Это бѣсы, вылетѣвшіе изъ грязной лужи нашего времени, начавшіеся въ утробѣ Вертера и расплодившіеся отъ Донъ-Жуана и прочихъ героевъ Байрона".

[2]) „Московское Обозрѣніе", 1859, книга II, „Лирическая поэзія послѣдователей Пушкина".— Изданныя теперь подъ ред. проф. Пѣтухова, „Письма Языкова къ роднымъ за дерптскій періодъ его жизни", 1913, наглядно показали настроенія и интересы его къ европейской литературѣ въ начальную пору; все же онъ увлекался тогда Шиллеромъ, былъ въ восторгѣ отъ „Донъ-Карлоса", „Фаустъ" Гете былъ „возмутительно прекрасенъ"; нѣмецкій языкъ считалъ онъ „алмазнымъ ключемъ къ высокому и прекрасному".

хотѣли отстоять свое положеніе однимъ ухарствомъ и патріотическимъ жаромъ,—и въ славянофильскихъ кругахъ съ ними носились, ихъ зачисляли въ кругъ настоящихъ *народныхъ* поэтовъ, столповъ національной художественной школы... А рядомъ — погибъ несчастный и безспорно даровитый, развивавшійся подъ хорошимъ вліяніемъ Пушкина и западныхъ поэтовъ, Байрона, Ламартина, но съ большими задатками самостоятельности и искренности, Полежаевъ. Поэтъ-студентъ, за стихотворныя (даже не политическія) шалости („Сашка", „Имамъ-козелъ") наказанный отдачей въ солдаты, въ московскихъ казармахъ и кавказской боевой службѣ отданный въ жертву произволу, обезволенный, затуманенный виномъ,—великій укоръ отеческому режиму, немалая потеря для художественной школы послѣдователей Пушкина.

Тотъ поэтъ, который изъ всего поколѣнія одинъ только могъ развить лучшія пушкинскія традиціи и въ энергическихъ порывахъ геніальной натуры стремиться къ самостоятельности, испытывалъ въ теченіе долгаго времени сильное, руководящее вліяніе европейской поэзіи [1]). Въ противоположность Пушкину, выступившему на литературное поприще подъ заманчивымъ впечатлѣніемъ поэтическихъ шалостей беззаботныхъ мелкихъ французскихъ стихотворцевъ восьмнадцатаго вѣка, задумчивыя, мечтательныя, вдохновенныя или идеалистически-восторженныя лица окружили поэтическую колыбель Лермонтова. Сначала это—Шиллеръ, Гете, Лессингъ, Шатобріанъ, потомъ французскіе романтики, наконецъ, Байронъ. Въ его юношескихъ поэмахъ и драмахъ мѣсто дѣйствія очень часто на западѣ (въ первоначальной редакціи *Демона*, наприм., въ Испаніи), и главные мотивы и характеры являются отголосками чужихъ созданій; въ „Испанцахъ" есть сходство съ „Коварствомъ и Любовью" и „Натаномъ Мудрымъ"; „Аталу" Шатобріана Лермонтовъ перерабатывалъ въ драму; въ обставленномъ пугачевскою порой „Горбачѣ-Вадимѣ" замѣтно вліяніе „Собора Парижской Богоматери" и „Bug-Jargal" Виктора Гюго; [2]) эпиграфъ часто ставится изъ гетевскаго стихотворенія; одной изъ драмъ Лермонтовъ даетъ нѣмецкое названіе „Menschen und Leidenschaften".

Отголоски чтеній въ юные годы долго будутъ потомъ слышаться,—такъ Лермонтовъ, не особенно увлекавшійся Шекспиромъ, подражаетъ „Отелло" въ „Маскарадѣ". Не одно только ученически неопытное благоговѣніе передъ колоссальными міровыми авторитетами опредѣляло эти подражательные пріемы, но и сознаніе, что именно тутъ можно найти сочувственный отзвукъ на то, что поднималось въ душѣ юноши, рано

---

[1]) Опытъ сведенія его результатовъ сдѣланъ былъ Duchesne'омъ въ книгѣ „Michel Jourievitch Lermontov", P., 1911 (отдѣлъ ея, „Influences dans l'oeuvre de L.") переведенъ по-русски, Казань, 1914). Изъ новыхъ предложенныхъ имъ указаній (въ группѣ вліяній литературы французской) многія неудачны,—напр., отраженія „Эрнани" въ „Испанцахъ", которые задуманы были и писались раньше появленія драмы Гюго, или заимствованіе дышащей неподдѣльнымъ реализмомъ фигуры Максима Максимыча, съ ея яркимъ русско-кавказскимъ колоритомъ, изъ одного эпизода „Servitude et grandeur militaire" Альфреда де Виньи, „le Carnet rouge", разыгрывающагося во время великой французской революціи. Детальный разборъ книги Дюшена—въ моей статьѣ о ней, „Archiv für Slavische Literatur. 1911.

[2]) Ср. „Лермонтовъ, какъ романистъ" С. И. Родзевича, Кіевъ, 1914.

начавшаго жить личною жизнью. На чтенiи любимыхъ западныхъ поэтовъ и подражанiи имъ воспитывалась и крѣпла его индивидуальность. Связь его раннихъ набросковъ, которые нельзя назвать, какъ у другихъ столь же талантливыхъ людей, шалостями, съ личными его испытанiями и думами развивалась благодаря этому увлеченiю европейскою поэзiей. Въ драмѣ „Menschen und Leidenschaften" скрыта невеселая картина раннихъ лѣтъ Лермонтова, этого страннаго дѣтства, безъ сказокъ, безъ няни, безъ матери, въ атмосферѣ родовой спеси, съ барскими традицiями, безтолковымъ баловствомъ и съ презрѣнiемъ къ плебейству, порождавшими семейную драму. Протестъ „Испанцевъ" противъ неравенства и владычества знати, опираясь на шиллеровскiй примѣръ, внушенъ личными испытанiями и заступничествомъ за оскорбленнаго и обездоленнаго отца. Съ этихъ поръ поэзiя стала для этой впечатлительной и вмѣстѣ съ тѣмъ сосредоточенной натуры выразительницей сокровенныхъ думъ, поправкой его страстныхъ ошибокъ и излишествъ,—прибѣжищемъ, куда онъ могъ укрыться изъ его хронически пошлой обстановки. Въ поэтическихъ грезахъ, которыя онъ довѣрялъ лишь своей завѣтной записной книжкѣ, спутницѣ его дѣтства и отрочества, уносился онъ далеко отъ вялой и ничтожной жизни, видѣлъ себя, некрасиваго, смѣшного, непонятаго никѣмъ мальчика, величавымъ, могучимъ, таинственнымъ героемъ.

„Демонъ", одна изъ этихъ грезъ, задуманъ былъ еще въ пансiонѣ, и въ послѣдующихъ редакцiяхъ, подобно *Онѣгину*, пережилъ всѣ измѣненiя въ развитiи и настроенiи поэта. На первоначальный замыселъ его, несомнѣнно, повлiяла поэма Альфреда де-Виньи „Eloa", повѣсть любви небесной дѣвы къ падшему ангелу; онъ растрогалъ и соблазнилъ ее своимъ страдальческимъ видомъ, признанiями въ пылкой страсти, томленiями душевнаго одиночества, и чудными картинами своей тайной власти надъ сердцами. Она гибнетъ, доставивъ своимъ паденiемъ наслажденiе, торжество, дикую, алчную радость духу зла [1]), мстящему Богу въ самомъ свѣтломъ его созданiи. Мистерiя де-Виньи, первенецъ молодого поэта (она появилась въ 1824 году, и ей предшествовала лишь крошечная, безыменная и никѣмъ не замѣченная книжка его стиховъ), не могла не подѣйствовать на воображенiе завлекательнымъ характеромъ искусителя; со временемъ замыселъ поэмы созрѣлъ и измѣнился, кавказская обстановка замѣнила собою испанскую, дочь грузинскаго князя, спасшаяся отъ искушенiя въ стѣны обители,—монахиню, байроновскiй Люциферъ вдохнулъ новую жизнь въ блѣдное юношеское созданiе, но слѣды первоначальной идеи остались замѣтными до конца.

---

[1]) Въ рѣчахъ демона къ Элоа словно слышится шопотъ лермонтовскаго искусителя: „je suis celui qu'on aime et qu'on ne connais pas. Sur l'homme j'ai fondé mon empire de flamme dans les désirs du coeur, dans les rêves d'âme, dans les désirs du corps, attraits mystérieux. C'est moi qui fait parler l'épouse dans ses songes; la jeune fille heureuse apprend d'heureux mensonges; je leur donne des nuits qui consolent des jours; je suis le roi secret des secrètes amours". И дальше, изображая ночной полетъ демоновъ: „Sitot que... le soleil rougissant quitte le gazon, innombrables esprits, nous volons dans les ombres en secouant dans l'air nos chevelures sombres" etc.

Настала пора, когда прежнихъ любимцевъ сталъ затемнять новый, захватившій неограниченную власть надъ лермонтовскими думами. Французскую и нѣмецкую [1]) поэзію отодвинуло на второй планъ творчество страны, которую Лермонтовъ считалъ своей истинной отчизной [2]). Еще въ то время, когда онъ увлекался Шиллеромъ, мы уже видимъ у Лермонтова живой интересъ къ русскимъ копіямъ байроновскихъ героевъ, къ Алеко, Кавказскому Плѣннику, встрѣчаемъ списокъ „Шильонскаго узника“ въ переводѣ Жуковскаго, наконецъ, даже попытки переводовъ изъ Байрона (Гяуръ, Беппо). Если у Пушкина байронизмъ насталъ лишь послѣ первыхъ столкновеній съ настоящей жизнью, Лермонтовъ еще съ школьныхъ лѣтъ (благодаря хорошему англійскому педагогу, посвятившему его въ чары первостепеннаго поэта его отечества) воспитывался въ поклоненіи Байрону, проникался его духомъ. „Корсаръ“ и для него явился сильнымъ возбудителемъ къ состязанію,—въ ту же записную книгу, гдѣ сохранилась попытка создать свою варіацію „Кавказскаго Плѣнника“, вносится недоконченная поэма „Корсаръ“, въ формѣ признаній разбойника о злополучной своей жизни, въ которой борьба за освобожденіе Греціи отъ турецкаго ига и ремесло корсара безпорядочно сливаются и оставляютъ осадокъ тяжелаго душевнаго разлада. Этотъ образъ открываетъ собою обширнѣйшій циклъ характеровъ и темъ, внушенныхъ Байрономъ. „Безумный, страстный, дѣтскій бредъ“, Демонъ, таинственно носящійся въ заоблачныхъ сферахъ, и его потомокъ, изящный гвардеецъ (въ *Княгинѣ Лиговской*) Печоринъ, не менѣе красивый впослѣдствіи въ своей черкескѣ, съ своими спутниками Арбенинымъ, Радинымъ, Вернеромъ и Вуличемъ, кавказскія варіаціи загадочной натуры, Измаилъ-Бей, оттискъ съ Лары, даже древнерусскій ихъ товарищъ Арсеній (въ *Бояринѣ Оршѣ*), наконецъ, ихъ послѣдній преемникъ, Демонъ „Сказки для дѣтей“, разставшійся съ своимъ театральнымъ нарядомъ, совсѣмъ спустившійся къ людямъ, остроумный, насмѣшливый скептикъ terre à terre,—необыкновенно многочисленная и разнообразная группа байроническихъ героевъ, не встрѣчаемая въ такомъ богатствѣ ни у одного изъ послѣдователей англійскаго поэта [3]). Но въ этой семьѣ

---

[1]) Нѣмецкое вліяніе отразилось впослѣдствіи, въ предсмертную пору Лермонтова, на примѣчательномъ по интенсивности замысла и выполненія, фантастическомъ „Отрывкѣ изъ начатой повѣсти“ (Лугинъ), на которомъ лежитъ явный отпечатокъ пріемовъ Гофмана, въ нѣсколькихъ произведеніяхъ использовавшаго мотивъ оживающаго портрета. Частный вопросъ этотъ подробно прослѣженъ Леон. Семеновымъ, „Лермонтовъ и Левъ Толстой“, 1914, с. 384—402, и С. Родзевичемъ, „Лермонтовъ, какъ романистъ“, с. 101—110.

[2]) Изслѣдованія В. Никольскаго (Рус. Старина, 1873) и В. Н. Сторожева (Родоначальникъ русской вѣтви Лермонтовыхъ, М. 1894) показали, что предкомъ поэта былъ Джорджъ Лермонтъ, выѣхавшій въ Россію въ 1613 году; въ челобитной, поданной имъ въ 1618 г. Михаилу Ѳеодоровичу, онъ названъ „иноземцемъ бѣльскихъ нѣмецъ, шкоцкой роты прапорщикомъ Юшкой Лермонтомъ“; послѣ его смерти челобитныя подавала „Катеринка, женишка Лермонта“. Однимъ изъ предковъ его былъ рыцарь-поэтъ Томасъ Лермонтъ, современникъ короля Макбета.

[3]) Вокругъ нихъ—богатая и разнообразная группа заимствованій или переложеній отдѣльныхъ байроновскихъ мотивовъ. Такъ первый набросокъ „Ангела смерти“ близокъ къ „Корсару“; „Ночь II“ внушена стихотв. „Darkness“; въ драму „Странный человѣкъ“ введено

протестующихъ неудачниковъ лучшее украшеніе—самъ Лермонтовъ. И безъ вліянія Байрона личныя условія его жизни и складъ натуры, которую, по старой терминологіи, многіе называли тогда демоническою, вложили бы въ его поэзію разочарованіе, недовольство и протестъ, но одинъ лишь Байронъ далъ имъ развиться вполнѣ, потрясъ душевный міръ юноши и повелъ его впередъ, какъ только онъ могъ это дѣлать. Узнавъ впервые изъ біографіи Байрона, изданной Томасомъ Муромъ, факты личной жизни и сложную психологію любимаго поэта, юноша Лермонтовъ, пораженный сходствомъ, уже восклицаетъ:

Я молодъ, но кипятъ на сердцѣ звуки
И Байрона достигнуть я бъ хотѣлъ:
У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки:
О, еслибъ одинаковъ былъ удѣлъ!

Неясно представляется ему, въ чемъ удѣлъ его можетъ повторить судьбу и подвигъ Байрона, въ силахъ ли онъ взять на свои плеча бремя борьбы противъ твердынь стараго порядка, возможна ли она среди неподвижной и подавленной николаевской Руси, и ему ли бросить титаническій вызовъ. Но онъ охваченъ удивленіемъ, сродство душъ влечетъ его къ несказанному, чудному будущему,—и вслѣдъ за провозглашеніемъ тождества своего съ Байрономъ у юноши поднимается смѣлая мысль о равенствѣ съ нимъ, и тогда ему чудится, что онъ „не Байронъ, но другой, еще невѣдомый избранникъ, но только съ русскою душой".

Но, если, сравнительно съ Пушкинымъ, онъ продвинулся впередъ къ пониманію сущности байронизма, полной общечеловѣческихъ симпатій, все же онъ остановился на половинѣ пути. Къ вліянію *Eloa* на „Демона" присоединилось отраженіе мотива изъ байроновской мистеріи *Heaven and Earth*, изображающей (какъ и поэма Томаса Мура „The love of the angels", быть можетъ, также извѣстной молодому поэту) страстную любовь небожителей къ земнымъ женщинамъ, наконецъ и *Каина*, на характеръ лермонтовскаго сатаны перешло нѣсколько величавыхъ чертъ отъ Люцифера, но поэтъ не придалъ своему герою (хотя и называетъ его царемъ познанья и свободы) того духа мятежнаго протеста, жажды воли и власти, который ставитъ байроновскаго демона въ ряды агитаторовъ и народныхъ вождей начала XIX вѣка,—подобно тому какъ въ мильтоновскомъ Сатанѣ сквозятъ черты страстныхъ революціонеровъ XVII столѣтія, а въ одѣ *Satana* молодого Кардуччи олицетворилась „la forza vindice della ragione" (мстящая сила разума) конца девятнадцатаго вѣка. Въ группѣ героевъ остальныхъ поэмъ еще менѣе глубокихъ мотивовъ,—снимки, снятые съ отца-неудачника и съ самого поэта, и насыщенные горечью байроновскаго протеста, „странные люди", ставшіе выше толпы, но остановившіеся на обличеніи людской низости и продаж-

---

стихотвореніе на тему „Сновидѣнія"; „Мазепа" задуманъ на мотивъ изъ поэмы Байрона; „Умирающій гладіаторъ" сливаетъ извѣстный отрывокъ изъ 4-й пѣсни „Childe-Harold'a" съ размышленіями Лермонтова; въ стих. „Мой домъ вездѣ, гдѣ есть небесный сводъ" тема взята изъ Гарольда, и т. д.

ности, на иронической насмѣшкѣ надъ любовью, дружбой, идеализмомъ, и измученные безцѣльностью жизни, безплодной затратой силъ. Печоринъ замыкаетъ собой этотъ циклъ надломленныхъ героевъ, но, надѣленный недюжиннымъ образованіемъ (цитаты изъ Вальтеръ-Скотта, Гете, фразы въ духѣ французскихъ романтиковъ, не сходятъ съ его устъ; Печоринъ въ „Княгинѣ Лиговской" прямо названъ „партизаномъ Байрона"; „собесѣдница его одиночества", картина неизвѣстнаго русскаго художника, изображающая загадочную, демоническую личность, слыветъ у него подъ именемъ „портрета Лары", и т. д.), художественной любовью къ природѣ, симпатіями къ горской вольности, донъ-жуановской тоской по идеальной женщинѣ и мщеніемъ неповиннымъ существамъ, далекимъ отъ его идеала,—онъ только въ глазахъ недальновидныхъ читателей-современниковъ поэта, готовыхъ принять каждый блуждающій огонекъ за свѣтило, могъ являться положительнымъ характеромъ.

Мнѣніе Брандеса [1]), будто Печоринъ—совершеннѣйшій изъ типовъ, созданныхъ за предѣлами Англіи подъ вліяніемъ Байрона (въ немъ сказался „байронизмъ въ его сильнѣйшемъ и утонченнѣйшемъ выраженіи"; Печорина Брандесъ называетъ „Прометеемъ новѣйшаго времени, прикованнымъ къ кавказской скалѣ"), можетъ быть принято лишь съ большими оговорками. „Совершенство" не въ завлекательной прелести грустно-идеальнаго, гибнущаго, но неотразимаго героя, а въ искренности самообличенія,—потому что „Герой нашего времени"—безпощадная исповѣдь, подводящая (начиная съ первой редакціи романа, „Княгини Лиговской", изображающей петербургскія дѣянія Печорина) итогъ поры блужданій, сомнѣній и безплодной траты силъ,—поры односторонне понятаго байронизма,—потому что насталъ конецъ ея, судъ надъ нею. Въ свою личную жизнь Лермонтовъ внесъ симпатичныя ему байроновскія *слабости*; ими онъ могъ мучить и бѣсить своихъ противниковъ, привлекать и разочаровывать женщинъ, окружать себя искусственнымъ ореоломъ, и этимъ тѣшиться. Горделивое одиночество не дало ему сойтись съ передовой группой молодежи, входившей въ жизнь съ опредѣленными культурными цѣлями; онъ понялъ ихъ слишкомъ поздно, сначала осудивъ и ихъ, и свои неудавшіяся стремленія на гибель. „Дума", обращенная къ молодому поколѣнію,—одинъ изъ печальныхъ примѣровъ такого недоразумѣнія. Увядающее, изсушившее свой мозгъ, изнемогшее будто бы подъ бременемъ познанья и сомнѣнья, поколѣніе это—та блестящая плеяда, которая создала литературу и общественное движеніе сороковыхъ годовъ, кружокъ Бѣлинскаго и его друзей, *незнакомыхъ* поэту, ихъ университетскому товарищу, герценовская группа, юный Грановскій! Даже съ поправкой, предложенной Михайловскимъ, указавшимъ на порицаніе безплодности науки, неприложимой къ жизни, и мертвящаго отсутствія дѣятельности, этотъ приговоръ остается суровымъ и недальновиднымъ. Байрону, конечно, привольно дышалось на неприступной альпійской высотѣ Манфредова замка, но мы видимъ его вмѣстѣ съ тѣмъ

[1]) Menschen und Werke. Essais v. Georg Brandes, Frankfurt, 1894.

въ постоянномъ общенiи съ передовымъ общественнымъ слоемъ Англiи, стремящимся активно, явно и тайно, вмѣшаться въ тревоги и движенiе современности. „*Одному изъ героевъ* нашего времени“ (какъ звучало первоначальное, несравненно болѣе мѣткое, ироническое заглавiе повѣсти) такiе помыслы и интересы невѣдомы... Но если Печорину не къ лицу званiе совершеннѣйшаго заграничнаго байрониста [1]) и если „Герой нашего времени“—печальная тризна, то въ этомъ художественномъ самообличенiи могла быть для Лермонтова поддержкой искренность такихъ же признанiй, которыми Байронъ, начиная съ „Чайльдъ-Гарольда“ [2]) и до предсмертныхъ произведенiй, раскрывалъ свой внутреннiй мiръ,—и сходная даже по названiю съ лермонтовскимъ романомъ исповѣдь другого байроновскаго послѣдователя, Альфреда де-Мюссе, — „Confession d'un enfant du siècle“ (Признанiе сына вѣка),—которая, шире Лермонтова поставивъ вопросъ о причинѣ разочарованности въ общественной средѣ первой четверти столѣтiя (въ мѣткомъ и сильно продуманномъ введенiи), своимъ обличенiемъ эгоизма, ошибокъ и пороковъ автора, раскрывшаго подъ вымышленными именами исторiю своей несчастной связи съ Жоржъ-Зандъ, врядъ ли осталась безъ влiянiя на замыселъ Лермонтова.

При неполнотѣ пониманiя духа байроновской поэзiи, уступкахъ свѣтскому тщеславiю и мучительномъ, терзающемъ самоанализмѣ, байронизмъ Лермонтова имѣлъ ту важную заслугу, что сохранилъ его несравненный талантъ, проведя его невредимо сквозь житейскую тину. Онъ сберегъ его свѣжесть среди кавалерiйскихъ попоекъ и стихотворно-цинической болтовни,, которую онѣ порождали, указалъ исходъ для возмущеннаго общественною неправдой чувства; онъ внушилъ ему желѣзный стихъ его оды на смерть Пушкина, впервые (какъ у Байрона его „Англiйскiе барды“) показавшей современникамъ всю мѣру изумительнаго дарованiя поэта; онъ былъ его убѣжищемъ и въ петербугскомъ свѣтѣ, и въ ссылкѣ, гдѣ его окружили цѣлыми толпами товарищи во вкусѣ Грушницкаго. Поэзiя, въ ту пору для него возможная лишь въ байроновскомъ духѣ, развила въ немъ своеобразную *личность*, выдѣлявшуюся изъ общественной среды, гдѣ не терпѣли никакой личной инициативы или самобытности. Наконецъ, въ чисто художественномъ отношенiи байроновскiй культъ вызвалъ въ неистощимо даровитой натурѣ поэта столько живыхъ образовъ, звучныхъ, блестящихъ и глубоко искреннихъ строфъ, возбудилъ въ немъ на Кавказѣ тотъ поэтическiй орiентализмъ, который отъ Байрона передался всѣмъ выдающимся его ученикамъ, онъ ввелъ въ русскую поэзiю небывалыя красоты въ изображенiи народной психологiи, природы и быта востока,—въ „Героѣ нашего времени“ побудилъ дать образецъ русскаго

---

[1]) Отдаляя Печорина отъ „самоувѣренныхъ, гордыхъ героевъ Байрона“, г. Родзевичъ въ своемъ очеркѣ „Предшественники Печорина во французской литературѣ“, Кiевъ, 1911, сближаетъ его съ шатобрiановскимъ Рене и съ Адольфомъ Бенжам. Констана.

[2]) У обоихъ предисловiй къ лермонтовскому роману, полныхъ иронiи надъ читателемъ, готовымъ допытываться, въ какой степени все изображаемое дѣйствительно пережито и заслуживаетъ ли оно сочувствiя или порицанiя, много сходства съ разновременными отступленiями Байрона въ „Чайльдъ-Гарольдѣ“, затрогивающими ту же тему.

общественно-психологическаго романа (прямая генеалогическая связь тургеневскаго направленія, „Рудина", „Дворянскаго Гнѣзда", „Наканунѣ", и герценовскаго „Кто виноватъ", идетъ, конечно, не отъ повѣстей Бѣлкина, а отъ „Онѣгина" и „Героя нашего времени", богатаго и бытовою живописью, и плѣнительной поэзіею природы [1]), и реальной правдой характеристикъ, и глубиною печальной мысли), а въ лирической поэзіи открылъ такой просторъ недовольству, презрѣнію и грезамъ о свѣтѣ, волѣ, счастьѣ, жгучей печали, звукамъ „земли и неба", юмору, паѳосу, что байроновскую школу слѣдуетъ признать въ его литературномъ развитіи высоко полезною [2]). „Безъ Байрона,—говоритъ Спасовичъ,—изъ Лермонтова вышелъ бы, можетъ быть, крупный поэтъ, не очень высокаго полета, съ узкимъ національнымъ направленіемъ. Байроновская поэзія, встрѣтивъ его на порогѣ сознательной жизни, придала *широту полета* и борьбѣ за права личности, и общему предназначенію поэзіи". Сквозь байронизмъ, понятый въ его настоящемъ смыслѣ, у Лермонтова могли легко пробиться черты опредѣленныхъ народныхъ симпатій, и задача всякой истинной поэзіи по отношенію къ родинѣ должна была установиться у него свѣтло и ясно.

Такимъ переходомъ на новую дорогу отмѣченъ краткій предсмертный періодъ творчества Лермонтова. Сознавая давно необходимость этого перехода, онъ въ это время съ нравственно бо́льшимъ основаніемъ, чѣмъ въ молодые годы, понималъ, что онъ „не Байронъ, а другой, еще невѣдомый избранникъ,—какъ онъ, гонимый міромъ странникъ, но только съ *русскою* душой;" не разъ пытался онъ отдаться этому стремленію къ самостоятельности, теперь же у него сложился взглядъ на призваніе поэзіи, въ значительной степени превосходившій точку зрѣнія Пушкина. Нѣтъ болѣе разлада между поэтомъ и чернью, и его голосъ, какъ вѣчевой колоколъ, долженъ раздаваться въ дни скорбей и радостей народныхъ. Это общественное призваніе поэта—тяжелый подвигъ; чтобъ не сгибать головы передъ сильными міра, онъ удаляется въ пустыню, а появляясь снова среди людей съ прежнимъ обличеніемъ, терпитъ всевозможныя оскорбленія. Борьба за идеалъ смѣняетъ у Лермонтова прежнее состояніе тревоги и разочарованія; влеченіе къ русской природѣ, деревнѣ, народу, прошлому родной страны, протестъ противъ общественной дряблости и застоя, активная любовь къ родинѣ, осужденіе враговъ ея развитія и прогресса,—вотъ что входитъ отнынѣ въ credo поэта, вотъ что изумило Бѣлинскаго въ разговорѣ и взглядахъ его, когда онъ встрѣтился съ нимъ въ послѣдній разъ въ Петербургѣ. Лермонтовъ въ эту пору быстро перерождался,—но и въ этомъ перерожденіи руководителемъ могъ быть завѣтный его любимецъ—Байронъ. Не его ли голосъ звучалъ немолчно среди консервативныхъ оргій всей Европы, какъ вѣчевой набатный коло-

1) О значеніи этой стороны въ творчествѣ Лермонтова—Саводникъ, „Чувство природы у Пушкина, Лермонтова и Тютчева", М., 1911.

2) М. Н. Розановъ въ своемъ этюдѣ о „Байроническихъ мотивахъ въ творчествѣ Лермонтова" (Вѣнокъ М. Ю. Лермонтову, 1914) раскрываетъ въ поэзіи и мысли его, помимо непосредственнаго вліянія англійскаго поэта, косвенное дѣйствіе идей Руссо, чьимъ вѣрнымъ ученикомъ навсегда остался Байронъ.

колъ, и не онъ ли тотъ пророкъ, который не склонилъ головы передъ всесильными „лондонскими лавочниками", всю жизнь блуждалъ вдали отъ Англіи и терпѣлъ оскорбленія отъ народа своего, не смолкая никогда въ своей проповѣди освобожденія?

Когда студентъ Лермонтовъ въ стихотвореніи „Жалоба турка" и подъ прозрачнымъ псевдонимомъ Турціи громилъ николаевскую Русь, страну, „гдѣ стонетъ человѣкъ отъ рабства и цѣпей", когда онъ привѣтствовалъ своими стихами начало польскаго возстанія, новгородскій мятежъ 1830 года или іюльскую революцію и въ обличающемъ стихотвореніи ставилъ королю Карлу X въ вину, что онъ „полагалъ народъ унизить подъ ярмомъ", но „французовъ не узналъ", и грозно возглашалъ: „есть судъ земной и для царей",—когда въ „Предсказаніи" ему грезился „Россіи черный годъ" полный ужасающихъ потрясеній, которыя снесутъ старый порядокъ,—слишкомъ ясно, подъ чьимъ вліяніемъ развивалась у юноши-поэта эта общественно-политическая струя [1]). Подобные завѣты Байрона никогда не изгладились у Лермонтова; вразрѣзъ съ ними могли бы пойти немногія, внушенныя окружавшимъ шовинизмомъ стихотворенія, отрицательно отнесшіяся къ европейскимъ движеніямъ (въ родѣ „Послѣдняго новоселья" [2]) или приданнаго поэтомъ къ байроновскому „Умирающему Гладіатору" послѣсловія съ неожиданною историческою параллелью и несостоятельными разсужденіями объ утомленной и разбитой на смерть западной цивилизаціи, объ „европейскомъ мірѣ, когда-то пламенныхъ мечтателей кумирѣ, который къ могилѣ клонится безславною главой, измученный въ борьбѣ сомнѣній и страстей"),—но въ послѣдній періодъ въ особенности сильно поднялась въ немъ традиція общественной дѣятельности поэта. Перерожденіе это было замѣчено и оцѣнено наиболѣе убѣжденными приверженцами Лермонтова, кружкомъ „Отечественныхъ Записокъ", энергически поддержано Бѣлинскимъ. Но не придавали ли уже тогда этимъ людямъ, привѣтствовавшимъ стремленіе поэта быть *русскимъ*, прозвище *западниковъ*?

Вынесенный изъ житейскаго омута своею богатой натурой, воспитанный западной поэзіею въ отстаиваніи своей личности, но томимый пустой, холодной и жестокою средой, Лермонтовъ, это феноменальное явленіе, пронесшееся въ нашемъ „безвременьѣ" страннымъ и обаятельнымъ видѣніемъ, готовился не только самостоятельно выступить въ родной литературѣ, но пойти во главѣ ея. Смерть прервала его новыя рѣчи на полусловѣ; изучая его дѣятельность, мы можемъ только догадываться, что *могла* дать со временемъ сила его таланта. Передъ нами только блестящее начало, великолѣпный входъ въ святилище, которое навѣки оста-

[1]) Висковатовъ объяснялъ тогдашнее настроеніе Лермонтова вліяніемъ семьи Столыпиныхъ, у которыхъ онъ часто жилъ. Самъ Столыпинъ былъ прежде близокъ къ Рылѣеву и Пестелю. „Мих. Юр. Лермонтовъ" М. 1891, 119.

[2]) Среди молодежи, современной поэту, многихъ непріятно, какъ фальшивый, дисгармоническій звукъ, поразило это стихотвореніе. Въ видѣ протеста написанъ былъ стихотворный же отвѣтъ Н. Сатинымъ, другомъ Огарева и Герцена; онъ впервые напечатанъ въ сборникѣ „Починъ" на 1895 г. (отрывки изъ Воспоминаній Сатина, сообщ. Е. С. Некрасовой).

лось замкнутымъ,—и по всему этому порталу гирляндами вьются цвѣты чужеземной поэзіи...

Съ рѣдкой дальновидностью Бѣлинскій, при появленіи первыхъ же гоголевскихъ повѣстей, высказалъ убѣжденіе, что отнынѣ вѣкъ лирической поэзіи миновалъ и что его должно смѣнить господство повѣствованія, романа. Послѣднія пѣсни Лермонтова совпали съ колоссальнымъ успѣхомъ гоголевской сатиры. Русская жизнь, вторгавшаяся уже въ лирику, развернулась тутъ въ необъятную бытовую картину и потребовала себѣ права гражданства въ литературѣ. Какъ ни подготовлена была почва комедіей и повѣстью былыхъ временъ, чудилось, будто цѣлый міръ открывался теперь впервые, вереницы вновь подмѣченныхъ характеровъ и отношеній выставлены были на показъ передъ изумленнымъ читателемъ, освѣщенныя невѣдомымъ ему юморомъ, загадочнымъ смѣхомъ сквозь слезы. И увѣровали всѣ въ живучесть народившейся русской литературы, и Бѣлинскій бралъ назадъ скептическое отрицаніе самаго существованія ея.

Но и этотъ несомнѣнный фактъ не помѣшаетъ приложить къ такому, казалось бы, коренному русскому писателю обычный анализъ. Какъ ни странно звучитъ это по отношенію къ человѣку, чья непріязненность къ западу, особенно въ послѣдніе годы жизни, могла бы войти въ поговорку,—слѣдуетъ опредѣлить и у Гоголя степень его *западничества*. Искреннимъ, глубокимъ знатокомъ европейской мысли онъ не могъ быть уже вслѣдствіе крайне скуднаго своего образованія, которое впослѣдствіи чрезвычайно туго пополнялось. Иностранные языки, кромѣ итальянскаго, плохо давались; особой охоты изучать жизнь тѣхъ народовъ, среди которыхъ приходилось проводить чуть не десятки лѣтъ, не было [1]),—и не имѣя возможности читать иностранныя произведенія ни въ подлинникѣ, ни въ русскихъ переводахъ (число ихъ въ ту пору было крайне незначительно), не сойдясь за время заграничнаго житья ни съ однимъ европейскимъ писателемъ, не подойдя ближе ни къ одному литературному или общественному движенію,—Гоголь усвоилъ себѣ привычку къ огульнымъ, валовымъ осужденіямъ цѣлыхъ областей западной культуры, къ дешево-остроумнымъ выходкамъ насчетъ тяжеловѣсности нѣмецкаго ума, французской вѣтренности, птичьей внѣшности англичанъ и т. д., словомъ, къ тѣмъ жалкимъ общимъ мѣстамъ, которыя такъ больно видѣть въ его перепискѣ. Но это настроеніе окончательно сложилось лишь въ позднѣйшіе годы, подъ вліяніемъ одностороннихъ друзей и совѣтчиковъ,—и необходимо отличить отъ него взгляды Гоголя въ наиболѣе свѣжую пору его творчества. Въ Нѣжинѣ онъ, по собственному признанію [2]) лишалъ себя всего необходимаго, чтобъ, скопивъ деньги, выписать изъ Львова собраніе сочиненій Шиллера; онъ „награжденъ съ излишкомъ“ за претерпѣнныя лишенія и „нѣсколько часовъ въ день проводитъ съ величайшею пріятностью“. Позже (въ 1838 г., въ письмѣ къ его ученицѣ, г-жѣ

---

[1]) Воспоминанія Анненкова о Гоголѣ. „Воспомин. и критич. очерки“, кн. I.
[2]) Письмо отъ 6 апрѣля 1827. Письма Гоголя, изд. подъ ред. В. Шенрока, I, 69.

Балабиной) онъ признается, что, увидавъ настоящую Германію, съ грустью принужденъ былъ разстаться съ прежними грезами о ней („та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи" и т. д.) [1]). Поэтическое дѣтище его молодости, съ которымъ онъ понесся въ Петербургъ, ожидая, что оно создастъ ему блестящую будущность, и вложивъ въ него много пережитого и автобіографическаго, его несчастный *Гансъ Кюхельгартенъ*, возникло не безъ вліянія поэмы Фосса *Луиза*, которую онъ узналъ въ русскомъ переводѣ; на „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала" вліяла повѣсть Людвига Тика „Liebeszauber", и этотъ разсказъ отмѣтилъ собой начало „романтическаго періода" въ дѣятельности Гоголя, который охватываетъ собой всѣ раннія украинскія его повѣсти и первую редакцію „Тараса Бульбы" съ ихъ мечтательной любовью къ родному, розовымъ освѣщеніемъ деревенской идилліи, идеализаціею героической старины, казацкой свободы, тоскою о минувшемъ, исчезнувшемъ величіи,—но, когда приходилось изображать старину родного края, снова обращался онъ къ иностраннымъ источникамъ, и описанія запорожскаго быта основывались столько же на малорусскихъ пѣсняхъ, которыя онъ прекрасно зналъ и рано началъ записывать [2]), сколько на такихъ пособіяхъ, какъ „Описаніе Украйны" француза Боплана или „Histoire des Cosaques-Saporogues etc. traduite d'après les manuscrits conservés à Kiow, 1778" Шерера [3]).

Связи съ чужеземной литературой не помѣшали, однако, Гоголю, даже въ кружкѣ Пушкина, высказывать сначала небрежные, чуть не презрительные взгляды на нѣкоторыхъ ея корифеевъ. Зная противоположныя убѣжденія Пушкина, легко представить себѣ, какъ встрѣчены были имъ эти самодовольныя выходки. Пушкинъ пристыдилъ своего молодого друга полнымъ незнакомствомъ съ французской литературой, указалъ Гоголю на высокій идеалъ комика въ лицѣ Мольера, заставилъ изучать его произведенія и внушилъ любовь къ нему. Побуждая Гоголя перейти отъ мелкихъ сатирическихъ вещицъ къ широкому изображенію жизни, онъ указалъ ему на Сервантеса, который никогда не выказалъ бы всей своей талантливости, еслибъ ограничился бытовыми набросками въ новеллахъ и интермедіяхъ, и не перешелъ къ своему великому роману. Списокъ писателей и произведеній, указанныхъ поэтомъ Гоголю, все разрастался. Новичку, случайно избравшему поприще романиста, какъ одно изъ средствъ выйти изъ бѣдственнаго положенія (послѣ неудачныхъ попытокъ обезпечить себѣ заработокъ трудомъ чиновника, актера, даже рисовальщика), поэтъ постоянно разъяснялъ высокое общественное призваніе сатирика-обличителя и указывалъ на выдающіеся примѣры такого служенія въ жизни западныхъ народовъ.

Горе, искренно звучащее въ заграничныхъ письмахъ Гоголя послѣ смерти Пушкина, потому такъ неподдѣльно и глубоко, что пишущій не

---

[1]) Письма, стр. 543.

[2]) Сборникъ его изданъ Отдѣлен. Руск. Яз. и Словес. Академіи Наукъ въ 1908 г. („Памяти Жуковскаго и Гоголя", выпускъ II.)

[3]) Ср. комментаріи Н. С. Тихонравова къ „Бульбѣ". Соч. Гоголя, изд. X, т. I, 572—4.

могъ не чувствовать, что своимъ возрожденіемъ онъ былъ всецѣло обязанъ вліянію высокоталантливаго человѣка, который изъ него, учившагося на мѣдныя деньги литератора-дилеттанта, не умѣвшаго даже разобраться въ своихъ богатствахъ, безпечно и нестройно расточавшаго ихъ, сдѣлалъ первенствующаго художника и народнаго наставника.

Слѣды этого вліянія вскорѣ сказались. Первоначальный замыселъ „Мертвыхъ Душъ“ опирается на примѣръ „Донъ-Кихота“, фабула котораго искусно и съ грустной ироніей пародирована Гоголемъ, такъ что на смѣну вѣчной погони за идеалами рыцарства и добродѣтели выступило такое же, вѣчно подвижное, исканіе наживы, обмана и эксплоатаціи. Когда же со временемъ широко, необъятно раскинулся планъ гоголевскаго романа, когда въ основу его легла гуманная мысль о нравственномъ просвѣтлѣніи и спасеніи, и Гоголя привлекла мистическая цѣль показать переходъ отъ тьмы грѣховной и порочной къ раздумью, колебанію, наконецъ, къ полному душевному очищенію (возможному, казалось ему, не только для Чичикова и ему подобныхъ хищниковъ, но и для умершаго заживо Плюшкина) [1]), другое міровое произведеніе своей таинственно стройной архитектурой повліяло на него,—Божественная Комедія Данта; три тома гоголевскаго романа превратились въ замыслѣ автора въ русскіе Адъ, Чистилище и Рай [2]), и хожденіе по мукамъ русской жизни должно было закончиться свѣтлой и неосуществимой грезой о побѣдѣ добра и любви, воплощенныхъ въ рядѣ идеальныхъ русскихъ подвижниковъ.

Въ часто встрѣчающейся у Гоголя разработкѣ вопроса о цѣляхъ сатиры видны также слѣды возбужденныхъ Пушкинымъ размышленій; въ „Театральномъ разъѣздѣ“, оригинальной попыткѣ сосчитаться со всѣми толками, поднявшимися въ обществѣ изъ-за „Ревизора“, и заявить свою писательскую profession de foi, образцомъ какъ будто послужило такое же произведеніе Мольера, *Критика на Школу женъ*, которымъ великій французскій комикъ отвѣчалъ на придирчивое осужденіе его „Ecole des femmes“ и выставилъ новую эстетическую теорію, поразившую своей свободой [3]). Вліяніе Мольера идетъ еще далѣе; въ одной изъ важнѣйшихъ сценъ великой комедіи (сценѣ лганья Хлестакова) слышатся отголоски хвастовства Маскариля въ „Жеманницахъ“ [4]), въ чтеніи письма,

---

[1]) „Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время“ (Выбранн. мѣста изъ переписки съ друзьями, второе письмо къ Языкову).

[2]) Подробнѣе объ этомъ—въ моей кн. „Этюды и характеристики“, II, стр. 207—247.

[3]) „Театральный разъѣздъ“ гораздо обширнѣе и развитѣе полемической пьесы Мольера, и вмѣсто пяти-шести лицъ даетъ пеструю картину всего общества, но общій пріемъ одинаковъ въ обѣихъ пьесахъ. Мимоходомъ замѣтимъ, что любимое Гоголемъ уподобленіе сатиры зеркалу, гдѣ видитъ себя общество и не хочетъ себя узнать (начиная съ искусно подобраннаго эпиграфа къ „Ревизору“, оно встрѣчается довольно часто), можно бы поставить въ параллель съ выраженіемъ Мольера въ названной пьесѣ: „ce sont miroires publics où il ne faut jamais témoigner qu'on se voie“.

[4]) Хвастовство сочинительствомъ (двѣсти сонетовъ, 400 эпиграммъ, болѣе 1000 мадригаловъ), увѣренія, будто онъ и не хотѣлъ писать, да книгопродавцы пристаютъ,—будто, когда онъ просыпается, уже его ждетъ съ полдюжины beaux esprits, потому что *всѣ* счи-

какъ замѣтилъ давно Мериме,—такой же сцены въ „Мизантропѣ“,—тогда какъ въ разработкѣ характера лжеца, конечно, передъ Гоголемъ прошелъ богатый матеріалъ, данный Корнелемъ въ его комедіи „Le Menteur“ съ неистощимымъ, виртуознымъ творчествомъ его Доранта, превышающаго Хлестакова сметливостью, но равнаго ему въ поэзіи лганья. Сравненіе первоначальной редакціи „Ревизора“ съ позднѣйшимъ текстомъ, въ которомъ нестройность богатаго комическаго матеріала уступила мѣсто художественной цѣльности и единству мысли,—живое и наглядное доказательство перевоспитанія Гоголя въ школѣ общечеловѣческаго развитія. Наконецъ, вліяніе романовъ Вальтеръ-Скотта помогло Гоголю выполнить въ *Тарасѣ Бульбѣ* завѣтную мысль объ эпическомъ изображеніи Запорожья, къ которому въ послѣдній періодъ своего писательства онъ снова вернулся въ планѣ „пьесы изъ малорусской исторіи“. Вообще Гоголь проникся тогда уваженіемъ къ лучшимъ представителямъ западной литературы, и открыто высказывалъ его печатно. Въ „Петербургскихъ замѣткахъ“, которыя онъ помѣстилъ въ „Современникѣ“ 1837 года, онъ называетъ нѣмцевъ „народомъ основательнымъ“, склоннымъ къ глубокому эстетическому наслажденію“; во всеобщемъ увлеченіи Байрономъ видитъ „даже что-то утѣшительное“ и отваживается на слѣдующее патетическое обращеніе: „О Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой полнотѣ развивалъ свои характеры, такъ глубоко слѣдилъ всѣ тѣни ихъ, ты, строгій осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шиллеръ, въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ высказавшій достоинство человѣка! взгляните, что дѣлается послѣ васъ на нашей сценѣ!“ и т. д. Онъ удѣляетъ часть своихъ восторговъ даже Гофману, и вслѣдъ за Пушкинымъ слѣдуетъ его пріемамъ въ *Портретѣ* [1]) и *Запискахъ Сумасшедшаго*, гдѣ переписка собачекъ, морализующихъ насчетъ людей, совсѣмъ въ духѣ „Кота Мура“ [2]). Въ періодъ своей неудачной профессуры онъ всѣми занятіями и разысканіями своими приведенъ былъ къ изученію европейскаго прошлаго; хотя на его работахъ и статьяхъ по всеобщей исторіи лежалъ лишь отпечатокъ художественной виртуозности, а мѣстами (какъ это ни странно) въ научное изложеніе какъ будто вторгались даже отголоски наиболѣе близкаго автору комическаго стиля [3])—все же ему пришлось тогда обновить и умножить свои свѣдѣнія о жизни средневѣковой и новой Европы. Подъ стать его

таютъ необходимымъ являться къ нему; Madelon и Cathos млѣютъ передъ его литературной славой, и Madelon восклицаетъ въ одно слово съ Анной Андреевной: je m'imagine que le plaisir est grand de se voir imprimé.

[1]) Проф. Шляпкинъ отмѣчаетъ также вліяніе на этотъ разсказъ извѣстнаго въ свое время англійскаго романа „Melmoth“ Матюрена. Литературный Вѣстникъ, 1902, I.

[2]) Быть можетъ, тутъ есть отголоски и остроумной новеллы Сервантеса „Разговоръ собакъ“, Берганца и Сипіона.

[3]) Агаѳья Тихоновна: „Если бы губы Никанора Ивановича да приставить къ носу Ивана Кузьмича“ и т. д.—Статья „Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ“: „Если бы глубокость результатовъ Гердера... соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательно расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который могъ бы написать всеобщую исторію“.

романтическому настроенію, средніе вѣка на западѣ были тогда его любимой эпохой; недописанная трагедія изъ англійской исторіи „Альфредъ", составленная по авторитетной въ свое время книгѣ Hallam'a, напоминаетъ объ этомъ живомъ интересѣ.

Жизнь за границей [1]) развила затѣмъ, хоть и не въ особенно значительныхъ размѣрахъ, его знакомство съ европейскими литературами. Въ Швейцаріи (1837-8) онъ усиленно перечитывалъ Шекспира, Мольера и Скотта,—и, точно ему нужна была именно эта прелюдія къ работѣ, снова принялся за „Мертвыя Души". Въ первый пріѣздъ въ Парижъ ему неожиданно пришлось быть свидѣтелемъ традиціоннаго чествованія Мольера въ „Comédie Française", вѣнчанія бюста, единодушныхъ кликовъ,—и онъ былъ пораженъ. Задушевное описаніе (въ перепискѣ и въ яркой картинѣ, заканчивающей собой „Театральный разъѣздъ") торжества писателя, живущаго въ памяти безчисленныхъ поколѣній, говоритъ о томъ, какъ этотъ урокъ подѣйствовалъ на Гоголя. Статья о Мериме [2]), написанная послѣ появленія „Ames du purgatoire", проникнута уваженіемъ къ „безспорно замѣчательному писателю 19-го вѣка французской литературы", полному таланта, правды, наблюдательности, смѣлаго остроумія. Ѳ. И. Буслаевъ увидалъ Гоголя въ 1840 году въ Cafe Greco въ Римѣ, въ сторонѣ отъ веселой кучки художниковъ, углубившимся въ чтеніе книги, „какъ будто окаменѣвшимъ въ невозмутимой сосредоточенности". Это было „что-то изъ Диккенса, которымъ, по словамъ Панова, въ то время былъ онъ заинтересованъ" [3]). Имя великаго романиста и позже (1847), соединяясь съ именемъ Байрона, было въ глазахъ Гоголя однимъ изъ главныхъ украшеній англійской литературы 19-го вѣка [4]). Онъ оцѣнилъ, вмѣстѣ съ новымъ поколѣніемъ, и сильный талантъ Жоржъ-Зандъ [5]), прочелъ многихъ итальянцевъ [6]) и поклонялся Данту.

---

[1]) Первыя пять лѣтъ заграничнаго житья Гоголя подробно описаны въ III томѣ „Матеріаловъ для біогр. Гоголя" В. И. Шенрока, 1895.

[2]) Сочин. Гоголя, десят. изд., VI (ред. Шенрока), 398-99.

[3]) „Мои воспоминанія", Вѣстн. Европы, 1891, VII, 212.

[4]) Письма Гоголя, изд. Шенрока, IV, 87, письмо изъ Остенде,—„земля, которая, несмотря на дикія крайности, вырабатываетъ однакожъ безостановочно Байроновъ и Диккенсовъ" и т. д.

[5]) Въ „Авторской Исповѣди", называя ее „извѣстною французской писательницей, болѣе всѣхъ другихъ надѣленной талантами", онъ считаетъ, что она „въ немного лѣтъ произвела сильнѣйшее измѣненіе въ нравахъ, чѣмъ всѣ писатели, заботившіеся о развращеніи людей"; „она, можетъ быть, и въ помышленіи не имѣла проповѣдывать развратъ, а обнаружила только временное заблужденіе свое, отъ котораго потомъ, можетъ быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состоянія душевнаго"...

[6]) Продолжительное пребываніе въ Италіи и страстная привязанность къ Риму не сдѣлали, однако, Гоголя знатокомъ итальянской литературы. Нигдѣ нѣтъ слѣдовъ изученія выдающихся, современныхъ ему, дѣятелей ея,—Манцони, Леопарди, Джусти. Лишь однажды мелькнуло въ письмахъ чтеніе трагедій Никколини. Гоголя чрезвычайно заинтересовалъ зато забытый теперь, Белли, но видимо потому, что это былъ римскій мѣстный поэтъ, писавшій свои сонеты (до двухъ тысячъ стихотвореній) на народномъ нарѣчіи, отражая въ нихъ, „полныхъ соли и остроты, жизнь нынѣшнихъ транстеверянъ", и обличая въ нихъ уродства папскаго режима, особенно при папѣ Григоріи XVI. Гоголь съ увлеченіемъ

Но его обстановка измѣнилась. Не было уже болѣе около него Пушкина, чей предостерегающій голосъ могъ бы всегда остановить его передъ ложнымъ шагомъ; на его рукахъ умеръ даровитый и тонко развитой Іосифъ Вьельгорскій, способный культурно повліять на него. Пришло время, когда ближайшими друзьями его за границей стали Языковъ, находившійся тогда въ пароксизмѣ презрѣнія ко всему европейскому, Жуковскій, постепенно охватываемый мистицизмомъ, мыслитель-аскетъ Ивановъ, московскіе знакомые непримиримаго славянофильскаго оттѣнка, кающаяся Смирнова, піэтистъ гр. Александръ Толстой; поодаль виднѣлись невѣжественный, неспособный даже понять величіе литературнаго призванія, отецъ Матвѣй и старцы Оптиной пустыни. „Переписка съ друзьями", казалось, отмѣтила собой рѣшительный поворотъ вдаль отъ европейскихъ умственныхъ движеній,—но среди болѣзненнаго лиризма и примирительныхъ разсужденій о русской современности встрѣчаются такія блестящія исключенія, какъ замѣчательное письмо къ гр. А. П. Толстому въ защиту театра, одно изъ украшеній въ многовѣковой полемикѣ театра съ церковью. Снова выступаютъ въ ореолѣ славы *великіе* писатели запада; „Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, Бомарше, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе другіе изъ второстепенныхъ писателей прошлаго вѣка", и нравственное вліяніе ихъ на массу взято подъ защиту; для достиженія высшей, учительной цѣли театра *„нужно ввести на сцену во всемъ блескѣ всѣ совершеннѣйшія драматическія произведенія всѣхъ вѣковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще"*. Хотя Гоголь уже боялся быть причтеннымъ къ числу приверженцевъ новизны и увлеченія модными теоріями, онъ видимо волновался при мысли, какъ бы его не причислили къ лику старовѣровъ. Онъ отрицаетъ, чтобъ была въ немъ „та набожность, которою дышитъ наша добрая Москва, *не думая о томъ, чтобы быть лучшею"*. Пусть не воображаютъ, что питаетъ онъ „слѣпую вѣру во всѣ безъ различія обычаи предковъ, не разбирая, на лжи, или на правдѣ они основаны" [1]). Сопоставляя, во главѣ „Споры", „европистовъ и славянистовъ", онъ признаетъ, что, „разумѣется, правды больше" на сторонѣ послѣднихъ, но что и „на сторонѣ европистовъ тоже есть правда". „Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны, изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку". Наконецъ, въ главѣ „Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность" возвеличенъ Петровскій переворотъ; „европейское просвѣщеніе было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка"...

Только въ пылу раздраженія онъ могъ въ томъ же году, отвѣчая на письмо Бѣлинскаго по поводу „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ

слушалъ мастерское чтеніе самимъ поэтомъ его сонетовъ; въ бесѣдахъ своихъ съ Сентъ-Бёвомъ, во время переѣзда изъ Рима въ Марсель (французскій критикъ вспомнилъ о нихъ въ одномъ изъ своихъ „Premiers lundis", томъ III) Гоголь много и горячо говорилъ о Белли, находя его „истиннымъ, оригинальнымъ, крупнымъ поэтомъ".

[1]) Письмо къ С. Т. Аксакову, 1842. Письма Гоголя, изд. Шенрока, II, 206.

друзьями", утверждать, что онъ видитъ въ европейской цивилизаціи лишь „разрушающія, уничтожающія начала", и пришелъ къ убѣжденію, что „пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи"... И чѣмъ болѣе усвоивалось въ немъ затѣмъ это постоянное опасеніе, чѣмъ одностороннѣе становилась его умственная пища за эти годы, тѣмъ рѣзче дѣлался тонъ его отзывовъ. Еще разъ повторился въ исторіи русской сатиры тотъ поразительный фактъ, что радикальнѣйшій обличитель на склонѣ дѣятельности можетъ (повторимъ выраженіе кн. Вяземскаго о Фонвизинѣ) проповѣдывать выгоду невѣжества. Въ данномъ случаѣ разница въ томъ, что у Фонвизина презрѣніе вызывалось жаждой насмѣшки надъ чѣмъ бы то ни было, у Гоголя же, въ послѣдніе годы громившаго западъ съ набожно-консервативной точки зрѣнія, нелюбовь къ нему сначала даже окрашивалась особымъ художественнымъ колоритомъ, — и, странное дѣло, она поддержана была и развита одною изъ сторонъ того же неотвязнаго запада.

Точно врожденная страсть къ Италіи [1]) привела его въ Римъ, который мало-по-малу сдѣлался для него обѣтованной землей; онъ полюбилъ его на всю жизнь. Но какой именно Римъ привлекалъ его къ себѣ? Не пробуждающійся отъ долгаго порабощенія, но заснувшій, со всѣми старыми его учрежденіями, которыя вскормило папство. Ему нравились не только чудное наслѣдіе цѣлыхъ тысячелѣтій творчества, обломки великаго прошлаго, созданія художественнаго генія безчисленныхъ минувшихъ поколѣній, но и все то, что свѣжему человѣку должно было казаться слишкомъ архаическимъ: папскій церемоніалъ, безконечныя процессіи по улицамъ, и самыя улицы, узкія, грязныя, и полуграмотное населеніе, и дикое воспитаніе римскаго дворянства, и дѣтскія наслажденія римскихъ жителей, и карнавалъ, на время оживлявшій погруженныхъ въ спячку римлянъ. Все это было картинно, заслуживало описанія, но слишкомъ шло въ разрѣзъ съ духомъ новаго времени. Гоголь любилъ Римъ, какъ онъ есть, и съ этой стороны долгое житье въ немъ и завязавшіяся въ Римѣ близкія связи съ другимъ такимъ же отшельникомъ Ивановымъ были для него неблагопріятны въ нравственномъ отношеніи. Онъ поддался даже вліянію католической набожности; хорошо знакомый со старой и современной богословской литературой французовъ, онъ въ римскомъ салонѣ княгини Зинаиды Волконской сошелся съ пропагандистами католицизма, итальянцами и поляками (представителями ордена Воскресенія Христова) и могъ даже внушить послѣднимъ надежду обратить его въ свою вѣру [2]). Застой мало-по-малу затягивалъ его; онъ привыкаетъ

[1]) Его стихотвореніе „Италія", гдѣ онъ съ энтузіазмомъ воспѣваетъ эту страну, написано еще въ ту пору, когда онъ не видалъ ея вовсе (1829) и потому изображалъ собственныя грезы о ней.

[2]) Smolikowsky. Historya zgromadzenia zmartwychwstania Pańskiego. Kraków. 1892 (приведены относящаяся къ сношеніямъ съ Гоголемъ переписка отцовъ Семененка и Кайсевича, польскій сонетъ въ честь Гоголя и т. д.). Близость къ Смирновой отражалась одно время на совмѣстномъ изученіи ими французской богословской литературы, отъ временъ Боссюэта до представителей новѣйшаго католицизма.

брезгливо относиться къ вліяніямъ новѣйшей цивилизаціи, насколько имъ удавалось проникнуть сквозь папскія заставы, вводитъ свои размышленія и оцѣнки этого рода въ повѣсть „Римъ". Для него, какъ и для героя этого разсказа, римскаго князя, Парижъ, казавшійся прежде „самымъ сердцемъ Европы, гдѣ, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что членъ великаго всемірнаго общества", утратилъ всякую прелесть и значеніе, и сонъ Рима казался несравненно привлекательнѣе; только блистательно - одаренная его натура брала порою верхъ надъ этимъ складомъ мыслей, среди подобной обстановки порождая художественно правдивыя сцены „Мертвыхъ Душъ", создававшіяся иногда въ итальянскихъ захолустьяхъ (напр., въ остеріи на пути въ Альбано) среди совершенно чуждой имъ народной жизни.

Итакъ, даже въ процессѣ развитія его тревожнаго консерватизма играетъ немалую роль вліяніе одного изъ западныхъ общественныхъ теченій, впослѣдствіи удесятеренное русскими условіями, — Гоголь въ извѣстномъ смыслѣ можетъ быть названъ западникомъ [1]). Но, кромѣ болѣе или менѣе внѣшняго вида европеизма, который мы попытались раскрыть въ немъ, Гоголю свойственно было въ безконечно обширнѣйшей долѣ внутреннее содержаніе того прогресса, который привитъ былъ русскому уму общеніемъ съ Европой. Пока въ дни меланхолическаго раздумья онъ не подвелъ итоговъ своей дѣятельности и не захотѣлъ подложить въ нее заднимъ числомъ опредѣленную, положительную программу, онъ, повинуясь влеченію своего таланта, служилъ ту службу перевоспитанія общества, которую несли всегда лучшіе изъ нашихъ сатириковъ. Онъ, этотъ коренной русскій писатель, наименѣе заимствовавшій у кого бы то ни было, выдвинутый русскою жизнью и создавшій, ей въ отвѣтъ, самостоятельную русскую литературу, выступилъ съ кореннымъ *отрицаніемъ* этой жизни и ему, главнымъ образомъ, обязанъ своей славой. Ничто не устояло противъ его натиска,—и не только въ бюрократическомъ мірѣ. Категорически отказывается онъ во что бы то ни стало признавать добрыми *всѣ* порядки старины; въ „Театральномъ разъѣздѣ" онъ беретъ подъ свою защиту здравый смыслъ народный и доказываетъ, что народъ видитъ насквозь тѣ низости, которыя надъ нимъ чинятся. Въ страшной картинѣ не достаетъ только послѣдняго штриха, въ этихъ обличеніяхъ не досказано только одно слово: это слово—*реформа, преобразованіе*, которое сдѣлаетъ невозможнымъ міръ Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Ноздревыхъ, Земляникъ, различныхъ гражданскихъ и уголовныхъ палатъ съ ихъ чернильными героями, и полчища Чичиковыхъ, хозяевъ-пріобрѣтателей, со всѣхъ ступеней общественной лѣстницы. Это слово во́-время не договаривается; когда же съ годами усилилась потребность въ положительныхъ заявленіяхъ, фонвизинскій Правдинъ, скроенный на западный ладъ резонера, надѣваетъ мундиръ благонамѣреннаго генералъ-губернатора и произноситъ крыла-

---

[1]) Новѣйшая работа объ европеизмѣ въ гоголевскомъ творчествѣ—Чудаковъ, „Отношеніе творчества Гоголя къ западно-европейскимъ литературамъ", Кіевск. универс. извѣстія, 1908, и отдѣльно, 1909.

тыя рѣчи, ожидая, что отъ нихъ совѣсть начнетъ трепетать у чиновниковъ; онъ „дѣлаетъ кличъ, хотя къ тѣмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово *благородство*"; всевластный диктаторъ, онъ сознаетъ свое безсиліе, и „бросается теперь къ ногамъ ихъ, всѣхъ ихъ проситъ", вызываетъ ихъ ополчиться противъ неправды...

Но если обличеніе не было досказано, и во второмъ томѣ „Мертвыхъ Душъ" авторъ долженъ былъ признать, что всѣ русскіе люди, на какой бы ступени общественной лѣстницы ни стояли, все еще ждутъ великаго, магическаго слова „впередъ!"—если громадный непосредственный талантъ увлекъ Гоголя дальше того, что онъ могъ потомъ сознательно одобрить, это не можетъ заслонить настоящаго смысла его общественнаго служенія. Вѣра въ будущность русской земли, въ народныя силы, скрытыя до времени, но крѣпкія и надежныя,—таковъ единственный компромиссъ его съ русской жизнью, и, не умѣя подробно указать, *какія* новыя формы должны возродить ее, онъ каждою строчкой своихъ лучшихъ произведеній твердитъ читателю, что *такъ* жить нельзя. Онъ, не вполнѣ сознавая этого, являлся надежнымъ союзникомъ всѣхъ, кто только стоялъ за культурный подъемъ русскаго общества, и, стало быть, прежде всего союзникомъ тѣхъ кружковъ, которыхъ любили корить западничествомъ. Оттого между нимъ и этими людьми нашлось такъ много точекъ соприкосновенія, оттого они такъ долго могли его считать своимъ,—и онъ по временамъ какъ будто шелъ къ нимъ на встрѣчу [1]). Въ началѣ своего грозно обличительнаго письма по поводу „Выбранныхъ Мѣстъ", Бѣлинскій съ глубокой грустью вспоминаетъ, что онъ „любилъ Гоголя со всею страстью, съ какою человѣкъ, кровно связанный съ своей страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса". Въ этихъ симпатіяхъ на первомъ планѣ стоятъ соціальныя основы гоголевской сатиры, тогда какъ въ противоположномъ лагерѣ часто цѣнилась, главнымъ образомъ, художественная сторона ея, молодые энтузіасты изъ славянофиловъ возвеличивали небывалый подъемъ эпическаго творчества и ставили „Мертвыя Души" на ряду съ „Одиссеей".

„Ѣду за границу,—писалъ самъ Гоголь послѣ тяжкой неудачи „Ревизора",—чтобы размыкать тоску, которую наносятъ мнѣ современники.

---

[1]) Среди аскетическихъ помысловъ и интересовъ, отличавшихъ настроеніе Гоголя въ 1847 году, встрѣчаемъ слѣдующій отзывъ о Герценѣ (письмо къ Иванову, дек. 14): „Г. я не знаю, но слышалъ, что онъ благородный и умный человѣкъ, хотя говорятъ, черезчуръ вѣритъ въ благодатность нынѣшнихъ европейскихъ прогрессовъ и потому врагъ всякой русской старины и коренныхъ обычаевъ. Напишите мнѣ, какимъ онъ показался вамъ, что онъ дѣлаетъ въ Римѣ, что говоритъ объ искусствахъ, и какого мнѣнія о нынѣшнемъ политическомъ и гражданскомъ состояніи Рима, о чивикахъ и о прочемъ". Письма Гоголя, изд. подъ ред. В. Шенрока, IV, 133. Тотъ же тонъ отзыва въ письмѣ къ Анненкову изъ Остенде, 1847: „о немъ люди всѣхъ партій отзываются, какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ,—это лучшая репутація въ нынѣшнее время", пишетъ онъ, выражая желаніе „непремѣнно познакомиться съ нимъ въ Москвѣ". Въ томъ же письмѣ находимъ не менѣе сочувственный отзывъ о Тургеневѣ. „Сколько могу судить по тому, что прочелъ, талантъ *замѣчательный* и обѣщаетъ большую дѣятельность въ будущемъ".

Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ, долженъ быть подальше отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ своемъ отечествѣ". Все направляло его къ тому, чтобъ во время долгаго житья на западѣ среди европейскаго умственнаго движенія обдумать и выполнить, въ связи съ нимъ, свои обязанности относительно русскаго общества; онъ не совладалъ съ выпавшею ему на долю задачей—быть посредникомъ между племенами и ихъ культурой; онъ оставался въ Европѣ только туристомъ, сначала внимательнымъ, потомъ тоскующимъ и недовольнымъ. Чернышевскій находилъ, что Гоголю удалось уничтожить въ русской жизни *маниловщину*, т.-е. прежде всего національное самообольщеніе; если считать за исключенія тѣ мысли и оцѣнки, которыя въ послѣдній періодъ проскальзывали у него самого въ этомъ духѣ [1]), заслуга была немалая. Но тамъ, гдѣ національное соприкасается съ общечеловѣческимъ, онъ былъ безсиленъ и не поднялся надъ общимъ сочувствіемъ къ свѣту и добру. Къ концу жизни онъ все мучительнѣе сознавалъ оскудѣніе своего знанія родной страны и ея нуждъ. Когда послѣ „Выбранныхъ мѣстъ" ему поставили въ великую вину, что онъ отстранился отъ современности, когда Бѣлинскій укорилъ его въ томъ, что онъ „не замѣтилъ, что Россія видитъ свое спасеніе не въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности", онъ объяснилъ это временнымъ застоемъ, необходимымъ для внутренней работы; пройдетъ искусъ, и онъ снова вернется къ дѣлу,—и съ лихорадочной, запоздалой поспѣшностью сталъ снова учиться у жизни, изучать, наблюдать ее, несмотря на свое иноческое смиреніе. Смерть прервала безнадежные сборы къ возрожденію...

Не испытавъ болѣзненныхъ колебаній, приливовъ и отливовъ дѣятельно культурной работы, относилась къ европейской мысли и творчеству, какъ великому источнику силы, та молодежь, среди которой онъ встрѣтилъ наибольшую поддержку съ тѣхъ поръ, какъ отчетливо обозначилось его писательское направленіе. Изъ рядовъ этой молодежи выступили тѣ его послѣдователи, которые образовали собой *натуральную школу* въ романѣ и комедіи, начали собой „гоголевскій періодъ", какъ впослѣдствіи обозначило ихъ совокупную дѣятельность первое серьезное историко-литературное изслѣдованіе о вліяніи Гоголя на современную словесность. Но въ средѣ этой же молодежи возникли и вскорѣ рѣзко обозначились тѣ два лагеря европейцевъ и славянъ, на распутіи которыхъ судьба поставила Гоголя. Зарожденіе этихъ лагерей необходимо внимательно изслѣдовать.

Возбужденный еще въ началѣ столѣтія интересъ къ новѣйшимъ философскимъ ученіямъ не переставалъ развиваться,—и за исключеніемъ „Московскаго Телеграфа", остававшагося вѣрнымъ французской школѣ, въ особенности Кузену, эта отвлеченно-философская дѣятельность отличалась поклоненіемъ нѣмецкимъ мыслителямъ. Она перешла отъ разрозненно

---

[1]) Болѣзненный лиризмъ ихъ непріятно поражалъ такихъ безпристрастныхъ его поклонниковъ въ славянофильскомъ лагерѣ, какъ С. Аксаковъ.

дѣйствовавшихъ любителей „умозрѣнія“, въ родѣ Елагина, отца позднѣйшихъ славянофиловъ, который вывезъ изъ походовъ „Критику чистаго разума“, поклонялся Канту, а потомъ увлекся Шеллингомъ и перевелъ его „Философскія письма о догматизмѣ и критицизмѣ“ (1819),—къ цѣлымъ кружкамъ молодежи, отдававшей свои лучшие годы на безконечные догматическіе споры въ университетскихъ аудиторіяхъ, въ философскихъ уголкахъ московскихъ переулковъ и деревенскихъ усадебъ, на страницахъ журналовъ. Старые кумиры замѣнялись новыми, и, послѣ недолгаго увлеченія философіей Фихте и интенсивнаго вліянія Шеллинга, взошла звѣзда Гегеля.

Упраздненная, въ видахъ безопасности, въ университетскихъ программахъ философія, подъ флагомъ *сельскаго хозяйства* снова выступила въ московскомъ университетѣ въ свои права, и Мих. Гр. Павловъ горячо и убѣдительно знакомилъ своихъ слушателей съ философіей Окена и Шеллинга,—правда, подъ прикрытіемъ ученія о плугахъ и удобреніи,— и придавая ей характеръ и значеніе философіи природы. Другое свѣтило московскаго университета, Надеждинъ, раскрывавшій въ краснорѣчивыхъ, но нѣсколько холодныхъ, на взглядъ слушателей, лекціяхъ своихъ эстетическія и философскія основы міровой литературы, по собственному его признанію [1]), былъ обязанъ нѣмецкой философіи и знакомству съ новой исторической наукой запада своимъ развитіемъ. Недолго продолжалось патріотическое самообольщеніе, съ которымъ онъ выступилъ въ литературѣ, когда сближеніе съ Европой выставлялъ онъ причиной нашего умственнаго застоя. Послѣ капризной, брезгливой, но яркой и остроумной борьбы противъ романтизма и „сонма“ литературныхъ „нигилистовъ“, подъ маской бывшаго студента Никодима Надоумко въ допотопномъ „Вѣстникѣ Европы“ своего покровителя Каченовскаго, затѣмъ и съ открытымъ забраломъ, когда съ университетской каѳедры, также не безъ остроумія, но съ напускной нравственною нетерпимостью, множествомъ натяжекъ и парадоксовъ онъ громилъ въ (богатой свѣдѣніями по всеобщей литературѣ) диссертаціи [2]) романтическую школу и въ особенности Байрона, великаго, но зловѣщаго, безбожнаго, сатанинскаго, и отрекался отъ господствовавшаго литературнаго направленія, онъ, очутившись на волѣ и располагая отнынѣ своими силами, перемѣнилъ фронтъ, въ основанномъ имъ „Телескопѣ“ выступилъ съ теоріею „необходимаго равновѣсія между народнымъ и общечеловѣческимъ началомъ“, и пошелъ навстрѣчу поэзіи пушкинскаго періода.

Философскіе интересы московскихъ молодыхъ кружковъ сначала свободно соединялись съ изученіемъ новыхъ движеній въ нѣмецкой словесности; романтизмъ второй, позднѣйшей школы, величавый эпилогъ гетевскаго творчества, затѣмъ Молодая Германія“, первыя произведенія Гейне и Бэрне, появленія пробуждавшагося снова общественнаго созна-

---

[1]) Автобіографія Надеждина въ „Русск. Вѣстникѣ“, 1856, № 9.

[2]) De origine, natura et fatis poëseos, quae romantica audit. Dissertatio historico-critico-elenctica. Mosquae, 1830.

нія, привлекали вниманіе. Подъ вліяніемъ интереса къ западной, въ особенности германской мысли и поэзіи возникли журналы, служившіе его распространенію. „Мнемозина", альманахъ Кюхельбекера и кн. Влад. Одоевскаго (1824), органъ небольшого кружка „любомудровъ", (на ряду съ кружкомъ Раича) предтечъ московскаго философскаго дилеттантизма 30—40 годовъ, посвященный пропагандѣ „новыхъ мыслей, блеснувшихъ въ Германіи", и борьбѣ противъ французской философіи, вмѣстѣ съ тѣмъ намѣревавшійся служить органомъ Пушкина и его круга, былъ, благодаря прежде всего энергической пропагандѣ Одоевскаго, какъ ревнителя философіи, реформатора эстетики, сатирика-моралиста, предвѣстіемъ философско-литературной журналистики. Послѣ того, какъ улеглась паника, вызванная разгромомъ декабризма, побудившая любомудровъ, словно приравнявшихъ свою безгрѣшную, все же тайную организацію къ опасному конспиративному союзу, закрыть общество, они не только вернулись къ дѣятельности, но и развили ее сильнѣе. Первымъ изданіемъ новаго типа явился „Московскій Вѣстникъ" Веневитинова, вторымъ „Европеецъ" Ивана Кирѣевскаго. Въ кружкѣ, группировавшемся около перваго изъ этихъ журналовъ, замѣтнымъ лицомъ былъ будущій вождь славянофиловъ Хомяковъ, имя издателя „Европейца" блистало впослѣдствіи въ рядахъ той же школы,—но въ эту пору они раздѣляютъ общее увлеченіе. Оба журнала съ честью служили избранной задачѣ, въ особенности журналъ Кирѣевскаго. По единственнымъ вышедшимъ двумъ книжкамъ „Европейца" читатель могъ уже составить себѣ довольно ясное представленіе о томъ, что происходило въ данную пору въ Европѣ. Мы находимъ тутъ корреспонденцію изъ Берлина гдѣ передаются новости о Гансѣ, Боппѣ, замѣщеніи каѳедры Гегеля,—переводъ статьи Эмиля Дешана о Бальзакѣ, съ сочувственной оцѣнкой его дѣятельности и слабымъ упрекомъ въ излишней мизантропіи,—отрывокъ изъ извѣстныхъ писемъ Бэрне и изъ парижскаго письма Гейне по поводу выставки картинъ, гдѣ проводится мысль, что новое время породитъ новое искусство, которое будетъ итти съ жизнью „въ стройномъ, вдохновенномъ созвучіи, которое символику свою *не станетъ занимать у поблекшаго минувшаго*" [1]). Наконецъ находимъ, очевидно, не безъ умысла помѣщенную картину Испаніи, необыкновенно близко подходящую къ тогдашней Россіи и выставляющую слабое образованіе народа, поразительное развитіе нищенства, самоуправство властей и неисполненіе закона. Редакціонныя статьи ставятъ категорически вопросъ о пользѣ и вредѣ заимствованій и, опираясь на только что появившееся тогда на сценѣ „Горе отъ ума", рѣшаютъ этотъ вопросъ въ трезвомъ грибоѣдовскомъ духѣ: „мы смѣшны (говорится тутъ), подражая иностранцамъ, но только потому, что подражаемъ *неловко и невполнѣ*, что изъ-подъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ кафтана и что, обривъ бороду, мы еще не умыли лица". Тотъ же критикъ за два года передъ тѣмъ (Обозрѣніе русской словесности въ „Денницѣ" Максимовича) открыто признавалъ даже, что „польская

---

1) „Европеецъ", 1832, стр. 139.

литература, какъ и русская, не только была отраженіемъ другихъ, но и существовала единственно силою чужаго вліянія".

„Просвѣщеніе одинокое, китайски отдѣленное,—говорилъ въ свою очередь „Европеецъ",—должно быть китайски ограниченное; въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ *того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества*". Ввести сознательную программу въ общеніе съ западомъ становилось, такимъ образомъ, главною цѣлью журнала Кирѣевскаго,—но онъ едва успѣлъ намѣтить эту цѣль и приступить къ разработкѣ вопроса, какъ журналъ былъ неожиданно закрытъ [1]) по подозрѣнію въ сочувствіи іюльской революціи, которое будто бы прикрыто благовидной личиной литературныхъ симпатій къ западу (по толкованію Бенкендорфа, „просвѣщеніе" у Кирѣевскаго означало свободу, дѣятельность разума—революцію, искусно отысканная середина—конституцію). Публицистическій починъ Кирѣевскаго вмѣстѣ съ „Философическимъ письмомъ" Чаадаева—два вѣстника приближавшихся уже главныхъ силъ западничества.

Для кружка „Московскаго Вѣстника" исходной точкой было также сочувствіе западу, но, въ то время, какъ „Европеецъ" слѣдилъ за всѣми проявленіями современнаго движенія, Веневитиновъ и затѣмъ его друзья (Погодинъ), продолжавшіе изданіе послѣ ранней смерти главы кружка, отводя немалую долю европейской поэзіи (переводы изъ Байрона, Шиллера, Шатобріана, Вальтеръ-Скотта, нѣмецкихъ романтиковъ), сосредоточивали свои главные интересы въ области философіи и чистаго искусства. Тутъ восторгались „Фаустомъ", зачитывались Шеллингомъ; въ отвлеченныхъ сферахъ отдыхали отъ окружавшей пошлости и равнодушія. Веневитиновъ наименѣе всѣхъ способенъ былъ сторониться отъ жизненныхъ вопросовъ. У него была пора восхищенія Байрономъ, онъ увлекался либеральнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ на западѣ и приходилъ въ негодованіе при видѣ смѣнявшей его реакціи. Когда Гете овладѣлъ его думами, онъ не поддался слѣпому преклоненію передъ недосягаемымъ совершенствомъ; въ немъ загорѣлось желаніе вызвать на благородное состязаніе съ нимъ лучшія русскія силы, и онъ съ любовью, но настойчиво влечетъ Пушкина за собой въ чудесный міръ гетевскаго творчества и на поэтическій поединокъ съ германскимъ исполиномъ.

Въ краткую жизнь свою Веневитиновъ успѣлъ пережить всѣ фазисы, черезъ которые проходили тогда представители молодого поколѣнія, и, не порывая съ уваженіемъ къ европейской мысли, закончилъ кругъ своего развитія оригинальной идеею о необходимости пріостановить дви-

---

[1]) Чаадаевъ написалъ тогда отъ имени Кирѣевскаго горячее защитительное письмо къ Бенкендорфу; оно впервые напечатано было Гагаринымъ; судьба этого заступничества неизвѣстна. Авторъ, характеризуя сначала юношескія политическія убѣжденія Кирѣевскаго, стремившіяся къ кореннымъ реформамъ и сочувственныя декабризму, но безъ стремленій къ революціонному перевороту, разъясняетъ затѣмъ искаженную доносомъ истинную программу зрѣлаго дѣятеля; въ ней первое мѣсто занимаетъ коренное переустройство народнаго просвѣщенія въ духѣ европейской цивилизаціи, освобожденіе крестьянъ, реформа суда, церкви, утратившей всякій авторитетъ.

женіе отечественной словесности, заставивъ ее глубже выяснить свое внутреннее содержаніе, побудивъ ее „болѣе думать, чѣмъ производить". Для сей цѣли,—говоритъ онъ,—надлежало бы нѣкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынѣшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ея всѣ маловажныя происшествія въ литературномъ мірѣ, безполезно развлекающія ея вниманіе, и, опираясь на твердыя начала философіи, представить ей полную картину развитія ума человѣческаго, картину, въ которой она видѣла бы свое собственное предназначеніе" [1]).

Въ этой юношеской грезѣ человѣка, благоговѣющаго передъ великими созданіями міровой литературы, негодуя на слабость мысли и легкую производительность родной словесности и желая искусственно привить ей недостающую широту цѣлей, уже кроется зародышъ будущаго славянофильскаго воззрѣнія. Оно не получило еще оттѣнка исключительности; для русскаго общества считаютъ необходимымъ дать „полную картину развитія ума человѣческаго", гдѣ каждой народности отведено равноправное мѣсто, гдѣ каждое племя получаетъ „свое собственное предназначеніе". Нѣтъ еще и слѣда горделиваго самовозвышенія [2]); каждый вноситъ въ общую сокровищницу лучшее, что выработалъ творческій духъ его народа. Очевидно, это—русское отраженіе той теоріи, которая высказана была въ нѣмецкой наукѣ впервые (1784) еще Гердеромъ въ его „Ideen zur Geschichte der Menschheit", и снова заявлялась въ первой четверти девятнадцатаго вѣка.

Какъ бы то ни было, на развалинахъ двухъ названныхъ журналовъ, служившихъ съ большей или меньшей опредѣленностью цѣлямъ общеевропейской культуры, изъ обломковъ стараго кружка „Московскаго Вѣстника" и новыхъ сблизившихся съ нимъ лицъ (въ особенности—пережившаго въ своемъ деревенскомъ уединеніи глубокій переломъ религіозно-національный, Ивана Кирѣевскаго, въ которомъ трудно было уже узнать редактора „Европейца") сложилась немногочисленная, но дружная школа славянофильская. Старшіе ея члены и основатели обладали серьезной ученой подготовкой, пріобрѣтенной на западѣ, преимущественно въ Германіи,—такъ оба брата Кирѣевскіе докончили свое воспитаніе въ этой странѣ. Иванъ Кирѣевскій передъ путешествіемъ былъ уже послѣдователемъ и поклонникомъ Шеллинга; въ берлинскомъ университетѣ онъ сначала холодно отнесся къ репутаціи Гегеля, даже избѣгалъ его лекцій, потомъ подпалъ ихъ обаянію и съ увлеченіемъ перешелъ въ станъ гегельянцевъ [3]). Петръ Кирѣевскій вынесъ изъ пребыванія въ Мюнхенѣ, гдѣ онъ не только слушалъ Шеллинга, но вошелъ съ нимъ въ непосред-

---

1) „Нѣсколько мыслей въ планъ журнала". Сочиненія Веневитинова, 1862.

2) Хомяковъ, нѣкогда сотрудникъ Московскаго Вѣстника, остался вѣренъ этимъ взглядамъ. Извѣстное стихотвореніе, въ которомъ онъ порицаетъ гордыню „дѣтей Сіона", думавшихъ, что они „родъ избранный", что только для нихъ „Божьи громы сушили морей волнистыхъ глубину, что лишь для нихъ законъ, у нихъ пророки и Божьей силы чудеса",—это стихотвореніе съ достаточной энергіей ополчается противъ чьего бы то ни было національнаго самовозвышенія.

3) Ср. статью М. Филиппова „Судьбы русской философіи", Русское Богатство, 1894, I.

ственныя сношенія, высокое представленіе и о самомъ философѣ, и о связанномъ съ нимъ научномъ движеніи [1]). Для Хомякова нѣсколько лѣтъ, проведенныхъ за границею, дали возможность близко изучить французскую жизнь и литературу, и съ необыкновеннымъ мастерствомъ усвоить себѣ современную германскую философію, что давало ему впослѣдствіи въ Москвѣ арсеналъ полемическихъ орудій въ кружковыхъ спорахъ. Самая мысль Ивана Кирѣевскаго основать „Европейца" зародилась подъ свѣжими впечатлѣніями заграничной жизни. Но и младшая часть славянофильской школы, которая, какъ одна изъ групъ „идеалистовъ тридцатыхъ годовъ", выдѣлилась, навстрѣчу первоучителямъ, изъ дружнаго и солидарнаго сначала московскаго студенческаго кружка, подготовилась къ своему дѣлу внимательнымъ изученіемъ нѣмецкой науки.

Связь между сочувствіемъ къ Европѣ, охватившимъ тогдашнее молодое поколѣніе, и ученіемъ, которое должно было въ концѣ своего развитія дойти до отрицанія жизненности европейской культуры и высказаться за исключительную самобытность, требуетъ особаго изученія.

Недалеко отъ насъ то время, когда зарожденіе славянофильства считалось явленіемъ чисто-русскимъ, своеобразнымъ, которое питалось одними только здоровыми народными соками, не испорченными европеизмомъ. Много, если, говоря о происхожденіи этой школы, вспоминали о ея предшественницѣ, научно-патріотической школѣ чешской, первой виновницѣ славянскаго возрожденія въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Но этого сличенія слишкомъ недостаточно. Культурная исторія Европы за послѣднія два столѣтія показываетъ, что *почти ни одна страна* не обошлась въ свое время безъ движенія, схожаго съ славянофильствомъ [2]). Сентиментальное поклоненіе старинѣ, исканіе только въ ней одной величайшихъ доблестей, мистическій оттѣнокъ національной гордости, грезы о всемірно-историческомъ призваніи, выпавшемъ на долю лишь родному народу-избраннику, и рядомъ съ этимъ развитіе интереса къ народной жизни, поэзіи, повѣрьямъ, юридическимъ обычаямъ и т. д.,—такова программа всѣхъ этихъ сектъ.

Чешское національное движеніе зародилось въ рабочихъ кабинетахъ немногихъ ученыхъ и стихотворцевъ начала прошлаго столѣтія, составившихъ смѣлый планъ пропаганды народной идеи среди обезличенной массы соотечественниковъ. Родоначальники движенія, Юнгманъ, Добровскій, Шафарикъ, Коларъ, Челаковскій, перешли отъ изученія ветхихъ хартій къ энтузіазму въ честь старины, который, съ удивительной силой пробуждая умы, вмѣстѣ съ тѣмъ не выходилъ сначала изъ предѣловъ

[1]) Письмо П. В. Кирѣевскаго, 19 окт. 1829 г., напеч. въ „Образахъ прошлаго", М. Гершензона, 1912, стр. 99—101.

[2]) Французская литература выставила подобное ученіе еще въ шестнадцатомъ столѣтіи. Швейцарецъ Отманъ въ своей книгѣ *Franco-Gallia* изобразилъ отдаленныя галльскія времена порой свободы и счастья, характеризовалъ широкое и свободное устройство народнаго самоуправленія и, сравнивая древній порядокъ вещей съ королевскимъ деспотизмомъ и рабствомъ знати, звалъ современниковъ назадъ.

болѣзненнаго лиризма. Имъ проникнута *Slavy dcera* Колара съ ея патріотическими галлюцинаціями, онъ вызвалъ къ жизни такое самонадѣянное подражаніе старому творчеству, какъ *Краледворская рукопись* Ганки съ ея просвѣтленными, героическими образами и событіями изъ богатырскаго прошлаго, введенное въ національное сознаніе подъ видомъ подлиннаго творенія сѣдой старины,—мечты панславизма, дошедшія до фантастическихъ картинъ грядущаго у Людевита Штура (въ его сочиненіи „Славянство и міръ будущаго“)[1]. Забой, Славой, Пржемыслъ стали дорогими новому поколѣнію; въ лучшемъ случаѣ, мысль неслась къ порѣ Гуса и Жижки, преданной интересамъ религіозной и національной свободы,—и все не славянское, не чешское, въ особенности же германское[2]), казалось опаснымъ и ненавистнымъ. Только событія 1848 года, славянскій съѣздъ и революціонные дни въ Прагѣ, наконецъ, парламентарная борьба начала шестидесятыхъ годовъ и тотъ закалъ, который придала національному дѣлу стойкая и послѣдовательная политика, использовавшая для него всѣ, поневолѣ уступленныя старымъ австрійскимъ режимомъ, вольности, придали движенію реальную почву, отучили его отъ замкнутости, указали способы широкаго возрожденія, не разрывающаго связей съ общеевропейской цивилизаціей, и вмѣсто мечтаній о поворотѣ жизни назадъ поставили впереди привлекательныя цѣли. Современная Чехія, съ ея безчисленными народными школами, политическою печатью, національнымъ университетомъ, театромъ, построеннымъ въ Прагѣ на *народныя* деньги, разнообразнѣйшими ассоціаціями и рѣдкой выдержкой въ отстаиваніи своихъ правъ, далеко отошла отъ романтической грусти или самовосхваленія, процвѣтавшаго въ началѣ столѣтія, и можетъ только гордиться этимъ.

„Иллиризмъ“ у южныхъ австрійскихъ славянъ былъ такою же школою народолюбія, сначала съ сильной окраской романтики и мистицизма. Въ лицѣ его родоначальника, Людевита Гая, сблизившагося съ Коларомъ, онъ побратался съ чешскимъ научнымъ и поэтическимъ романтизмомъ, у даровитаго поэта Прерадовича дошелъ (наприм., въ стихотвореніяхъ „Slavjanstvu“, „Na grobniku“ и др.) до грезы о „призваніи славянъ“ спасти силою любви и возродить человѣчество, до суроваго приговора надъ „гніющимъ западомъ“ и пророчества, что когда настанетъ борьба славянскаго востока съ нимъ, передовымъ отрядомъ будетъ хорватскій народъ[3]). Но не туманный „иллиризмъ“, а дѣятельное развитіе народныхъ силъ, стойкое и послѣдовательное отстаиваніе политическихъ правъ и свободы просвѣщенія, приведшее къ автономіи, сдѣлало

---

[1]) „Славянство и міръ будущаго“, изд. въ русскомъ переводѣ въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Древн., затѣмъ и отдѣльно, М., 1867.

[2]) Вліяніе нѣмецкаго романтизма на чешскую литературу того времени было однако весьма существенно. Оно изучено проф. Мурко, Anfänge der deutschen Einflüsse auf die böhmische Romantik, 1897.

[3]) Платонъ Кулаковскій, „Иллиризмъ. Изслѣдованіе по исторіи хорватской литературы поры возрожденія“. Варшава, 1894. — И. В. Ягичъ, Исторія славянской филологіи, 1910, стр. 408—37.

обновленную, культурную Хорватію одною изъ передовыхъ странъ современнаго славянства [1]).

Въ польской литературѣ девятнадцатаго столѣтія еще разительнѣе примѣръ односторонняго романтическаго отношенія къ народности и старинѣ, прошедшаго знакомый намъ путь отъ байроническихъ симпатій и культа Шиллера и Гете къ національному мистицизму. Подобно Пушкину, Мицкевичъ, Одынецъ, Словацкій увлекались Байрономъ. „Конрадъ Валенродъ", „Крымскіе сонеты", „Фарисъ", третья часть „Дзядовъ" Мицкевича, — „Арабъ", „Монахъ", „Ламбро", „Беньовскій", „Кордіанъ", „Въ Швейцаріи", „Путь на востокъ" Словацкаго написаны подъ его вліяніемъ. Мицкевичъ перешелъ затѣмъ въ станъ Гете, и поэма „Германъ и Доротея" явилась первообразомъ „Пана Тадеуша". Еще шагъ дальше, и, подъ вліяніемъ личныхъ испытаній и крушеній національныхъ надеждъ, въ томъ же передовомъ слоѣ возникаетъ мистико-политическое направленіе, которому служатъ ученыя изслѣдованія Лелевеля, стихотворенія, лекціи и памфлеты Мицкевича, поэма Словацкаго „Ангеллій" съ ея таинственными сибирскими ландшафтами, стонами каторжниковъ и трогательной повѣстью одинокаго мученичества, — наконецъ фантастическій мессіанизмъ Товянскаго, увѣнчанный въ поэзіи восторженной мистикой Словацкаго съ его „Королемъ-Духомъ" и культомъ „Польской Богородицы". Всѣ силы напрягаются, чтобы открыть въ тайникахъ польскаго національнаго характера невѣдомыя міру начала искупленія и выставить провиденціальную роль польскаго племени. Предъ очами носится обольстительное представленіе о свѣтлой порѣ, когда ему выпадетъ наконецъ міровая роль. Основа этого крайняго напряженія патріотической фантазіи, возникшаго на почвѣ народныхъ страданій, возбуждаетъ, конечно, соболѣзнованіе, —но много вреда принесло оно, замутило свѣтлое творчество Мицкевича и Словацкаго, и въ глазахъ историковъ общественнаго движенія польскаго является болѣзненно одностороннимъ отклоненіемъ людей высокодаровитыхъ отъ реальной почвы [2]).

Если отъ этихъ примѣровъ, взятыхъ изъ міра славянскаго, обратимся къ Германіи, то увидимъ еще болѣе продолжительную исторію германофильства, которая насчитываетъ уже болѣе полутораста лѣтъ. Оды Клопштока, увлеченнаго съ одной стороны величавой поэзіею Осіана, съ другой—эффектными дѣяніями Фридриха Великаго, вводятъ въ нѣмецкую лирику образы давно минувшихъ богатырскихъ личностей; Арминій и Туснельда окружены необычайнымъ ореоломъ; поэты наперерывъ стараются подражать древнимъ бардамъ, и среди просвѣтительнаго XVIII в. идетъ цѣлая полоса археологическихъ увлеченій. Они переживаютъ рядъ поколѣній, не замолкаютъ и во время *Sturm und Drang'a*, усиливаются по поводу открытія и изданія важныхъ памятниковъ германской старины,

---

[1]) Zdziechowski, Odrodzenie Chorwacji w wieku XIX. Kraków, 1902.

[2]) Характеристика польской доктрины, близкой къ славянофильству, сдѣлана въ книгѣ М. Урсина, „Очерки изъ психологіи славянскаго племени. Славянофилы". Спб. 1887. О вліяніи ея на Словацкаго и его поэзію — Chmielowski, „Ostatnie lata życia Słowackiego", Stud. szkice, Kraków, 1888.

переходятъ въ новое столѣтіе, окружаютъ блескомъ былиннаго героизма борцовъ противъ наполеоновской тиранніи и вызываютъ демонстративное, воинствующее возвеличеніе національнаго прошлаго и его богатырей (снова — Арминія въ патріотической драмѣ Клейста „Die Hermansschlacht“) на зло губительному вліянію культуры der Welschen [1]). Одинъ только Гердеръ сумѣлъ придать этому движенію широкій и поэтическій смыслъ. Гердеръ поднимаетъ изъ забвенія народную поэзію, энергически распространяетъ вездѣ интересъ къ изслѣдованію пѣсеннаго творчества и ставитъ безыскусственное народное вдохновеніе выше созданій отдѣльныхъ личностей. Но его точка зрѣнія широка и гуманна; въ его восторгахъ найдется мѣсто и для южной баллады, и для литовской пѣсенки, и для малорусской думки; законность безконечнаго разнообразія національныхъ и мѣстныхъ оттѣнковъ въ жизни и поэзіи стала для него истиннымъ догматомъ, и онъ не разъ зло подсмѣивается надъ ограниченностью тѣхъ нѣмецкихъ патріотовъ, которые не хотятъ знать ничего на свѣтѣ, кромѣ своей родины, и презрительно относятся къ быту другихъ странъ, точно китайцы, для которыхъ Небесная имперія — весь міръ, а иноземцы—что-то въ родѣ отвратительныхъ злыхъ духовъ, пытающихся ворваться въ безмятежное царство солнца. „Какъ часто кажется, что находишься въ Китаѣ, когда слышишь въ повседневной жизни такія *китайскія* сужденія, которыя изъ невѣжества и гордости отвергаютъ все, что противорѣчитъ собственному складу мысли и пониманія!“ восклицаетъ Гердеръ (Von der Verschiedenheit des Geschmacks etc.).

Но подобный взглядъ вымираетъ съ прекращеніемъ неутомимой дѣятельности этого оригинальнаго мыслителя; его наслѣдіе присвоиваетъ себѣ романтическая школа и замыкается въ узкіе предѣлы нѣмецкой народной старины. Она идеализируетъ ее, скорбитъ объ утраченной народомъ свѣтлой порѣ; широко раскинувшись по всей литературѣ и наукѣ Германіи, собравъ вокругъ своего знамени не только эстетиковъ, этнографовъ, историковъ, но и юристовъ, философовъ, даже экономистовъ, романтизмъ десятками авторитетныхъ голосовъ провозглашалъ почти недосягаемое величіе дальняго прошлаго. Для юриста-романтика это феодальное прошлое было блаженнымъ временемъ господства народной правды и нормальнаго общественнаго строя, для романтика-экономиста (наприм., Адама Мюллера въ его „Элементахъ государственной науки“) это—время разумнаго распредѣленія народнаго богатства; для историка церкви—пора наивной и искренней вѣры; философы-романтики, съ Шеллингомъ во главѣ, въ своихъ объясненіяхъ историческаго процесса принимаютъ существованіе ранняго, совершеннѣйшаго періода, вмѣстѣ съ которымъ „сошла со сцены благороднѣйшая часть человѣчества“; средневѣковье

[1]) Послѣ франко-прусской войны можно было наблюдать новое повтореніе такого же болѣзненнаго возбужденія. Не въ мѣру напряженное національное чувство въ горделивомъ самоупоеніи попыталось еще разъ идеализировать старину; Арминій снова очутился въ почетѣ, и всѣ сердца понеслись назадъ, къ золотому вѣку нѣмецкаго героизма и нравственной чистоты. Отъ этого увлеченія не уберeглись даже замѣчательные писатели (Ауэрбахъ, Фрейтагъ, отчасти даже Шпильгагенъ).

является поэтому настоящимъ золотымъ вѣкомъ въ памяти народной и „возвращеніе его на землю остается предметомъ вѣчныхъ неутолимыхъ желаній“. Въ этомъ прошломъ уже вполнѣ выяснилась та основная идея, выразителемъ которой призванъ быть извѣстный народъ, если только онъ имѣетъ право на всемірно-историческую роль, и все его дальнѣйшее существованіе должно быть отдано на служеніе этой идеѣ. Такимъ образомъ, соединенными усиліями романтической поэзіи и философіи намѣчены были всѣ составные элементы германофильскаго движенія: идеализація старины упрочила элементъ археологическій; господство религіознаго начала въ сказаніяхъ и бытѣ прошлаго выдвинуло впередъ болѣзненно мистическую набожность; исканіе завѣтной *идеи*, положенной судьбою въ основу нѣмецкаго народнаго быта, подняло принципъ горделиваго національзма, пріучая рѣзко осуждать все, что не подходитъ къ высотѣ этой идеи. Прежняя гердеровская точка зрѣнія была утрачена; ей оставались вѣрными лишь два, три свободомыслящіе эпигона въ родѣ Рюккерта, этого романтика-космополита, или, позже, Уланда; вмѣсто необъятнаго круга общечеловѣческаго развитія мысль замыкается въ опредѣленныя рамки и въ нихъ трепещетъ и бьется точно въ оковахъ, глумясь надъ неизмѣннымъ закономъ поступательнаго движенія жизни и ставя свои идеалы позади.

Послѣдствія этого извращенія понятій должны были скоро обнаружиться. Если результаты романтическаго движенія принесли значительную пользу, придавъ особенное развитіе научному изученію старины и народности, которое создало плодотворную школу братьевъ Гриммовъ (съ ея сильнымъ вліяніемъ на науку и національное возрожденіе даже у славянъ) [1]), выставило цѣнныя работы Герреса, фонъ-деръ Гагена и др., вызвало усиленное собираніе пѣсенъ, сказокъ, народно-юридическихъ обычаевъ, изданіе многихъ памятниковъ старонѣмецкой литературы, — то, съ другой стороны, слишкомъ извѣстно, къ какому печальному концу пришли романтики, какимъ религіознымъ и политическимъ фанатизмомъ прониклись они, переходя нерѣдко въ католичество для того, чтобы стать ближе къ вѣрѣ своихъ далекихъ и чистыхъ духомъ предковъ, но и для того, чтобъ слѣпо отдать себя въ распоряженіе римской куріи,—какъ они являлись вѣрными слугами любого реакціоннаго правительства (въ особенности австрійскаго, которому усердно служилъ Фридрихъ Шлегель) и зачинщиками гоненій на современную мысль, не преклонявшуюся передъ ихъ національно-археологическими теоріями. Періодъ тридцатыхъ годовъ въ Германіи полонъ этихъ печальныхъ дѣяній школы, которая нѣкогда выступала на свое поприще съ идеальными стремленіями, напутствуемая благословеніемъ Шиллера и Гете, а подъ конецъ доставляла усердныхъ сыщиковъ и доносчиковъ для травли поэтовъ и публицистовъ „Молодой Германіи“.

---

[1]) Такова, напр., поддержка, оказанная Яковомъ Гриммомъ (но и Гете) просвѣтительной и народнической дѣятельности Вука Караджича, одного изъ апостоловъ сербскаго возрожденія.

Но у насъ есть еще болѣе свѣжій примѣръ, который мы возьмемъ изъ жизни странъ менѣе извѣстныхъ, — изъ новой исторіи Даніи и Норвегіи. Брандесъ обратилъ вниманіе европейскаго общественнаго мнѣнія на борьбу старой патріотической партіи въ Даніи съ свободомыслящей оппозиціей, борьбу столь сильную, что она принудила самого Брандеса оставить каѳедру въ копенгагенскомъ университетѣ и искать одно время убѣжища въ Берлинѣ. Съ появленія его остроумной характеристики умственнаго движенія въ Даніи [1]), въ Европѣ хорошо знаютъ что и тамъ дѣло не обошлось безъ того же неотвязнаго романтизма, безъ того же увлеченія стариной и мистико-пророческаго отношенія къ исторіи; и въ датскомъ обществѣ выдвинулись люди недюжинные, въ родѣ Грундтвига, нерѣдко замѣчательно даровитые, которые всею душою отдавались нетерпимому фанатизму и быстро переходили къ излишествамъ послѣднихъ нѣмецкихъ романтиковъ. Эта консервативная и мистико-археологическая школа, благодаря тѣсной связи скандинавскихъ странъ, охватила и Норвегію; ей отдалъ въ свое время дань и такой независимый умъ, какъ Ибсенъ, увлекшійся сагами, въ особенности исландскими преданіями, предавшійся драматическимъ реставраціямъ старины славныхъ и могучихъ викинговъ, чей духъ призванъ снова возродить современныя поколѣнія, съ былиннымъ богатырствомъ, широко разлитымъ, напр., въ „Воителяхъ въ Гельгеландѣ“,—и способный въ тѣ годы основать ультра-націоналистическое „Норвежское Общество“ для противодѣйствія всякимъ иностраннымъ вліяніямъ.

Въ одномъ изъ собраній этюдовъ Брандеса [2]), представляющемъ рядъ превосходныхъ портретовъ, мы находимъ живую характеристику Бьернсона, ставшаго въ концѣ столѣтія патріархомъ скандинавской литературы и верховнымъ политическимъ вождемъ. Онъ сразу сталъ знаменитъ своими деревенскими разсказами, въ которыхъ свѣжесть поэтическаго колорита связывалась съ нѣкоторою идеализаціею народной жизни. Эти разсказы пришлись по вкусу старой норвежской партіи, которая самодовольно называла себя „интеллигенціею страны“ (иногда даже національно-либеральной партіею) и вмѣстѣ съ тѣмъ вела упорную вражду противъ всѣхъ нововведеній. „Для нея все европейское является подозрительнымъ,—*только на крайнемъ сѣверѣ сохранилась нравственная чистота и свѣжесть, которая призвана обновить дряхлую культуру Европы*, — что же касается современности въ строгомъ смыслѣ этого слова, то она не существуетъ вовсе для счастливаго невѣдѣнія“. Въ пору появленія разсказовъ Бьернсона, говоритъ Брандесъ, эти люди были еще друзьями народа. „Они любили абстрактнаго крестьянина, настоящаго же, конкретнаго, они еще не видали. Крестьянину они дали избирательныя права, надѣясь, что онъ всегда будетъ выбирать тѣхъ, кто далъ ему эту вольность; тогда крестьянство называли не иначе, какъ здоровымъ зерномъ народа, въ немъ видѣли потомство героевъ древности,

[1]) „Das geistige Leben in Dänemark“, von G. Brandes, uebers. v. A. Strodtmann.
[2]) „Moderne Geister“. Frankfurt, 1882.

его воспѣвали, ему льстили". Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ средѣ крестьянства появилось сильное, самостоятельное движеніе, шедшее одновременно съ зарожденіемъ въ культурныхъ слояхъ Даніи новой поэтической и критической школы, сочувственной общеевропейскому прогрессу. Бьернсонъ, уже избалованный успѣхомъ, поддался этому знаменію времени, порвалъ съ своимъ прошлымъ, — и съ тѣхъ поръ, какъ онъ вышелъ на новую дорогу, его имя стало популярнѣйшимъ во всемъ крестьянскомъ людѣ, онъ взялъ въ свои руки литературное движеніе,—за то сталъ ненавистенъ стариннымъ „друзьямъ народа".

Небольшое отступленіе, которое мы позволили себѣ, дало, какъ намъ кажется, практическіе результаты. Обнаружилась повсемѣстность разновременныхъ школъ съ одинаковой программой, измѣняющейся лишь сообразно національнымъ оттѣнкамъ. Для однихъ героической порой является вѣкъ Любуши, Пржемысла или Забоя, для другихъ—вѣкъ Святослава и Владиміра, для третьихъ—старое нѣмецкое рыцарство, для четвертыхъ—богатырская эпоха, воспѣтая въ сказаніяхъ Эдды или древнихъ сагахъ. Мѣняется и религіозная основа: поэзія стародавняго католицизма встрѣчается тутъ съ протестантской богобоязненностью, подобно тому какъ въ русской національно-романтической школѣ перевѣсъ на сторонѣ православнаго вѣроученія. Затѣмъ мы видѣли, что каждая школа по своему понимаетъ общій имъ всѣмъ догматъ, въ силу котораго должна быть торжественно водружена великая идея, имѣющая освободить все человѣчество и излѣчить его отъ ранъ цивилизаціи. Одни утверждаютъ, что эта идея залегла въ польскомъ народномъ характерѣ, другіе видятъ ее въ чешскомъ племенномъ началѣ, третьи ждутъ мессіи изъ Германіи, четвертые указываютъ на „дальній сѣверъ" и поочередно на Данію, Швецію, Норвегію.

Русская школа, стало быть, найдетъ легко свое мѣсто въ этой цѣпи обще-европейскихъ явленій,—тѣмъ болѣе, что она имѣетъ непосредственныя связи съ двумя изъ своихъ западныхъ сверстницъ, съ чешскою національной реставраціей и съ нѣмецкимъ романтизмомъ и его спутницей, философіей. Не подлежитъ сомнѣнію, что рѣдкое зрѣлище возрожденія народнаго самосознанія, ставшее возможнымъ благодаря усиліямъ нѣсколькихъ кабинетныхъ ученыхъ, произвело значительное впечатлѣніе на первыхъ двигателей славянофильства (закончивъ свое путешествіе по Европѣ, 1826, посѣщеніемъ славянскихъ земель, Хомяковъ сошелся съ главными дѣятелями; въ 1847 г. эти связи онъ снова скрѣпилъ поѣздкой въ Прагу; впослѣдствіи Погодинъ завязалъ сношенія съ чешскими учеными и политиками, съ „иллирійцемъ" Гаемъ),—хотя разница религіи тогда уже считалась немалою помѣхой тѣсному сближенію съ чехами. Подобно чешскимъ вождямъ, и основатели русскаго кружка исходили отъ точки зрѣнія книжной, кабинетной работы и келейныхъ споровъ, и мало-по-малу перешли къ попыткамъ усвоить болѣе широкую общественную роль въ журналистикѣ, войти прямо въ жизнь. Окружающая дѣйствительность въ обоихъ случаяхъ была слишкомъ неудовлетворительна, выражаясь или въ русскомъ бюрократизмѣ, крѣпостничествѣ, властной

опекѣ, или въ австрійскомъ военно-полицейскомъ гнетѣ,—и мысли тѣмъ сильнѣе обращались къ старинѣ. Но связи съ пробуждавшимся славянствомъ окончательно установились у московскаго кружка нѣсколько позднѣе, а до той поры нѣмецкая мысль помогла ему въ трудномъ дѣлѣ выработки основныхъ своихъ догматовъ. Историки славянофильства признаютъ вліяніе на него Шеллинга и Гегеля [1]). Романтическія прикрасы средневѣковой старины нашли отзвукъ въ изображеніи „древней, свѣтлой Руси, озаренной, по словамъ молодого Ю. Самарина, какимъ-то веселымъ, прозрачнымъ сіяніемъ". Тамъ господствовала „какая-то непринужденность и свобода въ отношеніяхъ людей, внутреннее единство жизни, всеобщее стремленіе освятить всѣ отношенія религіознымъ началомъ; не было вовсе ни тѣсной исключительности, ни суроваго невѣжества позднѣйшихъ временъ"; такіе безпристрастные судьи, какъ Хомяковъ, находили эту идеализацію слишкомъ несоотвѣтствовавшею дѣйствительности [2]).

Но романтическая влюбленность въ дѣдовскую старину была лишь ступенью къ философско-исторической системѣ, въ которой эта старина и народность раскрывали смыслъ и предназначеніе племенного славянскаго начала. Если Шеллингъ правъ, утверждая, что только тому народу суждено выполнить активную миссію въ исторіи человѣчества, который сумѣетъ внести въ нее на пользу всѣмъ идею, выражающую лучшее его духовное достояніе,—то любовь къ отечеству и вѣра въ его высокое призваніе обязываютъ изслѣдовать, выяснить ту „русскую идею", на служеніе которой ушло десять вѣковъ нашей народной жизни, тотъ вкладъ, который она внесла и еще внесетъ въ міровую исторію. Пришлось обратиться къ русскимъ, завѣщаннымъ коренной русской жизнью основамъ, къ исторіи, богословію, преданіямъ, пѣснямъ, древней литературѣ, изъ нихъ извлекать отвѣтъ на поставленную задачу, возсоздавать строй національныхъ русскихъ воззрѣній. То, что давала скудная тогда наука о нашей старинѣ, привлечено было въ качествѣ оправдательныхъ документовъ; существенныхъ дополненій отъ себя въ видѣ изслѣдованій и обнародованія памятниковъ школа почти не дала,—прогрессъ изученія старины вызванъ былъ со временемъ молодыми силами изъ противоположнаго лагеря, вошедшими въ дѣло подъ знаменемъ гриммовской школы. Недостатокъ фактическихъ свѣдѣній дополнялся восторженнымъ лириз-

---

1) „Славянофильство, какъ философское ученіе", ст. И. Панова, Журн. мин. нар. просвѣщенія, 1880, ноябрь, стр. 4—6. „Основы ученія первоначальныхъ славянофиловъ", статьи Ор. Миллера, Русская Мысль, 1880, вторая статья, стр. 12.—Филипповъ, Судьбы русской философіи, Русск. Богатство, 1894.—П. Г. Виноградовъ. Кирѣевскій и начало московскаго славянофильства. Вопросы философіи и психологіи, кн. XI. Сравн. также Завитневичъ, А. С. Хомяковъ, Кіевъ, 1902, I.

2) Когда И. Кирѣевскій утверждалъ разъ, что христіанское ученіе выражалось, въ чистотѣ и полнотѣ, во всемъ объемѣ общественнаго и частнаго нашего быта въ древности, Хомяковъ спросилъ его, когда же это было; не въ эпоху ли кроваваго спора Олеговичей и Мономаховичей, безнравственныхъ смутъ Галича, подкупа русскимъ золотомъ татаръ при Иванѣ III и его сынѣ двуженцѣ? „Нѣтъ, велико это слово,—говорилъ Хомяковъ,—и, какъ ни дорога мнѣ родная Русь въ ея славѣ современной и прошедшей, сказать его объ ней я не могу и не смѣю",—О. Миллеръ, статья II, стр. 28.

момъ и спѣшными философскими обобщеніями, ненадежность которыхъ удивляла, напр., такого новичка въ средѣ самой школы, какъ Иванъ Аксаковъ, совѣтовавшаго брату-энтузіасту лучше близко узнать народъ или изслѣдовать точныя рукописныя данныя, чѣмъ носиться въ грезахъ о дѣдовской славѣ. Но романтическій отблескъ такъ и остался навсегда неотъемлемой принадлежностью первоначальнаго славянофильскаго ученія; онъ получилъ особую мистическую прелесть, когда усвоенъ былъ взглядъ Гегеля на смѣну руководящихъ міровою цивилизаціею племенъ, и когда вмѣсто германскаго племени, надѣленнаго благодаря патріотизму философа такою ролью въ текущемъ періодѣ всемірной исторіи, славянское, въ частности русское, племя пріобрѣло почетное положеніе завершителя развитія человѣчества. Къ такому результату привели мечты Веневитинова объ изолированіи Россіи отъ общеевропейскаго движенія, о необходимости углубиться въ свой духовный міръ и опредѣлить наше предназначеніе. Исходная точка и способы первыхъ доказательствъ были даны рано умершему предтечѣ и его послѣдователямъ нѣмецкою философіей. Связи съ ней долго не порывались. Даже въ 1846 г. Константинъ Аксаковъ въ своей диссертаціи о Ломоносовѣ (съ эпиграфомъ изъ Гете) доказывалъ, по выраженію Герцена, „всемірно-историческое значеніе русскаго народа при помощи гегелевской терминологіи“. Да и невозможно было уберечься отъ вліянія нѣмецкой мысли въ тогдашней Москвѣ, которая была мало-по-малу охвачена ея потокомъ до того, что сама превратилась въ одинъ изъ „губернскихъ городовъ нѣмецкой философіи“, на ряду съ Берлиномъ, Іеной, Лейпцигомъ.

Эта несомнѣнная связь съ западомъ объясняетъ ту примѣчательную особенность первыхъ славянофиловъ, которую мы готовы бы назвать слабостью къ Европѣ, остаткомъ симпатіи къ ней, сбереженнымъ несмотря на обострившіяся потомъ отношенія къ ея приверженцамъ. У первыхъ славянофильскихъ писателей мы никогда не встрѣтимъ грубыхъ, нетерпимыхъ выходокъ, которыми щеголяло ихъ выродившееся потомство,—напротивъ, сказывается уваженіе къ почетнѣйшимъ именамъ западной науки и литературы. Вотъ нѣсколько примѣровъ, взятыхъ на удачу изъ сочиненій Хомякова, И. Кирѣевскаго, К. Аксакова. Кирѣевскій называетъ Лейбница *великимъ*, Спинозу и Декарта *знаменитыми*, Юма безпристрастнымъ; онъ благодаритъ Вронченка за наслажденіе, доставленное ему переводомъ Фауста; Сентъ-Бевъ, по его мнѣнію, замѣчательный писатель; онъ съ интересомъ прочелъ его книгу о Поръ-Роялѣ и сочувственно относится къ личности Паскаля. Хомяковъ называетъ „геніальными дѣятелями восемнадцатаго вѣка“ Вольтера и Руссо, удивляется Шелли, хотя жалѣетъ о его заблужденіяхъ. Аксаковъ въ своей диссертаціи нашелъ возможнымъ замолвить доброе слово за „просвѣщеніе запада, ибо результатомъ этого просвѣщенія, при настоящемъ его пониманіи, было необходимое сознательное возвращеніе къ себѣ“. Кирѣевскій находилъ въ свое время, что „образованность европейская, какъ зрѣлый плодъ всечеловѣческаго развитія, оторванный отъ стараго дерева, должна служить питаніемъ для новой жизни, явиться новымъ возбудительнымъ средствомъ къ развитію нашей умственной дѣятельности; поэтому любовь къ

образованности европейской, равно какъ любовь къ нашей, обѣ совпадаютъ въ послѣдней точкѣ своего развитія въ одну любовь, въ одно стремленіе къ живому, полному, всечеловѣческому и истинно христіанскому просвѣщенію". (Сочиненія, II, 45).

Эти разнообразныя оцѣнки и лестные эпитеты, правда, теряются среди суровыхъ приговоровъ и невыгодныхъ для Европы сравненій съ русскою жизнью, но въ то же время они показываютъ, что первоначальный складъ развитія не могъ изгладиться совсѣмъ, а у такого человѣка, какъ Ив. Кирѣевскій, несмотря на сильное вліяніе на него монашеской мистики, завладѣвшей имъ въ долгій періодъ деревенскаго опальнаго житья, не сгладился никогда. Гораздо дальше заходило въ нетерпимости „правое крыло" славянофильства, представляемое редакціей „Москвитянина"; тамъ произнесенъ былъ (правда, уродливо развитый Шевыревымъ изъ попавшагося ему кстати размышленія такого эссеиста средней руки и критика, какъ Филаретъ Шаль, объ умираніи Европы и ея культуры) приговоръ надъ гніющимъ западомъ, осужденіе дикаго нашего пира въ объятіяхъ будущаго трупа, съ которымъ мы „цѣлуемся, обнимаемся, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства" [1]). Но страннѣе всего то, что произнесъ ее Шевыревъ, репутацію котораго въ университетѣ составило историческое обозрѣніе судебъ поэзіи, принимаемой въ ея общечеловѣческомъ развитіи (съ 1834 г. онъ уже давалъ своимъ слушателямъ обозрѣнія исторіи всеобщей литературы), поклонникъ Гете (его „Гёца" онъ обстоятельно объяснялъ на своихъ лекціяхъ) и Данта, любитель итальянской живописи и музыки, неистощимый на лирическіе порывы каждый разъ, когда соприкасался съ итальянской жизнью и природою, въ эстетикѣ послѣдователь Жанъ Поля и Бадера, наконецъ, почти передъ смертью переводившій, хоть и крайне плохо, шиллеровскаго „Валленштейна". Признавать великія достоинства западной мысли и, подъ вліяніемъ новыхъ литературныхъ и соціальныхъ направленій европейской современности утверждать, что ее разъѣдаютъ тлѣнъ и гніеніе, было такъ же непослѣдовательно, какъ выраженіе воспитавшагося на западной наукѣ и поэзіи Константина Аксакова, будто „западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой и эффектомъ"; такія заявленія могутъ быть объяснены лишь раздраженіемъ и далеко зашедшей полемикой партій.

Извѣстно, что это раздраженіе—черта позднѣйшая, и что первоначально школа славянофиловъ имѣла характеръ мирнаго, мечтательнаго кружка съ солидною нѣмецко-философской подкладкой. Сходясь съ людьми имъ все еще дорогими [2]), но различныхъ съ ними убѣжденій, они спорили

[1]) „Взглядъ русскаго на современное образованіе Европы", Москвит., 1841 г. Въ письмахъ И. С. Аксакова сохранился отзывъ въ этомъ родѣ, сдѣланный его братомъ. „Удивительно удачно выразился Константинъ, сравнивъ консервативную партію на западѣ съ кристаллизаціею и партію революціонную съ броженіемъ гніенія". Ив. С. Аксаковъ въ его письмахъ, М., 1888, II, 249. Самъ И. С., вторя брату, говоритъ о „пресыщенномъ европейскомъ просвѣщеніи, сознающемъ свою гнилость".

[2]) Напечатанныя впервые въ газетѣ „Русь", 1881 (они входятъ въ „Письма Бѣлинскаго", изд. Е. Ляцкимъ, 1914, т. II), письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову проникнуты большою нѣжностью, которая едва свыкается съ необходимостью разойтись.

часто съ бòльшимъ оживленіемъ о Гегелѣ, чѣмъ о вопросахъ домашнихъ,— или же ставили общіе нравственные вопросы, одинаково важные для обѣихъ сторонъ. Хомяковъ часто перелагалъ свое ученіе въ стихи; онъ мечталъ въ нихъ о возрожденіи общества и сліяніи его съ народомъ, о братскихъ отношеніяхъ между племенами, возмущался, видя національное самообольщеніе, моля Бога „избавить насъ отъ гордости слѣпой", отъ „ига рабства", отъ „безбожной лести, лжи тлетворной", представляя себѣ славянскую взаимность въ видѣ свободнаго и равноправнаго соединенія всѣхъ народностей, и протягивая руку на примиреніе съ польскимъ народомъ. Гуманная основа такой проповѣди была, конечно, понятна наиболѣе безпристрастнымъ изъ западниковъ. До самой смерти своей Чаадаевъ, несмотря на многія разногласія въ убѣжденіяхъ, былъ однимъ изъ ближайшихъ къ Хомякову людей. Объ идеальной искренности Ивана Кирѣевскаго сохраняли сочувственную память самые рѣзкіе его противники, видя въ немъ, вѣчно увлекавшемся, симпатичнаго „русскаго Донъ-Кихота", какъ вѣрно назвалъ его впослѣдствіи Писаревъ [1]). Глубоко сочувственнымъ воспоминаніемъ отозвался Герценъ на вѣсть о смерти Константина Аксакова. У насъ,— говорилъ онъ,—„была одна любовь, но не одинаковая", въ насъ „запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое чувство безграничной, обхватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, къ русскому быту, къ русскому складу ума"; „какъ Янусъ или какъ двуглавый орелъ, мы смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ сердце билось одно". Но со временемъ, благодаря слишкомъ усерднымъ друзьямъ и крайнимъ приверженцамъ, въ родѣ издателя петербургскаго журнала „Маякъ", обскуранта-маніака Бурачка (казавшагося Гоголю—послѣдняго періода—„истинно почтеннымъ и вѣрующимъ человѣкомъ" [2]), только нѣсколько необузданнымъ) съ его фанатическою нетерпимостью, напоминавшею Магницкаго и Фотія, и рѣшительной враждой какъ къ западной культурѣ, такъ и къ ея новѣйшему порожденію, русской поэзіи Пушкина и Лермонтова,—Языкова съ его стихотворными пасквилями противъ „не нашихъ",—и старшей редакціи „Москвитянина", всегда представлявшаго собой лишь боковой, и мутный притокъ въ славянофильство, проведена была неизгладимая грань, оторвавшая иниціаторовъ движенія отъ старыхъ товарищей-западниковъ.

Временное сближеніе обѣихъ партій, вызванное знаменитыми публичными лекціями Грановскаго, слившими, казалось, все московское общество въ единодушномъ энтузіазмѣ, было только перемиріемъ, послѣ котораго враждебныя дѣйствія возобновились. Примирительная попытка изданія „Московскаго Городского Листка" (1847) Драшусова лишь на время сопоставила на однихъ и тѣхъ же столбцахъ работы Герцена, Соловьева, Хомякова, не продержавшись долѣе года. Запоздалый опытъ извѣстныхъ уступокъ духу времени, новой литературѣ и европеизму,—

[1]) „Русскій Донъ-Кихотъ". Сочиненія Писарева, изданіе Павленкова, 1894 г., томъ II.
[2]) Письма Гоголя, изд. Шенрока, III, 463—64.

реформа „Москвитянина“, проведенная въ началѣ пятидесятыхъ годовъ его „молодою редакціею“,—имѣлъ несомнѣнное значеніе, но встрѣченъ былъ петербургской журналистикой непримиримо, и, мало поддержанный, не достигъ цѣли. Его вдохновитель, Аполлонъ Григорьевъ, котораго никому не удалось закрѣпостить въ узкія рамки партіи, обладалъ большимъ чутьемъ къ красотамъ европейскаго творчества, переводилъ Гете и Байрона, и въ разновременныхъ (1847, 1856 гг.) статьяхъ объ авторѣ „Донъ-Жуана“ высказалъ широкое и безпристрастное пониманіе міроваго значенія байроновской поэзіи, тогда какъ въ редакціонномъ созвѣздіи блистали такія беллетристическія силы, какъ Островскій и Писемскій, встрѣчавшіеся на своемъ пути съ такою же работой плеяды романистовъ, выдвинутыхъ школой Бѣлинскаго. Но съ предсмертной попыткой „Москвитянина“ переродиться совпало появленіе собственныхъ органовъ партіи, „Московскихъ Сборниковъ“, вслѣдъ за ними „Русской Бесѣды“, гдѣ доктрина могла наконецъ высказываться, безпримѣсная, чистокровная.

Когда же одинъ за другимъ сошли въ могилу родоначальники славянофильства, и направленіе его перешло къ лицамъ, которыхъ свои же сторонники не разъ упрекали потомъ въ нарушеніи первоначальныхъ завѣтовъ школы, многое измѣнилось. Люди, бывало вѣровавшіе, что въ ихъ идеальную общину будутъ входить лишь тѣ, кто можетъ сдѣлать это вполнѣ сознательно, ибо „только то имѣетъ цѣну, что дѣлается искренно и свободно“,—выставившіе изъ своей среды такихъ честныхъ защитниковъ „свободнаго слова“, стало быть, свободы мнѣній, какъ Константинъ Аксаковъ, авторъ прекраснаго стихотворенія на эту тему, оглашеннаго лишь много лѣтъ спустя послѣ его смерти, научились осыпать упреками и извѣтами тѣхъ, чья вина заключалась въ несходствѣ ихъ убѣжденій съ тезисами славянофильства. Полный благородно-мечтательной надежды слить въ программѣ большого журнала (*Бесѣда* 1871 и 1872 годовъ) народолюбіе, славяновѣдѣніе, земскіе и областные интересы съ широкимъ изученіемъ запада, его художественной, политической, общественной жизни (парижская коммуна, первые шаги международной рабочей лиги, нѣмецкое кооперативное движеніе, начало борьбы противъ „бисмаркизма“, испанское республиканское броженіе были въ то время важнѣйшими интересами дня), замыселъ С. А. Юрьева (считавшаго себя вѣрнымъ ученикомъ Хомякова) подорванъ былъ столько же административной расправой, сколько ропотомъ и протестами Кошелева, Погодина, И. Аксакова и другихъ правовѣрныхъ представителей партіи [1]). Для позднѣйшихъ же, въ концѣ девятнадцатаго столѣтія, адептовъ славянофильства стали уже прямо въ тягость „эмансипаціонныя заблужденія ихъ знаменитыхъ учителей“ [2]).

Выдѣливъ изъ богатаго запаса своихъ силъ идейное подкрѣпленіе нарождавшемуся славянофильскому ученію, росло и развивалось то дви-

---

[1]) О Юрьевѣ и его роли среди литературно-общественныхъ партій 60—70-хъ годовъ срав. статью „Изъ воспоминаній о старомъ другѣ“ въ моей кн. Этюды и характеристики.

[2]) Характеристика этого разлада, наприм., въ статьѣ кн. С. Н. Трубецкого „Разочарованный славянофилъ“, Вѣстн. Евр. 1892, X.

женіе въ московской культурной молодежи тридцатыхъ годовъ, которое, еще не поднявъ надъ собой боевого знамени „западничества", служило вѣрой и правдой цѣлямъ европеизма. Какая бы общественная среда ни выставила этихъ людей,—захолустная обстановка уѣзднаго лѣкаря Бѣлинскаго, купеческая контора Боткина, старое барство отца Герцена или родовитой семьи Аксаковыхъ, интеллигентныя дворянскія гнѣзда въ родѣ воронежскаго оазиса Станкевича или (въ особенности) тверской философской усадьбы Бакуниныхъ, семинарская провинціальная среда поэта Василія Красова, украинское помѣщичество Клюшникова,—подъ объединяющимъ вліяніемъ кружковаго лозунга они сливались въ страстномъ желаніи усвоивать на пользу людямъ, среди погрязшаго въ крѣпостничествѣ, неправдѣ и невѣжествѣ общества, европейскую мысль и творчество. Съ возбужденіемъ, исходившимъ отъ немногихъ представителей истинной науки въ родѣ М. Г. Павлова или Надеждина, съ очарованіемъ театра, гдѣ Шиллеръ и Шекспиръ, истолкованные Мочаловымъ, чей самородный и неразвитой талантъ фосфорическими вспышками своими внезапно освѣщалъ тайники міровой поэзіи и психологіи, уносилъ энтузіастовъ въ „царство красоты и добра", — съ электризующимъ дѣйствіемъ юношескихъ рефератныхъ организацій, типа знаменитаго „тринадцатаго казеннокоштнаго нумера" или рабочаго кабинета Станкевича, оглашавшихся преніями и ораторскими боями, соединялось небывалое по умѣнью, интенсивности и настойчивости самообразованіе, ставившее себѣ задачей не быть чуждымъ ничему, что выставлено послѣднимъ словомъ европейской науки и литературы. Общими дружными усиліями поддерживался огонь на философскомъ алтарѣ; товарищи переводили, извлекали и излагали мудреные нѣмецкіе трактаты Бѣлинскому, чтобъ дать ему возможность ни въ чемъ не отстать отъ широкаго умственнаго теченія; философъ, поэтъ и краснорѣчивый ораторъ Клюшниковъ [1]) послѣдовательно посвящалъ Станкевича въ ученіе Шеллинга; богатая иностранная библіотека Станкевича была въ распоряженіи всѣхъ.

Мощная фигура Бакунина, полнаго неистощимой энергіи, краснорѣчія и боевой діалектики, явилась (какъ и Боткинъ) въ кружокъ товарищей по студенчеству, введенная въ него Станкевичемъ,—„съ воли", чтобъ плѣнить и увлечь шеллингіанцевъ въ тотъ культъ, которому самъ ораторъ обязанъ былъ своимъ прозрѣніемъ, — поклоненіе Фихте [2]). Бакунинъ вошелъ въ эти ряды, подготовленный самостоятельными философскими исканіями его, какъ одинокаго мыслителя [3]), и слилъ свою энергію

---

[1]) О немъ и его значеніи въ кружкѣ, о его философской лирикѣ — Бродскій, „Поэты кружка Станкевича", Извѣст. Отд. р. яз. и сл. Ак. Н., 1912, кн. 4.

[2]) Памятникомъ этого увлеченія явился бакунинскій переводъ статьи Фихте „О назначеніи ученыхъ", въ Телескопѣ 1835 года; три года спустя возрожденный „Московскій Наблюдатель" Бѣлинскаго и его друзей открылся переводомъ „Гимназическихъ рѣчей" Гегеля съ предисловіемъ-манифестомъ Бакунина. Дальнѣйшій переходъ — статья его въ Отечеств. Запискахъ 1840 г. о новѣйшей философіи.

[3]) Это доказано новѣйшимъ и лучшимъ его біографомъ (А. Корниловъ „Молодые годы Бакунина. Изъ исторіи русск. романтизма", М., 1915).

съ изученіями, волновавшими его новыхъ друзей. Подъ неотразимымъ вліяніемъ того же горячаго проповѣдника фихтеанство друзей смѣнилось затѣмъ переходомъ (съ 1837 года) къ Гегелю, чтобъ надолго установить неограниченное господство его надъ умами. Но рядомъ съ рѣзко очерченною личностью будущаго трибуна, испытывавшаго еще свою власть,— „вѣчно движущее начало, лежавшее въ глубинѣ его духа", по мѣткому выраженію Бѣлинскаго,—на умственномъ руководительствѣ гипнотизированныхъ имъ друзей, стояла нѣжная, свѣтлая и гуманная личность Станкевича съ ея одинаково чуткой къ мышленію и къ творчеству, поэзіи, искусству, натурой, одаренной способностью не подчинять, не властвовать, а вдохновлять, воспитывать, развивать, — не создавая лично, жить въ мысляхъ и созданіяхъ людей, имъ просвѣтленныхъ (такъ въ главныхъ критическихъ заявленіяхъ Бѣлинскаго за время жизни Станкевича несомнѣнно отраженіе бесѣдъ, взглядовъ, оцѣнокъ его друга). Въ лицѣ его, казалось, повторившаго широкую освѣдомленность Веневитинова о европейскомъ умственномъ и художественномъ движеніи, и закончившаго жизнь путешествіемъ на западъ столько же изъ надежды одолѣть свой недугъ, сколько изъ неутолимаго желанія стать ближе къ источнику знанія (въ Берлинѣ, при посредствѣ одного изъ главныхъ гегельянцевъ, профессора Вердера, ему удалось войти сполна въ культурное русло), воплотилось цѣльнѣе, чѣмъ въ одностороннемъ Бакунинѣ, характеристическое направленіе кружка, *философско-эстетическое*.

Въ повальномъ увлеченіи гегелевскимъ ученіемъ, въ философской дрессировкѣ, было много излишествъ и забавныхъ крайностей, остроумно осужденныхъ такимъ трезвымъ наблюдателемъ, какъ Герценъ, не вполнѣ устоявшій однако отъ общаго повѣтрія. Въ каждый свой шагъ молодой мыслитель привыкалъ вносить умозрѣніе; „онъ не могъ пойти просто за городъ на гулянье въ Сокольники, но вступалъ въ эти минуты въ пантеистическое общеніе съ космосомъ, во встрѣчѣ съ солдатомъ или подгулявшей бабой видѣлъ опредѣленіе субстанціи народной въ непосредственномъ и случайномъ явленіи, навернувшуюся въ глазахъ слезу относилъ къ *гемюту*,—а вернувшись домой, спорилъ съ друзьями о „нѣмецкой философіи, любви, вѣчномъ солнцѣ духа и прочихъ отдаленныхъ предметахъ", какъ дѣлалъ это въ молодости Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Этой эпидеміи никто не могъ избѣжать,—едва грамотный и вдохновенный Кольцовъ, стараясь не отставать отъ умной компаніи Станкевича, примучивалъ себя къ философіи, съ грѣхомъ пополамъ толковалъ объ *абсолютѣ* и на ряду съ чудными, задушевными пѣснями писалъ свои туманныя думы. Еще опаснѣе были тѣ дебри, въ которыя неумолимая логика могла завести такую призванную къ общественной дѣятельности, не къ квіетизму, а къ борьбѣ, натуру, какъ Бѣлинскій, — и кажущееся на большомъ историческомъ отдаленіи такимъ непонятнымъ насиліе надъ этой боевой натурой, во имя непоколебимости философскаго догмата проповѣдывавшей разумность дѣйствительнаго міра, стало быть, и всего нестерпимаго современнаго русскаго строя, рѣшительно и безпощадно осуждено было впослѣдствіи самимъ Бѣлинскимъ, когда разсѣялось

„упоительное курево“, и ясно намѣтились иные идеалы. Въ расплывшемся на безконечныя и тщательныя частности анализа увлеченіи западными поэтами, драматургами, носителями юмора, было также не мало затраты эстетическаго проникновенія, таинственно мистическихъ восторговъ, поклоненія Прекрасному. Распри изъ-за первенства Гете или Шиллера, раскрытіе глубины Жанъ-Поля или Гофмана, устные и письменные разборы „Гамлета“ или „Kabale und Liebe“ въ то время, какъ кругомъ царила не красота, а тьма и зло, производятъ, конечно, тепличное впечатлѣніе.

Но гегельянство, не задержавъ никого изъ его членовъ кружка въ безысходномъ правовѣріи и послуживъ переходной ступенью или искусомъ для умственной работы, оставило выходъ для тѣхъ, кто призванъ былъ къ иному, широкому культурному труду. Бѣлинскій нашелъ его со временемъ въ „соціальности“, Бакунинъ, уйдя съ 1840 года (сначала какъ берлинскій студентъ) на западъ, примкнулъ впослѣдствіи къ *лѣвой,* радикальной сторонѣ гегельянства, сталъ сотрудникомъ журнала Арнольда Руге „Deutsche Jahrbücher“ и, скрывшись подъ псевдонимомъ француза Jules Elizard, выступилъ съ обличеніемъ „Реакціи въ Германіи“, предвѣщая на ея примѣрѣ неизбѣжность всеобщаго европейскаго переворота [1]). То же повторилось и съ вліяніемъ европейскаго творчества, интересовъ эстетическихъ, художественныхъ. Казалось, оно должно было задержать умъ и чувство въ очарованномъ, нейтральномъ мірѣ искусства, не допуская соприкосновенія съ грубой повседневностью, служенія нуждамъ народнымъ. Но, даже въ раннюю пору, изъ того же казеннокоштнаго студенческаго нумера, гдѣ Бѣлинскій съ друзьями отдавался спорамъ о вопросахъ нѣмецкой поэзіи и философіи, вышла та юношески страстная, проникнутая ненавистью къ рабовладѣнію, полная кровавыхъ эффектовъ, съ живыми слѣдами вліянія шиллеровскихъ „Разбойниковъ“ и въ то же время несомнѣнною связью съ подлиннымъ бытомъ русскаго крѣпостничества трагедія изъ помѣщичьихъ нравовъ, „Дмитрій Калининъ“, которая была главною причиной удаленія Бѣлинскаго изъ университета [2]). Въ томъ же западническомъ кружкѣ Станкевича впервые пригрѣли, оцѣнили и ввели въ литературу такого чисто-русскаго поэта, какъ Кольцовъ, чья поэзія, свободная отъ всякихъ примѣсей, тѣсно была связана съ бытомъ и природой южной степи и плѣняла своею народностью,— сердечная, неразрывная близость съ поэтомъ-народникомъ стала для Бѣлинскаго высокою отрадой. Самъ Станкевичъ въ стихотворной фантазіи

---

[1]) О впечатлѣніи, произведенномъ этой статьею въ русскихъ молодыхъ кругахъ—Герценъ въ своемъ дневникѣ (Сочиненія, Женева, 1875, I, 70—71 и 82) и біографическій этюдъ о Бакунинѣ М. Драгоманова, предпосланный „Письмамъ Бакунина къ Герцену и Огареву“, Женева, 1896, XXII—III.

[2]) Сохранившаяся лишь въ рукописи московскаго цензурнаго архива въ числѣ сочиненій запрещенныхъ, она была впервые напечатана Н. С. Тихонравовымъ въ Сборникѣ Общества Люб. Рос. Словесности, М. 1891, и съ той поры входитъ въ собраніе сочин. Бѣлинскаго. Сходство основного мотива этой пьесы съ разсказомъ крѣпостного въ „Путешествіи“ Радищева (глава „Городня“) какъ будто указываетъ также на русскій литературный источникъ трагедіи.

„Раскаяніе поэта“ [1]) отвергаетъ служеніе красотѣ, любви и наслажденію, чтобы, призывая себѣ въ вдохновители Данта, войти въ нѣдра людской жизни, „пройти весь адъ, всѣ степени круговъ“, стать „снова братомъ людей“. У Бѣлинскаго на порогѣ его критической дѣятельности разгорается роскошная мечта о самостоятельной будущности русской словесности, призванной стать полноправной сверстницей другихъ литературъ и внести свое слово въ общую культурную работу; онъ идетъ дальше наставника своего Надеждина (съ его формулой примиренія классическаго и романтическаго міра, составляющей будто бы призваніе русскаго творчества), который могъ вначалѣ казаться болѣе опредѣленнымъ западникомъ въ сравненіи съ его чуть не славянофильствующимъ ученикомъ [2]). Такъ возникаютъ у него безпощадный пересмотръ наличнаго имущества русской литературы, война противъ идолопоклонства, сверженіе многихъ старыхъ боговъ съ ихъ пьедесталовъ, провозглашеніе задачей національной словесности выраженія всей умственной работы народа, — важные подвиги его „Литературныхъ мечтаній“, этого первенца критика-новичка, шеллингіанца, казалось, всецѣло охваченнаго западною мыслью и творчествомъ.

Такъ реальныя нужды народа, его возрожденія и просвѣщенія, освободительные мотивы на ряду съ вожделѣніями идеализма проявлялись въ этотъ ранній періодъ даже въ станѣ философско-эстетической молодежи. Какъ понятенъ перевѣсъ живыхъ общественныхъ запросовъ, стремленія къ политическому образованію, изученія соціальныхъ движеній Европы, предпочтеніе точной науки и новаго естествознанія метафизикѣ,—и подготовленія своихъ силъ къ дѣятельной работѣ для народнаго блага, — въ одновременномъ, но независимо развившемся кружкѣ реалистовъ-политиковъ (Огаревъ, Сатинъ, Сазоновъ, Кетчеръ, Пассекъ), который сумѣла собрать вокругъ себя пылкая, блещущая талантомъ, умомъ и энергіею, свободная отъ приманокъ отвлеченнаго умозрѣнія, съ яснымъ сознаніемъ насущной культурной борьбы, съ призваніемъ не эстетическаго критика или философа-діалектика, а зажигающаго сердца публициста, трибуна, натура Герцена!

Съ дѣтства окруженный въ средѣ отца и его друзей живыми отголосками вольтеровскаго и энциклопедистскаго вольнодумства, съ раннихъ лѣтъ домашняго ученія увлеченный эпопеею французской революціи и испытавшій сильное, воспитывающее потрясеніе при вѣстяхъ о разгромѣ декабризма и смертныхъ казняхъ, Герценъ могъ совмѣщать съ возрастающими политическими интересами увлеченіе художественными красотами европейской поэзіи, силой философской мысли, величіемъ завѣщанныхъ исторіей подвиговъ гражданской доблести. Плутархъ, Руссо, Шиллеръ, Гете въ его „Вертерѣ“, Бомарше въ его соціальныхъ комедіяхъ ввели его въ міръ борьбы и свободы. Въ торжественную минуту, въ виду живописной панорамы Москвы, на Воробьевыхъ горахъ, охвачен-

---

1) „Ник. Влад. Станкевичъ. Стихотворенія, трагедія, проза“, М. 1890, с. 42—59.

2) Милюковъ. Изъ исторіи русской интеллигенціи, 1902, 204.

ные неизвѣданнымъ энтузіазмомъ, два мечтателя, Герценъ и Огаревъ, дали другъ другу, въ духѣ Донъ-Карлоса и Позы, клятву посвятить всю жизнь свободѣ и народному благу. Шиллеръ навсегда остался въ глазахъ Герцена незамѣнимымъ, идеальнымъ вдохновителемъ юношества...

На порогѣ университетской поры, среди деревенскаго затишья подмосковной, Герценъ былъ застигнутъ,—какъ Гейне среди уединенія на сѣверномъ взморьѣ,—потрясающей вѣстью объ іюльской революціи. Началомъ всеобщаго освобожденія показалась она ему и его молодой братіи, и все, что переживалось тогда Франціею, въ обществѣ, политикѣ, воинствующей литературѣ, движенія, рѣчи, памфлеты, влекло, наполняло вѣрой, озаряясь яркимъ свѣтомъ. Печальный итогъ этихъ великихъ событій на дальнемъ Западѣ не смогъ ослабить преданности идеѣ, — онъ такъ же мало понизилъ энергію политической мысли, какъ усмиреніе польскаго возстанія, встрѣченнаго съ такимъ же сочувствіемъ, подѣйствовавшее, какъ и разгромъ декабризма, наоборотъ, чрезвычайно возбудительно. Въ страстномъ напряженіи недовольства, протеста, исканія, коснулась молодыхъ умовъ проповѣдь перваго, утопическаго соціализма и овладѣла ими. Сенъ-симонизмъ, уже пережившій во французскомъ обществѣ пору извѣстнаго вліянія, острыхъ столкновеній, борьбы, лишившійся и главнаго своего вдохновителя къ тому времени, когда его доктрина проникла въ герценовскій кружокъ, давалъ, казалось, отвѣты на всѣ насущные общественно-политическіе вопросы, и сталъ для него евангеліемъ соціальной справедливости. Сенъ-Симонъ явился для Герцена предтечей мыслителей и создателей соціальныхъ системъ, Пьера Леру (выступившаго сначала въ рядахъ сенъ-симонистовъ), Кабе, Фурье, Прудона, Оуэна и ихъ преемниковъ въ шестидесятыхъ годахъ, къ которымъ неудержимо влеклась мысль, ища отвѣта на коренныя нужды человѣчества. Между сенъ-симонистскимъ общественнымъ строемъ и порабощенной Русью тридцатыхъ годовъ зіяла глубокая бездна; приложеніе его основъ въ средѣ, гдѣ не было элементарныхъ гарантій сноснаго человѣческаго существованія, было бы немыслимо; доктрина подѣйствовала сначала общимъ, облагораживающимъ своимъ вліяніемъ, но, выдержавъ искусъ мистицизма, овладѣвшаго Герценомъ въ „тюрьмѣ и ссылкѣ“, она вывела его въ широкую область общественной работы; изъ мистики своей (по его же признанію) онъ вышелъ „не въ церковь, а въ революцію“.

Съ соціально-политическими интересами и изученіемъ естествознанія, оказавшаго впервые сильное вліяніе на выдающагося писателя и мыслителя русскаго [1]), увѣнчаннымъ много лѣтъ спустя „Письмами объ изученіи природы“ съ ихъ міровой картиной развитія мысли, яркими очерками главныхъ эпохъ научнаго прогресса, подвижничества, мученичества, молодой герценовскій періодъ соединялъ постоянный ростъ ши-

[1]) Пробѣлъ странный, но несомнѣнный, въ развитіи громаднаго большинства писателей нашихъ до середины девятнадцатаго вѣка. Въ 18 столѣтіи единственныя исключенія— Кантемиръ съ его сильнымъ интересомъ къ природѣ, руководимымъ Мопертюи, и Радищевъ. „Письма о природѣ“ Кантемира даже по титулу сходятся съ „Письмами объ изученіи природы“ Герцена.

рокаго изученія западной литературы. Разборы, размышленія, „философскія статьи“ объ ея важнѣйшихъ произведеніяхъ (напр., о „Валленштейнѣ“, объ „Общественномъ договорѣ“) занимали выдающееся мѣсто въ юношескихъ работахъ Герцена; они перешли въ студенческую пору, войдя въ програму кружка; первая печатная статья Герцена о Гофманѣ съ ея живой характеристикой современной нѣмецкой словесности и проповѣдью активной роли литературы — одинъ изъ кружковыхъ рефератовъ [1]). Ничто не остановитъ этого процесса; въ ссылкѣ, несмотря на неблагопріятнѣйшія условія, онъ все шире развивается. Переписка вятскаго времени и первые беллетристическіе опыты, возникающіе въ Вяткѣ и Владимірѣ, говорятъ о томъ. Шекспиръ съ его „Гамлетомъ“, „Божественная Комедія“, Шиллеръ, Жанъ-Поль, Гюго и французскіе романтики, Жоржъ-Зандъ, Гейне, такъ сильно повліявшій на „Записки одного молодого человѣка“, Сильвіо Пеллико съ его „Темницами“, Манцони съ „Обрученными“,—сложная, разнообразная литературная школа; въ связи съ возбуждающимъ дѣйствіемъ гоголевскаго направленія она разовьетъ художественное дарованіе Герцена, въ то время, какъ близкое соприкосновеніе съ темной сермяжной Русью, возрастающее знаніе дѣйствительной жизни укажутъ ему его призваніе. И навсегда сохранится въ его необычайно многосторонней натурѣ глубокое, вѣрное пониманіе европейской литературной исторіи въ ея выдающихся моментахъ, отразившееся въ „Быломъ и Думахъ“ въ рядѣ превосходныхъ характеристикъ [2]).

Все, что завѣщали и въ общественно-политическомъ движеніи и въ традиціяхъ просвѣтительной литературы предшествовавшія поколѣнія, начиная съ Радищева и его времени, все, что въ ближайшую пору исповѣдывало поколѣніе декабристовъ, чему послужилъ европеизмъ Кирѣевскаго и Чаадаева, казалось, сосредоточивалось на сильномъ и разностороннемъ умѣ этого одного человѣка. Сверстники его въ другихъ группахъ могли еще задержаться въ волшебномъ плѣну германской философіи и эстетики; еще Бѣлинскій не только не высвободился изъ-подъ ихъ тенетъ, но шелъ все дальше, до крайнихъ логическихъ выводовъ, въ осуществленіи наперекоръ господству зла и несправедливости, личнымъ неудачамъ и общимъ горестямъ, односторонне понятаго (что рѣшительно осуждали въ немъ даже близкіе люди и единомышленники, Бакунинъ, Станкевичъ въ своихъ письмахъ изъ-за границы) гегелевскаго догмата о „разумной дѣйствительности“, — въ Бакунинѣ еще не проявился политическій дѣятель, Константинъ Аксаковъ уже склонялся къ „національной романтикѣ“, но Герценъ, снова возсоединенный съ культурной жизнью, счастливо пройдя (съ извѣстнымъ опозданіемъ) черезъ искусъ гегельянства, припавъ съ новой силой къ источнику естествознанія, смѣнивъ сенъ-симонистское откровеніе новыми французскими соціальными

---

[1]) Другой образецъ этихъ работъ — рѣчь, напечатанная теперь (Былое, 1906, VII), „28 января“ (день смерти Петра Великаго), обставленная всемірно-историческими параллелями защита просвѣтительнаго переворота.

[2]) Очеркъ развитія литературнаго дарованія Герцена сдѣланъ въ моей книгѣ „Герценъ-писатель“. М. 1909.

мыслителями, уже твердо стоитъ на почвѣ „западничества". До окончательнаго возвращенія его изъ (второй) ссылки, до первыхъ словесныхъ боевъ въ московскомъ молодомъ станѣ и въ особенности до сближенія своего въ Петербургѣ съ прозрѣвшимъ Бѣлинскимъ, Герценъ былъ единственной опорой и главнымъ представителемъ (звѣзда Грановскаго съ его многолѣтнимъ широко культурнымъ и гуманнымъ проповѣдничествомъ, развившимся подъ сильнымъ вліяніемъ европейской науки, только что всходила) школы, которой предстояло такъ скоро овладѣть руководящимъ вліяніемъ на умы.

Въ рядахъ ея, казалось, суждено было занять раньше многихъ выдающееся мѣсто такому даровитому ученому, питомцу нѣмецкихъ университетовъ, какъ Владиміръ Печеринъ, мелькнувшій, какъ эллинистъ и знатокъ античной философіи, на каѳедрѣ московскаго университета, съ молоду идеалистъ, романтическій мечтатель, поклонникъ и переводчикъ Шиллера, восторженно привѣтствовавшій іюльскую революцію [1]), измученный всеобщей европейской ненавистью къ Россіи, какъ оплоту стараго порядка, повсемѣстной гонительницѣ свободы, но готовый, казалось, къ работѣ на пользу своего народа. Переломъ въ душѣ его, удрученной твердынею стараго порядка, и мучительная работа рефлексіи („я извлекъ изъ своего измученнаго сердца нѣсколько капель крови и подписалъ договоръ съ дьяволомъ,—писалъ онъ Строганову,—дьяволъ этотъ—мысль"; ему чудилось, что онъ слышитъ голосъ Бога: что ты здѣсь дѣлаешь? Здѣсь нѣтъ выхода, нѣтъ удовлетворенія. Встань, возьми въ руки мое святое знамя, иди съ нимъ. Ты падешь, но имя твое будетъ поминаться на ряду съ именами главныхъ подвижниковъ человѣчества") побудили его уйти „изъ страны деспотизма и гнета" (которую онъ изобразилъ въ своей, выполненной въ духѣ второй части гетевскаго „Фауста", поэмѣ „Торжество смерти", придавъ Николаю обликъ Поликрата, тирана Самосскаго) въ 1836 г., туда, гдѣ „начиналось всеобщее возрожденіе", и намѣченный уже культурный русскій дѣятель превратился (на ряду съ Ник. Тургеневымъ) въ предтечу нашей эмиграціи девятнадцатаго вѣка. Послѣ многихъ неудачъ и разочарованій Печеринъ четыре года спустя надѣлъ на себя рясу католическаго монаха, надѣясь найти въ религіи искомый выходъ... Напоминать ли развязку его судьбы? Проведя долгіе годы (редемптористомъ и траппистомъ) въ Англіи и Ирландіи, онъ въ 1864 г. вышелъ изъ рядовъ монашества и, сбросивъ съ себя его иго, снова вернулся къ русскимъ народнымъ задачамъ, увѣровавъ въ будущность

[1]) Въ рядахъ ея энтузіастовъ у насъ нельзя не поставить молодого Кологривова, о которомъ повѣдало въ наше время любопытное сенатское дѣло, изъ архивной пыли вызвавшее образъ горячаго поборника и сѣятеля свободы. Воспитанникъ любимаго грибоѣдовскаго педагога Іона и сынъ того „отца-командира", при которомъ произошло возрожденіе будущаго великаго писателя, юноша, устремившійся во Францію, не только всей душой отдался революціонному движенію, возглашая: „свобода или смерть!" но задумалъ поддержать его въ Испаніи, отправлялъ оружіе инсургентамъ, вербовалъ волонтеровъ, но въ Байоннѣ былъ остановленъ агентами Луи-Филиппа. Отказываясь явиться на вызовъ русскаго правительства, онъ, наконецъ, разбитый и несчастный, сдался русскому послу въ Берлинѣ. Сенатъ смягчилъ ему наказаніе, отдавъ его въ рядовые.

раскрѣпощенной Россіи, въ задушевныхъ стихотвореніяхъ, которыя посылалъ на родину, раскрывалъ горестное сознаніе своей непоправимой, трагической ошибки, рвался въ родной край, но не рѣшился отдать его обновленію свои утомленныя силы. Умеръ онъ въ 1885 году въ Дублинѣ [1]).

Когда отъ этого печальнаго примѣра самозакланія возвращаешься мысленно къ той порѣ, отъ которой съ отвращеніемъ отвернулся Печеринъ, тогда какъ это было начало періода „сороковыхъ годовъ",—зрѣлище возрождающейся жизненной энергіи, широкой культурной работы властно захватываетъ. Бѣлинскій въ Петербургѣ; геркулесовы столпы философскаго примиренія съ дѣйствительностью пройдены, обѣ послѣднія статьи этого направленія (нападки на Менцеля, — страшно запоздавшія, такъ какъ тѣмъ временемъ Менцель изъ демагога превратился въ охранителя, доносчика, „истребителя французовъ", по выраженію Бэрне, — перенесли оздоровляющее отъ „политики" ратоборство даже на нѣмецкую почву) привели въ роковой тупикъ; созерцаніе вблизи того процесса, которымъ творится для русскаго народа хваленая „дѣйствительность", разрушало всѣ иллюзіи. Сильное, руководящее вліяніе Герцена проявляется; живой духъ европейской современности коснулся наконецъ Бѣлинскаго, и „отверзлись вѣщія зѣницы".

На всемъ пространствѣ отъ первыхъ эстетико-философскихъ или политико-общественныхъ группировокъ до разлива движенія сороковыхъ годовъ оттѣнки западнаго литературнаго вліянія естественно мѣнялись. Господство Гете было сначала неоспоримо; шиллеровское служеніе волнующимъ вопросамъ свободы и народнаго блага порицалось, находя горячій отзвукъ только у „политиковъ". Обязательно было близкое знакомство со всѣми произведеніями Жанъ-Поля; въ журнальныхъ статьяхъ и въ дружеской перепискѣ анализировались фантасмагоріи Гофмана (нашедшаго среди старшаго писательскаго поколѣнія маетерского и самостоятельнаго послѣдователя въ лицѣ кн. В. Одоевскаго съ его „Пестрыми сказками", „Русскими ночами", въ фантастическомъ нарядѣ ихъ, устами своего Фауста, сумѣвшаго развить теорію „русскаго скептицизма" и вклада русской мысли въ міровую работу) [2]); величественное глубокомысліе Гете не давало прислушаться къ тонкой ироніи Гейне и къ геніально капризнымъ выходкамъ его противъ стараго порядка (Герценъ — исключеніе). Много обѣщавшая своими блестящими начинаніями и грубо раздавленная реакціонною травлею Германскаго Союза „Молодая Германія" [3]), предвѣстница соціальнаго направленія нѣмецкой литературы, почти не привлекала вниманія или (какъ въ статьѣ Бѣлинскаго о Мен-

---

[1]) О Печеринѣ—Герценъ, Былое и Думы, часть II; Записки Никитенка; книга Гершензона, Жизнь Печерина. 1911. Автобіографія Печерина — въ „Русскихъ Пропилеяхъ", изд. Гершензономъ, М. 1915.

[2]) Прекрасно выполненный анализъ „Р. Ночей" и оцѣнка своеобразнаго сочетанія въ нихъ идеалистической мистики, мечтательнаго націонализма, въ то время владѣвшаго Одоевскимъ, съ уваженіемъ къ европейской культурѣ, никогда не покидавшимъ автора „Ночей"— у П. Н. Сакулина, „Изъ исторіи русскаго идеализма. Кн. В. Ѳ. Одоевскій", 1913, т. I.

[3]) Ея злоключенія пересказаны въ книгѣ Prölss'a, „Das Junge Deutschland", 1894, у Лудвига Гейгера „Das Junge Deutschl. und die preussische Censur", 1900, и др.

целѣ) удостоивалась укоризненныхъ отпоровъ. Отголоски англійскаго бытового романа, вступившаго тогда въ столь важное по единомыслію съ политическимъ движеніемъ „двадцатилѣтіе“ (1830—1850), или жоржъ-зандизма съ его постановкой женскаго вопроса были еще очень слабы; для Диккенса готовъ былъ даже у Бѣлинскаго небрежный приговоръ, порицавшій его „буржуазность“ и словно не замѣчавшій его сродства съ гоголевскимъ направленіемъ; проповѣдь женской эманципаціи мало соотвѣтствовала выспреннему взгляду на женщину, который господствовалъ въ кружкѣ, и безконечному воздѣлыванію и взвѣшиванію вопросовъ чувства [1]).

Какая рѣшительная перемѣна въ симпатіяхъ и отзывахъ о литературѣ Европы, въ пониманіи не книжнаго и отвлеченнаго только, но живого и двигающаго массы умственнаго и художественнаго движенія настаетъ послѣ диференціаціи кружковыхъ силъ [2]) и наступленія петербургскаго періода дѣятельности Бѣлинскаго!.. Теперь ему кажутся странными „добросердечныя изліянія достолюбезнаго Жана-Поля Рихтера“, соболѣзнующаго женщинѣ, но считающаго ея долю неизбѣжною. Въ письмѣ къ Боткину (1842) онъ ставитъ Жоржъ-Зандъ выше всѣхъ нѣмцевъ въ пониманіи любви и считаетъ взгляды ея „откровеніемъ“; соціалистическій ея „Compagnon du tour de France“—„божественное произведеніе“; она—писательница геніальная, имѣющая значеніе во всемірно-исторической литературѣ. Въ ослѣпительномъ блескѣ сіяетъ Шиллеръ, какъ пѣвецъ освобожденія. Байронъ, котораго въ „Литературныхъ Мечтаніяхъ“ Бѣлинскій упрекалъ въ одностороннемъ объясненіи „бытія вселенной“, въ склонности изображать „муки сердца, адъ души“, является въ его глазахъ „Прометеемъ нашего вѣка, прикованнымъ къ скалѣ, терзаемымъ коршуномъ. Не кометой, блуждающей и безобразной, былъ онъ, а новымъ духомъ, поборавшимъ за человѣчество, съ пламеннымъ мечомъ въ рукѣ, съ эгидой будущей побѣды, близкаго торжества“.

По мнѣнію Бѣлинскаго, Беранже—французскій Шиллеръ. Онъ призналъ теперь значеніе „общественной, житейской поэзіи“ французовъ и ея представителя Гюго, глубоко оцѣнилъ любовь Гейне къ своему народу, которая вдохновляетъ его безпощадную дѣятельность сатирика, въ „Молодой Германіи“ призналъ „благородную дружину энтузіастовъ свободы“. Измѣнился взглядъ и на Диккенса. Со времени появленія важнѣйшихъ его произведеній, особенно съ романа „Домби и сынъ“, отзывы критика объ англійскомъ романистѣ получаютъ совершенно иной характеръ. Бѣлинскій не въ состояніи говорить о немъ спокойно и радуется тому, что, кромѣ Россіи, есть еще страна, гдѣ преобладаетъ живое реалистическое направленіе, и что русскій романъ участвуетъ отнынѣ въ европейскомъ движеніи. Даже забытый теперь

---

[1]) Эта сторона кружковой жизни характеризована въ статьѣ П. Н. Милюкова „Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“ (Изъ исторіи русской интеллигенціи, 1902).

[2]) Союзъ Станкевича распадается послѣ его смерти. Кетчеръ сближается съ его друзьями, Бакунинъ и Бѣлинскій—съ Герценомъ. Константинъ Аксаковъ опредѣленно вступаетъ въ старшую славянофильскую группу, обогатившуюся и другими пришельцами, въ родѣ Юрія Самарина, прошедшаго сначала также черезъ гегельянскій искусъ.

Куперъ поражаетъ его свѣжестью изображенія приволья американскихъ прерій и ихъ удалыхъ обитателей. Соціальные романы французскіе, Бальзака, Эжена Сю, открываютъ передъ нимъ новые, незатронутые міры страданій, нищеты, несправедливости; но безпощадная правда общественной картины и глубокая психологическая основа реализма Бальзака почему-то не указала критику въ великомъ французскомъ романистѣ, на ряду съ Диккенсомъ, достойнаго сверстника Гоголя [1])...

Съ общественнымъ направленіемъ, которое Бѣлинскій привѣтствуетъ и поддерживаетъ въ литературѣ, идетъ въ уровень изученіе соціальныхъ системъ и новыхъ теченій въ философіи. Для нихъ онъ покинулъ прежняго властителя думъ своихъ, иронически отзывается теперь о „Егорѣ Ѳедоровичѣ" (Гегелѣ), отвѣшивая шутливые поклоны его „философскому колпаку"; возврата на старую дорогу нѣтъ; корабли сожжены. Revue indépendante, издававшаяся Пьеромъ Леру вмѣстѣ съ Жоржъ-Зандъ, служила центральнымъ источникомъ вѣрныхъ свѣдѣній о современномъ прогрессѣ мысли. Друзья таинственно переписывались между собой о „Петрѣ Рыжемъ", скрывая подъ этимъ наивнымъ псевдонимомъ-переводомъ сильно вліявшаго на нихъ публициста; Бѣлинскаго одновременно знакомили съ дѣятельностью Леру, его журналомъ и соціалистической пропагандой такой свѣтскій человѣкъ, какъ Панаевъ, и серьезный Грановскій [2]).

Когда среди этого оживленія интересовъ къ европейской мысли и творчеству Бѣлинскому вспоминались его прежніе отзывы и приговоры, ему становилось „тяжело и больно"; онъ стыдился той „дичи, которую изрыгалъ въ неистовствѣ противъ французовъ,—этого энергичнаго, благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права человѣчества". Казалось, что онъ „проснулся, и ему страшно вспомнить о снѣ" [3]). Но весь кругозоръ его расширился. При содѣйствіи такихъ шекспироманов, какъ Боткинъ и Кронебергъ, онъ глубже прежняго изучилъ Шекспира, знакомился съ европейской литературой о немъ. „Снова возникли во всемъ блескѣ лучезарнаго величія колоссальные образы Фихте и Шиллера, этихъ пророковъ человѣчности, этихъ жрецовъ вѣчной любви и вѣчной правды, не въ одномъ книжномъ сознаніи и браминской созерцательности, а въ живомъ и разумномъ That" [4]).

---

[1]) Бальзака стали переводить съ 1835 года, и до 1848 шла непрерывная переводная работа, въ журналахъ и отдѣльныхъ изданіяхъ (переводъ Eugénie Grandet, 1844, первый трудъ Достоевскаго). Въ подлинникѣ (особенно благодаря бойкимъ брюссельскимъ контрафакціямъ, всюду проникавшимъ) романы Бальзака, какъ и Жоржъ Зандъ, буквально затопляли въ тѣ годы русскій книжный міръ. Сначала подѣйствовала возбуждающая острота сужденій „Physiologie du mariage"; потомъ раскрылось величіе „Человѣческой комедіи",—и изъ нея „Peau de chagrin" чуть ли не болѣе всего.

[2]) Въ послѣднее время Леру и его ученіе, въ которомъ равенство, коллективная собственность, общинное самоуправленіе, обязательность труда и т. д. соединялись съ поэтическимъ пантеизмомъ, стали снова предметомъ изученія. Ср. книгу Thomas, „Pierre Leroux, sa vie, sa doctrine". P., 1904.

[3]) Бѣлинскій, Письма, изд. подъ ред. Ляцкаго, 1914, II.

[4]) Тамъ же, II, 230.

Съ удивительной способностью вдохновлять, возбуждать умственную энергію, Бѣлинскій передалъ свой, сложившійся окончательно европеизмъ молодежи, группировавшейся въ обоихъ его журналахъ, видѣвшей въ немъ вождя, вошедшей въ жизнь и литературу при его напутствіи. Западничество, сперва располагавшее лишь силами первоначальнаго дружескаго кружка, развивалось благодаря притоку новыхъ, свѣжихъ силъ.

Недавній берлинскій студентъ и затѣмъ странникъ по Германіи и Италіи, Тургеневъ былъ для Бѣлинскаго замѣной утратъ, понесенныхъ имъ послѣ выселенія изъ Москвы, и привлекъ его уже разсказами о своихъ встрѣчахъ и бесѣдахъ съ Станкевичемъ въ Берлинѣ и Римѣ; онъ принесъ вѣсти о новыхъ движеніяхъ въ нѣмецкой философіи, расположилъ къ себѣ и тою горячностью, съ которой „бросился головой внизъ въ европейское море", и готовностью отдать свои силы русскому дѣлу. Быстро пройдя, еще въ пору своего русскаго студенчества, черезъ стадію близкаго копированія европейскихъ образцовъ, когда во вкусѣ Байрона онъ могъ написать (1834) „фантастическую драму въ пятистопныхъ ямбахъ подъ заглавіемъ *Стено*", въ которой Плетневъ нашелъ „съ дѣтской неумѣлостью подражаніе Манфреду" [1]), Тургеневъ подъ сильнымъ вліяніемъ западнаго культурнаго возбужденія уже затрогивалъ насущные вопросы русскаго народнаго развитія, въ школѣ Бѣлинскаго и Герцена укрѣплялся въ убѣжденіяхъ западничества, отстаивалъ ихъ въ спорахъ съ славянофилами. Въ раннемъ стихотвореніи „Разговоръ" онъ сильными штрихами намѣтилъ рознь между старымъ и новымъ поколѣніемъ, между сторонниками прадѣдовской морали и молодежью, томимой жизнью, разочарованной, но смутно вѣрующей въ прогрессъ [2]); воспитывающее вліяніе кружка „Отечественныхъ Записокъ", впечатлѣнія общественно-политическаго подъема, наканунѣ революціонныхъ движеній 1848 г., на Западѣ, куда онъ снова вернулся, широко развивавшееся изученіе европейской литературы, соціальныхъ ученій, исторической науки, новыхъ теченій въ философіи, указали ему исходъ [3]).

---

[1]) Тургеневъ, Литературныя и житейскія воспоминанія. Сочин., I, 6. Драма напечатана въ „Русскихъ Пропилеяхъ", томъ третій, 1915.

[2]) Я спрашиваю васъ, говоритъ молодой человѣкъ:

...Я спрашиваю васъ,
О, предки наши! Что для насъ
Вы сдѣлали? Скажите намъ:
Вотъ — нашимъ доблестнымъ трудамъ
Благодаря — смотрите — вотъ
Насколько выросъ нашъ народъ...
Что жъ? Отвѣчайте намъ... Увы!
Какъ ваши внуки, на покой
Безсмысленный спѣшили вы
Съ работы трудной, но пустой.

[3]) Переписка его за это время полна указаній на большую работу мысли; изучены Фейербахъ, Мишле, Луи Бланъ, изъ старыхъ авторовъ его необыкновенно увлекаетъ Паскаль онъ предался даже изученію испанской литературы и въ подлинникѣ читаетъ Кальдерона.— Lettres à m-me Viardot, publ. par Halpérine-Kaminsky, 1907.

Возбужденная литературнымъ изображенiемъ чужого, французскаго и нѣмецкаго деревенскаго быта возникла тогда русская народная повѣсть. Ей проторилъ дорогу починъ бытовой повѣсти, замѣтный къ началу сороковыхъ годовъ и во французской, и въ нѣмецкой романической литературѣ. Въ своихъ „Крестьянахъ" (Les Paysans), появившихся въ 1844 году, Бальзакъ съ смѣлымъ и безпристрастнымъ реализмомъ посвятилъ читателя въ тайны „власти земли" надъ французскимъ крестьяниномъ, показавъ ростъ заговора жителей цѣлой округи противъ магната-помѣщика, ежедневную настойчивую войну ихъ съ нимъ, аграрныя убiйства, приводящiя къ спѣшной продажѣ земли противникамъ и выселенiю пришельца. Прямыхъ, ближайшихъ побѣговъ не имѣла во французской повѣсти эта рѣзко-правдивая живопись съ натуры, хотя первенство въ твердой постановкѣ бытового деревенскаго разсказа несомнѣнно остается за нею. Мысль, лежавшая въ ея основѣ, развилась въ связи съ однороднымъ нѣмецкимъ движенiемъ.

Тургеневъ въ предисловiи къ русскому переводу ауэрбаховскаго романа „Дача на Рейнѣ" призналъ, что „честь почина" въ изображенiи деревенскаго быта „осталась за Ауэрбахомъ". Начатые въ 1843 году и въ нѣсколькихъ серiяхъ растянувшiеся до 1854 года, „Шварцвальдскiе Деревенскiе Разсказы" его, не задаваясь требованiями единой, рѣзко, трагически завязанной фабулы, какъ у Бальзака, но проводя во многихъ очеркахъ образы, типы, картины изъ жизни деревни, ставили вопросъ шире, вводили цѣлую область быта въ беллетристику. То воздерживаясь отъ преувеличенiй и усиленiя красокъ въ какую бы то ни было сторону и фотографируя деревню, какъ она есть, то невольно поддаваясь искушенiю чувствительной идеализацiи, „Dorfgeschichten" сослужили въ свое время немалую службу, — и не въ одномъ своемъ отечествѣ. Познакомившись съ ними, Жоржъ-Зандъ, покидавшая съ 1840 г. личный и „женскiй" романъ для изученiя и освѣщенiя забытыхъ и обездоленныхъ общественныхъ слоевъ (рабочаго мiра—въ „соцiалистическомъ" романѣ „Le compagnon du tour de France", деревни—начиная съ „Jeanne", перешла сознательно и послѣдовательно на путь народной повѣсти; французское крестьянство въ его подлинномъ быту, такъ близко знакомомъ Жоржъ-Зандъ (плебейкѣ по матери и до глубокой старости сохранившей живыя связи съ земляками—Берришонами), но въ мягкомъ, гуманномъ освѣщенiи, внушенномъ идеалистическимъ братолюбiемъ [1]) и надеждой тѣмъ сильнѣе подѣйствовать на общество, достигнуть слiянiя, уничтоженiя классовой розни, выступило въ повѣстяхъ „Le meunier d'Angibault", „La mare au diable", „La petite Fadette", „François le Champi", наконецъ, 1853, въ „Les maîtres sonneurs".

Таковы образы, вызвавшiе появленiе первыхъ деревенскихъ очерковъ,—„Хоря и Калиныча" Тургенева и „Деревни" Григоровича, отдѣ-

---

1) Французская критика признаетъ, что вполнѣ реальнаго изображенiя крестьянство дождалось лишь въ наше время подъ перомъ Фердинанда Фабра (романы „Mon oncle Celestin", „Les Courbezon").

ленныхъ всего однимъ мѣсяцемъ другъ отъ друга, и первой народной *повѣсти* Григоровича, „Антонъ Горемыка“. Гуманная мысль, сложившаяся подъ сильными впечатлѣніями рабовладѣнія и насильничества и приведшая Тургенева къ его „аннибаловой клятвѣ“, воспользовалась художественно-моральной поддержкой извнѣ, чтобы въ указанную форму влить русское содержаніе со всѣми его ужасами и несправедливостями, но и съ наличнымъ составомъ народной психологіи, живыми, типическими лицами и нравами, тьмою и свѣтомъ. Черноземная Русь съ ея природой, людьми и бытовымъ строемъ раскинулась въ „Запискахъ Охотника“. Едва очерченная Пушкинымъ, не затронутая вовсе Гоголемъ, въ Далевскихъ раннихъ разсказахъ русскаго быта, давшая лишь матеріалы для этнографическаго анекдотизма, жизнь крестьянства вошла въ литературу благодаря „европейцамъ“ Григоровичу и Тургеневу, на первыхъ же шагахъ его въ этомъ направленіи поддержанному Бѣлинскимъ; двадцать два бытовыхъ разсказа (вмѣстѣ съ тѣмъ и пять комедій изъ русской жизни) были написаны Тургеневымъ во Франціи, въ 1847—50 годахъ, преимущественно у Віардо, въ Куртавнелѣ [1]).

Тотъ же процессъ становился все замѣтнѣе въ современной поэзіи; общественныя стремленія, отраженія народности, охватываютъ ее столь же сильно, какъ и повѣсть, но не малое вліяніе на нея оказали европейскія возбужденія. Народничеству Некрасова предшествовали его байронизмъ и лермонтовскіе отголоски юношескаго сборника „Мечты и звуки“, лирикѣ Огарева—вліяніе Гейне и новой нѣмецкой поэзіи; въ общемъ прогрессѣ соціальныхъ идей сороковыхъ годовъ растетъ новая поэзія, все шире развивая лермонтовскія и кольцовскія традиціи, и выступаетъ противъ приниженности народа, горькой доли русской женщины.

Съ глубокимъ чувствомъ вспоминалъ Салтыковъ впослѣдствіи [2]) о томъ, какъ, войдя въ жизнь, онъ примкнулъ къ тому кружку западниковъ, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи, „разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и въ особенности Жоржъ-Зандъ. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ“. Это убѣжденія цѣлаго поколѣнія писателей; освободительное дѣйствіе общественно-политическихъ идей шло въ связи съ вліяніемъ новыхъ теченій въ литературѣ, особенно въ романѣ; возбуждающій починъ деревенской повѣсти входитъ въ кругъ общаго вліянія французскаго и англійскаго соціальнаго романа 30—40-хъ годовъ. Достоевскій, смолоду „бредившій Шиллеромъ“, еще не зналъ Тургенева, не могъ слышать отъ него восторженнаго возгласа: „Жоржъ-Зандъ одна изъ нашихъ свя-

---

[1]) Этотъ періодъ дѣятельности Тургенева, наиболѣе плодовитый, изученъ въ статьѣ Н. Гутьяра „Тургеневъ во Франціи, 1847—50“, Вѣстн. Евр., 1902, XI.

[2]) „За рубежомъ“. Въ еще болѣе позднихъ „Мелочахъ жизни“ (гл. 5) высказываетъ онъ благодарную память о „старинныхъ утопистахъ, вліяніе которыхъ на общество чувствуется и теперь, хотя и до сихъ поръ задача о новыхъ основаніяхъ заставляетъ метаться человѣчество въ уныніи и безнадежности“.

тыхъ“ [1]), но шестнадцати лѣтъ прочелъ „Ускока“, и „былъ въ лихорадкѣ всю ночь“ [2]), потомъ постепенно влюблялся въ нее, сберегъ эту юношескую страсть до конца жизни, и среди тусклыхъ, старческихъ разглагольствій своего „Дневника Писателя“ посвятилъ нѣсколько задушевно написанныхъ страницъ памяти скончавшейся писательницы [3]). Жоржъ-Зандъ и „великій Бальзакъ, характеры котораго—произведенія ума вселенной“ [4]), на ряду съ Гоголемъ были образцами для „Бѣдныхъ людей“, „Неточки Незвановой“ и другихъ начальныхъ его работъ, проникнутыхъ участливымъ отношеніемъ къ меньшей братіи. „Поленька Саксъ“ Дружинина, возбудившая когда-то столько надеждъ, особенно близка къ своему первообразу, жоржъ-зандовскому „Жаку“, но свободно отъ романтическихъ украшеній оригинала, самоотверженной смерти героя повѣсти и т. д. ставитъ фабулу въ среду русскаго чиновничества, дѣлаетъ героя непонятымъ и неподдержаннымъ борцомъ за честность и гуманность среди взяточниковъ и крѣпостниковъ, отвергнутымъ женой, которую онъ хотѣлъ поднять до высоты своихъ идей. Повѣсти Нестроева (Кудрявцева), временъ Телескопа и Московскаго Наблюдателя, столь восхищавшія Бѣлинскаго („Флейта“, „Катенька Пылаева“ и др.), вели въ жоржъ-зандовскомъ духѣ защиту женской личности,—а навстрѣчу этой гуманной пропагандѣ выступила изъ женскихъ рядовъ такая неутомимая поборница освобожденія женщины, какъ Зенеида Р-ва (Елена Ганъ), с большимъ цикломъ романовъ (Напрасный даръ, Теофанія Аббіаджіо и мн. др.), гдѣ семейная, общественная, идейная неволя русской женщины послѣдовательно раскрывалась въ слабыхъ художественно, но необыкновенно искреннихъ, пережитыхъ, передуманныхъ, отраженіяхъ жизни, поддержанныхъ сильнѣйшимъ вліяніемъ Жоржъ-Зандъ,—и починъ этотъ вызвалъ рядъ послѣдовательныхъ выступленій новой „женской“ активной беллетристики, Евгеніи Туръ, В. Крестовскаго (псевд.), Жадовской и др. Для Гончарова Жоржъ-Зандъ не имѣла той притягательной силы, которая взволновала все его поколѣніе; онъ цѣнилъ ея художественный талантъ, но не ставилъ выше всего ея идей; другіе образцы отвѣчали

---

[1]) Радостно отвѣчая (1872) на посвященіе ему повѣсти Ж.-Зандъ „Pierre Bonnin“, въ которомъ авторъ съ глубокимъ сочувствіемъ оцѣнилъ „Записки Охотника“, Тургеневъ говоритъ о „громадномъ вліяніи, которое Ж.-З. имѣла на него, какъ писателя“. Jean Tourgueneff d'après sa correspond. avec ses amis français, 1901, p. 154.

[2]) О. Миллеръ и Н. Страховъ. Біографія, письма и замѣтки изъ записной книжки Ѳ. М. Достоевскаго, 1883, 33.

[3]) „Прочтя о смерти Жоржъ-Зандъ, я понялъ, что значило въ моей жизни это имя,—сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій, и сколько далъ когда-то радостей, счастья!.. Это одна изъ нашихъ современницъ, вполнѣ идеалистка 30-хъ и 40-хъ годовъ, это одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго, самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія, полнаго самыхъ невыясненныхъ идеаловъ и самыхъ неразрѣшимыхъ желаній, именъ, которыя, возникнувъ тамъ, въ странѣ святыхъ чудесъ, переманили изъ нашей вѣчно создающейся Россіи слишкомъ много думъ, любви“. Среди московскихъ беллетристовъ славянофильскаго оттѣнка такимъ же благоговѣніемъ къ Жоржъ-Зандъ отличался Писемскій.

[4]) Біографія и письма Достоевскаго, изд. О. Миллеромъ и Страховымъ, 1883, 32.

требованіямъ трезваго реалистическаго описанія—Диккенсъ и Бальзакъ, и въ замыслѣ гончаровскаго первенца, „Обыкновенной Исторіи“, много сходства съ судьбою бальзаковскаго Растиньяка (въ романѣ „Père Goriot“), съ наивной довѣрчивостью принесшаго на жертву Молоху—Парижу свои мечты и душевную свѣжесть, затянутаго въ житейскую тину, опошленнаго и обезличеннаго [1]). Выступая одинъ за другимъ на работу, романисты „натуральной школы“ ставили себѣ задачей точное изображеніе русской жизни; въ каждомъ изъ нихъ тогда готовы были найти прямого преемника Гоголя [2]), но, хотя, идейно связанные съ его дѣломъ, они самостоятельно развивали его дальше,—все же боковыя вѣтви ихъ родословной не менѣе тѣсно связывали ихъ съ европейскимъ романомъ, въ особенности французскимъ. До той поры, пока они не сознаютъ вполнѣ своихъ силъ и не проявятъ ихъ свободно и самостоятельно, ихъ творчество неотдѣлимо отъ западной словесности. Такъ, даже въ *Рудинѣ*, имѣя передъ собой близко изученный имъ прототипъ героя повѣсти въ Бакунинѣ, и среду — въ московскихъ студенческихъ кружкахъ стараго времени, Тургеневъ не могъ обойти жоржъ-зандовскаго Ораса, „благороднаго фразера, увлекающаго другихъ и самого себя своей мнимой горячностью и пылкими рѣчами, и неспособнаго ни на какое настоящее дѣло“ [3]). И долго слышались такіе отзвуки жоржъ-зандизма; Салтыковъ вѣренъ ему въ своей первой повѣсти „Противорѣчія“, Писемскій въ „Боярщинѣ“; Мих. Авдѣевъ въ двухъ своихъ лучшихъ романахъ, „Подводномъ камнѣ“ и „Между двухъ огней“ стоялъ на почвѣ ея защиты свободы чувства и женской самодѣятельности; Чернышевскій въ „Что дѣлать?“ „почти цѣликомъ воспроизводилъ подчасъ мысли и разсужденія свободолюбиваго и самоотверженнаго героя Жоржъ-Зандъ“ (Жака) [4]); вліяніе ея сказалось и въ „Прологѣ пролога“, написанномъ Чернышевскимъ въ Сибири.

Но по силѣ, глубинѣ и широкому захвату умственнаго интереса, надъ убѣжденнымъ европеизмомъ передовой беллетристики второй половины сороковыхъ годовъ, вдохновленной Бѣлинскимъ, съ ея стремленіями служить насущнымъ русскимъ общественнымъ нуждамъ, не поступаясь художественностью, возвышается непрерывно прогрессирующее въ сороковые годы западничество Герцена, въ непривычномъ русскому читателю

---

[1]) André Mazon („Un maître du roman russe. Iv. Alex. Gontcharov“, 1914, с. 325) указываетъ у Бальзака другой источникъ „Обыкнов. Исторіи“,—романъ „Illusions perdues“; онъ сроденъ, конечно, также по мысли, но съ сильнымъ перевѣсомъ разочарованности и опошленія именно писателя, затянутаго развращенностью столичной прессы.

[2]) Отдавая „Бѣдныхъ людей“ Бѣлинскому, Некрасовъ съ восторгомъ возвѣстилъ ему, что новый Гоголь народился. „Что у васъ Гоголи точно грибы родятся!“ иронически воскликнулъ критикъ. Извѣстно, съ какимъ энтузіазмомъ онъ присоединился, однако, къ этой сочувственной оцѣнкѣ.

[3]) Владим. Каренинъ, „Жоржъ-Зандъ“, 1899.—Яркую характеристику Ораса сдѣлалъ Герценъ въ статьѣ „Оба лучше“ или „Барнумъ и Орасъ“, помѣщенной анонимно въ Спб. Вѣдомостяхъ 1857 г., № 206 и не вошедшей въ женевское собраніе сочин. Герцена. Ср. также оцѣнку Ораса въ Дневникѣ Герцена, Сочиненія, I, 29—30.

[4]) Г. В. Плехановъ. „Н. Г. Чернышевскій“, 1909, с. 72.

сочетании совмѣщавшее дѣятельность романиста, публициста, философа естествознанія, критика, изслѣдователя вопросовъ соціальныхъ. Душевная драма въ „Кто виноватъ“,—важнѣйшемъ явленіи въ русскомъ психологическомъ романѣ послѣ „Героя нашего времени“,—характеры ея участниковъ и дышащая реальной правдой картина среды взяты изъ жизни, но на разработкѣ вопроса о любви и женщинѣ, о правахъ женской личности (которому посвящены, въ связи съ романомъ, повѣсти „Сорока-воровка“ и „Долгъ прежде всего“ (въ „Прерванныхъ разсказахъ“), глубокія размышленія „Капризовъ и раздумья“ и статьи по „Поводу одной драмы“), на характеристикѣ гибнущей Любоньки, на самомъ освѣщеніи рокового конфликта видны слѣды идейнаго вліянія Жоржъ-Зандъ, не миновавшаго и этого независимаго ума. Блескъ его журнальной публицистики, боровшейся то съ „дилеттантами-романтиками“ въ наукѣ, то съ учеными „буддистами“, широкая картина многовѣковой эволюціи философіи и естествознанія въ „Письмахъ объ изученіи природы“, первые очерки изъ путешествія въ Европу („Письма изъ Avenue Marigny“ въ Современникѣ 1847 года) [1]), достойные стать наравнѣ съ парижскими корреспонденціями Бэрне и Гейне, — все полно разнообразнѣйшихъ возбужденій, идущихъ отъ европейской мысли, творчества, политическихъ движеній.

Путешествіе на западъ, къ источнику современной культуры, было естественнымъ завершеніемъ страстно напряженнаго влеченія къ ней, проникшаго всю сознательную жизнь Герцена съ первыхъ же ея проявленій. Несомнѣнныя предвѣстія близкаго всеобщаго переворота наполняли душу трепетнымъ и мощно возбуждающимъ ожиданіемъ. Впечатлѣнія литературной, научной, художественной жизни блѣднѣли передъ грядущей силой народнаго освобожденія, торжества справедливаго и свободнаго соціальнаго переустройства. Въ лицѣ Герцена явился среди передовыхъ европейскихъ круговъ первый энергическій посредникъ между русской общественной мыслью и новой культурной Европой, требовавшій для народа своего равноправной доли въ борьбѣ за свободу, раскрывавшій въ рядѣ блестящихъ памфлетовъ (Du développement des idées révolutionnaires en Russie, письмо къ Мишле „Русскій народъ и соціализмъ“ и др.) великое значеніе — на ряду съ общинной идеей — народно-освободительной роли русской литературы, — чуткій, подготовленный къ своему призванію, равноправный съ выдающимися дѣятелями Запада, — вскорѣ сотрудникъ газеты Прудона Voix du peuple, близкій съ нѣмецкими политическими вождями и дѣятельный участникъ въ ихъ радикальныхъ изданіяхъ [2]), съ Мадзини, Кошутомъ, всѣмъ разноплемен-

[1]) Дальнѣйшія письма явились лишь въ 1850 г. въ нѣмецкомъ переводѣ, вмѣстѣ съ первыми, отдѣльной книгой въ Гамбургѣ; вмѣстѣ образовали они собою „Письма изъ Франціи и Италіи“.

[2]) Въ Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben, издававшейся въ 1850—51 г. членами крайней лѣвой бывшаго франкфуртскаго парламента. Объ этихъ отношеніяхъ Герцена ср. статью Ю. Каменева „Самый остроумный противникъ Герцена, Рейнгольдъ Зольгеръ“, Вѣстн. Европы, 1914, IV.

нымъ цвѣтомъ эмиграціи [1]). Вокругъ очага всеобщаго движенія народовъ, Парижа, сошлись былые члены московскихъ юношескихъ западническихъ кружковъ, Герценъ, Сазоновъ, развившій большую публицистическую дѣятельность во французской соціалистической прессѣ, позже сотрудникъ „Tribune des peuples" Мицкевича, Тургеневъ, Бакунинъ, неузнаваемый въ своемъ превращеніи изъ былого гегелевскаго пророка въ борца противъ реакціоннаго теченія въ философіи, водворяемаго Шеллингомъ [2]), противъ политической реакціи, и наконецъ въ революціоннаго агитатора, съ живыми связями съ швейцарскимъ радикальнымъ движеніемъ, польской эмиграціей, Прудономъ, до пріѣзда Герцена во Францію уже занявшій опредѣленное мѣсто въ первыхъ революціонныхъ рядахъ.

Трагическій исходъ февральской революціи, мстительное ополченіе имущихъ классовъ противъ народа, кровавая междоусобная расправа и усиленное, безпощадное нашествіе реакціи потрясающе подѣйствовали на русскихъ свидѣтелей. Бакунинъ нашелъ для себя выходъ въ новыхъ возбуждающихъ планахъ, съ которыми онъ понесся въ Германію и Австрію, сыгравъ видную роль въ славянскомъ съѣздѣ, пражскомъ возстаніи, пропагандѣ общеславянской федераціи, пятидневной своей диктатурѣ во время дрезденской революціи. Для Тургенева уединеніе въ французскомъ провинціальномъ затишьѣ, полное труда надъ бытовыми русскими очерками, призванными содѣйствовать освободительному движенію, и помысловъ, посвященныхъ далекой и несчастной родинѣ, которые сберегли въ немъ до лучшихъ дней вѣру въ настоятельность широкихъ преобразованій, готовность служить имъ, дало возможность пережить печальныя испытанія 1848 года, отзвукъ которыхъ такъ долго слышался потомъ въ его произведеніяхъ [3]). Для Герцена катастрофа французскаго переворота, вызвавшая наружу все темное, несправедливое, эгоистическое, что вмѣщалъ въ себѣ привлекавшій его культурный строй, стала кризисомъ его давнихъ убѣжденій, отъ котораго не могли бы уберечь его ни горячность агитаціи въ духѣ Бакунина, ни сосредоточенный творческій трудъ, подобный тургеневскому. Изъ Парижа, гдѣ ему стало „невыносимо тяжело", онъ переселился въ Италію; пошли годы скитаній и непрерывной работы мысли. Трагическая сила безвыходности возмущала и мучила. Съ острой болью вспоминались ему столь же потрясающіе моменты, пережитые предшественниками въ борьбѣ за тѣ же идеалы. „Разрывъ, который Байронъ чувствовалъ, какъ поэтъ и геній, сорокъ лѣтъ назадъ, послѣ ряда новыхъ испытаній, послѣ грязнаго перехода съ 1830 къ 1840 г. и гнуснаго съ 1848 до сегодняшняго

---

[1]) Объ отношеніяхъ его къ важнѣйшимъ представителямъ европейской литературы, политики, соціализма—Гершензонъ, „Образы прошлаго" (Герценъ и западъ) съ многочисленными письмами. Письма Герцена къ Эдгару Кинэ — въ статьѣ М. Ковалевскаго, „За рубежомъ", Вѣстн. Европы, 1914, мартъ.

[2]) Кромѣ страстно написанной статьи „Elizard'a" знаменательна брошюра Бакунина „Schelling und die Offenbarung, Kritik des neuesesten Reaktionsversuchs gegen die Philosophie".

[3]) Конецъ „Рудина", „Наши послали", „Человѣкъ въ сѣрыхъ очкахъ".

дня,—писалъ онъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ,—поразилъ теперь многихъ, и мы, какъ Байронъ, не знаемъ, куда дѣться, куда приклонить голову. Байронъ видѣлъ, что выхода нѣтъ, и гордо высказалъ это".

Герценъ нашелъ выходъ, придя къ нему послѣ безпощаднаго пересмотра и пересозданія своихъ вѣрованій; онъ пришелъ къ дорого стоившему ему рѣшенію провозгласить гибель старой Европы, къ „протесту независимой личности противъ воззрѣнія устарѣлаго, рабскаго и полнаго лжи, противъ нелѣпыхъ идоловъ, принадлежащихъ иному времени и безсмысленно доживающихъ свой вѣкъ" [1]), и къ новому исповѣданію. Русскій народный строй, съ сбереженными въ глубинѣ его соціальными основами, которыя обѣщали разрѣшеніе назрѣвшихъ въ Европѣ, но, казалось, неодолимыхъ для нея, коренныхъ соціальныхъ вопросовъ самостоятельнымъ путемъ, безъ судорогъ и кровавыхъ потрясеній, явился цѣлительнымъ прибѣжищемъ, залогомъ избавленія. „Странническая Одиссея" Герцена приводила къ „духовному возвращенію его на родину"; развивалась и крѣпла негаданная у него прежде идея мессіанизма, „русскаго соціализма". Но и послѣ тяжело пережитаго кризиса, широко понятый, въ своихъ основахъ, какъ совокупность всего культурнаго наслѣдія Запада, всѣхъ многовѣковыхъ, обращенныхъ ко всему человѣчеству, завѣтовъ его вождей въ наукѣ, общественности, творчествѣ, европеизмъ Герцена не пострадалъ и отъ страстнаго поворота въ сторону народности. Поселеніе въ Англіи, вліяніе духа и формъ ея свободы, школа боевой политики указали опредѣленные пути борьбы за народныя нужды, столь насущной среди начавшагося, послѣ крушенія николаевскаго режима, обновленія Россіи. Съ начала лондонскаго періода дѣятельности Герцена развивается все шире, вліятельнѣе, полезнѣе, „европейски-національное" направленіе ея, съ подъемомъ живой самодѣятельности родного народа въ выработкѣ свободнаго строя и съ введеніемъ въ эту творческую работу лучшаго достоянія европейскаго прогресса, который долженъ поступиться для нея всѣми испытанными на дѣлѣ двигательными силами, орудіями и средствами. Въ годы публицистической диктатуры Герцена съ его „Колоколомъ" и Полярной Звѣздой старое московское западничество, перерожденное и обновившееся, получило, казалось, рѣшающее, всеобщее значеніе [2]). Чуждое національной исключительности и въ постоянной связи съ руководящими силами главнѣйшихъ культурныхъ народовъ, оно вводило въ борьбу и въ проповѣдь самостоятельнаго русскаго развитія испытанные пріемы европейскихъ общественныхъ движеній, — и только къ концу жизни Герцена, ставшаго свидѣтелемъ космополитическихъ массовыхъ теченій и новообразованій въ рабочемъ мірѣ, ослабѣла вѣра въ мессіанизмъ Россіи, снова взялъ

---

[1]) „Съ того берега", посвященіе.

[2]) Развитіе соціально-политическихъ взглядовъ Герцена изслѣдовано въ цѣнной работѣ Otto Sperber'a „Die socialpolitischen Ideen Alexander Herzens", Leipzig, 1894.—Ср. также „Западный соціализмъ и русскій соціализмъ Герцена", ст. Н. Русанова, Рус. Богатство, 1909, VII—VIII.—Характеристика герценовскаго мессіанизма, С. Гессена, въ сборникѣ „Vom Messias. Kulturphilosophische Essays", Leipz., 1909.

верхъ широкій общечеловѣческій кругозоръ и умеръ онъ, словно завидѣвъ уже обѣтованную землю...

Всеобщее политическое броженіе 1848 года, которое должно было сложнымъ путемъ привести Герцена къ его новому исповѣданію и затѣмъ къ дѣятельности лондонской „вольной русской печатни", дальнимъ и ослабленнымъ своимъ отросткомъ захвативъ русское общество, вызвало въ немъ замѣтное оживленіе интересовъ и сочувствій къ освободительному почину Запада, въ особенности Франціи. „Histoire de dix ans" и „Organisation du travail" Луи Блана были у всѣхъ въ рукахъ; Кабе, Фурье, сошедшій со сцены за десять лѣтъ передъ тѣмъ, Робертъ Оуэнъ, Прудонъ, находили горячихъ поклонниковъ; но и новѣйшія брошюры и трактаты, вызванные во Франціи злобой дня, несмотря на всякія преграды, проникали къ намъ. Большая, искусно составленная въ цѣляхъ политическаго самообразованія, дѣятельно пополнявшаяся и предназначенная къ распространенію среди широкихъ слоевъ населенія, летучая библіотека Петрашевскаго (ея составъ, записи выданныхъ изъ нея книгъ были подробно выяснены слѣдственной комиссіей) одна уже можетъ служить показателемъ сильно возбужденнаго интереса. Мысль, заявленная въ кружкѣ петрашевцевъ Спѣшневымъ о необходимости „печатать за границей запрещенныя книги и устроить тайную типографію" отразила въ себѣ нетерпѣніе, порою охватывавшее жаждою пропаганды сторонниковъ французской соціальной науки.

Число ихъ разрасталось съ большей интенсивностью, чѣмъ идеалистическіе кружки въ Москвѣ тридцатыхъ годовъ; множились группы и сочетанія политиковъ. О тѣхъ же вопросахъ, системахъ, ученіяхъ говорили, обсуждая ихъ, развивая свое гражданственное образованіе, словно къ чему-то готовясь, въ кружкѣ педагога Иринарха Введенскаго, гдѣ уже тогда выдвигались такія молодыя силы, какъ студентъ Чернышевскій и Благосвѣтловъ, въ группахъ Дурова, Кашкина, наконецъ въ обширнѣйшемъ изъ всѣхъ кружкѣ Петрашевскаго. Но и въ такомъ, очевидно, сначала чисто-литературномъ союзѣ, какъ кружокъ, въ которомъ первенствующую роль играли поэтъ Аполлонъ Майковъ и Достоевскій (о существованіи его говорятъ и данныя, собранныя слѣдствіемъ, называющимъ его кружкомъ „Ламартинистовъ"), политическіе интересы взяли верхъ,—и изъ него перешли къ Петрашевскому и Достоевскій, и Валеріанъ Майковъ, въ своей краткой, прерванной раннею смертью, дѣятельности критика, призванный, казалось, развивать проповѣдь Бѣлинскаго, и наиболѣе примѣчательный, какъ истолкователь соціальной науки Запада.

Въ центрѣ этого живого движенія становится, очевидно, необычайно даровитая, энергическая, въ то же время эксцентричная, съ какимъ-то необычайнымъ психическимъ надломомъ, личность Петрашевскаго[1]). Развив-

[1]) О немъ и его дѣлѣ — лучшая, исчерпывающая предметъ, работа В. И. Семевскаго, шесть статей въ „Голосѣ Минувшаго", 1913 года (М. В. Буташевичъ-Петрашевскій), въ основу которыхъ положены весь матеріалъ, добытый слѣдствіемъ, и различные неизданные

шееся въ немъ и немаломъ кругѣ товарищей подъ вліяніемъ университетскихъ курсовъ экономиста и статистика Порошина влеченіе къ обществознанію въ его новыхъ западныхъ теченіяхъ привело къ страстному вѣрованію въ великое, способное возродить всю жизнь, ихъ призваніе для русскаго міра. Фурье явился пророкомъ этого обновленія и разумнаго соціальнаго уклада, и съ тѣмъ же упоеніемъ, съ какимъ московскіе идеалисты изучали бывало Гегеля, широко развилось, охвативъ всѣ однородныя группы молодыхъ политиковъ, изученіе фурьеризма, во главѣ съ Петрашевскимъ, какъ преданнымъ ему апостоломъ, требовавшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ его адептовъ интенсивнаго политическаго и соціальнаго самообразованія, знакомства со всѣми авторитетными произведеніями, развившимъ въ теченіе восьми лѣтъ этой дѣятельности своей большое мастерство руководителя и пропагандиста. Беззавѣтная преданность Фурье, чью систему Петрашевскій и его друзья способны были впослѣдствіи излагать передъ слѣдственной комиссіей („Краткій очеркъ основныхъ началъ системы Фурье", составленный самимъ Петрашевскимъ), не застилала сознанія отдаленности той поры, когда настанетъ осуществленіе всего строя, установленнаго въ теоріи учителемъ, неизбѣжности многихъ опытовъ ея выполненія [1]), но, съ этою свѣтлой цѣлью впереди, вся политическая подготовка призвана была служить опорой для реальной борьбы на русской почвѣ, — и, прежде всего, для осуществленія трехъ главнѣйшихъ (по мнѣнію Петрашевскаго) задачъ, — освобожденія крестьянъ, освобожденія печати, полной реформы суда.

Къ главному организатору движенія притекали уже живыя, надежныя силы. Если въ прямой пропагандѣ фурьеризма то былъ Александръ Ханыковъ, обладавшій широкимъ общественнымъ образованіемъ, вполнѣ проникшійся духомъ ученія, и въ трактатахъ самого Фурье, и въ разъясненіяхъ и развитіи ихъ у Консидерана и многихъ другихъ толкователей,—или Спѣшневъ, явившійся въ русскихъ кругахъ послѣ четырехлѣтняго политическаго стажа, проведеннаго имъ въ Швейцаріи, въ постоянномъ общеніи (напоминающемъ такія же связи Бакунина въ серединѣ сороковыхъ годовъ) съ швейцарскими коммунистами, Вейтлингомъ и др., съ неменьшей начитанностью и практической подготовкой, то подъ знамя гражданственнаго самообразованія стали стекаться неопытныя еще, но полныя возбужденія, горячаго интереса и часто выдававшіяся дарованіями силы. Еще опредѣленнѣе и богаче, чѣмъ въ средѣ декабристовъ, представлена была въ нихъ новая литература, — цѣлое поколѣніе будущихъ ея дѣятелей, Салтыковъ, Достоевскій, Валеріанъ и

источники. Срав. также В. Семевскій „Изъ исторіи общественныхъ идей въ Россіи конца 1840 годовъ"; Русановъ, „Изъ идейной исторіи русскаго соціализма 40-хъ годовъ", Русское Богатство, 1909, II.—Въ бумагахъ Мишле найдена и напечатана Габріэлемъ Моно въ Revue Bleue, 1908, №№ 13 и 14, яркая характеристика Петрашевскаго, написанная для Мишле Герценомъ — О процессѣ петрашевцевъ — „Политическіе процессы николаевскаго времени. Вып. I. Петрашевцы", М. 1907 г., подъ ред. Каллаша.

[1]) Въ завѣщаніи своемъ Петрашевскій назначилъ треть состоянія для пересылки Консидерану на устройство фаланстеровъ.

Аполлонъ Майковы, Плещеевъ, Дуровъ, А. Милюковъ, Пальмъ; сочувствіе, встрѣченное со стороны такихъ вершинъ литературы, въ старшихъ ея рядахъ, какъ Бѣлинскій съ его важнѣйшимъ лозунгомъ „соціальности", отзвукъ въ современной журналистикѣ, сказавшійся въ особенности въ работахъ Валеріана Майкова, придавали всему движенію еще болѣе крѣпкія связи съ передовымъ литературнымъ теченіемъ.

Организація соціально-политической энциклопедіи, задуманной Петрашевскимъ, скрывшимъ свой починъ за скромнымъ именемъ второстепеннаго члена кружка, учителя Николая Кирилова, явилась первымъ коллективнымъ трудомъ всей группы, заявленіемъ ея существованія, ея культурныхъ цѣлей. Подъ невиннымъ титуломъ „Карманнаго Словаря иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ русскій языкъ" (1845) долженъ былъ пройти въ большія массы сводъ всѣхъ, выработанныхъ наукой, основныхъ положеній политическаго, общественнаго, правового строя, объясненныхъ общедоступными статьями, первая русская энциклопедія, призванная въ своихъ сжатыхъ размѣрахъ служить ту службу, которую нѣкогда выполняли весь циклъ статей по обществовѣдѣнію въ великой энциклопедіи Даламбера и Дидро, или „Dictionnaire philosophique" Вольтера! Въ двухъ, единственно сохранившихся, выпускахъ этого изданія, изъятыхъ изъ обращенія, впослѣдствіи истреблявшихся, замѣтны были и ростъ, и совершенствованіе начатаго дѣла. Первый выпускъ, составленный подъ редакціей Валеріана Майкова, независимо и безпристрастно относившагося къ различнымъ соціальнымъ системамъ и отнюдь не крайняго фурьериста, сравнительно выдержанъ былъ въ болѣе умѣренныхъ тонахъ; во второмъ, гдѣ редакцію взялъ на себя самъ Петрашевскій и большинство выдающихся статей принадлежало ему, сказались горячность и радикализмъ неугомоннаго пропагандиста, сумѣвшаго всюду, насколько это было возможно, соединить излагаемыя положенія западной науки съ ихъ примѣненіемъ къ русской жизни.

Гроза, обрушившаяся на энциклопедію, не разстроила, однако, существованія кружка, хотя привлекла на него подозрѣвающее вниманіе. Собранія, обмѣнъ мыслей, теоретическія работы, пропаганда идей, какъ въ столицѣ, такъ и въ провинціи, гдѣ въ разныхъ мѣстахъ (напр. въ Казани) образовались точно филіальныя отдѣленія основной группы, продолжались въ прежнемъ духѣ. Чествованіе годовщины рожденія Фурье, выразившееся въ большомъ банкетѣ съ программными рѣчами и опредѣленными заявленіями принциповъ, было высшимъ выраженіемъ созрѣвавшей въ этомъ направленіи общественной мысли. Множились работы объясненія и толкованія системы; литературными силами кружка овладѣвало вдохновеніе въ виду ожиданій раскрывавшейся свѣтлой дали народной судьбы; поэты облекали въ стихотворныя формы завѣты Фурье (Д. Ахшарумовъ [1]), находясь въ крѣпости, написалъ въ этомъ родѣ даже „Будущее земли и ея обитателей по Фурье"), переводили француз-

[1]) Воспоминанія его (за 1849—59 г.) напечатаны въ 1905 г. съ вступит. статьей В. И. Семевскаго.

скихъ политическихъ поэтовъ (Дуровъ перевелъ, напр., стихотворенiе Барбье „Chiaja“, изъ „Ямбовъ“), а юный Плещеевъ, словно вѣщiй поэтъ новаго поколѣнiя, слагалъ и провозглашалъ въ кружкѣ столь популярный впослѣдствiи призывъ свой: „Впередъ, безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный, друзья!...“

Движенiе навстрѣчу общественнымъ нуждамъ, повидимому, захватило, наканунѣ февральскаго переворота во Францiи, своимъ потокомъ и правившiя русскiя сферы, склоняя ихъ къ уступкамъ духу времени. Въ правительственныхъ кругахъ, хотя и въ формѣ совѣщанiй секретныхъ комитетовъ, обсуждалась крестьянская реформа, и даже Бѣлинскiй съ особымъ ударенiемъ повторялъ въ своей перепискѣ слова императора къ смоленскимъ дворянамъ, возвѣщавшiя о желанiи положить конецъ застарѣвшему злу.

Но въ нѣсколько мѣсяцевъ, охваченныхъ разливомъ европейскаго освободительнаго движенiя изъ Францiи по всей центральной и южной Европѣ, наконецъ, у воротъ русскаго царства, произошла рѣзкая перемѣна въ политическомъ курсѣ. Планы реформъ были покинуты, терпимость по отношенiю къ литературѣ смѣнилась усиленнымъ обузданiемъ, доведеннымъ со временемъ до соединенной дѣятельности семнадцати цензуръ съ „негласнымъ комитетомъ“ во главѣ; на университеты налегъ неменьшiй гнетъ. Судьба петрашевцевъ, съ ихъ подозрительнымъ обществовѣдѣнiемъ, теоретическими изученiями и дальними сборами, опутанныхъ искусной сѣтью сыска, чей агентъ, подъ видомъ необыкновенно увлеченнаго фурьериста (Антонелли) вошелъ въ самую глубь организацiи, на дѣлѣ, чрезвычайно мало похожей на какой бы то ни было „заговоръ“, стала предметомъ примѣрной, устрашающей кары; приговоръ высшей военно-судной инстанцiи, генералъ-аудиторiата, осудившiй 21 человѣка къ смертной казни, и на мѣстѣ ея, среди начатыхъ уже приготовленiй, замѣненный рядомъ смягченныхъ наказанiй, прозвучалъ грознымъ предостереженiемъ. Бѣлинскiй спасся отъ преслѣдованiя лишь тѣмъ, что „умеръ во́время“.

Все притихло и сжалось; раздавивъ, во имя легитимизма, революцiонную гидру въ Венгрiи и укрѣпивъ русскими штыками габсбургскiй тронъ, опять отгородились отъ Европы какъ можно крѣпче; медленно потянулись, до 1855 года, семь томительныхъ лѣтъ, полныхъ сначала покоя кладбища, потомъ шума войны и шовинизма печати, въ которомъ ретиво принимали участiе ветераны литературы въ родѣ кн. Вяземскаго, пока сквозь тьму не пробился снова солнечный свѣтъ, пока не расшатался старый порядокъ, и вмѣстѣ съ порою „благонамѣренной гласности“ и затѣмъ съ прологомъ къ реформамъ не настало, послѣ запретовъ и всевозможныхъ помѣхъ, живое общенiе съ западомъ, не ограниченное болѣе избранными интеллигентными кружками, но широко распространявшееся, разностороннее,—пока застывшее въ отсталости и невѣжествѣ „темное царство“ не озарилось „лучами“ просвѣщенiя и гуманности.

Общенiе съ Европой не затихало и во время реакцiоннаго застоя; много новыхъ возбужденiй присоединилось къ испытаннымъ уже путямъ

вліянія. Грановскій и Кудрявцевъ попрежнему стояли на стражѣ науки, несмотря на всевозможные извѣты и подкопы. Научное изученіе народности и старины, собираніе и объясненіе народныхъ памятниковъ развилось благодаря ученымъ совсѣмъ не славянофильскаго оттѣнка, Буслаеву, Аѳанасьеву, находившимся подъ вліяніемъ братьевъ Гриммовъ, впослѣдствіи Пыпину, Тихонравову. Задуманъ былъ и настойчиво, во множествѣ томовъ, выполнялся величавый планъ трудами одного человѣка обозрѣть и изложить всю русскую исторію, — и этимъ новымъ бенедиктинцемъ былъ Соловьевъ, начавшій, по его словамъ [1]), „жаркимъ славянофиломъ", „но съ годами спасенный" отъ крайностей этого ученія „пристальнымъ занятіемъ русской исторіей" и кончившій восторженнымъ чествованіемъ петровской реформы. Основаніе славистикѣ было положено піонерами ея, первыми профессорами славянскихъ литературъ въ нашихъ университетахъ, по большей части также не принадлежавшими къ числу славянофиловъ и приступившими къ дѣлу съ пріемами европейской науки. Такой дилеттантъ нашего отечествовѣдѣнія, какъ баронъ Гакстгаузенъ, схлопотавшій себѣ еще въ 1844 г. право на полуофиціальное путешествіе по Россіи до самыхъ дальнихъ мѣстъ Закавказья, сдѣлалъ нѣсколько важныхъ открытій и наблюденій надъ народной жизнью, пригодившихся русской наукѣ, и указалъ на значеніе общины, недостаточно оцѣненной ревнителями народности.

Тѣмъ временемъ стало проникать къ намъ, сначала контрабандными путями, новое европейское естествознаніе, оставившее за собой ту науку, съ которою Герценъ бывало знакомилъ свое поколѣніе въ „Письмахъ объ изученіи природы". Открытія англійскихъ и французскихъ натуралистовъ и нѣмецкія популярныя обобщенія (Фохтъ, Молешоттъ, Бюхнеръ) распространяли уже отрезвляющія понятія среди отдѣльныхъ начетчиковъ [2]), чтобы, вслѣдъ за паденіемъ стараго режима, вторгнуться широкою рѣкой во всѣ отрасли культурнаго слоя. Еще болѣе запретная соціальная наука не переставала вліять хотя бы спорадически на умы. Среди безгласности журнальной прессы, въ полумертвомъ состояніи которой, казалось, сохранилась жизнь въ одной лишь беллетристикѣ, зрѣли новыя двигательныя публицистическія силы, и Чернышевскій, испытавъ въ студенческіе годы на себѣ (на ряду съ сильнымъ философскимъ воздѣйствіемъ Фейербаха) то же вліяніе Фурье, которое опредѣлило духовную сущность движенія петрашевцевъ, сберегъ его во время педагогической работы въ дальней провинціи и въ столицѣ, вступилъ потомъ въ ряды журнальныхъ дѣятелей съ этой чуткой идейной основой, на которой наслоилось у него опредѣленное стремленіе къ *русской* политической дѣятельности, со всѣми ея отличительными особенностями, и рѣшимость взять на себя наслѣдіе Бѣлинскаго, воспитывающее массы въ общественномъ смыслѣ призваніе литературной критики.

---

[1]) Воспоминанія С. М. Соловьева, Русскій Вѣстникъ, 1896, III.

[2]) Въ культурную пропаганду петрашевцевъ входило также распространеніе естественно-научныхъ знаній.

Въ составѣ и направленіи „изящной литературы“ хранились и въ эту пору преданія передового западничества былыхъ временъ. Если при всемъ народолюбіи славянофиловъ не примыкавшіе къ нимъ беллетристы, а Тургеневъ и Григоровичъ создали литературное изображеніе народнаго быта, и Писемскому съ Алексѣемъ Потѣхинымъ пришлось примкнуть къ готовому уже дѣлу, то въ наиболѣе затхлую, темную пору, до 1852 года, вырастала и слагалась серія „Записокъ охотника“, поразившая и возмутившая, когда выстроилась она вся, какъ точная картина современныхъ общественныхъ условій. Вѣрный себѣ, ея авторъ нѣсколько лѣтъ спустя, при первыхъ же вѣстяхъ о намѣреніи правительства освободить крестьянъ, составилъ въ Римѣ планъ изданія журнала для разработки всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ этой реформой, и былъ удержанъ отъ перехода въ ряды публицистовъ только отрицательнымъ отвѣтомъ изъ Петербурга, гдѣ проектъ нашли „рановременнымъ“. Подъ-стать къ росту народной повѣсти происходитъ превращеніе мыслителя-беллетриста пушкинско-гоголевскаго періода В. Одоевскаго, съ его разностороннимъ западнымъ образованіемъ, разнообразнѣйшими интересами къ философіи, музыкѣ, живописи, естествовѣдѣнію, стремленіями создать, въ согласіи съ европейскимъ знаніемъ, національную науку, запечатлѣнными въ грезахъ Фауста,—въ писателя для народа; въ концѣ сороковыхъ годовъ онъ сталъ первымъ народнымъ журналистомъ, редакторомъ „Сельскаго Чтенія“, а затѣмъ, подобно Тургеневу, въ слѣдующій періодъ горячо откликнулся на движеніе „великихъ реформъ“ и связалъ свое имя съ преобразованіемъ суда и борьбой противъ лихоимства и произвола.

Въ тѣ же годы затишья и застоя, съ характеристической для автора медлительностью, выросталъ (съ 1849 г., когда появился „Сонъ Обломова“) обвинительный актъ противъ крѣпостнической косности, безпечной лѣни и постыднаго равнодушія къ народу, гончаровскій „Обломовъ“, и романистъ, выступившій подъ знаменемъ не только Гоголя, но Бальзака и Диккенса, углублялся въ изученіе чистокровно русскаго общественнаго недуга, въ анатомированіе русскаго типа, чьей безконечной бездѣятельности онъ считалъ себя обязаннымъ, съ поучительной цѣлью, противопоставить воплощеніе неутомимой энергіи, работоспособности, духовной бодрости, экономической предпріимчивости, взявъ для него образецъ изъ иной національности, изъ культуры, полной самодѣятельности,—окончательно обрисованнаго имъ уже въ слѣдующій періодъ, на зарѣ преобразовательнаго движенія, въ лицѣ условнаго, мало жизненнаго, но благонамѣреннаго Штольца. Воспитавшись подъ вліяніемъ французской мысли, съ которой сходилось смолоду увлеченіе Байрономъ, вступивъ съ первыми своими повѣстями, въ духѣ соціалистической французской беллетристики, на путь боевой, общественной литературы, Салтыковъ унесъ съ собой опредѣленныя сочувствія и намѣренія въ ссылку, прошелъ въ ней герценовскую школу русской дѣйствительности и вернулся среди начинавшагося возрожденія съ „Губернскими очерками“, — первымъ послѣ „Мертвыхъ душъ“ важнымъ

заявленіемъ обличительной литературы. Уроки жизни, вліяніе подавшагося навстрѣчу европеизму состава молодой редакціи „Москвитянина", смѣнившее ортодоксальное славянофильское вѣяніе, которое направляло первые шаги Островскаго къ идеализаціи народнаго начала противъ тлетворнаго иноземнаго духа, бытовыя наблюденія, вынесенныя драматургомъ въ его путешествіи по центральной Россіи, въ началѣ новой эпохи, все влекло къ безпристрастной, реальной правдѣ, къ тому естественно вытекавшему изъ поразительнаго сатирическаго его почина въ „Своихъ людяхъ" направленію, которое привело его къ идейной солидарности съ группой „Современника" и дало ему лучшаго объяснителя, руководителя общественнаго его служенія въ лицѣ „западника" Добролюбова [1]).

Единственное новое, свѣтлое явленіе въ литературѣ среди наиболѣе тяжелой поры реакціи, — художественный починъ Л. Толстого, — стояло совершенно внѣ связей съ современнымъ движеніемъ, свободно было отъ вліянія какой бы то ни было школы, не испытало никакого отраженія соціально чуткой проповѣди Бѣлинскаго, осталось чуждымъ и дѣйствію науки, шло независимымъ путемъ одинокаго самородка, полнымъ исканій, тревогъ, ошибокъ, откровеній. Но и на немъ сказалось опредѣленное вліяніе западной мысли, именно мысли, а не творчества, потому что сборное, случайное, безсистемное чтеніе его юношескихъ лѣтъ, о которомъ говорятъ его записи, сберегшія и оцѣнку вынесенныхъ впечатлѣній [2]), сливаетъ въ одно цѣлое и Гоголя, и Стерна, и Диккенса, и женевца Родольфа Töpffer'а; выше, могущественнѣе такихъ литературныхъ образцовъ дѣйствовало съ ранней отроческой поры слово стараго западнаго мыслителя, казалось, утратившее свое прямое дѣйствіе на умственное движеніе новой Европы, но способное возрождаться въ измѣненныхъ и развитыхъ ученіяхъ своихъ позднихъ послѣдователей. Въ стремленіяхъ познать смыслъ жизни, въ судѣ надъ ложнымъ ходомъ культуры, въ стремленіяхъ къ братству, опрощенію, нравственному подвигу учителемъ Толстого сталъ Руссо, котораго и въ предсмертную пору онъ признавалъ главнымъ своимъ вдохновителемъ [3]).

---

[1]) Связи его съ европейской драматургіей, сначала совершенно отсутствовавшія, съ годами несомнѣнно установились. Если вліяніе Шекспира на историческія драмы Островскаго входитъ въ особую отрасль его творчества, то и въ центральной его части, „комедіи нравовъ", были всегда слѣды внѣшнихъ вліяній. Работы Н. Кашина, „Этюды объ Островскомъ", М. 1912, два тома, опирающіяся на изученіе рукописей комика, хранящихся въ Румянцевскомъ музеѣ, показали, какъ часто въ дальнѣйшемъ періодѣ дѣятельности Островскій, воспроизводя бытовые матеріалы, свободно взятые изъ жизни, опирался въ техническомъ отношеніи на западные, преимущественно французскіе, образцы, не обходя даже мелодрамъ, типа пьесъ Деннери или Анисе-Буржуа. Этого вопроса коснулся затѣмъ и авторъ лучшаго изслѣдованія объ Островскомъ, Patouillet „Ostrovski et son théâtre de moeurs russes", 1912.

[2]) Они приведены у Бирюкова, „Л. Н. Толстой", 1907, I.

[3]) „Руссо былъ моимъ учителемъ съ пятнадцатилѣтняго моего возраста. Руссо и евангеліе — два великія и благодѣтельныя вліянія въ моей жизни. Руссо не старѣетъ. Недавно мнѣ случилось перечесть нѣкоторыя изъ его произведеній, и я испыталъ то же чувство душевнаго подъема и благоговѣнія, которое ощутилъ, читая Руссо въ первой молодости",—

Если мертвящее затишье, всѣми силами охраняемое отъ внѣшнихъ вліяній, и годы войны, когда страны, откуда преимущественно шли эти вліянія, превратились для насъ въ непріятеля, вторгшагося въ Россію, не могли разстроить идейнаго общенія съ западомъ, то коренная (какъ казалось вначалѣ) смѣна жизненныхъ условій послѣ войны не могла не повести за собой большого простора для него. Вчерашніе лютые бойцы, солдаты и офицеры „Севастопольскихъ разсказовъ" Льва Толстого, свободно и легко братались съ противниками при первомъ же перемиріи,—такъ и между народами и ихъ культурой ничто не могло воздвигнуть прочныхъ преградъ; съ новымъ порядкомъ вещей задержанный на время потокъ европеизма хлынулъ на русскую почву съ еще большею, небывалою стремительностью. Судьба его, какъ показала дѣйствительность, могла зависѣть отъ хода борьбы между новаторами и плотною коалиціей закоснѣлыхъ защитниковъ стараго строя, и отъ неустойчивости, шаткости самого преобразователя; ни одна реформа не приняла еще осязательныхъ формъ; носясь передъ воображеніемъ въ неясныхъ, но привлекательныхъ очертаніяхъ, ожидаемый культурный переворотъ могъ тѣшить лишь довѣрчивый оптимизмъ, но просвѣтительный токъ съ запада, непосредственно направленный на пробудившееся общество и не выжидавшій наступленія въ русской жизни золотого вѣка, уже совершалъ свое великое и полезное дѣло, содѣйствуя важнѣйшимъ запросамъ и нуждамъ, и горячо поднявшейся общественной самодѣятельности.

„Соціально-политическія идеи сороковыхъ годовъ", въ сильной степени связанныя съ вліяніемъ прогрессивныхъ идей запада, все же, очевидно, глубоко проникли въ общественную среду; реакціи не удалось вытравить ихъ такъ, какъ это бывало при Екатеринѣ, Павлѣ или послѣ декабрьскаго переворота. Въ первые же годы новаго періода развивается интенсивная культурная дѣятельность, которую непредубѣжденные свидѣтели и очевидцы могли сравнить съ великимъ подвигомъ вождей „просвѣтительнаго вѣка" на западѣ. Блекло и уходило въ тѣнь поколѣніе „лишнихъ людей" съ ихъ былою книжной оторванностью отъ жизни и философской рефлексіей,—и тургеневская повѣсть возглашала отходную гамлетизму. Нетерпѣливые призывы „настоящаго дня", тревожныя мысли о томъ, что для него людей не найдется, опровергались на дѣлѣ. Не было еще своихъ Инсаровыхъ, но были люди великой силы Добролюбова или Чернышевскаго, нашлись разнообразные и энергическіе работники за народное благо. Въ многочисленныхъ дѣятеляхъ, которыми реформы смогли располагать и въ центрахъ, и въ областной жизни, явно выразилось затаенное вліяніе, превосходный завѣтъ. Для развившейся по всей странѣ агитаціи за крестьянское освобожденіе, для журнальной пропаганды, для литературы проектовъ,

писалъ Л. Н. въ мартѣ 1905, отвѣчая на приглашеніе стать однимъ изъ основателей женевскаго Общества имени Руссо. — Письмо Толстого — въ первомъ томѣ Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, Genève, 1905, p. 7. Опытъ изученія вліянія Руссо на всю дѣятельность Толстого, до нашего времени, сдѣланъ въ статьѣ того же ежегодника „Tolstoï continuateur de Rousseau", T. Benrubi. Annales, III, 1907.

работы комитетовъ была цѣнною опорой возможность привлеченія западнаго экономическаго опыта и бытовыхъ земледѣльческихъ данныхъ,— литература же запада дала (какъ въ предшествовавшемъ вѣкѣ—освободительнымъ вліяніемъ книги Рейналя) свой откликъ въ проповѣди эмансипаціи негровъ, исходившей отъ романа Бичеръ-Стоу „Хижина дяди Тома“, который нашелъ доступъ къ намъ въ пору колоссальнаго его успѣха въ Америкѣ и Европѣ (305.000 экземпляровъ въ одинъ годъ). Въ судебной реформѣ, выработанной и проведенной группой преданныхъ идеямъ права, равноправія и справедливости культурныхъ дѣятелей, снова, какъ въ началѣ столѣтія, вліялъ обширный европейскій, въ особенности англійскій, опытъ. Въ реформѣ воспитанія, снова какъ будто задававшейся завѣтной цѣлью созданія „новой породы людей“, свободныхъ и сознательныхъ, въ быстро развивавшейся педагогической пропагандѣ, начатой энергіею Пироговыхъ и Ушинскихъ, сильно возбуждающее вліяніе оказывали передовыя ученія европейской педагогіи. На политическую мысль сильно дѣйствовалъ примѣръ воскресающей изъ уничиженія Италіи, и полная эпическаго величія и пламеннаго свободолюбія „гарибальдіада“, быстро ставшая необычайно популярною въ русскомъ обществѣ, оживляя традиціи сочувствія и солидарности, проявлявшіяся въ эпоху Байрона, Пушкина, декабристовъ,—вліяли возобновившаяся борьба нѣмецкаго парламентаризма противъ стараго начала, послѣднія издыханія австрійскаго непримиримаго консерватизма, принужденнаго уступить народнымъ требованіямъ, и обозначившееся уже въ общихъ своихъ очертаніяхъ къ началу шестидесятыхъ годовъ германское рабочее движеніе, съ его лозунгомъ — первыми рѣчами, манифестами и трактатами Лассаля, ранними выступленіями Маркса [1]).

Соціальная наука Англіи, какъ въ первыя десятилѣтія вѣка, вноситъ снова свой вкладъ въ русскій дѣловой, связанный съ насущными бытовыми нуждами, реализмъ; Джонъ Стюартъ Милль производитъ сильное дѣйствіе своей „Политической экономіей“, комментированной Чернышевскимъ, и книгой „О свободѣ“ (1859), и въ то же время является среди русскаго общества апостоломъ женской равноправности, начавъ свой походъ въ ея защиту въ Англіи еще съ 1851 г., и вызвавъ въ Россіи съ 1858 г. (прежде всего благодаря М. Л. Михайлову, автору первыхъ агитаціонныхъ статей „Современника“,—„Женщины, ихъ воспитаніе и значеніе въ семьѣ и обществѣ“, „Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ“ и др.,—приведшихъ со временемъ къ двумъ переводамъ миллевской „Подчиненности женщины“) то несмолкавшее съ тѣхъ поръ движеніе, которое привело къ побѣдѣ высшаго женскаго образованія, расширенію женскаго труда и требованію политическихъ правъ. Робертъ Оуэнъ (ученіе котораго впервые разъяснялъ еще „Словарь“ Кирилова и Петрашевскаго) [2]) находитъ въ Добролюбовѣ, какъ и въ

---

[1]) О болѣе раннихъ отголоскахъ марксизма — Н. Рязановъ, „Карлъ Марксъ и русскіе люди 40-хъ годовъ“, Современ. Міръ, 1912, VIII.

[2]) Въ статьѣ объ „Овенизмѣ“.

Герценѣ, убѣжденнаго защитника и истолкователя своихъ соціальныхъ опытовъ. Политическая исторія новой Англіи служила тогда прикладную службу, и въ становившейся доступною читателю сначала въ журнальныхъ извлеченіяхъ, затѣмъ въ переводахъ, „Исторіи Англіи со времени вступленія на престолъ Якова II“ Маколея раскрывалось поучительное зрѣлище злосчастной политики послѣднихъ Стюартовъ, упорно боровшихся съ народными требованіями и духомъ времени, и снесенныхъ волной конституціоннаго движенія,—а вѣковыя традиціи английской вольности, стройный механизмъ ея основныхъ „свободъ“ и школа живой политической работы дали, послѣ соціально-философскаго напряженія мысли Герцена, возбуждающій примѣръ для великой дѣятельности его „Колокола“.

Новыя теченія европейскаго свободомыслія въ области религіи, философіи, этики, — Фейербахъ съ своимъ выросшимъ изъ крайней лѣвой гегельянства ученіемъ, оказавшимъ сильное вліяніе на Чернышевскаго [1]), подобно тому какъ на западѣ на Маркса, Давидъ Фридрихъ Штраусъ, Огюстъ Контъ, Лоранъ, выступившій въ началѣ шестидесятыхъ годовъ съ первыми томами своихъ монументальныхъ „Опытовъ по исторіи человѣчества“, наконецъ „Исторія цивилизаціи въ Англіи“ Бокля [2]),—встрѣчались съ неудержимымъ потокомъ новѣйшаго естествознанія, неограниченнаго болѣе контрабандной литературой популярныхъ изложеній и вполнѣ упроченнаго съ той поры, когда двинулась къ русскому читателю рать великихъ натуралистовъ новаго времени, во главѣ съ Чарльзомъ Дарвиномъ, который въ 1859 г. выступилъ съ своей теоріей „Происхожденія видовъ путемъ естественнаго подбора“, подготовленнаго съ начала сороковыхъ годовъ рядомъ его набросковъ и подготовительныхъ этюдовъ.

Сильное развивающее вліяніе на міросозерцаніе молодого поколѣнія,—поколѣнія Базарова и Писарева,—оживленіе научной работы въ области, такъ долго пренебреженной (въ особенности въ физіологіи), выдвинувшей вскорѣ примѣчательныхъ изслѣдователей, типа Сѣченова съ его непосредственной связью съ западнымъ движеніемъ науки (Дюбуа-Реймономъ, Гельмгольцомъ), большой творческой силой и стремленіемъ къ популяризаціи знанія въ массѣ (съ 1863 г., когда появились „Рефлексы головного мозга“), въ сочетаніи своемъ образовали выдающійся факторъ культуры.

Литературныя вліянія въ эту оживленную пору развивались въ большомъ согласіи съ идейной проповѣдью науки, политики, общественности. Художественное творчество Европы, не только въ современныхъ его движеніяхъ, но и во всѣхъ выдающихся явленіяхъ его прошлаго, становилось доступнымъ благодаря развитію переводческой дѣятельности, пре-

---

[1]) Это вліяніе съ исчерпывающей полнотой (философскіе, историческіе, литературные взгляды) изучено въ кн. Г. В. Плеханова, „Н. Г. Чернышевскій“, 1909.

[2]) Срав. наблюденія надъ дѣйствіемъ „Иностранной книги въ рукахъ молодого читателя 1855—1861 г.“ въ кн. Нестора Котляревскаго, „Канунъ освобожденія“, Петроградъ, 1916.

жде парализованной охранительствомъ, свѣтобоязнью, смиренномудріемъ. То, что когда-то ставилось въ заслугу романтикамъ, особенно Жуковскому,—открытіе для русской общественной массы художественныхъ міровъ Запада и Востока, совершалось теперь усиліями многихъ посредниковъ между русской и западной образованностью. Классики, Шекспиръ, Гете, Шиллеръ, Байронъ, только съ этой поры стали въ возможной полнотѣ знакомы русскому читателю. Гейне, Бэрне, Беранже, Поль-Луи Курье, Робертъ Бэрнсъ, Лонгфелло, Фрейлигратъ и другіе „политическіе" нѣмецкіе поэты сороковыхъ годовъ, въ (нерѣдко мастерскихъ) переложеніяхъ П. Вейнберга, М. Л. Михайлова, В. Курочкина, Плещеева и др., выходя изъ-подъ запрета или впервые открытые, будили мысль, освѣщали жизнь смѣлымъ остроуміемъ или гражданственнымъ жаромъ, въ идейномъ согласіи съ боевой лирикой некрасовскаго типа. Немногіе сторонники чистаго искусства, отваживавшіеся „плыть противъ теченія", исходили также отъ усвоенія европейскихъ образцовъ. Алексѣй Толстой со всей своей отрѣшенностью отъ современныхъ запросовъ и тревогъ, съ романтическимъ культомъ русской старины, съ блаженными національно-философскими вожделѣніями, былъ глубоко проникнутъ художественнымъ европеизмомъ, охватывавшимъ съ ранней поры его сознательной жизни, на ряду съ міровой поэзіей, и сильно дѣйствовавшее на него искусство, въ особенности итальянское, поры Возрожденія [1]). Тютчевъ, обрѣтенный русской литературой почти четверть вѣка спустя послѣ его первыхъ поэтическихъ изліяній [2]), зародившихся на Западѣ, гдѣ прожита была чуть не вся жизнь его, навсегда остался въ томъ странномъ раздвоеніи своей творческой мысли, которое глубину философскаго раздумья, возбужденнаго долгимъ и внимательнымъ общеніемъ съ наукой и поэзіей Запада, отвело важнѣйшей, можно бы сказать европейской, долѣ его лирики, а русской оставило мотивы шовинизма, національной исключительности и правовѣрнаго консерватизма, вразрѣзъ съ типическимъ скептицизмомъ и вольномысліемъ поэта-европейца. Наконецъ, антологическая и антикизирующая поэзія Аполлона Майкова, ушедшаго отъ юношескаго радикализма, во вкусѣ Петрашевскаго, въ противоположный уголъ, дойдя до ненависти ко всему движенію шестидесятниковъ,—эта поэзія въ ея изящныхъ, уносящихся высоко надъ жизнью, формахъ, въ реставраціяхъ древняго міра, немыслима безъ опоры въ западной наукѣ и поэзіи, посвященной классическому міру.

Широкое развитіе романа, завоевавшаго себѣ первенствующее положеніе въ литературѣ дня, шло впередъ въ полной солидарности съ новыми теченіями романа европейскаго. Наслѣдіе Бальзака, изумительный починъ реализма Флобера съ его „Madame Bovary", первыя выступленія французскаго натурализма, Гюго съ своими „Отверженными" и Мериме, Диккенсъ послѣдняго періода, все рѣшительнѣе становившійся

---

[1]) Новѣйшій его біографъ (A. Lirondelle, „Le poète Alexis Tolstoï", 1911) раскрылъ съ большою полнотою европейскій фонъ его творчества.

[2]) Въ „Современникѣ" 1854 года.

проповѣдникомъ общественнаго переустройства [1]), и Теккерей, соціальное направленіе нѣмецкой повѣсти у Фрейтага и Шпильгагена (чей романъ „In Reih'und Glied“ или „Одинъ въ полѣ не воинъ“, съ необыкновенной силой откликнулся у насъ въ умахъ) были важною поддержкой самостоятельно развивавшейся повѣсти,—тогда какъ въ обоихъ вкладахъ такого властителя умовъ, какъ Чернышевскій, въ область искусства, въ которой онъ стремился также быть реформаторомъ,—въ его диссертаціи и повѣсти-утопіи,—сказались опять европейскія вліянія, нѣсколько запоздавшія. „Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“ опираются всецѣло на Фейербаха; возвѣщенная изъ крѣпостного каземата греза о новомъ строѣ жизни въ „Что дѣлать“ соединяетъ съ идеями Жоржъ-Зандъ завѣты и теоріи Фурье.

„Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; что ни шагъ, то предметъ для размышленія; жизнь задаетъ вопросы и шевелитъ мысль!“—восклицалъ въ увлеченіи необъятной просвѣтительной задачей современнаго движенія Писаревъ и (въ своемъ „Нерѣшенномъ вопросѣ“) предъявлялъ русскому искусству (т.-е. творчеству) неизбѣжное для его прогресса условіе,—оно должно стать на „одной высотѣ съ западнымъ не по одной художественности, но и по идейному содержанію“. Въ дѣйствительности оно никогда не было такъ близко отъ торжества, какъ именно въ эту пору всеобщаго подъема и броженія. Если отношенія его къ европейской культурѣ давно уже утратили характеръ зависимости, ученичества, замѣняясь свободнымъ равноправіемъ и солидарностью, то эпоха новаго русскаго Возрожденія стала началомъ самостоятельности, самоопредѣленія, пролагавшаго самобытные пути, и, благодаря цѣлой генераціи выдающихся умовъ и дарованій, создававшаго новыя и великія художественныя и идейныя цѣнности.

Ничто не могло уже остановить, парализовать этого движенія. Оно пережило острый кризисъ борьбы „отцовъ и дѣтей“, этихъ двухъ поколѣній, въ различной степени затронутыхъ традиціоннымъ европеизмомъ,—переживало, одинъ за другимъ, приступы реакціи, стремившейся искоренять, на ряду съ польской и русской революціей, общекультурное народное развитіе,—преодолѣло то вызванное однимъ изъ этихъ приступовъ тяжелое, болѣзненное состояніе общественныхъ силъ, которое, на рубежѣ семидесятыхъ годовъ, приводило въ такое негодованіе Герцена, заклеймившаго кажущееся паденіе литературы въ одномъ изъ послѣднихъ сильныхъ своихъ памфлетовъ [2]),—вынесло рядъ великихъ потерь и уроновъ: ослѣпленное ополченіе противъ такого вождя, какъ Герценъ, и гибель его могучаго вліянія, трагическій, долго не изглаживавшійся разладъ съ другимъ вождемъ, Тургеневымъ, смерть своего вдохновителя Добролюбова, заточеніе Чернышевскаго, смутные, тусклые годы внутрен-

---

[1]) Эта сторона его дѣятельности изучается теперь въ спеціальныхъ трудахъ. Walter Crotch, „Dickens social-reformer“, 1913.

[2]) „Новая фаза русской литературы“, статья во французскомъ изданіи „Колокола“. Въ переводѣ появилась лишь въ 1902 году въ „Русскомъ Богатствѣ“.

ней разрухи, общественнаго упадка, до новыхъ влеченій къ свѣту и свободѣ. Она шла впереди, раскрывая великія и самобытныя силы художественной и культурной проповѣди, борьбы и апостольства. Насталъ „вѣкъ“ Толстого, Достоевскаго, Салтыкова, послѣдней ипостаси Тургенева, некрасовскаго народничества, наконецъ, вѣкъ Гаршина, Чехова, Короленка. Насталъ періодъ *новѣйшей* русской литературы,—и съ тѣмъ вмѣстѣ стало расти и развиваться международное ея значеніе.

Сравнявшись, наконецъ, хронологически съ движеніемъ западной мысли и творчества, эта литература (и впереди ея русскій романъ) освоилась съ той поры со всѣми ихъ явленіями, не только важными, двигающими впередъ, но даже мелкими, преходящими, болѣзненными, и навстрѣчу имъ выставила свое самостоятельное достояніе, свои слова, свои завѣты и идейное, нравственное, общественное содержаніе. То, что новая словесность Запада даетъ ей живого, возбудительнаго, развивающаго, тѣ идеи, темы и направленія, которыя не могутъ быть чужды культурному человѣчеству, безъ различія расъ, не только продолжаютъ многовѣковое свое дѣйствіе на русскую литературную силу, подкрѣпленные непрерывнымъ вліяніемъ мысли соціально-политической, но встрѣтились, всего два десятилѣтія спустя послѣ вызова, брошеннаго Писаревымъ отставшей, казалось, литературѣ-ученицѣ, съ такимъ проявленіемъ ея самостоятельности, что сталъ, наконецъ, возможнымъ *литературный обмѣнъ* въ полномъ смыслѣ этого слова, когда обѣ участвующія въ немъ стороны равноправно дѣлаютъ свои вклады въ общую работу. Восьмидесятые годы, отмѣченные „мирнымъ нашествіемъ“ русскаго творчества на Западъ, поставившіе его главныхъ дѣятелей на ряду съ руководящими художниками-мыслителями Запада, Европы, Америки, связавшіе съ ихъ творчествомъ и проповѣдью опредѣленныя направленія въ области художественнаго слова, общественныхъ и нравственныхъ идей, столь замѣтныя, выдающіяся въ руководящихъ литературахъ міра, это завоеваніе, достигнутое творческой силой и гуманной, этической стороной,—выдающійся фактъ новѣйшаго періода нашей литературы, въ которой двигательная сила былого „западнаго вліянія“, воспитывавшаго, руководившаго, уступила мѣсто культурному братству, равенству и свободѣ, обмѣну и соревнованію.

Долгая лѣтопись нашего западничества, очерченная въ настоящемъ сравнительно-историческомъ обзорѣ, приводитъ къ этому желанному результату и гармонически замыкается имъ.

Достоевскій въ прекрасномъ некрологѣ Жоржъ Зандъ, быть можетъ, неожиданно для своихъ одностороннихъ, фанатизированныхъ поклонниковъ, высказался открыто, опредѣленно и краснорѣчиво о великомъ и притомъ самобытно усвоенномъ нашею жизнью значеніи культурныхъ связей съ Европой: „У насъ, русскихъ, двѣ родины: наша Русь и Европа... Многое, очень многое изъ того, что мы взяли изъ Европы и пересадили къ себѣ, мы не скопировали только... а привили къ нашему организму, въ нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно, точь въ точь, какъ тѣ, тамъ на Западѣ, для которыхъ все это

было свое, родное... Я утверждаю и повторяю, что всякій европейскій поэтъ, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, изъ всего міра наиболѣе и народнѣе бываетъ понятъ и принятъ всегда въ Россіи... Это русское отношеніе къ всемірной литературѣ есть явленіе, почти не повторявшееся въ другихъ народахъ въ такой степени, во всю всемірную исторію... Всякій поэтъ-новаторъ Европы, всякій, прошедшій тамъ съ новою мыслью и съ новою силою, не можетъ миновать русской мысли, не стать почти русской силой".

Пусть эти слова, отъ которыхъ не отказался бы и такой ветеранъ западничества и въ то же время одинъ изъ вождей русскаго общественнаго движенія, какъ Салтыковъ,—эта невольная дань уваженія и справедливости старшимъ товарищамъ и предшественникамъ нашимъ въ культурной работѣ, возданная художникомъ-націоналистомъ, закончатъ собой повѣствованіе о вѣковой подготовительной работѣ, о долгомъ и настойчивомъ ученичествѣ, которое вело великій народъ къ возрожденію, самоопредѣленію, независимости.

Алфавитный указатель.

Аблесимовъ, 116.
Авдѣевъ, М., 230.
Авраамій Суздальскій, 14.
Аддисонъ, 34, 54, 78, 86, 106, 114.
Адріанъ, патріархъ, 32.
Аккерманъ, 51.
Аксаковъ, И., 213, 215.
Аксаковъ, Конст., 181, 213, 214, 221, 224.
Аксаковъ, С., 195, 199.
Алевизъ, 14.
Александръ I, импер., 72, 125, 127, 130—1, 136, 143, 145—6, 162.
Алексѣй Михайловичъ, царь, 22—32.
Алексѣй Петровичъ, царевичъ, 39.
Альберти, Леонъ Батиста, 46.
Альгаротти, 53.
Альдо Мануччи, 15.
Альфьери, 61, 160, 174.
Амвросій, архіеп., 118.
Анна, импер., 51.
Анненковъ, П. В., 190, 198.
Антоновскій, 99.
Аппель, 141.
Аракчеевъ, 138, 163.
Аристофанъ, 145.
Аристотель, 148.
Аріостъ, 46, 50, 135, 167.
Арно, 84.
Арсеньевъ, К., 144.
Артемьевъ, Петръ, 32.
Ауэрбахъ, Бертольдъ, 207, 227.
Аѳанасьевъ, А. Н., 11, 12, 89, 238.

Бадеръ, 213.
Базедовъ, 78.
Байронъ, 3, 8, 128, 131, 134, 135, 148, 153, 155, 157—9, 164, 167—70, 176—7, 184—9, 194, 215, 224, 226, 233, 239, 242.
Бакунинъ, М. А., 61, 216—18, 221, 224, 232, 234.
Балабина, г-жа, 191.
Балобанова, 131.
Балланшъ, 151.
Бальденсперже, Фернанъ, 3, 141.
Бальзакъ, Онорэ, 174, 201, 225, 227, 229, 239, 244.
Барбье, Огюстъ, 237.
Баратынскій, 178—80.
Барклай, 23.
Баринъ, Арведъ, 65.
Барри Корнуоллъ, 175.
Бартъ, 164.
Барсковъ, Я., 95.
Бассинэ д'Огаръ, 150.
Батюшковъ, Конст., 50, 72, 118, 131, 146.
Батюшковъ, Ѳ., 174.
Беарде де-Лабэ, 69.
Beauvais, Vincent de, 23.
Bédier, 32.
Беккарія, 76, 112, 135, 160.
Бекларъ, Леонъ, 116.
Беклемишевъ, Берсень, 21.
Белли, 194.
Beljame, 34.
Бёме, 98.
Бентамъ, 146.
Беранже, 130, 146, 155, 161, 167, 178, 224.
Бернарденъ де-Сенъ-Пьерръ, 64—5.
Берне, 200, 223, 231.
Бестужевъ, А. Ѳ., 108.
Бестужевъ, А. А., 149, 159, 177.
Бестужевъ, Никол., 159.
Бестужевъ-Рюминъ, М., 159.
Бецкій, 58, 69, 78, 115.
Бидлоо, 38.
Бильбасовъ, 68, 75.
Бирсъ, Генри, 131.
Битобе, 84.
Бланъ, Луи, 226, 234.
Блекстонъ, 119.

Блэръ, 75.
Блументростъ, 24.
Блудовъ, 158.
Богдановичъ, Иппол., 117.
Богоявленскій, С., 24, 41.
Боденъ, Жанъ, 110.
Бодмеръ, 80, 88.
Боккалини, 57.
Боккачьо, 11, 19, 23, 46, 87, 135.
Бокль, 243.
Болингброкъ, 118.
Больте, Іог., 23.
Болтинъ, 74, 109—11.
Болховитиновъ, Евгеній, 118.
Бомарше, 55, 74, 89, 113, 115, 116, 125, 138, 195, 219.
Бонне-Мори, 133.
Бопланъ, 191.
Боппъ, 201.
Боркъ, Каспаръ, 80.
Борнъ, 109.
Боссюэтъ, 196.
Ботеро, Джьованни, 30.
Боткинъ, В. П,, 224—5.
Брандесъ, Георгъ, 186, 209.
Броунсонъ, Сара, 64,
Браччьолини, Поджіо, 19.
Брейтингеръ, 88.
Бретейль, баронъ, 56.
Брикнеръ, А., 31, 44.
Бродскій, 216.
Брюсъ, 31, 42.
Брюйэ, 46.
Буало, 34, 48, 54, 138.
Буасси, 84, 86.
Бугуръ, 35.
Бужинскій, Гавріилъ, 40.
Булгаринъ, 173.
Буле, проф., 54, 144—5.
Бульверъ, 174—5.
Буслаевъ, Ѳ. И., 5, 123, 194, 238.
Бурачекъ, 214.
Бѣлинскій, В., 134, 178, 186, 190, 195, 199, 213, 216—18, 224—6.
Бѣлозерская, Над. А., 56, 137.
Бѣлокуровъ, 29.
Бедларъ, Мортонъ, 38.
Бэйль, Пьеръ, 45, 75, 99, 104, 110, 175.
Бэконъ, Фрэнс., 104.
Бэніанъ, Джонъ, 95, 174.
Бэрнсъ, 114, 120.
Бьернсонъ, 209—10.
Бюргеръ, 132.
Бюффонъ, 106.
Бюхнеръ, 238.
Вальполь, Горацій, 52.
Вальполь, Робертъ, 52.
Вальтеръ-Скоттъ, 134, 149, 155—6, 159, 174, 176, 180, 193, 202.
Walch, Joh. Georg., 45.
Василій, вел. кн., 39.
Вашингтонъ, 63.
Введенскій, Ирин., 234.
Веддигенъ, 2.
Вейнбергъ, П. И.. 243.
Вейнгольдъ, Карлъ, 121.
Велланскій, 142.
Венгеровъ, С., 169.
Веневитиновъ, Д., 159, 172—73, 179, 201, 203.
Веневитиновъ, М. А., 37.
Венути, 48, 52.
Вердеръ, проф., 217.
Веревкинъ, 115.
Верри, 135.
Веселовскій, Авраамъ, 47.
Веселовскій, Александръ, 5, 10, 11, 13, 14, 134.
Веселовскій, Юрій, 115, 141.
Виландъ, 164.
Вильгельмъ, король англ., 37.
Вильменъ, 152.
Вильсонъ, 176.
Винскій, 62—3.
Vincent de Beauvais, 23.
Виніусъ, 31.
Виноградовъ, П., 211.
Виньи, Альфр. де—, 180, 183.
Виргилій, 15.
Висковатовъ, дьякъ, 16.
Висковатовъ, П., 189.
Витбергъ, Ѳ., 52.
Вишницеръ, 142.
Владиміровъ, проф., 23.
Владиславъ, королевичъ, 21.
Воейковъ, А. Ѳ., 129.
Войцеховскій, 141.
Волковъ, Борисъ, 40.
Волковъ, Ѳ. Г., 49—51.
Волконская, кн. Зинаида, 150, 196.
Вольнеръ, В., 133.
Вольней, 135.
Вольстонкрафтъ, Мэри, 128.
Вольтеръ, 48, 49, 50, 54, 59, 63, 64, 65, 75—6, 82, 84, 89, 90, 93, 97, 104, 106, 110, 112, 115, 117, 139, 166—7, 174, 179, 212.
Вольфъ, Христіанъ, 52.
Вольфгартъ, 25.
Волынскій, Артемій, 57.
Вордсвортъ, 178.
Воронцовъ, гр. С., 99, 100, 102, 106.

Всеволожскій, 175.
Вяземскій, кн. П. А., 81, 84, 152, 159, 161, 170—1, 180, 197, 237.
Вьельгорскій, Іосифъ, 195.

Гагаринъ, Ив., 151, 202.
Гагедорнъ, 114.
Гагенъ, фонъ-деръ, 208.
Гай, Людевитъ, 205, 210.
Гаймъ, 132.
Гакстгаузенъ, 238.
Галаховъ, А., 176.
Галилей, 106.
Галичъ, 142, 144.
Галлеръ, 106, 114, 122.
Галлэ-Дабо, 126.
Ганка, 205.
Ганъ (Зенеида Р-ва), 229.
Гансъ, 201.
Гарденбергъ (Новалисъ), 134.
Гарибальди, 161.
Гарингтонъ, лордъ, 49.
Гаршинъ, В., 11.
Гварини, 46.
Гвитоне, д'Ареццо, 19.
Гегель, 201, 203, 211, 216—17, 225.
Гейгеръ, Людв., 223.
Гейне, 200, 220, 231.
Геллертъ, 78, 95, 113, 138.
Гельвецій, 63, 93, 97, 146.
Генрихъ IV, кор. франц., 41.
Генслеръ, 175.
Герасимовъ, Дмитрій, 12.
Герберштейнъ, 12.
Гердеръ, 35, 64, 102, 104, 123, 131, 167, 203, 206.
Гердъ, 154.
Геренъ, 143.
Герценъ, А. И., 143, 178, 189, 198, 212, 214, 218—23, 230—34, 238, 243, 245.
Гершензонъ, 150, 151, 204, 232.
Герье, В., 39.
Герресъ, 208.
Гесснеръ, 84.
Гете, 3, 35, 89, 120—1, 131, 133, 141, 143, 148, 165, 172—4, 178, 181, 182, 202, 206, 208, 212—13, 215, 218, 223.
Гиббонъ, 124.
Гизо, 151, 229.
Гилленборгъ, 75.
Гіонъ, г-жа, 163.
Глаголева, г-жа, 42.
Глинка, Сергѣй, 109.
Гмелинъ, 39.
Гнѣдичъ, 135.
Гоббзъ, 45.
Гоголь, 11, 136, 138, 152, 156, 176, 190—99, 214, 228—9, 230, 240.
Годвинъ, 128, 174.
Годуновъ, Борисъ, 19, 20, 27, 32, 53.
Голицынъ, кн. А. Н., 152.
Голицынъ, Вас., 31—32.
Голицынъ, Д. А., 63, 66.
Голицынъ, Д. Д., 63—4.
Голицынъ, Д. М., 46, 57.
Головкинъ, Ѳедоръ, гр., 93.
Гольбахъ, 93, 106, 112.
Гольбергъ, 56, 60, 82, 85.
Гольдони, 160.
Гольдсмитъ, 132.
Гонеггеръ, 174.
Гончаровъ, И. А., 228—30, 239.
Горацій, 49.
Гордонъ, 31, 90.
Готье, Поль, 129.
Готшедъ, 35, 51, 54, 88.
Гофманъ, 174-5, 193, 223.
Грановскій, 186, 222, 238.
Грасленъ, 69.
Графъ, Артуро, 3.
Грегори, Іог. Готфр., 23.
Грей, 131, 133.
Грессе́, 82, 166.
Гречъ, 173.
Грибоѣдовъ, 54, 133, 138, 144—5, 164—66, 175.
Григорьевъ, Аполлонъ, 214.
Григорьевъ, Микифорко, 21.
Григоровичъ, Д. В., 227-8, 239.
Гримани, посолъ, 69.
Гриммъ, Мельхіоръ, 66, 70, 98, 103, 120.
Гриммы, братья, 208, 238.
Грифіусъ, 80.
Гротъ, Я. К., 66, 78.
Грузинскій, А. Е., 134.
Грунтвигъ, 209.
Гуаско, 48, 52.
Гуккеръ, Ричардъ, 30.
Гусъ, 106, 205.
Гювнеръ, 24.
Гюго, Викторъ, 149, 174, 182, 221, 244.
Гюнтеръ, 50, 54.
Густавъ III, швед. кор., 81.

Давыдовъ, В., 169.
Давыдовъ, Казаринко, 20.
Даламберъ, 65, 118, 236.
Даль, В., 228.
Дантъ, 106, 135, 148, 151, 176, 192, 213, 221.

Дарвинъ, Чарльзъ, 243.
Дарвинъ, Эразмъ, 120.
Дасье, г-жа, 80.
Дашкова, Е. Р., княг., 50, 61, 63, 66—7, 75, 97, 100.
Де-Беллуа, 115.
Девилье, 38.
Декартъ, 45, 46, 212.
Делавинь, Казимиръ, 179.
Дельвигъ, 166, 179.
Де-ла-Пласъ, 80.
Де-Местръ, Жозефъ, 130, 151, 162—3.
Державинъ, 72, 112—114, 119, 127, 131.
Десницкій, 118.
Дестюттъ де-Траси, 146.
Детушъ, 56, 86, 116.
Де-Фо, 34.
Дешанъ, Эмиль, 201.
Джемсъ, Ричардъ, 28.
Джусти, 194.
Ди, Джонъ, 20.
Дидро, 37, 55, 63, 65—8, 77, 78, 82, 89, 103, 115, 118, 138, 231.
Диккенсъ, 194, 224—5, 239, 244.
Дмитріевъ, Александръ, 131.
Дмитріевъ, И. И., 117, 124, 127.
Дмитріевъ-Мамоновъ, Д., 117.
Добровскій, 204.
Добролюбовъ, 88, 240, 242, 245.
Добрынинъ, 63.
Долгоруковъ, Илья, 161.
Долгорукова, Ирина, 150.
Домашневъ, 69.
Достоевскій, Ѳ., 225, 228—9, 234, 235. 243.
Дохтуровъ, 22, 29.
Драгомановъ, М., 12.
Драйденъ, 34.
Драшусовъ, 214.
Дружининъ, 229.
Дуровъ, С., 234, 237.
Дюбуа, 63.
Дюкло, 81.
Дюмонъ, 154.
Дюси, 55.
Дюфрени, 82.
Дюшенъ, 182.

Евгеній, митрополитъ, 118.
Екатерина II, 9, 39, 59, 61, 65—67, 74—80, 97, 100, 105, 106, 111, 113, 114, 125.
Елагинъ, А. А., 200.
Елагинъ, Ив. П., 59, 83, 109.
Елизавета, кор. англ., 17, 68.
Елизавета, импер., 56, 58, 75.
Ермоловъ, А. П., 169.
Ефремовъ, П. А., 49, 53, 86.
Ефименко, г-жа, 18.
Ешевскій, С., 91.

Жандръ, 164.
Жанъ-Поль, 134, 213.
Ждановъ, И. Н., 5, 175.
Жираръ, 82.
Жофренъ, г-жа, 75.
Жоржъ-Зандъ, 167, 194, 221, 224—5, 231, 243, 245.
Жуковскій, В., 72, 131—34, 143, 158—9, 181, 184.
Жюбе де-Лакуръ, 150.
Жюль-Жаненъ, 161.
Жюсеранъ, 80.

Забѣлинъ, И. Е., 14.
Завадовскій, 107.
Загоскинъ, 156.
Замотинъ, 156.
Здзѣховскій, 158.
Зейдлицъ, 134.

Ибсенъ, 209.
Ивановъ, А. А., 195.
Игнатій, сектантъ, 17.
Измайловъ, 101.
Иконниковъ, В., 31.
Ипсиланти, 169.
Исидоръ, митрополитъ, 14.

Іоакимъ, патріархъ, 32.
Іосифъ II, импер., 61.
Іосифъ, Изографъ, 16.
Іоаннъ Грозный, 16, 17, 20.

Кабэ, 220, 229.
Кадлубовскій, А., 115.
Казъ, Альб., 110.
Кайсаровъ, 132, 142.
Кайсевичъ, 196.
Каллашъ, В., 100, 105, 107, 235.
Кальдеронъ, 79, 226.
Каменевъ, 131.
Камоэнсъ, 50, 176.
Кампе, 78.
Кампистронъ, 86.
Кантемиръ, Антіохъ, 9, 26, 46, 48, 52, 220.
Кантемиръ, Марія, 46.
Кантъ, 8, 36, 94, 141, 200.
Капнистъ, В., 112, 113, 128.
Караджичъ, 208.
Каразинъ, В., 140.

Карамзинъ, 8, 28, 63, 72, 74, 81, 120—24, 127, 163.
Каратыгинъ, В., 164.
Кардуччи, 185.
Каржавинъ, Ерофей, 78.
Карлейль, гр., посолъ, 23.
Карлейль, Томасъ, 102.
Карлъ I, англ., 23, 167.
Карлъ II, англ., 34.
Карлъ IX, кор. швед., 21.
Карлъ X, кор. франц., 147.
Карлъ-Филиппъ, принцъ шведск., 21.
Карповъ, Өедоръ, 16.
Касти, 174.
Кастильоне, Балтазаръ, 46.
Катенинъ, 164.
Каченовскій, М., 129, 159, 200.
Кашинъ, Н., 240.
Квинтиліанъ, 73.
Кейтъ, Джемсъ, 90.
Кеневичъ, 138.
Кёрнеръ, Теодоръ, 130, 141.
Кетчеръ, Н., 219, 224.
Кизеветтеръ, А., 112.
Кинэ, 232.
Кирилловъ, Н., 236, 242.
Кирпичниковъ, А., 5, 11, 26, 152.
Кирѣевскій, Ив., 153, 201, 202, 207, 211, 213.
Кирѣевскій, Петръ, 203.
Кистяковскій, А., 76.
Клейстъ, 114, 130, 141.
Клингеръ, 121.
Клопштокъ, 94, 114.
Клотцъ, Анахарсисъ, 148.
Клушинъ, 138.
Клюшниковъ, 216.
Ключевскій, В. О., 10, 21, 91.
Княжнинъ, 112, 115.
Кобеко, 71.
Ковалевскій, М. М., 69, 232.
Когорданъ, Жоржъ, 163.
Кожуховъ, Офонко, 21.
Козицкій, Григ., 58, 78, 114.
Козловъ, И., 159, 178, 180.
Козодавлевъ, 99.
Коксъ, 123.
Коларъ, 204.
Коллинсъ, 25.
Колмачевскій,
Кольриджъ, 159.
Кологривовъ, 222.
Кольцовъ, А. В., 218.
Комаровъ, Матв., 117.
Констанъ, Бенжам., 97, 128, 187.
Консидеранъ, 235.
Контъ, Огюстъ, 226, 242.
Коперникъ, 45.
Копіевичъ, 38.
Корнель, Пьеръ, 34, 167, 193.
Корнель, Томасъ, 38.
Корнелій, Яковъ Алоизій, 20.
Корниловъ, А., 216.
Косой, Өеодосій, 17.
Костомаровъ, Н., 12.
Костомаровъ, Өедька, 20.
Костровъ, Ермилъ, 131.
Котляревскій, И. 137.
Котляревскій, Несторъ, 243.
Котошихинъ, 27.
Коцебу, Авг., 169.
Кошелевъ, А. И., 215.
Кошутъ, 231.
Крапоткинъ, П., 168.
Красовъ, Вас. Ив., 216.
Крашенинниковъ, 39.
Крезе де-Лессеръ, 164.
Крейценахъ, 24.
Крижаничъ, Юрій, 28—31, 33.
Кромвель, 37.
Кронебергъ, 225.
Кропотовъ, 51.
Кроссъ, В., 101.
Крыловъ, И. А., 99, 100, 113, 137—39.
Крюднеръ, баронесса, 129, 164.
Кудрявцевъ, П., 229, 238.
Кузенъ, Викторъ, 151, 199.
Кулаковскій, П., 47, 205.
Куницынъ, 144.
Кунстъ, Іоганнъ, 38.
Куперъ, Фениморъ, 225.
Куракинъ, кн., 40, 48.
Курбскій, кн., 16, 17, 26.
Кургановъ, 117.
Курочкинъ, В.,
Курье, Поль-Луи, 147, 244.
Кутузовъ, Алексѣй, 91, 94, 95, 96, 99, 105, 108, 120, 123.
Кюхельбекеръ, 147—8, 159—60, 166, 201.
Кьярини, 157.

Лабзинъ, 74, 115.
Лабомелль, 82.
Лабрюйэръ, 49, 82.
Лагарпъ, 125.
Лажечниковъ, 156.
Лазурскій, В., 86, 88.
Ламанскій, В., 52.
Ламартинъ, 182.
Ламеннэ, 151.
Ландоръ, В. Сэв., 128, 157.

Ланжеронъ, 120.
Ланкастеръ, 154.
Лаппенбергъ, 28.
Ларивьеръ, 56.
Ларошфуко, 82.
Ласепедъ, 135.
Лассаль, 242.
Латкинъ, 21.
Лафайэттъ, 120, 147.
Лафатеръ, 122.
Лафонтенъ, 113, 117, 139.
Левертинъ, 81.
Лейбницъ, 35, 37, 39—40, 53, 98, 212.
Леклеркъ, 111.
Лелевель, 206.
Ленау, 191.
Ленцъ, 121.
Леопарди, 3, 194.
Лепехинъ, 39.
Лермонтовъ, 19, 26, 157, 182—190, 214.
Лермонтъ, Джорджъ, 184.
Лермонтъ, Томасъ, 184.
Леру, Пьеръ, 149, 220, 225.
Лесажъ, 113, 137.
Лесли Стифенъ, 118.
Лессингъ, 35, 51, 54, 62, 80, 86, 89, 94, 96, 113, 182, 193, 195.
Лестокъ, 59.
Лефортъ, 90.
Ли, Фрэнсисъ,
Либертинъ, 47.
Ликостенъ, Конрадъ, 25.
Лилло, 114.
Лимъ, Никол., 25.
Линней, 106.
Лиріа, герц., 150.
Липсій, Юстъ, 8, 57.
Лихачевъ, стольникъ, 23.
Лихудъ, 32.
Лихтверъ, 113.
Ло, Джонъ, 38.
Лобановъ, академ., 176.
Логау, 35.
Локателли, 49.
Локкъ, 45, 53, 77, 89.
Ломени, 125.
Ломоносовъ, 18, 26, 49, 52, 54, 72, 108.
Лонгиновъ, М., 51, 91.
Лонгфелло, 243.
Лонціусъ, 20.
Лопе де-Вега, 50.
Лопухинъ, И. В., 74, 93, 105, 132.
Лоранъ, 243.
Лукинъ, Влад., 56, 86, 87.
Лунинъ, 147.
Лыковъ, Мих., 16.
Львовъ, посолъ, 24.
Львовъ, Н. А., 113—14.
Лэнъ, баронъ, 114.
Любименко, г-жа, 17.
Людовикъ XIV, кор. фран., 34.
Людовикъ XV,
Людовикъ XVI, 70, 167.
Людовикъ XVIII, 129.
Людовикъ Филиппъ, 222, 228.
Лютеръ, 43.

Мабли, 97, 98, 100, 135.
Мадзини, 231.
Мазонъ, А., 230.
Майковъ, Ап. Н., 234, 235, 244.
Майковъ, Валер., 234, 235, 236.
Майковъ, Леон. Н., 46, 47, 108, 136, 159.
Майковъ, П., 78.
Макарій, митропол., 16.
Макинтошъ, 154.
Маккіавелли, 45, 57.
Маколей, 243.
Максимовичъ, 201.
Максимъ Грекъ, 12, 14—16, 28, 33.
Макушевъ, В., 20.
Макферсонъ, 131.
Малербъ, 50.
Манцони, 194, 221.
Мариво, 56, 116.
Марло, Христоф., 24.
Маркъ Фрязинъ, 14.
Марковичъ, 46.
Мартыновъ, іезуитъ, 150.
Марксъ, Карлъ, 244.
Marnix de St. Aldegonde, 30.
Масловъ, В., 159.
Матвѣевъ, Артемонъ, 31.
Матвѣевъ, Андрей, 46.
Матюренъ, 193.
Медвѣдевъ, Сильвестръ, 25.
Мелиссино, 69.
Мельгуновъ, С., 91.
Мендельсонъ, Моис., 96, 106.
Менезесъ, 22, 36.
Менцель, 223.
Мерзляковъ, 141.
Мериме, Проспèръ, 177, 193, 194, 244.
Меркаторъ, Гергардъ, 23.
Мерсье де-ла-Ривьеръ, 64.
Мерсье, Себастьенъ, 74, 89, 112, 123.
Мерэ, 115.
Мессершмитъ, 39.
Метастазіо, 115.
Меттернихъ, 130.

Миліусъ, 86.
Миллеръ, Всеволодъ, 5.
Миллеръ, Герг. Фридр., 39, 54, 56, 59, 109.
Миллеръ, Орестъ, 211, 229.
Милюковъ, П. Н., 9, 41, 110, 219, 224.
Мильманъ, Генри, 176.
Мильтонъ, 34, 95, 99, 176.
Милль, Джонъ Стюартъ, 242.
Миноръ, проф., 95.
Мирабо, 71, 119.
Мисюрь Мунехинъ, 16.
Михаилъ Өедор., царь, 27.
Михайловъ, Юрій, 24.
Михайловъ, М. Л., 242—4.
Михайловскій, Н. К., 186.
Мицкевичъ, 168, 177, 206, 232.
Мишле, 226, 231, 235.
Міаковскій, 107.
Модзалевскій, Б., 174.
Мозеръ, Фридр. Карлъ, 95.
Мозеръ, Іог. Якобъ, 95.
Молешоттъ, 238.
Мольеръ, 3, 23, 32, 38, 49, 50, 51, 89, 101, 113, 128, 138, 145, 155, 165, 175, 191—3.
Моно, Габріэль, 235.
Монталанберъ, 150.
Монтань, 77, 124, 135.
Монтескье, 48, 75, 90, 97, 110, 112, 146.
Мопертюи, 48, 220.
Мордвиновъ, адмиралъ, 155.
Морелли, 112.
Морери, 37.
Морицъ Гессенскій, 24.
Морлей, Джонъ, 103.
Морозовъ, бояринъ, 30.
Морозовъ, П., 46.
Моръ, Томасъ, 97.
Мотонисъ, 59.
Моцартъ, 175.
Мочаловъ, 157, 216.
Муравьевъ, Алекс., 146.
Муравьевъ, М. Н., 118, 135.
Муравьевъ-Апостолъ, 141.
Мурко, 205.
Муръ, Томасъ, 166, 185.
Муръ, Эдвардъ, 115.
Мэнаръ, 32.
Мюллеръ, Адамъ, 207.
Мюссе, Альфредъ де, 174, 177, 187.
Мякотинъ, В., 107.

Надеждинъ, Н. И., 200, 216.
Наполеонъ I, 9, 129, 157, 172.
Нарышкинъ, Левъ, 81.
Нарѣжный, 131, 136—7.
Наталья Алексѣевна, царевна, 32, 38.
Наумовъ, И., 71.
Невиль, де-ла, 31.
Незеленовъ, 90, 97, 173.
Нейберъ, Каролина, 51.
Нейкирхъ, 55.
Неккеръ, 71, 106, 125.
Некрасовъ, Н. А., 230.
Некрасова, Е. Ст., 189.
Непѣя, купецъ, 17.
Нессельроде, 147.
Никитенко, 223.
Николаи, 96.
Николевъ, 50, 115.
Николай I, импер., 9, 152, 156, 172, 222.
Николай Мих., вел. князь, 145.
Николини, 194.
Николь, аббатъ, 129.
Ниропъ, 1.
Новалисъ, 134.
Новиковъ, 9, 61, 80, 81, 88—90, 93, 96, 114, 119, 124, 141, 160.
Нодье, Шарль, 153

Оболенскій, 16.
Овидій, 37.
Огаревъ, Н., 189, 219.
Одоевскій, кн. В., 175, 178, 201, 223, 239.
Одынецъ, 206.
Озеровъ, 55.
Окенъ, 200.
Олеарій, 23, 25, 28, 32.
Олинъ, В., 170.
Оманъ, Эмиль, 3.
Ордынъ-Нащокинъ, 27, 31.
Орловъ, гр., 71.
Оссіанъ, 106, 131, 166.
Отманъ, Франсуа, 204.
Останя, живописецъ, 13.
Островскій, А. Н., 215, 240.
Оуэнъ, Робертъ, 234, 242.

Павелъ I, 9, 65, 84, 93, 97, 124—7, 141.
Павловъ, М. Г., 200, 216.
Палеологъ, Софья,
Панаевъ, И., 225.
Палласъ, 39.
Панинъ, гр. Н. И., 84, 125.
Паоли, 66.
Парисъ, Гастонъ, 2.
Парни, 146, 166.
Паскаль, 212.
Пассекъ, Вад., 219.
Патулье, 240.
Паульсенъ, Карлъ, 23.

Пекарскій, П., 40.
Пеллико, Сильвіо, 128, 160, 174, 221.
Пересвѣтовъ, Иванъ, 16.
Перетцъ, 51.
Perey, Lucien, 93.
Перси, епископъ, 131.
Перуджино, 13.
Пестель, 146, 163.
Петрарка, 135, 176.
Петрашевскій, 234—237, 242, 244.
Петръ Апостолъ, 46, 87.
Петръ I, 32, 36—48, 53, 152, 221.
Петръ III, 65.
Петровъ, Н., проф., 18.
Печеринъ, Влад., 222—3.
Пешманнъ, 4.
Пикте, 65.
Пиксановъ, Н., 164.
Пиндемонте, 176.
Pingaud, 59.
Пирлингъ, 29, 150.
Пиронъ, 56.
Писаревъ, Д., 214, 245.
Писаревъ, водевилистъ, 165.
Писемскій, А. Ѳ., 215.
Писемскій, Ѳед., 17.
Питтъ, 120.
Плавтъ, 145.
Платнеръ, 97, 104, 108.
Платонъ, 45.
Платонъ, архіеписк., 93.
Плетневъ, П., 226.
Плехановъ, 230, 243.
Плещеевъ, А. Н., 237, 244.
Пнинъ, 108—9, 126—7, 135.
Погодинъ, М., 202, 210.
Погорѣльскій, 175.
Полежаевъ, 178, 182.
Покровскій, М. Н.. 22.
Покровскій, М. М., 174.
Полевой, Н. А., 147, 157.
Политковскій, 154.
Полиціано, Анджело,
Полторацкій, С., 71.
Полѣновъ, 69, 144.
Поповъ, Андрей, 14, 22.
Поповъ, Нилъ, 45.
Поповскій, 77, 118.
Попъ, А., 112, 118.
Посошковъ, 42—44, 53, 59.
Потанинъ, Г., 5.
Потемкинъ, Павелъ, 118.
Потѣхинъ, А., 239.
Прасковья, царица, 38.
Прево, аббатъ, 56, 80, 116.
Прерадовичъ, 205.
Прелльсъ, 223.
Прилежаевъ, Е., 44.
Принцъ, Даніилъ, 21.
Пристлей, 120.
Прокоповичъ, Ѳеоф., 42, 45—48, 58.
Прудонъ, 220, 231, 234.
Пуффендорфъ, 8, 39, 45.
Пушкинъ, А. С., 26, 129, 131, 133, 142, 147, 149, 155, 156—7, 166—177, 181, 188, 191—2, 201, 203, 228.
Пушкинъ, В. Л., 147.
Пушниковъ, 115.
Пущинъ, И., 101, 168.
Пыпинъ, А. Н., 4, 9, 53, 64, 75, 79, 91, 92, 238.
Пѣтуховъ, Е., 21, 181.
Пэйнъ, Томасъ, 128.

Рабле, 2, 49, 123.
Рабенеръ, 78, 83.
Радищевъ, А. Н., 9, 62, 72, 74, 81, 89, 94, 97—109, 112, 119, 122, 125, 127, 139, 141, 154, 155, 165, 172, 177, 221.
Радищевъ, Моисей, 95, 108.
Радищевъ, Н. А., 99, 135.
Радищевъ, Павелъ, 105.
Раевскій, Н., 159.
Разумовскій, Кириллъ, 71.
Райна, Піо, 1.
Расинъ, 50, 55.
Рахманиновъ, 71, 99, 112.
Рейналь, аббатъ, 103--5, 135, 146, 242.
Рейнбекъ, 92.
Рейтенфельсъ,
Рейхель, проф., 54, 118.
Рейхель, баронъ, 90.
Ренье, Матюренъ, 49.
Реньяръ, 56, 86, 195.
Ретифъ де-ла Бретоннъ, 117.
Ривароль, 146.
Рингуберъ, Л., 24.
Ринуччини, 25.
Рихтеръ, 80.
Ричардсонъ, 8.
Ріэго, 161.
Робертсонъ, 75.
Ровинскій, Д., 146.
Родзевичъ, С., 182, 184, 187.
Рождественскій, С., 61.
Розавенъ, 129.
Розановъ, М. Н., 121, 188.
Розовъ, В., 173.
Романовъ, Никита, 31.
Романчиковъ, 25.

Роммъ, 145.
Ростопчинъ, гр., 55, 140.
Ртищевъ, бояр., 30.
Руге, Арнольдъ, 218.
Рудневъ-Семеновъ, еписк., 144.
Руничъ, 152.
Руссо, Ж.-Ж., 8, 61, 66, 71, 81, 89, 93, 97, 104, 110, 116, 118, 129, 130, 138, 146, 168, 188, 219, 220, 240.
Рэйшъ, 40.
Рылѣевъ, 101, 133, 148, 157, 159, 189.
Рѣпнинъ, кн., 22.
Рюдлеръ, Густавъ, 97.
Рюккертъ, 208.
Рязановъ, В., 242.

Савонарола, 14, 151.
Сазоновъ, 219, 232.
Сакулинъ, П. Н., 134, 223.
Салтыковъ, М. Е., 228, 230, 235, 243, 246.
Самаринъ, Юрій, 211, 224.
Сандуновъ, 116, 141.
Санковскій, 87.
Сарторіусъ, 143.
Сатинъ, Н., 189, 219.
Свифтъ, 34, 78—9.
Свѣчина, 150.
Сегюръ, гр., 120.
Селивановскій, 160.
Селицкій, 27.
Семевскій, В. И., 69, 84, 109, 146, 160, 161, 234—6.
Семененко, 196.
Семенниковъ, В., 88—9, 93, 99.
Сенакъ де-Мейльянъ, 64.
Сенанкуръ, 128, 153.
Сенека, 89.
Сентъ Бевъ, 174, 195, 212.
Сенъ-Мартенъ, 90.
Сенъ-Симонъ, 147, 221.
Сервантесъ, 79, 99, 134, 191, 193.
Сиверсъ, Егоръ фонъ, 121.
Сидней Кольвинъ, 157.
Сидоровъ, Н., 91.
Сильванскій, Павловъ, 44, 105, 150.
Сильвестръ, 13.
Симеонъ Суздальскій, 14.
Симеонъ Полоцкій, 25, 26, 53.
Сиповскій, В., 26, 56, 71, 117, 123.
Сичкаревъ, Л., 87.
Скабичевскій, 156.
Скарлатти, аббатъ, 22.
Скюдери, 34.
Словацкій, Юл., 206.
Слонимскій, А., 169.
Смирнова. А. О., 172, 195, 196.
Смирновъ, Н. А., 41.
Смитъ, Адамъ, 44, 75, 154—5.
Смоликовскій, 196.
Смоллетъ, 137.
Соболевскій, А. И., 22.
Созоновичъ, 132.
Сожи, 106.
Соймоновъ, 113.
Соколовъ, Б., 19.
Соколовъ, М. И., 38.
Соколовъ, Ю., 19, 137.
Соколовская, Тира, 92.
Сократъ, 45.
Солнцевъ, В., 87.
Соловьевъ, Влад.,
Соловьевъ, С. М., 20, 215, 238.
Сорель, Альберъ, 125.
Софоклъ, 54.
Софья, царевна, 14, 31—2, 37.
Соути, 175.
Спасовичъ, В., 188.
Сперанскій, 107, 109.
Спиноза, 212.
Сплавскій, Янъ, 38.
Спѣшневъ, 235.
Стаденъ, Ник. фанъ, 23.
Сталь, г-жа, 128, 129, 166.
Станкевичъ, Н., 216—19, 221, 224.
Старкэй, 38.
Стасовъ, В., 5.
Стернъ, 34, 101—3, 104, 122—3, 240.
Стиль, 78, 86.
Стоу, Бичеръ, 242.
Сторожевъ, В., 184.
Страховъ, Н., 229.
Строгановъ, баронъ, 95, 145.
Струбе де-Пирмонтъ, 75.
Суворовъ, А. В., 125.
Суворовъ, Максимъ, 46—7.
Сумароковъ, А., 49, 50, 54—5, 69, 78, 80, 115.
Сумцовъ, Н., 12.
Сухомлиновъ, М., 104, 107, 144, 156.
Сюаръ, 152.
Сю, Эженъ, 225.
Сѣченовъ, 243.

Талейранъ,
Тардъ, 2, 177.
Тассъ, Торкв., 25, 112, 135.
Татищевъ, В. Н., 42, 44—6, 49, 110.
Тверитиновъ, 42—3.
Теккерей, 245.
Текстъ, Жозефъ, 3.
Тепловъ, Григ., 58, 61.

Тепляковъ, 170.
Тепферъ, Родольфъ, 240.
Теребеневъ, 146.
Тизенгаузъ, 71.
Тикъ, 132, 191.
Тихонравовъ, Н. С., 11, 12, 24, 38, 81, 83, 118, 122—3, 131, 191, 218, 238.
Товянскій, 206.
Толбузинъ, 14.
Толстой, А. П., 195.
Толстой, А. К., 156, 174, 244.
Толстой, Л. Н., 93, 184, 240—1.
Толстой, Петръ, 42.
Толстой, Ю., 17.
Томсонъ, 123.
Тредьяковскій, 49, 53.
Тройницкій, 105.
Трубецкой, С. Н., 215.
Туккеръ, 2.
Туманскій, 178.
Тургеневъ, Андрей, 141.
Тургеневъ, Александръ, 142, 152.
Тургеневъ, И. П., 132.
Тургеневъ, Никол. Ив., 136, 142—4, 147, 155, 160, 222.
Тургеневъ, И. С., 139, 167, 198, 226—29, 232, 239.
Турнэ, Морисъ, 37, 68.
Турчанинова, Анна, 131.
Туръ, Евгенія, 229.
Тюрго, 71.
Тютчевъ, 188, 244.
Туссенъ-Лувертюръ, 103.
Тучковъ, С. А., 99.

Уваровъ, С., 158.
Уичерли, 34.
Уландъ, 208.
Урсинъ, М., 206.
Устряловъ, Н., 21.
Ушаковъ, Семенъ, 16.
Ушаковъ, Өед. Вас., 98—9, 108.

Фабръ, Фердин., 227.
Фаллу, 150.
Фальконетъ, 66.
Фандергинъ, 91.
Фанселавъ, Петръ, 43.
Фаринелли, 3.
Федръ, 138.
Фэжеръ, 103.
Фейербахъ, 238, 243.
Фельтенъ, 23.
Фердинандъ Медичи, 23.
Фергюсонъ, 75.
Фехнеръ, 24.
Филанджьери, 135, 160.
Филипповъ, М., 203, 211.
Филипповъ, В., 51.
Фильдингъ, 56, 137, 176.
Фіоравенти, Аристотель, 39.
Фирштъ, Артемій, 38, 41.
Фихте, 36, 54, 141, 225.
Флемингъ, Павелъ, 28.
Флери, 138.
Флоберъ, Гюст., 244.
Флоріанъ, 133, 138.
Фоксъ, 122.
Фонвизинъ, Д., 9, 54, 61, 72, 81—85, 118, 196.
Фонвизинъ, М., 161.
Фондель, 50.
Фонтенелль, 53.
Форбсъ, лордъ, 46.
Форстеръ, Джонъ, 157.
Фосколо, Уго, 128, 165.
Фоссъ, 191.
Фотій, архим., 163.
Фохтъ, Карлъ, 238.
Францискъ I-й,
Фрейлигратъ, 243.
Фрейтагъ, Г., 207.
Фридрихъ Великій, 37, 66, 71, 77, 90, 113, 114, 206.
Friedrichs, 92.
Фуке, Ламоттъ, 134.
Фурье, 220, 234—6, 243, 245.

Ханыковъ, 234.
Хворостининъ, кн., 20, 21.
Хвостовъ, Дм., 83.
Хемницеръ, 113.
Херасковъ, 50, 112, 132.
Хитрово, 31.
Хомяковъ, А. С., 201, 203, 210—12.
Хукеръ, 30.
Хэстингсъ, Мэри, 17.

Цвѣтаевъ, Д., 24.

Чаадаевъ, П. Я., 21, 150—53, 160, 167—9, 172, 178, 214, 221.
Чебышевъ, А. А., 176.
Челаковскій, 204.
Челищевъ, Петръ, 99, 107, 108.
Ченслеръ, 17.
Ченстонъ, 176.
Чернышевскій, Н. Г., 230, 235, 238, 245.
Чиконьини, 38.
Чимабуэ, 13.

Чистовичъ, 42.
Чубинскій, 11.
Чудаковъ, 197.
Чуди, 59.
Чулковъ. 117.

Шаденъ, 118, 121.
Шаликовъ, 101.
Шаль, Филаретъ, 213.
Шанфоръ, 146.
Шаппъ, аббатъ, 81.
Шатобріанъ, 128, 133, 167, 176, 182, 187.
Шафарикъ, 204.
Шаховской, кн., А. А., 101.
Шаховскій, кн. Д., 112.
Шаховской, Як., 162,
Шварцъ, И., 92, 94, 96, 144.
Шевыревъ, 213.
Шекспиръ, 11, 19, 34, 79, 80, 89, 99, 106, 123, 132, 156—7, 164, 173, 174, 176, 177, 220, 241, 244.
Шелли, 157, 171, 212.
Шеллингъ, 142, 151, 178, 200, 202, 211, 216, 232.
Шенрокъ, 194.
Шенье, Андре, 167, 170.
Шереметьевъ, Ѳед., 23.
Шереръ, 191.
Шериданъ, 79, 116, 122, 195.
Шетарди, де-ла, 54.
Шефтсбэри, 118.
Шешковскій, 105.
Шиллеръ, 8, 12, 120, 125, 136, 141, 164, 173, 182, 184, 190, 193, 206, 219, 244.
Шиманнъ, Теод., 163.
Шимко, 46.
Шишковъ, 109, 110, 128, 162.
Шлегель, I. Эл., 80.
Шлегель, Фридр., 132, 208.
Шлецеръ, 109.
Шлецеръ—сынъ, 155.
Шлитте, 17.
Шляпкинъ, 10, 38, 193.
Шмидтъ, Эрихъ, 121.
Шмурло, 4.
Шнейдеръ, Яковъ, 76.
Шолье, 146.
Шперберъ, 233.
Шпильгагенъ, 207, 245.
Шписъ, 133.
Шредеръ, г-жа, 51.
Штейнъ, министръ, 129, 143, 166.
Штейнгель, 146.
Штраусъ, Дав. Фридр., 243.
Штуръ, Людев., 205.
Шуваловъ, Андр., 64.
Шуваловъ, И. И., 58, 80.
Шуйскій, Вас., 21.

Щеголевъ, П., 99, 100, 105, 166.
Щербатовъ, кн., И., 38.
Щербатовъ, кн., М., 36, 74, 109, 111—12.

Эдуардъ VI англ., 17.
Эзопъ, 19, 138.
Эйхгорнъ, 143.
Эккартсгаузенъ, 151.
Эминъ, Ѳедоръ, 88, 116.
Эразмъ Роттердам., 8, 37, 40, 53.
Эстевъ, 3.

Ювеналъ, 49.
Юлій Цезарь, 37.
Юмъ, 212.
Юнгъ, 94, 132.
Юнгъ-Штиллингъ, 151.
Юнгманъ, 204.
Юрьевъ, С. А. 215.

Яворскій, Стеф., 43.
Языковъ, Д., 70, 71.
Языковъ, Н., 180—1, 192, 214.
Якушкинъ, И., 152, 154, 161.
Якушкинъ, В. Е., 107, 177.
Ягичъ, 5, 26, 205.
Янковичъ, 61, 78.
Яновъ, 48.

Ѳедоръ Алекс., царь, 30.
Ѳедоровъ, Иванъ, діаконъ, 15.
Ѳеодосій Косой, 17.
Ѳеофрастъ, 49.

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Старинный театръ въ Европѣ. Историческіе очерки. М. 1870 (нѣтъ въ продажѣ).

Deutsche Einflüsse auf das alte russische Theater. Prag, 1875 (распродано).

Этюды о Мольерѣ. „Тартюффъ"; исторія типа и пьесы. М. 1879 (распродано).

Этюды о Мольерѣ. „Мизантропъ". Опытъ новаго анализа пьесы и обзоръ созданной ею школы. М. 1881 (распродано).

Байронъ. Біографич. очеркъ съ двумя фототипіями работы П. П. Павлова. Второе изданіе. М. 1914. Ц. 2 р.

Этюды и характеристики. Четвертое значительно дополненное изданіе. М. 1912. Два тома. Ц. 4 руб.

Герценъ—писатель. Очеркъ. М. 1909. Ц. 70 к.

Die russische Literatur (Kultur der Gegenwart, I, IX Abtheil.). Berlin-Leipzig. 1908.

Цѣна 2 руб. 50 коп.

---

*СКЛАДЪ: **Москва,** Чистопрудный бульваръ, 19, кв. 3.*

Т-во И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К° Москва.

00020212388
UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL